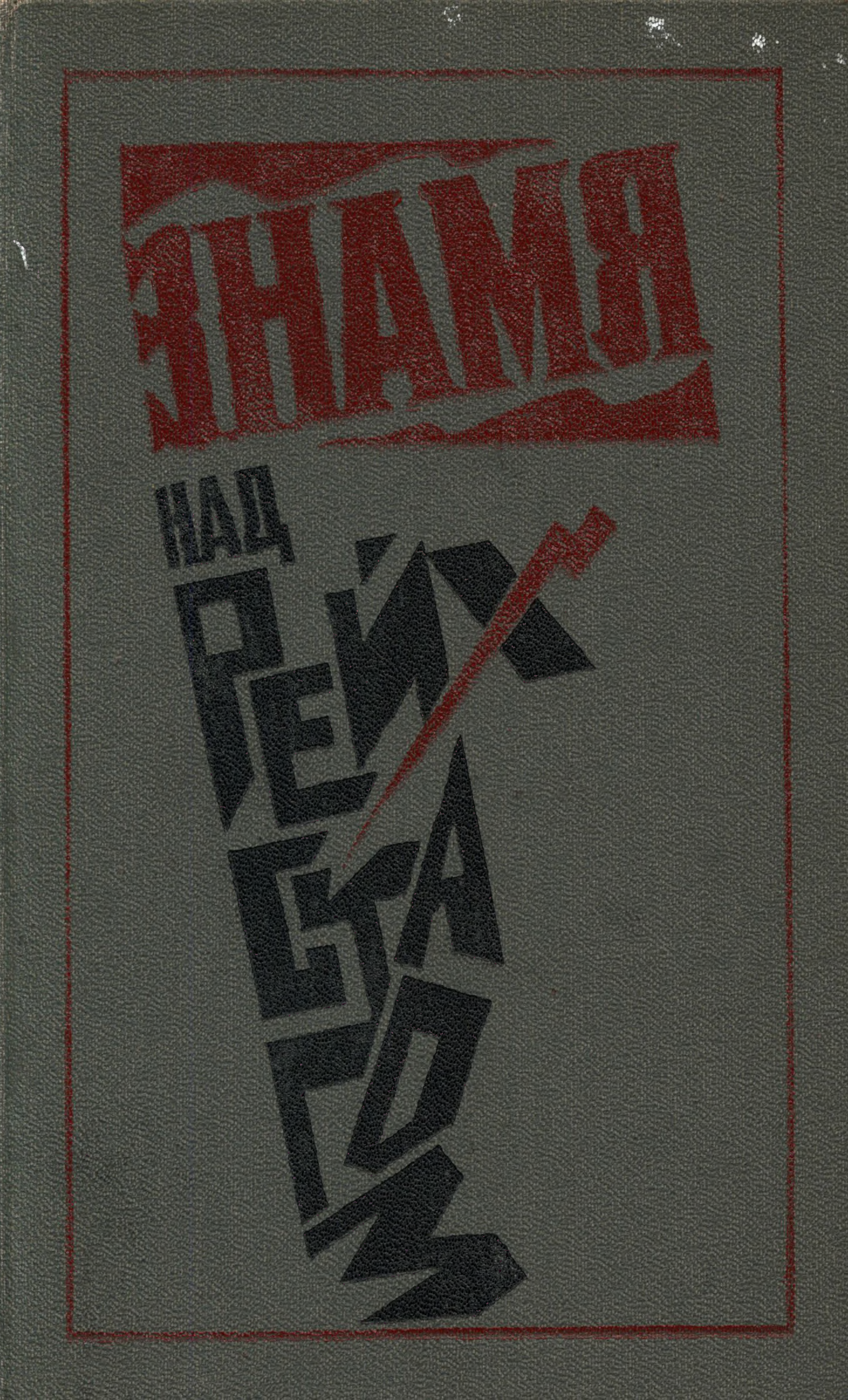
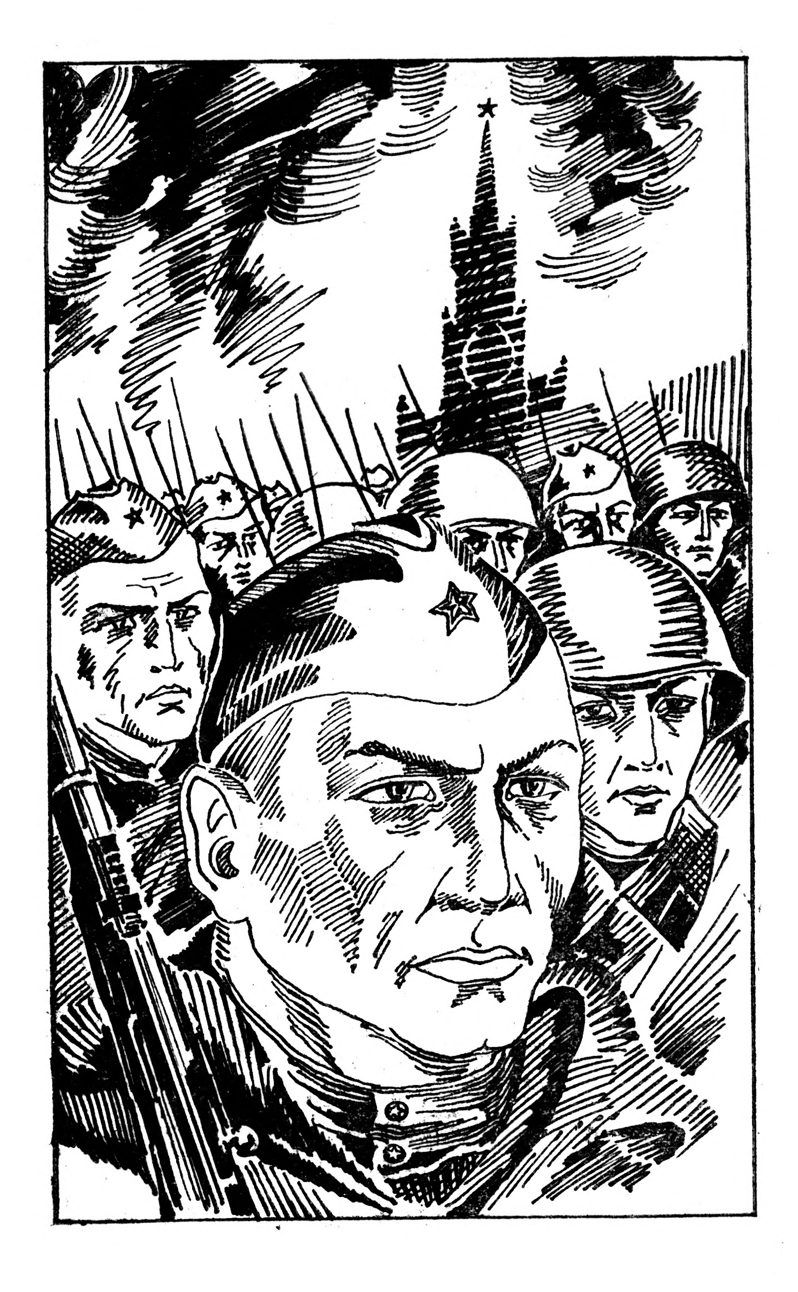

ЗНАМЯ
НАД
РЕЙХСТАГОМ


1945


1985







РАССКАЗЫ,
ОЧЕРКИ,
СТИХИ

АЛМА-АТА
«ЖАЗУШЫ»
1985

84 Р2
З—72

Составитель *Сергеев А. Н.*

Рецензенты:
Плашиевский Ю. П., Рожицын Ю. М., члены СЖ СССР

З $\frac{4702010200—059}{402(05)—85}$ 144—85

Леонид Кривощеков

ОТЗОВИТЕСЬ, ДРУЗЬЯ!

Нас огонь не щадил
На дорогах войны,
Не щадили нас годы разрухи;
Были руки мужские
Отчизне нужны,
Наши верные,
Крепкие руки.

Мы в строю трудовом
Сорок солнечных лет,
Но, как прежде,
От мая до мая,
Мы уходим,
Уходим за павшими вслед,
Сыновьям ордена оставляя.

Мы должны
Сыновьям о себе рассказать,—
Помоги нам, крылатая песня,—
Всех живых, неживых
Поименно назвать,
Всех безвестных
Вернуть из безвестья.

Эта песня
Затем и на свет родилась,
Чтобы дать нам свои позывные.
Ветераны войны,
Выходите на связь,
Отзовитесь, друзья фронтовые!

Екейбай Кашаганов

ПЕРВЫЙ БОЙ

Черный лес по обеим сторонам дороги, замерший в густой вязкой темноте, тянулся без конца. Колонны кавалеристов вошли в него где-то к полуночи и шли уже часа три, а он все давил своей мрачной, угрюмой настороженностью. Командир нашей батареи противотанковых сорокапятимиллиметровых орудий младший лейтенант Красношапко при входе в лес предупредил:

— Пойдем по этой чащобе, вдоль берега реки Прут — нашей государственной границы. Как нам сообщили — на той стороне румынские и немецкие войска. Они уже пытались на этом участке форсировать реку, но были отбиты. Однако в лес небольшой отряд их просочился. Может быть, это десант, сброшенный с самолетов. Так что передвигаться будем тихо, с соблюдением всех мер предосторожности. Приказываю быть все время в полной готовности к отражению нападения с флангов...

Приказал, проверил наше оружие и выделил дозорных.

Так мы и ехали молча, придерживая руками приторочениую к седлам кавалерийскую амуницию. И даже кони, будто проникшиеся тревожной напряженностью первой ночи войны, не мотали головами, не бренчали уздечками, не всхрапывали, шли, мягко ступая коваными копытами по пересекавшему лес пыльному проселку.

Вражеский десант то и дело обнаруживал себя. Нарвавшись на дозорных полкового авангарда, он завязывал беспорядочную перестрелку, но, разобравшись, что перед ним крупная часть, растворялся в лесу, чтобы вскоре пять обстрелять дозорных. Появились первые раненые. В перестрелке мы потеряли несколько коней.

Кавалеристы ехали, подавленные так внезапно и стремительно развивавшимися за последние сутки грозными событиями. Еще вчера они жили своей военной, но совершенно мирной жизнью. Вчера, двадцать первого июня, весь артиллерийский полк пятой кавалерийской дивизии, возвратившийся с полевых учений, получил заслуженный отдых.

— Учения прошли на отлично,— грохотал зычным своим голосом комиссар полка, высокий, плотный фигурой, батальонный комиссар Янузаков.— Командир дивизии передал вам, товарищи артиллеристы, свою горячую благо-

дарность. Приближенные к боевым, учебные стрельбы проведены как положено, на пять с плюсом. Отличилась батарея младшего лейтенанта товарища Красношапко, а в ней расчет противотанкового орудия сержанта товарища Клименко. Все посланные им снаряды угодили точно в цель. Молодцы артиллеристы, не допустили ни одного промаха. От лица службы объявляю благодарность командиру расчета, заряжающему рядовому Яндукову, наводчику Кашаганову, подносчику Борбуеву, коноводам Крюкову, Каримову и Семенову.

Я стоял в строю, замерев от радости, слушал слова комиссара полка, а грудь распирала неуемная гордость. Казалось, что сейчас на меня смотрит весь личный состав батареи, весь построенный на широкой поляне в четкое каре полк.

В том молдавском селе неподалеку от города Леово, где стоял полк, клуба не было, и сельская молодежь собиралась по вечерам в доме у кого-нибудь из сельчан. Приходили музыканты, собирались девушки. Сюда же шли и солдаты. Мы пели, танцевали. Девушки угощали ребят фруктами, какими-то вкусными самодельными прохладительными напитками.

И в этот вечер все было так же: несмотря на усталость после учений, я до двенадцати часов танцевал с красивой кареглазой молдаванкой, проводил ее домой. Придя на квартиру, никак не мог уснуть.

Спали мы все на открытом воздухе, во дворе под навесом. Повозившись на топчане, я поднялся, пошел к дремавшему у ворот дежурному, попросил бумаги и стал писать письмо домой. Уж больно мне не терпелось сообщить о первой, полученной на военной службе благодарности. Писал, рассказывал об учениях, о наших отличных стрельбах, а перед глазами вставали неширокие коротенькие улицы родного моего колхоза имени Кирова в Курдайском районе Джамбулской области, где последние годы я был учителем в местной школе. Старый отец, всеми уважаемый в колхозе бахчевод и огородник,— своими замечательными успехами в труде он напрочь опроверг нелепое убеждение некоторых несведущих людей в том, что якобы казахи плохие огородники. Мать моя, Хадиша, отличная доярка, а при нужде и повар в хлебную страду на полевом стане. Плыли перед глазами снежные вершины Ала-Тау, покрытые лесом предгорья, зеленые холмы, которыми я любовался, приезжая в Алма-Ату.

Письмо получилось большое и, конечно, не очень

скромное. О своих воинских «доблестях» я расписывал не стесняясь.

Письмо запечатал, хотел идти под навес и в этот момент в ворота заскочил всадник — вестовой.

— Подъем! Тревога! — крикнул он на скаку.

— Тревога! Тревога! — подхватил дежурный.

«Тревога!!! Тревога!!!» — выговаривала где-то в центре деревни труба полкового горниста.

А через час полк снова выстроился на поляне.

— Товарищи кавалеристы! — теперь уж не радостно и торжественно, а взволнованно, сбиваясь, говорил комиссар полка.— Сегодня ночью на нашу землю без объявления войны, предательски, по-бандитски напала гитлеровская Германия. Фашистские самолеты бомбят наши мирные города, их танки топчут нашу землю. Поступил приказ нанести удар по фашистской нечисти, изгнать ее с нашей земли.

И вот уже полк в походной колонне, форсированным маршем двигается к границе, на заранее определенные позиции. Шли полдня. Отдохнули. Поздно вечером снялись и пошли дальше, по этому самому лесу, вдоль Прута.

Расчет нашего второго орудия двигался как положено в походной колонне, по двое. Рядом со мной — заряжающий Борбуев, круглолицый киргиз из Карабалтанского района. Всегда спокойный, рассудительный, неторопливый, он и сейчас, наверно, единственный из всего нашего расчета не растерялся, как мы, огорошенные сообщением о войне. Когда полк выходил из деревни, он мне сказал безо всякого волнения:

— Что вы все удивляетесь? Фашисты наши враги, они не могли не напасть на нас. И мы готовы их встретить. На то мы и армия. Прогоним врагов, сколько бы их ни было, с нашей земли и будем бить их на их же территории.

Я тоже в этом был убежден, но все-таки сердце сжимал холодок тревоги.

Сейчас Борбуев мирно покачивался в седле и, как мне казалось, даже похрапывал, не испытывая никаких страхов и волнений.

Таким же спокойным выглядел ехавший впереди нас заряжающий мордвин Яндуков. Этот, как мы его называли, «железный артиллерист» — он был очень дисциплинированный и влюбленный в воинскую службу — и сейчас, в кромешной тьме, в тревожной тишине леса маячил передо мной своим строгим подтянутым силуэтом, сидящим на коне как манекен, с соблюдением всех уставных требований.

Ехали всю ночь. Дважды останавливались, рассыпались в цепь, вдоль дороги. Где-то впереди возникала перестрелка. По цепи передавали: дозоры отбивают налеты десантников.

Для меня, да, наверное, и для всех моих однополчан, все это: ночной марш по лесу, вдоль Прута, вражеский десант, где-то далеко перечеркивавшие небо ракеты — было неожиданным и удивительным. К боевой обстановке, к схваткам с врагом мы, конечно, готовились, но на всех теоретических занятиях и в полевых учениях наш полк скакал на конях вперед, в рядах атакующих, разворачивал орудия на полном скаку, стрелял прямой наводкой и, обратив «противника» в бегство, гнал его, рубил, колол шашками, с правой и левой руки. И все это днем, при белом свете, и все отчаянно, лихо, на «ура!» А тут ночь, лес, гулкие в ночной тишине автоматные очереди. И уже стоны, крики раненых, носилки с убитыми — все было не по правилам, не по нашему представлению.

Мы жались друг к другу, подальше от кромки леса, от черных силуэтов деревьев.

К Пруту вышли на рассвете. И сразу встретились с с пограничниками. Они уже отбили несколько атак румынской пехоты, пытавшейся форсировать Прут. При этом и сами понесли потери: неподалеку, на опушке леса возвышался свеженасыпанный холмик братской могилы. Подоспевшие санитары грузили на повозки раненых.

Полк занял оборону. Наша батарея расположилась метрах в семидесяти от берега, за бугром. Мы вкопали свое орудие между тремя развесистыми дубами. На пологом противоположном берегу румынская деревушка с кривыми улочками, сбегавшими к реке. Между домами, по улицам, не хоронясь, ходили румынские и немецкие солдаты.

— Румыны особой отваги не проявляют,— рассказывал кавалеристам молодой пограничник с перевязанной рукой.— Кричать — кричат, но вперед на наши пули не рвутся. И чуть чего—сразу назад. А вот утром немцев на машинах подбросили — эти полезли страшно, с яростью... Сейчас силы накапливают. Наши наблюдатели сообщают — машины с солдатами одна за другой подходят. Вечером жди, снова полезут.

Однако фашисты вечера ждать не стали. Они ринулись вдруг, сразу после полудня, не дав кавалеристам передышки. Одетые в серо-зеленые френчики, в рогатых касках, они выскакивали из-за домов группами — видно, отделе-

ниями,— тащили на себе резиновые надувные лодки, легкие, на автомобильных камерах, плоты, бросали их на воду и тут же отплывали на них. Переправу фашистов прикрывали минометчики. Они били по окопам кавалеристов и пограничников, не давая им поднять голову, кинжальным огнем секли окопы, установленные на плавсредствах пулеметы. Оборона полка утонула в дымке разрывов.

Это были первые разрывы, первый смертельный посвист пуль, который я услышал. Впоследствии мы к ним привыкли и не обращали внимания: свистит, значит, не твоя, значит, мимо. А в тот день со страхом ловили этот грохот, этот посвист и, ощущая дуновение их ветерка, усиленно кланялись, стараясь всем телом втиснуться в землю.

Противник был уже почти на середине реки, раздались команды:

— Орудия к бою! — А затем и окончательная: — Прицел... Осколочными! По фашистам беглый огонь!

Я лежал на вершине бугра и голосом передавал координаты стрельбы. Хотя стреляли по закрытым целям, снаряды рвались в самой гуще плотов и лодок. Они лопались, разлетались в щепки. Наши коноводы и пограничники били фрицев из винтовок и двух пулеметов.

И гитлеровцы не выдержали. Уцелевшие лодки повернули назад. Фашисты снова укрылись за домами. По реке плыли обломки плотов, доски, скамейки.

Мы ликовали — ведь это был наш первый бой и первая победа. Артиллеристы как дети прыгали у пушек, кричали от восторга, хохотали. Кто-то, отчаянно привирая, уже рассказывал о своих «подвигах», о том, как он «навел орудие и ударил», как на его глазах развалился плот и все фашисты пошли ко дну. В действительности вся батарея стреляла, не видя цели, по командам наблюдателей, и конечно, никто ничего толком не видел.

Ликование наше было преждевременным: бой еще не кончился, точнее, по-настоящему он и не начинался.

— Противник подвез артиллерию,— доносили наблюдатели.— Прибывают машины с новым пополнением.

Румыны и немцы опять выскочили из укрытий, кинулись к воде. Из-за поворота реки вынырнул катер с баржей на буксире, снова появились плоты.

Но теперь мы были уже не новички в войне, прошли хотя и несложное, но все-таки испытание боем. Как только фашисты добежали до воды, мы открыли по ним шквальный огонь. Теперь огнем руководил сам командир орудия

сержант Клименко. Он лежал на бугре и подавал нам команды.

Работали пушкари как надо, стрельбу вели в скоростном темпе. Борбуев бесперебойно подавал снаряды, Яндуков одним движением не вставлял — бросал снаряд, со звоном закрывал замок, я устанавливал прицел и — «огонь!»

Так быстро, четко мы не стреляли, наверное, ни на одном учении. И, видно, били по целям: после каждого выстрела сержант кричал нам что-то одобрительное и поднимал кверху большой палец.

Но вот заговорила артиллерия противника. Она явно нащупывала нашу батарею. Справа, слева грохнули, взметнули землю первые разрыва.

— Огонь! Огонь! — крикнул, перекрывая грохот разрывов, подскочивший к орудию командир батареи. Суховатое, обычно спокойное бледное лицо его сейчас покрылось красными пятнами, губы посерели.

— Бейте! Бейте, ребята! — потряс он кулаками.— Первое орудие выведено из строя, расчет погиб. Бейте за них, за наших товарищей,— выкрикнул он и скрылся в дыму разрывов.

«Расчет погиб», — недоуменно повторял я про себя, не в силах осмыслить сказанное командиром. Как же так? Это наши товарищи, молодые, веселые, жизнерадостные ребята, мы только вчера с ними скакали на конях, соревновались в стрельбе, танцевали на вечеринке и вдруг: «расчет погиб». «Они мертвые»,— наконец дошло до меня, и ярость охватила душу, наверное, все это также переживали и работавшие со мной у пушки Яндуков, Борбуев.

— Ух гады! — процедил сквозь зубы Яндуков.

— Мы вам сейчас жар даем,— как всегда с трудом, но точно выразил по-русски наши общие мысли Борбуев.

И снова мы били, били, не обращая внимания на рвавшиеся вокруг снаряды и мины.

Двое коноводов, подтаскивавшие снаряды, были легко ранены, осколком задело Борбуева. Не замечая боли и крови, мы были поглощены одним: стрелять, стрелять и стрелять.

А противник продолжал рваться к нашему берегу.

— Катер, плоты в мертвой зоне! — донеслось сообщение наблюдателя.

— Орудие на бугор! — крикнул опять появившийся перед нами командир батареи.

Мы рванули пушку, выкатили на бугор.

Лодки, плоты уже пересекли середину реки, катер с баржей приближался к нашему берегу. Фашистская артиллерия усилила обстрел. Снаряды рвались буквально рядом, и только чудом облетали нашу пушку.

— Огонь! Огонь! — сквозь грохот разрывов прорывался голос младшего лейтенанта.

Теперь у пушки работал и сам сержант Клименко, он помогал Яндукову, Борбуеву.

Я навел орудие точно на катер. Сержант выстрелил. Снаряд угодил куда-то под надстройку. Взрыва слышно не было. Из катера вырвался столб пламени. Он рыскнул в сторону и замер, закачался на стремнине.

Однако баржу прибило к берегу, из нее посыпались немцы, румыны. Они прыгали в воду, выбирались на берег и бежали, карабкались вверх по некрутому откосу на нас, стреляя из автоматов.

В батарее были семидесятишестимиллиметровые пушки. Они успели дать два-три залпа шрапнелью. Разрывы снарядов косили врагов наповал. Но было фашистов слишком много. А к берегу все подходили и подходили новые, забитые солдатами лодки, плоты, катера. Гитлеровцы заполнили весь берег. И все бежали на нас.

Первые ряды фашистов ворвались в окопы пограничников, схватились с ними врукопашную. Теперь мы уже не могли стрелять. Стояли у орудия, не зная что делать, чем и как помочь дравшимся пограничникам. А ребята гибли на наших глазах. Их было мало, но дрались они отчаянно, яростно, каждый отбивался от двух, трех наседавших гитлеровцев. А они все прибывали, и бежавшие за ними офицеры с пистолетами в руках гнали их вперед.

Прошли две-три минуты, и в окопчиках пограничников не осталось живых. Теперь мы могли снова стрелять по фашистам прямой наводкой. Снаряды стали рваться в самой гуще наступавших, разбрасывая их. Немецкие артиллеристы стрелять по нам уже не могли: их солдаты были рядом.

Придавленные нашим огнем фашисты было залегли, но офицеры снова погнали их, и они полезли по косогору.

Вот они уже в двадцати, пятнадцати, десяти метрах. Мы даем последний залп из орудий, и вперед выскакивает командир батареи. Размахивая наганом, он кричит:

— Артиллеристы, в атаку, вперед! За Родину! Вперед!!!

Я вижу немцев, отлично вижу их перекошенные злобой лица, разодранные в крике рты, вижу нацеленные на нас плюющиеся огнем автоматы, сверкающие в руках ножи.

Но страха уже нет, его заменила закипевшая во мне ярость, жгучая ненависть к захватчикам, напавшим на меня, на мою землю, убившим моих товарищей. Вместе со всем расчетом я тоже что-то кричу, может быть, ура! И кидаюсь на гитлеровцев. Бегу на огромного верзилу с какими-то нашивками на погонах, с ножом в левой руке. И мне кажется, что он своими широченными плечами закрывает горизонт, весь мир и потому в глазах у меня темно. Мне нужно убить его, убрать с дороги, иначе погибну я, задохнусь в надвигающейся на меня жуткой темноте.

Мы бежим друг на друга, может быть, всего один миг, успели сделать по нескольку шагов, а мне кажется, что бегу целую вечность, и вижу как вырастает, увеличивается на глазах неуклюжая гигантская фигура гитлеровца, его огромная голова под рогатой каской.

Патроны в магазине его автомата кончились, и он размахнулся автоматом как палкой, выставил зажатый в руке нож.

А я вдруг, в один миг успокоился, пришел в себя, гитлеровец в моих глазах уменьшился, съежился до обычных размеров. И мысль сработала четко: я рванулся в сторону, немец ударил автоматом и промахнулся. Зато я ударил его по голове прикладом карабина, каска с него слетела. Верзила рухнул как подкошенный. А я уже отбивался от наседавшего румына.

Вокруг меня также отчаянно дрались мои товарищи, дрались, как только что дрались пограничники — один против двоих, троих, били прикладами, кололи ножами.

Мы уже выдыхались. Упал сбитый с ног сержант, охнув, присел Борбуев. И в этот момент из-за деревьев ринулись нам на подмогу наши спешенные кавалеристы. Они врезались в гущу фашистов и начали сечь их шашками, бить прикладами.

Гитлеровцы дрогнули, затоптались на месте и вдруг все сразу побежали к берегу. А мы гнались за ними, стреляли, кололи их, сбивали прикладами.

Немногим из них удалось отплыть от берега на лодках, остальные остались на песке. Много мы их здесь положили, хотя и наши потери были велики.

... Как потом сказал сержант Клименко, вся атака противника продолжалась не больше тридцати минут, но в мою память, как; наверное, и в память всех ее участников, она врезалась на всю жизнь. Тяжело было перенести гибель товарищей, но мы уже знали, что война есть война, и

что без жертв победы в ней не завоевываются. Но победу мы все-таки завоевали, первую победу, в первом бою.

* * *

...На пути к логову фашистского зверя — Берлину было немало горьких минут, поражений, отступлений в боях с превосходящими силами противника, но и в те тяжелые моменты перед моими глазами вставал первый бой, первая наша победа. Она вдохновляла меня и моих товарищей по оружию, и я, к концу войны уже старший лейтенант, кавалер орденов Отечественной войны, Красной Звезды и восьми боевых медалей, вел свое подразделение на штурм, в атаку, и мы опрокидывали врага, громили, заставляли бежать в панике, гнали его, как в том первом бою.

Петр Якушев

ПОД СТАРЫМ ГОРОДОМ

ОЖИВШАЯ КАРТА

«Последнее сражение за победу Германии, как называли битву под Курском сами гитлеровцы, было ими проиграно, и грозный призрак катастрофы во весь рост встал перед фашистским государством и его армией»[1].

Командир батареи Федор Федорович Черепанов, с которым я периодически переписываюсь в последние годы, прислал мне фотокопию топографической карты района Белгорода и Старого города, где сорок лет назад шли жесточайшие бои. Именно отсюда в июле 1943 года началась знаменитая Курская битва; и именно здесь, под Старым городом, стояла наша четвертая батарея семидесятишестимиллиметровых орудий. Вот эта точка на карте, на пологом склоне балки Макаров Яр, в створе с маленькими домиками Андреевского хутора. Слева за балкой — большое село Ближняя Игуменка, справа и позади батареи—хутор

---

[1] «История Великой Отечественой войны Советского Союза 1941—1945». Т. 3, стр. 293.

Постников. От батареи до Старого города пунктиром показана четырехкилометровая траншея, прорытая батарейцами весной и в начале лета памятного и грозного года.

...Траншея теряется на окраине Старого города, вплетается в окопы и ходы сообщения, протянувшиеся по топкому берегу Северного Донца. За рекой, на высоких, поросших лесом меловых холмах раскинулся Белгород. Там — немцы, во второй раз захватившие этот город после неудачного весеннего наступления наших войск. С господствующих холмов фашисты легко просматривают нашу оборону. Им хорошо видны и Михайловка, и Пушкарное, и Ближняя Игуменка, и Андреевские хутора, и даже дальняя дубовая роща, в которой укрываются полевые оружейные склады и дивизионные тылы. Вся наша оборона как на ладони. Но мы глубоко врылись в землю и довольно спокойно чувствуем себя под бдительным оком вражеских биноклей и стереотруб. После Сталинграда у нас уже нет страха перед фашистами, есть только жаркая ненависть и непреодолимое желание идти вперед, громить врага...

Я смотрю на карту и все явственно оживает перед моим взором. Как будто и не минуло десятков лет с тех давних пор: я вижу желтые проплешины на склоне оврага, густой кустарник и маленькое болотце на дне балки, заросшее ядовито-зеленой осокой. Вижу фиолетовые цветы клевера во ржи и, кажется, даже чувствую запахи щедрого июньского разнотравья. Так все свежо и отчетливо в памяти, словно только вчера покинул орудийный окоп и совсем на короткое время отлучился по каким-то своим солдатским делам. Хочется подойти сейчас к нашей прежней позиции и просто и естественно сказать:

— Ну, здравствуй, здравствуй, мой старый окоп. Здравствуй, темная, сырая землянка, теплее и уютнее которой тогда не было на свете.

Да, не было. Я помню землянку во всех деталях: и глиняные нары, и столик, и дырявую плащ-палатку над входом, и обгорелые бревна слабенького наката. Эти бревна мы носили на себе из Ближней Игуменки, горевшей тогда целую неделю подряд. Фашисты подожгли село ночью, с самолета. Высокая церковь с зелеными железными куполами да несколько кирпичных домов — вот все, что еще оставалось до первых июльских боев. А потом и их не стало. Днем пятого июля батарея вела ожесточенный огонь по деревне, и первые же снаряды снесли церковные купола вместе с вражескими наблюдателями, а немецкие бомбардировщики превратили редкие домики в красную кирпич-

ную пыль. Через несколько дней только по цветущим подсолнухам можно было определить следы деревенских усадеб. Позже и они погорели в снарядном огне.

И снарядный погребок вижу я таким же, каким он был в ту пору: просторный вход в него прямо из круга орудийного окопа, и непроглядную темень таинственой норы. Мы там не хранили снарядов и вообще ничего не хранили. Погребок пустовал до грозной артиллерийской подготовки фашистов ранним утром пятого июля. Тогда-то мы и укрылись в нем от осколков вражеских снарядов. Тесно было в погребке и душно. В сырую темень погребка врывались пороховые газы, сверху, с наката, сыпалась земля. Попади снаряд на крышу погребка — и он стал бы для нас неуютной и тесной братской могилой. Однако беда нас миновала: погребок выдержал, только чуть обвалились стены. Через три дня он все-таки принял свою первую жертву: раненый помощник наводчика Володя Галатов заполз в погребок и остался там навсегда. Немецкие «тигры» разметали снарядами наш орудийный окоп, крыша погребка обрушилась и похоронила артиллериста Галатова.

И подносчика снарядов Диму Веселкина вижу, как наяву: высокого, нескладного, в распахнутой шинели. Вот тут, в уголке окопа, укрывшись за щитом орудия, сидел обычно Веселкин на пустом снарядном ящике и... читал письма. Чуть ли не каждый день получал он их от матери из Москвы, читал и перечитывал, и товарищи никогда не мешали ему размышлять над письмами.

По этим письмам мы и опознали его потом, через две недели, когда вновь вернулись на свои разгромленные фашистскими танками позиции. Жаркое июльское солнце сделало тела погибших неузнаваемыми. У трупа Веселкина валялись выцветшие тетрадные листки и помятые конверты. «Дима, береги себя». Так заканчивалось почти каждое материнское письмо к сыну. Но Дима не уберегся, мы зарыли его останки в братской могиле вместе с другими погибшими батарейцами.

И ржаное поле встает перед моими глазами: бурое, с начинавшими созревать тонкими и длинными колосьями. На этом поле скрывались наши раненые солдаты. А оно было начинено противотанковыми минами. Потом мы видели, как тяжелый и грозный «тигр», пытавшийся на скорости прорваться к нам и раздавить батарею, вдруг окутался огнем и дымом и неловко осел на левую гусеницу. Мина сработала вовремя и спасла артиллеристов от гибели. На батарее к тому времени оставалось всего два орудия, да и

уже не могли стрелять. У одного был землей засыпан ствол, а у другого разбито правое подрессоривание и колесо.

Почему-то с особой ясностью вспоминаются веселенькие белые домики Андреевского хутора. Каким-то образом они уцелели даже после ожесточенной артиллерийской подготовки фашистов. А стояли на виду, на крутом взгорье Макарова Яра. Когда уже стволы двух уцелевших пушек нашей батареи были повернуты в тыл, в направлении этих домов, в хутор Андреевский заскочила немецкая штабная машина в сопровождении мотоциклистов. Мы видели, как из машины вышли офицеры, раскрыли планшеты и что-то стали уточнять по карте. Взбудораженные артиллеристы открыли беспорядочную стрельбу. Офицеры вскочили в кабину, и машина рванулась прочь из хутора по ухабистой пыльной дороге.

Мы стреляли беглым огнем, но машина каким-то чудом вырвалась. Над кузовом машины трепыхался иссеченный осколками брезент, наверняка там были убитые и раненые, но шофер оставался жив и спасся. А уже через час в балке Макаров Яр стали густо рваться тяжелые мины вражеского шестиствольного миномета. Они скрежетали, меча раскаленные осколки, и зеленая, густая трава вокруг воронок дымилась и тлела. А к белым домикам Андреевского хутора выдвигались танки. Для батарейцев наступали последние драматические часы многодневного тяжелого боя.

Через позицию батареи ползли раненые. Они уже не умещались в ходах сообщения и рассредоточивались вокруг окопов, укрываясь в дымящихся воронках от снарядов. У кого хватало сил, пробирались дальше, в спасительную рожь, которую по странной случайности пощадил огонь. Позже мы нашли там много трупов, опознанных и неопознанных, и захоронили их в братской могиле на небольшом плоском холме. Нашли многие документы, среди которых оказалась и красноармейская книжка связиста Федора Козлова. Видимо, перед смерью он спрятал ее в книжечку своих стихов, и она чудом сохранилась. Федора сочли погибшим, о чем, после долгих колебаний, командир батареи старший лейтенант Федор Федорович Черепанов и сообщил родителям артиллериста. Вот это письмо:

«Здравствуйте, родители Козлова Федора Андриановича!

Примите от боевых фронтовиков привет. Мы, фронтовики, с глубокой скорбью сообщаем Вам, что Ваш сын, Козлов Федор Андрианович, при выполнении боевого задания пал смертью храбрых.

Да! Жаль Федора, мужественного, бесстрашного воина. Мы отомстим жестоко за смерть нашего боевого товарища, и клянемся Вам бить еще больше немцев, бить беспощадно, бить на каждом шагу.

Ваш сын умер, но не отступил от занятого рубежа.

Слава храброму воину-гвардейцу!

Командир 4 батареи гвар. Ст. лей-т: *Ф. Черепанов*

Бойцы: *Толстоноженко, Грищенко.*

Если семья нуждается в помощи, пишите по адресу:

Полевая почта 03153

Черепанову Федору Федоровичу.

16 июля 1943 г.»

Это было шестнадцатого июля, а через двенадцать дней, в Алма-Ату, где жили родители Федора Козлова, было направлено официальное извещение. Оно сохранилось и я привожу его здесь.

ИЗВЕЩЕНИЕ

НКО СССР, Полевая почта 03153, 28 июля 1943.

Ваш сын, гвардии красноармеец Козлов Федор Андрианович, (адрес: Алма-Ата I, Пятилетка Турксиба, улица Урицкого 3. Козлов Андриан Михайлович) в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был убит в бою с немецкими захватчиками 9. 07. 45., похоронен юго-западнее х. Андреевского 500 м у г. Белгорода.

Настоящее Извещение является документом для возбуждени ходатайства о пенсии.

Начальник штаба
гвардии капитан

Козлов

Не знал тогда капитан Козлов, однофамилец гвардии красноармейца, что он подписывает «похоронку» живому человеку, как не знали об этом и его друзья — артиллеристы. Но бумаги пришли в Алма-Ату и жестоким горем поразили сердце Андриана Михайловича — отца Федора. Первым его стремлением было скрыть эту страшную весть от жены. Больная, слабая женщина просто не выдержала бы. Андриан Михайлович, таясь от жены, спрятал горестные бумаги в стеклянную банку и закопал их в темном углу дровяного сарая. Не сказал он о них жене и тогда, когда получил неожиданное письмо от сына из госпиталя. Кто знает, как сложатся дела у него дальше. Но вот Федор прибыл домой, уволенный «по чистой» из-за тяжелейшего ранения в живот. И тогда банка была извлечена из тайника. Федор Козлов хранит эти документы до сих пор. О многом напоминают они ему и теперь, через десятки лет. Федор

Андрианович сейчас учительствует в Киргизии. Старый солдат остался в строю.

Пока в далекой тыловой Алма-Ате развертывались только что упомянутые события, четвертая батарея продолжала громить фашистов. Позади остались Белгород и Северный Донец. В бою у села Веселое много пролилось крови, ибо лежало оно на пути в Харьков, и фашисты упорно сопротивлялись на каждом рубеже. Здесь во время боя с контратакующими танками врага погиб капитан Козлов, тот самый, что совсем недавно подписывал «похоронки» павшим бойцам второго артиллерийского дивизиона. Осколки снаряда прошили его широкий командирский ремень и глубоко вошли в живот. Артиллерийским взводом, где в тот час находился капитан Козлов, командовал лейтенант Радченко.

...Я снова смотрю на фотографическую копию карты и вспоминаю, что она принадлежала именно этому лейтенанту. Через тридцать лет о ней случайно узнал командир батареи Черепанов и снял с нее копию: лейтенант Радченко ни за что не захотел расстаться с оригиналом. И это вполне понятно: карта хранит воспоминания о начале его нелегкой фронтовой судьбы.

ЛЕЙТЕНАНТ РАДЧЕНКО

> «Сводки Информбюро неизменно гласили: «На фронте ничего существенного не произошло». Но это было предгрозовое затишье. 2 июля Ставка предупредила командующих фронтами в районе Курского выступа о том, что, по имеющимся сведениям, противник может перейти в наступление 3—6 июля, и потребовала усилить разведку и наблюдение, держать войска в полной готовности к отражению возможных ударов»[1].

Радченко пришел на батарею летним июньским днем с туго набитым солдатским мешком за плечами. Стояла жара, Макаров Яр курился тяжелой болотной испариной, и было странно видеть человека в тяжелой солдатской шинели, поднимающегося к нам по травянистому склону. Шинель туго стянута ремнем, пилотка сдвинута на густые черные брови, с которых время от времени падают крупные

[1] «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945». Т. 3, стр. 258.

капли пота и скатываются по припухшим, румяным щекам лейтенанта. Стоявший на посту у третьего орудия Веселкин с минуту внимательно рассматривал тяжело бредущего человека, потом вдруг рассмеялся и неожиданно строго скомандовал:

— Стой! Куда прешься? Не видишь — позиция.

— Прошу называть меня на «вы»,—обиделся лейтенант, однако остановился перед солдатом с винтовкой.— Мне эта позиция и нужна. Доложи командиру батареи: лейтенант Радченко прибыл из резерва.

— Вон оно что...— Веселкин опять засмеялся.— То-то ты и навьючен, как обозная лошадь. Присаживайся, однако, отдыхай. Вишь, как запарился, будто бы ехали на тебе.

— Прошу доложить,— срывающимся голосом выкрикнул лейтенант, и темные, влажные глаза его заискрились. Казалось, он готов заплакать от обиды и усталости.— Нечего зря болтать.

— Это можно. Только старший лейтенант Черепанов далековато отсюда. А лейтенанта Привезенцева позову. Он тоже недавно из резерва прибыл. Лихой парень, сталинградец...

Лейтенант Привезенцев не стал вступать в лишние разговоры с прибывшим, попросил у него документы и увел Радченко в свою землянку. Веселкину очень хотелось бы побыть сейчас с ними, послушать, о чем они говорят, эти два молодых лейтенанта, но с поста уйти нельзя. Привезенцев—человек бывалый. В плену побывать успел. Правда, недолго, всего двое суток, но готов рассказывать о плене без конца и при этом кипятится, нервничает и волнуется. В плен его захватили румыны, во время контрнаступления наших войск под Сталинградом.

— Ох и пакостный народец, эти горе-вояки,— возмущался лейтенант.— И барахольщики несусветные. Валенки с меня стащили, пачку папирос отобрали. Даже карандашом не побрезговали. Тьфу!

Но румыны сами поспешно отступали и на русских пленных не обращали особого внимания. Лейтенант собрал вокруг себя десятка два раненых бойцов и предложил им держаться кучно: того и гляди — пристрелят со зла. На вторые сутки ночью загорелся ветхий сарай, где ночевали пленные, в селе поднялась стрельба. Привезенцев первым выскочил из сарая и тут же лицом к лицу столкнулся с нашими солдатами. Не долго думая, подобрал брошенный немецкий автомат и побежал к центру села. Там, в большом кирпичном здании школы оборонялись застигнутые врас-

плох румыны. В этом бою Привезенцев был ранен и попал в госпиталь. Позже он узнал, что в школе был румыский штаб и наши солдаты взяли в плен двух румынских генералов.

— Вот бы они мне попались тогда,— хищно поблескивая глазами, вспоминал лейтенант,— отвел бы душу.

В четвертой батарее лейтенант Привезенцев прижился быстро, солдаты, особенно молодые, уважали его. А вот лейтенант Радченко долгое время был чужаком. Был он молод, трудно сходился с фронтовиками. Все это происходило от того, что он не нюхал пороха, хотя в артиллерийском деле разбирался неплохо. Особенно его недолюбливал старший сержант Макаров, командир третьего орудия. Назначенный командиром второго огневого взвода, Радченко поселился в землянке вместе с расчетом Макарова и волей-неволей должен был выслушивать многозначительные и едкие намеки в свой адрес. Прикрикнуть он на него не мог, так как сержант был много старше и пользовался в батарее большим авторитетом.

— А скажи, лейтенант,— такими словами начинал обычно свои ежевечерние беседы в землянке сержант Макаров,— вот ты из Средней Азии сюда добирался, всю страну, почитай, проехал. Как там, в тылу, крепко верят в нашу победу?

— Г-м,— смущается Радченко,— как-то даже странно слышать подобный вопрос.

— Чего же здесь странного? — Макаров пожимает плечами и морщится,— фронт тылом крепок. Мы на Северный Донец от Сталинграда пришли и ни одного населенного пункта целым не видели. Все разбито. Наши войска Харьков брали, а потом снова на Донце оказались. Кто же работает на нас в тылу? Хватит ли у людей силенок, чтобы снабдить фронт?

— Все работают,— убежденно говорит лейтенант.— Все, кто может. По железным дорогам эшелоны идут. И все с танками, с пушками.

— А с продуктами как? — вмешивается в разговор Веселкин.— Мне мама пишет, что голодно в Москве.

— Ну, судя по розовым щекам лейтенанта — с продуктами хорошо.— Макаров улыбается, но тут же снова хмурится и недовольно крякает.

— Мы по девятой, по курсантской норме питались,— Радченко опускает глаза,— и масло нам давали, и сахар...

— Вот, вот,— оживляется Макаров,— и масло, и сахар. А дети, должно быть, этого не видят. Как им расти, как

сил набираться? Народ все нам, воинам, отдает. А мы не очень-то воюем. Третий месяц копаемся в земле и конца этому нет. Немцы опять в наступление собираются.

— Мы наступать будем,— говорит Радченко,— много я об этом разговоров по дороге слышал. Да что там разговоры? Столько к фронту войск идет — ужас!

Макаров слушает, покачивает головой и то светлеет, то хмурится. Войска, конечно, идут. Это он и сам знает. Как ночь настает — Макаров Яр гудит и содрогается. К утру, однако, все затихает. Что может знать Радченко? Под Сталинградом вон сколько войск было, а все-таки в город врага пустили. Великих трудов стоило выбить их оттуда. О нашем наступлении говорит и Привезенцев. Этот всегда и все знает. И когда ему говорят, что фашисты подтягивают к Белгороду огромные массы войск, он презрительно замечает: «Чепуха! Геббельсовская пропаганда...» Геройски ведет себя парень, так и рвется в бой.

Надо сказать, что Привезенцев на деле доказал свое геройство. Когда гитлеровцы пошли в наступление, он словно бы переродился. Бегал по батарее, подбадривал людей, иной раз и сам становился к орудию. Стреляет азартно, радуется каждому удачному попаданию. Особенно любит палить по вражеским танкам. Просто загорается весь. Танки его и погубили. Батарейные разведчики обнаружили их в Ближней Игуменке. Они ползали у стен полуразрушенной церкви, неожиданно выскакивали к Макарову Яру и осыпали болванками нашу батарею. В один из таких моментов за щитом первого орудия, у которого стоял Привезенцев, разорвался вражеский снаряд и десятки осколков впились в спину лейтенанта. Он охнул, покачнулся, упал на спину, но быстро развернулся на живот и сполз в траншею.

В этот же час смерть едва не унесла и лейтенанта Радченко. По прежнему штатному расписанию батарее придавались ручной пулемет и противотанковое ружье. Но так как в батарее и без того людей не хватало и некому было обслуживать пулемет, то его передали в пехоту. Противотанковое ружье почему-то осталось на батарее и обязанности бронебойщиков в случае надобности возлагались на свободных в то время артиллеристов. На этот раз в зигзагообразной щели, вырытой батарейцами для укрытия от бомбежки, поместился с противотанковым ружьем повозочный Зацепин. Когда танки двинулись от Ближней Игуменки, вторым номером у Зацепина оказался... Радченко. Долго им стрелять не пришлось: осколочный снаряд упал

возле бронебойщиков, искалеченное ружье отбросило взрывом далеко в сторону, а горячий осколок пронзил грудь Зацепина. Лейтенант Радченко чудом остался цел. Оглушенный взрывом и напуганный кровью, которую он впервые увидел на фронте, юный Радченко опрометью выскочил из щели и с паническими криками побежал по расположению батареи.

Встретившийся лейтенанту санинструктор Калашников, спешивший к раненому от только что перевязанного им Привезенцева, схватил Радченко за шиворот и с силой втолкнул его в блиндаж. При этом он не удержался от крепкого солдатского словечка.

— Присылают на нашу голову вот таких...— прорычал страшина Калашников,— впору хоть валерьянкой запасайся.

Вражеские танки скрылись так же неожиданно, как и появились, по батарее еще стлался дым от выстрелов и разрывов, но все уже постепенно входило в норму. Подносчики снарядов убирали гильзы и разбитые снарядные ящики. Гильз было много, они блестели на солнце и демаскировали батарею.

— Вали их в щель,— визгливым голосом подгонял бойцов Макаров,— шевелись быстрее.

Гильзы свалили и прикрыли их ящиками, над орудиями натянули маскировочные сети, порванные и закопченные. В кустах загудел грузовик. Туда понесли на руках Зацепина и Привезенцева, подняли их в кузов, уложили на кучи зеленой травы.

— Трогай! — скомандовал старший на батарее Донов и, увидев столпившихся в кустах артиллеристов, в ярости закричал: — По местам! Все по местам!

Артиллеристов как ветром сдуло. Это была привычная и обязательная для них команда. Бывало, солдаты спят под обстрелом, не обращая никакого внимания на близкие разрывы снарядов, но стоит только прозвучать команде: «По местам!», как все срываются с земляных нар и бегут к орудиям. Эта команда, казалось, была способна поднять даже мертвых. Так случилось и на этот раз. Артиллеристы исчезли, а в кустах остался только лейтенант Радченко. Он стоял, низко опустив голову, и плакал. Плакал беззвучно, ему не хватало воздуха, он задыхался. Донов рассвирепел.

— Это ты погубил человека! — кричал он на безвольно поникшего Радченко.— За каким чертом вас понесло в необорудованный окоп? И какой дурак стреляет из броне-

бойки на километровую дистанцию? Этому вас, что ли, учили в тылу? Вояки...

Радченко молчал, словно и не слышал яростной ругани старшего на батарее. Ему было все безразлично: и снаряды, снова падавшие вокруг, и Донов, и даже он сам. Он никак не мог прийти в себя от пережитого. Старший на батарее, наконец, понял, что его крепкие слова не достигают цели, и его суровое солдатское сердце смягчилось. Ведь перед ним неопытный, необстрелянный юноша, почти мальчик, еще не видевший в своей жизни ни горя, ни смерти, ни, тем более, такого фронтового ада, который вот уже двое суток в грохоте и пламени стоит на Белгородской земле.

— Ладно, не раскисай,— примирительно и даже ласково проговорил Донов.— То ли еще нас ожидает...

Лейтенант Радченко молча отвернулся, вытер грязным рукавом гимнастерки заплаканное лицо, постоял в нерешительности еще немного и неожиданно скорым шагом поспешил к третьему орудию.

Все это случилось позже, седьмого июля, а за две-три недели до памятных для Радченко, должно быть, на всю жизнь событий, он то сближался, то расходился с Привезенцевым, спорил с ним и мирился. Были они разными по характеру и темпераменту. Привезенцев — не в меру горячий, вспыльчивый и себялюбивый, мало считался с чьим бы то ни было мнением. Тем более он не признавал мнений молодого Радченко и даже считал, что у того вообще не может быть никаких мнений. Тот же в свою очередь думал, что Привезенцев зазнается, кичится своими боевыми заслугами. На этой почве у них довольно часто возникали различные недоразумения.

— Вот вы говорите, что под Сталинградом показали себя с самой лучшей стороны. А где же награды? — Так не однажды спрашивал Радченко у Привезенцева и противопоставлял ему командира батареи:— Вон у Черепанова — вся грудь, как говорится, в крестах.

— Это ни о чем не говорит,— сердито отвечал Привезенцев.— Потом, я воюю не ради наград. Если бы мы все поменьше думали об орденах, то давно бы остановили немцев.

— И не отогнали бы их к Донцу,— ловил на слове спорщика деликатный, но настойчивый Радченко.— Так, что ли?

— Не совсем так,— возражал Привезенцев и тут же взрывался: — И что ты путаешь божий дар с яичницей? Это вовсе не одно и то же.

— Нет,— не сдавался Радченко,— награда воодушев-

ляет солдата и в обороне, и в наступлении. И солдатские подвиги всегда венчает награда. Храброму бойцу во все времена почет и слава.

— Что ты понимаешь в храбрости? — Привезенцев все больше сердился и переходил на личности.— Поглядим, как ты будешь вести себя, когда немец прижмет. Живо к маме запросишься.

На этом обычно спор прекращался. Радченко уходил к себе в землянку, а Привезенцев шел «распекать» орудийные расчеты. Правда, здесь не все у него проходило гладко. Артиллеристы — народ дружный, всегда умеют постоять за себя. Да и старший на батарее Донов не любил крикунов и частенько осаживал лейтенанта, хотя и уважал его за хорошее знание артиллерийского дела, за кипучую энергию и безотказность в боевой работе. Привезенцев, однако, был отходчив и, как человек веселого и независимого характера, не мог долго оставаться сердитым и замкнутым. Уже на другой день он опять появлялся в землянке Макарова и снова задирал Радченко.

Как ни странно, настоящую дружескую поддержку лейтенант Радченко получил со стороны хмурого и чем-то всегда неудовлетворенного командира орудия Макарова.

— Ты, лейтенант,— сказал ему однажды Макаров,— особенно не расстраивайся. И нам с вами есть чем похвалиться. Наш взвод и по тревоге первым открывает огонь, и ночные стрельбы ведет не хуже других. А серьезное дело приспеет — тоже не сплошаем. Можете на нас положиться. Солдатом не сразу становятся.

Лейтенант Радченко, разумеется, был бесконечно благодарен Макарову. Он перестал чуждаться его и как-то ближе стал к артиллеристам своего взвода. Да и тревожное время способствовало этому. Бойцы жили ожиданием каких-то важных и очень серьезных событий. Ночи проходили в рытье траншей и окопов, в пополнении батареи боеприпасами. Их подвозили все чаще и чаще. Вначале батарея имела двести пятьдесят снарядов на ствол, а позже до шестисот. Батарея вела интенсивную пристрелку все новых и новых целей, появившихся в обороне противника. С наблюдательного пункта, расположенного у Старого города, каждый день поступали самые различные распоряжения и указания. Батарея жила в огромном напряжении. Приближалась великая битва на Курской дуге.

Однажды лейтенант Радченко вернулся из штаба дивизиона и торжественно объявил Макарову:

— Ну, Павел Михайлович, держи теперь ухо востро.

Есть такое мнение нашего командования: если фашисты не нападут на нас четвертого-пятого июля, в наступление пойдем мы. Хватит врагу на Донце сидеть. Погоним его изо всех сил.

Гитлеровцы перешли в наступление утром пятого июля.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

В эту ночь почти никто не спал. Ждали с часу на час, с минуты на минуту тревожной команды: «По местам!» Каждый батареец хорошо знал, что ему следует делать по этой команде. В считанные секунды расчет достигает орудийного окопа, еще секунды, и на бруствер летит маскировочная сетка. Требуется всего две-три минуты, чтобы выкатить орудие из укрытия, развести станины и утопить сошники в приготовленные углубления. Наводчик приникает к панораме, заряжающий вгоняет снаряд в казенник. Орудие к стрельбе готово. Уже позади окопов выстроились командиры орудий и чутким ухом ловят команды старшего на батарее и командиров взводов.

— Огонь! — Вместе с резкими взмахами рук доносятся дружные голоса командиров, и орудия палят по противнику.

Однако такой команды батарейцы не слышали уже целую неделю. Был отдан строгий приказ затаиться, не отвечать на огонь противника и ничем не обнаруживать себя. И без надобности не выходить из траншей и землянок. Только ранним утром, еще до солнца, два-три человека из расчета появлялись на короткое время у орудийного окопа, закидывали свежей травой брустверы и подчищали ходы сообщения. Потом все замирало до темноты. Тихо менялись часовые да, не смыкая глаз, вели наблюдения разведчики. Даже телефонисты, привыкшие кричать в телефоны что есть силы, переговаривались чуть ли не шепотом.

А немцы активничали и, как казалось артиллеристам, даже нервничали. С утра до вечера по ту сторону Донца, над Харьковской дорогой клубилась густая, желтая пыль: к передовой беспрерывно шли машины. Участились ожесточенные артналеты, вражеские самолеты, что называется, «утюжили» наши окопы. Летали и разведчики, и бомбардировщики, и истребители, и вездесущая «рама». Нас бомбили, обстреливали из пулеметов. А мы, затаившись, молчали.

Ночами вокруг батареи копошились дивизионные саперы. Один из них, командир отделения Николай Красюков, иногда наведывался в землянку Макарова. То под утро, то

поздно вечером. Он проходил к глиняному столику, усаживался на краю нар и тяжело вздыхал. Видно было, что сапер измотался и смертельно устал. Привалившись к сырой стене землянки, он с десяток минут подремывал, кряхтя и постанывая. Его никто не тревожил.

— Пусть отдышится,— тихо говорил обычно Макаров и, досадливо махнув рукой, добавлял: — ох и чертова же работа у них: все время рядом со смертью ходят.

Из рассказов Макарова мы знали, что сержант Красюков особо отличился в наступлении под Сталинградом. Со своим отделением обезвредил тысячи мин. Холода тогда стояли страшные. Сапер был дважды ранен, обморозил руки и ноги, но остался в строю и первым с разведчиками вышел к реке Червленная. У него еще хватило сил подорвать со своими ребятами мощный вражеский дот.

— Что, Коля,— говорит Макаров, когда Красюков открывает глаза, неожиданно спохватывается и собирается покинуть землянку,— тяжко приходится?

— Ага,— Крсюков бурчит что-то себе под нос и пробирается к выходу. Но Макаров перехватывает его, усаживает рядом с собой.

— Да ты посиди еще, отдохни. Солдатскую работу, будь она неладна, никогда не переделаешь. Расскажи лучше, что вы там вокруг нас нагородили.

— Да уж нагородили,— Красюков достает из кармана пачку каких-то бумаг.— И вокруг вас, и вокруг других батарей. Вот тут у меня схемы... До самого Донца — сплошные минные поля. Ни один танк не пройдет. И для пехоты сюрпризы наготовили.

— И нам, значит, тоже, в случае чего, не выбраться,— спрашивает Макаров и хмуро глядит на сапера.

— Если пешим порядком — можно. Противотанковая мина выдерживает вес до шестидесяти килограммов. Но если обеими ногами на бегу хлопнешься — берегись: догола разденет, будешь валяться, в чем мать родила...

— Эх ты, страсти какие,— охает Веселкин и тут же краснеет под суровым взглядом Макарова.

— А ты не бегай,— смеется Красюков,— вот и все обойдется. Танк от мины, может быть, только гусеницу потеряет, а из пулемета смажет тебя, если побежишь, как баран, по полю. И наших мин не понадобится. Понял? Стой у пушки — и пали на здоровье. Так оно надежнее будет.

— Бежать мы и не думаем,— смущенно прикашливает Макаров.— Только неужели танки до самой батареи дойдут? Ведь до нас от Донца — четыре километра.

— Боюсь, что дойдут, Паша. Возможно, с тыла на вас попрут. Танков у фашистов — гибель, на всех хватит.

— Пойдут все-таки? — Макаров качает головой.— А о чем же наши думают? Теперь у нас тут вóйска — не счесть. Надавить на фашистов, и дух из них вон.

— А это, как говорит мой тезка Коля Егоров, дело не нашей компетенции,— со смехом проговорил Красюков, потом, уже серьезно, добавил: — по всему видно, что тут нам будет не легче, чем под Сталинградом. Всерьез фашисты наступать готовятся.

Сапер уходит, и мы надолго задумываемся. Хоть бы скорее началось: тяжело жить в неведении. Первым нарушает молчание Макаров.

— Вот что, братцы, — говорит он.— О чем думает командование — не наша забота. На то они и поставлены: думать. А нам свои дела справлять надо.

— Ты, Вдовин,— обращается ко мне Макаров,— и ты, Веселкин, засиделись, вижу, прогуляться вам следует.

— Куда это? — по своему обыкновению спрашивает Веселкин. Он никак не привыкнет вести себя по-военному и это раздражает Макарова.

— Не кудыкай. Твое дело внимаетльно выслушать приказание и четко ответить: есть! Ясно?

— Ясно! Есть! — громко кричит Веселкин и вскакивает с нар.

— Пойдете к ночной точке наводки. Захватите керосин — лампу заправить. Посмотрите там, что и как, лампу зажгите. Чую, этой ночью она нам понадобится. Собирайтесь и шагайте.

...Лежа в эту ночь в землянке и безуспешно пытаясь заснуть, я в который раз вспоминал свой поход к ночной точке наводки. Это, действительно, был настоящий поход. Идти по прямой, через хутор Андреевский, нельзя: пространство открытое и почти беспрерывно обстреливается. Точка наводки — высокий шест с большим пучком сена наверху и застекленным фонарем под ним — стояла на холме за балкой, спускающейся в Макаров Яр, и хорошо была видна с батареи. Ночами она светилась ровным красным огоньком, и наводчики четвертой батареи легко ловили ее в свои панорамы. Обычно фонарь зажигали поздно, но сегодня Макаров решил засветить его днем. Вот и пришлось мне с Веселкиным побродить по оврагам и балкам.

Вышли из землянки, осторожно спустились по крутому склону на дно Макарова Яра. Рядом вилась тропа, по ко-

торой батарейцы носили на себе ящики со снарядами: машины на батарею не поднимались. Дальше этого места я, как наводчик, с батареи не отлучался уже несколько дней. Косили траву для маскировки, рубили молодые дубки в дальней роще для наката и оборудования ложных позиций другие орудийные номера. Наводчик же обязан неотлучно находиться у своей пушки. Поэтому-то я мало знал, что делается даже в самом ближнем нашем тылу. Все, что окружало нас: рощи, овраги, дороги, ручьи и реки, были для наводчика только ориентирами и целями, и ничем иным.

Лето стояло жаркое, но трава в балке ярко зеленела, кое-где в укромных местах пробивались роднички. Над ними вились бабочки и стрекозы. Просто сельская идиллия. Но за первым же поворотом нас окликнул строгий голос часового. В склон оврага, насколько хватает глаз, вкопаны «катюши». Их здесь — десятки. Видны только закрытые брезентом и закиданные ветками дубняка рамы. Поворачиваем влево, на хутор Постников. И тут нам не дают пройти дальше: в овраге стоят тяжелые, стапятидесятидвухмиллиметровые орудия. Это для нас неожиданная новость. Или их здесь раньше не было, или они не стреляют до времени.

Обходим тяжелые батареи стороной, нам часто попадаются военные, одетые в форму артиллеристов, танкистов и даже летчиков. А эти-то здесь зачем? Ага, понятно: группы наведения и оповещения с земли. Не хватало еще тут аэродрома: будут бомбить фашисты — всей округе достанется. Дальше дубовой рощи нас и вовсе не пустили. Подались назад, свернули вправо и по неглубокому оврагу пошли к своей точке наводки. В овраге — царство поваров и хозяйственников. По самые трубы врыты в землю полевые кухни, под земляными навесами укрыты повозки и кони. Тут встречаем своих: ездового Немилостливого и батарейного повара Еренина.

— Откуда вас бог принес? — Еренин улыбается, искренне удивленный нашим появлением.

— Черепанов тебя проверить велел,— стараясь казаться серьезным, говорит Веселкин,— не вылавливаешь ли ты мясо из солдатского котла.

— Где ты видел то мясо? — спрашивает ездовой, вынимает коротенькую трубку изо рта и сплевывает в пыльную траву. Говорит он с сильным украинским акцентом и, как все «хохлы», язвительно и обидчиво.— Хиба ж це мясо? Концентрат голимый. Даже тушенки нема, хай животы скрутить у союзников от цеей тушенки.

— Ты чего расплевался? — сердито обрывает повар ез-

дового.— Здесь тебе солдатская кухня, а не какой-то там ресторан первого разряда. Тушенки ему захотелось. Все лето лодыря гоняешь, и на концентраты не наработал.

Ездовой махнул рукой, опять сплюнул себе под ноги, растер плевок старым, стоптанным сапогом и, попыхивая трубочкой, направился под навес, к лошадям... Повар, конечно, зря упрекал Немилостливого в нерадивости. Кони у него всегда были справные, да и работал он немало: подвозил на батарею бревна, доставлял обеды, ездил за продуктами. Но такова уж традиция. И повар, и ездовой были «тыловиками», непосредственно не сталкивались с врагом и поэтому даже чувствовали некоторую вину перед артиллеристами, стоявшими на огневых позициях. Хотя какой уж тут тыл? Их в любое время мог накрыть снаряд, а вражеские бомбежки угрожали им в первую очередь.

«Заправились» у повара и подались дальше. Точка наводки оказалась в полном порядке. Сделали, что нужно, но возвращаться сразу не хотелось. Присели в высокой траве, огляделись. Какая же красота кругом. Просто обидно думать о войне, о смерти. Впереди, над Донцом, тянется легкая дымка, то открывая, то завешивая высокие меловые обрывы. На них — лес, густой и зеленый. Не там ли гнездятся знаменитые курские соловьи. Распугали их, пожалуй, оглушили бомбами и снарядами, не до соловьиных трелей теперь... Четвертая батарея лежит, как на ладони. Мы угадываем контуры замаскированных окопов, видим, кажется, даже свою землянку, хотя она скрыта от нас кустарником.

Что-то там поделывает Макаров? Беседует, должно быть, с лейтенантом Радченко или добродушно переругивается с Привезенцевым. Он держит себя с ним на равных: оба побывали под Сталинградом и знают цену друг другу. Им, как говорится, и сам черт не брат. А вот каково новичкам? Перескокову, Козлову, Михайлову... Эти еще и живого немца в глаза не видели. Кроме пленных, конечно. Но это не в счет. Ты в бою его одолей, победи, возьми в плен — тогда другое дело. Но такого случая у новичков еще не было. Правда, они стреляли по врагу, знают, что и как им делать, в случае чего, а все-таки тревожно на сердце, очень тревожно...

Команда «По местам» ветром выносит артиллеристов из землянки. Вместе со всеми к орудию бегу и я. Безостановочно стучит сердце и отчего-то прерывается дыхание. Ловлю в панораму точку наводки, жду. Снаряд уже в стволе, рядом стоит заряжающий Екатеринин и держит в ру-

ках второй. Под ногами у него раскрытый ящик, за ним — еще несколько, стоящих один на одном. И когда только успели? Поднимаю голову и вижу над собой траурно-черное низкое небо, усеянное крупными, яркими звездами. Из оврага плывет густая темнота и тяжело поднимается вверх. А впереди, у Донца все расцвечено ракетами, небо перекрещивают трассирующие стрелы пулеметных очередей. Но выстрелов не слышно: далеко.

Вдруг из-за моей спины вырывается пламя и вслед за ним проносится прерывистый визг реактивных снарядов. Это —«катюша». Ловлю команды Макарова и раз за разом нажимаю на спуск. Пушка подпрыгивает, окоп окутывается пороховой гарью. Ни своих выстрелов, ни выстрелов соседей — не слышу. Только всполохи, то красные, то белые, и неприятная дрожь под ногами: то ли я сам дрожу, то ли земля качается подо мной. Между станинами уже полно пустых гильз. Машинально отбрасываю их ногой и снова стреляю. Вокруг неимоверный гул и стон, но слова команды угадываю четко: натренированное ухо безошибочно вылавливает их из хаоса звуков.

Так началась знаменитая контрартподготовка наших войск пятого июля. Десятки лет прошли, кажется, и забыть все это давно пора, ан нет, не забывается. Закроешь глаза и видишь, как поднимается перед тобой вздыбленная взрывами земля, как горит она и рассыпается горячими осколками, словно раскаленными углями гигантского лесного костра. Еще не закончилась наша канонада, а навстречу понеслись снаряды с вражеской стороны. Нельзя сказать, чтобы гитлеровские артиллеристы стреляли особенно метко, но они били по площадям, покрывая огнем каждый квадратный метр земли, и под их снаряды попала и четвертая батарея. Прозвучала команда: «В укрытия», и артиллеристы поспешили в ровики, в ходы сообщения, в снарядные погребки, туда, где кого застала команда и куда скорее можно было добраться.

Вражеская артподготовка продолжалась целый час, но в районе батареи снаряды рвались всего несколько минут. Огневой вал покатился дальше, оставив в наших окопах зияющие раны. Несколько снарядов разорвались в ходах сообщения, на брустверах перед орудиями, на крышах землянок. Горела трава и сухие пласты дерна, которым были покрыты брустверы окопов. Горел и кустарник позади батареи. Робко, осторожно выползали солдаты из своих убежищ, с ужасом оглядывались вокруг. Наводчики, конечно, поспешили к орудиям. Кажется, целы. Просто не верится.

Удивительно при таком-то обстреле. А когда старший по батарее через полчаса объявил, что во время артподготовки у нас не пострадал ни один человек, то удивился даже бывалый Макаров.

— Ну и ну!— сказал он, вытряхивая пыль из пилотки и покачивая головой с коротко подстриженными волосами.— Повезло пока, сильно повезло.

А снаряды с воем летели через батарею и рвались в глубине Макарова Яра. Уже угадывался восход солнца, но из-за дыма и гари вокруг стоял полумрак. В небе гудели самолеты и порою казалось, что это именно они закрывают солнце: так их было много. Они шли и к Донцу и от Донца и то и дело вспыхивали яркими кострами. Один наш Ил-2 низко пролетел над батареей, волоча за собой черный хвост дыма, в котором мотался полураскрытый купол парашюта, и упал за домиками Андреевского хутора. Упал так близко, что солдатам почудился глухой звук удара о землю запутавшегося в лямках парашюта летчика.

Опять раздалась команда: «По местам!» Командир батареи Черепанов передал с наблюдательного пункта новые цели. И снова загремели орудия. Артиллеристы не видели, что там делается впереди, на берегу Северного Донца, но по тому, как часто менял Черепанов прицелы, перенося огонь то вправо, то влево, догадывались, какой тяжелый бой ведет наша пехота. Несколько раз дальность прицела уменьшалась до трех километров, и тогда становилось совсем тревожно: значит, гитлеровцы уже обошли наблюдательный пункт командира батареи. Но раздумывать об этом не приходилось. Да и некогда было: орудия палили беспрерывно.

В полдень на батарее появился Федор Федорович Черепанов. Был он подтянут, подвижен, с доброй улыбкой на полном лице. За ним шли разведчики с неуклюжей стереотрубой. Командир батареи почти со всеми поздоровался за руку, всех похвалил, потом его обступили взводные, Донов и увели в землянку. Однако, пробыли там недолго. Связист Шуваткин опрометью бросился в кусты и через несколько минут из балки поднялась грузовая машина. В кабине «ЗИСа» сидел шофер первого орудийного расчета Гаврилко (его все в батарее звали Гаврилкой, переиначив фамилию солдата на имя).

— Которую тут цеплять? — приоткрыв дверцу и не вылезая из кабины, прокричал шофер.— Быстрее, не возитесь: сейчас «мессера» налетят или «ванюша» накроет.

«Ванюшей» солдаты называли немецкий шестистволь-

ный миномет. Стрелял он довольно кучно и его многопудовые мины были поистине страшны.

— Второе, товарищ старший лейтенант? — спросил у вышедшего из землянки Черепанова Шуваткин и, получив утвердительный ответ, засуетился.

Второе орудие быстро поставили на передки, прицепили к грузовику и он помчал его в сторону Донца. Через полчаса Гаврилко увез и другое орудие. С этой машиной уехали командир батареи, разведчики и связисты. Когда Гаврилко вернулся, его обступили артиллеристы и стали расспрашивать, куда и зачем он увез орудия.

— На танкоопасное направление,— по-уставному ответил он, а потом пояснил:— Командир полка приказал прикрыть Ближнюю Игуменку. Туда прорываются танки и немецкая пехота. С самого утра бой идет.

Как потом узнали батарейцы, и командир полка с орудиями первого дивизиона уже давно далеко от них. Дивизион перебросили к селам Севрюково и Ястребово для борьбы с прорвавшимися фашистскими танками. Там, в болотистой балке, нашли гибель отборные гитлеровские танковые полки. Позже эту балку назвали «Балкой смерти». Под огнем советских артиллеристов тяжелые «тигры» сворачивали с дороги и застревали в болоте. Их расстреливали, как на полигоне. Даже с позиций четвертой батареи были видны многочисленные черные столбы дыма, но тогда мы еще не догадывались, что это горят грозные «тигры».

Пришел лейтенант Радченко и приказал Макарову развернуть орудие в сторону Ближней Игуменки, нацелив ее на подступающие к селу густые яблоневые сады. Первое орудие, которым теперь распоряжался лейтенант Привезенцев, повернули на хутор Постников. До вечера сделали несколько пристрелочных выстрелов, но позвонил командир батареи и приказал прекратить огонь. Гитлеровцы, оказывается, повернули правее Игуменки. Батарейцы вздохнули свободнее. Рассеивался дым, оседала пороховая гарь, и со дна Макарова Яра потянуло легкой прохладой. За хутором все еще горел упавший утром «Ил». Метрах в тридцати от него, на всклокоченной траве светлым пятном белел шелк парашюта. Вблизи погибшего самолета никого не было.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

И в эту ночь отдыхали урывками. Никто не хотел уходить от орудий, хотя Макаров сердился и силой выгонял

солдат из окопов. Все старались держаться кучно, постоянно видеть и слышать друг друга. Какой там сон и отдых, когда беспрерывно ухают пушки и от горизонта до горизонта полыхают пожары. Они видны уже и в нашем тылу. Наверное, зажгли с воздуха, не иначе. Не может быть того, чтобы фашисты зашли так далеко. В темном небе беспокойно шарят бледные лучи прожекторов, буднично стрекочут трудяги — «кукурузники». Пролетая над нами, обязательно выстреливают в землю ракету: «свои, мол, не беспокойтесь».

К утру заряжающий Федченко засыпает прямо на станине, неловко прислонившись к холодному стальному щиту орудия. Дремлет, покачиваясь, и Веселкин, устроившись на полуразбитом снарядном ящике, откровенно позевывает и лейтенант Радченко. Один только Макаров держится крепко. Жалея лейтенанта, он отсылает его в землянку.

— Иди, лейтенант, сосни,— участливо советует Макаров,— утро, как говорится, мудренее вечера. Что нам вдвоем у пушки толочься?

— Вы-то вот сами не спите,— говорит лейтенант, огромной силой воли подавляя предательское желание немедленно грохнуться на снарядные ящики и тут же уснуть, забыться от вчерашнего кошмара.

— Я — что? — пожимает плечами Макаров.— Привык уже. Под Сталинградом по трое суток без сна, бывало, перебивались. Прикурнешь на десяток минут, и снова на ногах. А твое дело молодое, на зорьке только и поспать.

Но Радченко не поддается искушению. Как же он, командир, уйдет от орудия, когда бодрствуют другие. Не годится. Надо пересилить себя, выстоять.

Летние ночи коротки. Вон уже и небо сереет на востоке. Пройдет час-другой и наступит утро. Чтобы не свалиться от нахлынувшей усталости, Радченко мерно прохаживается по орудийному окопу, оглядывается по сторонам, вслушивается в беспорядочную ночную перестрелку. Немцы как всегда пускают ракеты, и по их вспышкам можно легко определить расположение противника. Однако ночь скрадывает расстояние и нельзя узнать наверняка, где находится враг: в трех километрах от тебя или совсем рядом.

— Товарищ сержант,— окликает Радченко Макарова,— как вы думаете: прорвут фашисты нашу оборону или нет?

— Думаю, что прорвут,— уверенно отвечает Макаров.— Но их остановят. Не мы, так другие. Даже и не сомневайтесь в этом.

— Я и не сомневаюсь,— говорит лейтенант.— Только вот отступать совестно. Перед народом нашим совестно. Лучше пусть убьют, чем плен или отступление. Даже страшно об этом подумать.

— А ты и не думай. Солдат о победе должен думать. Иначе какой же он солдат?

— Лейтенант Радченко, к телефону! — Голос связиста Козлова звучит неожиданно громко, и лейтенант испуганно вздрагивает.

— Тише ты, оглашенный! — строжится Макаров.— Фрицев перепугаешь.

Лейтенант, сгорбившись, торопливо идет к связистам. Минут через пять он возвращается и тяжело опускается на снарядный ящик. Некоторое время молчит, потом нехотя бросает:

— Из штаба дивизиона звонили. Дежурный.

— И что же? — настораживается Макаров.

— Насчет провокаций предупреждал. Немцы, говорит, на свои танки красные флажки прикрепляют, наши названия им дают. В общем, в заблуждение нас вводят.

— Ну, в этом мы разберемся,— бурчит Макаров.— Я фашистские танки со своими не спутаю. Слава богу, повидал их достаточно.

— А другое что не говорил? Об оперативной обстановке, например? — Макаров вопрошающе глянул в сумрачное лицо лейтенанта.

— Нет, не говорил.

— И ты не спросил?

— Не спросил.— Радченко виновато потупился.

— Плохо. Хотя, что может знать дежурный по дивизиону? Подождем утра, свяжемся с комбатом и все прояснится.

Но и утро не принесло ясности. Хуже того, прибывший на рассвете повар Еренин увеличил чувство нервозности своими путаными и мало понятными рассуждениями.

— Последний раз горячую пищу привожу,— разливая в котелки жиденький суп из концентратов, говорил Еренин.— Соседи мои уже все из оврага улепетнули. Танки, говорят, окружают. Приказ пришел убираться тылами, куда подальше.

— Чей приказ? Чего паникуешь? — рассердился Макаров.— Батарея на позициях, и ты должен быть рядом.

— Кто ж его знает, чей?— понурился повар.— Нам сказано, мы выполняем. Сухой паек вам привез: тушенку,

сухари, канистру водки... Чаю еще лишний термос. Может, пригодится.

Повар уехал и больше на батарее не появился: тылы полка, как потом выяснилось, поспешно эвакуировались. Но не пища занимала батарейцев в то утро. Всех тревожила неясность обстановки. Бой шел где-то южнее Игуменки, оттуда доносился беспрерывный рокот канонады и черный дым в той стороне стоял в полнеба. Только часам к десяти от Черепанова пришел приказ двум оставшимся орудиям батареи вести интенсивный огонь по Харьковской дороге. Макаров приказал развернуть орудие в сторону Донца.

Большой участок Харьковской дороги на том берегу Донца был в сфере огня батареи и постоянно находился под его воздействием. По дороге по-прежнему пылили десятки и сотни вражеских машин. Они мчались на большой скорости вслед своим наступающим войскам. Четвертая батарея периодически палила по этой дороге, но движение вражеских машин не прекращалось.

— Пустая трата снарядов,— решительно заявил Макаров.— Неизвестно, подвезут ли нам еще. Надо быть порасчетливее.

Радченко пытался возражать, настаивая на беспрекословном выполнении приказа командира батареи. Но тут появился Черепанов и сам отменил свой приказ. Пушки снова повернули в сторону Ближней Игуменки. По Макарову Яру опять начал бить шестиствольный миномет. Видимо, гитлеровцы надеялись нащупать «катюши», но там их давно уже не было. Теперь они вели огонь с опушки дальней дубовой рощи в нашем тылу. Из оврага у хутора Постников протяжно ухали наши тяжелые орудия. Их снаряды летели в дальние черные дымы, все выше и выше поднимавшиеся за Игуменкой.

Над нами неожиданно появились истребители «Фокке-Вульф-190А» и штурмовики «Хейнкель-129». Это были грозные новинки фашистской техники, как и танки «тигр», «пантера» и мощная самоходная установка «фердинанд». «Хейнкели» атаковали наши тяжелые орудия, и они тут же замолчали. Жутко было наблюдать за этой штурмовкой. «Хейнкели» опускались почти до самой земли, кидали бомбы и буквально выковыривали огневые точки. После их отлета над оврагом долго вилось пламя и клубился дым. Батарея больше не сделала ни одного выстрела. Да, «хейнкели» — это настоящие пираты.

Артиллеристы четвертой батареи знали, что им придется встретиться и с «тиграми», и с «пантерами», и с «ферди-

нандами». О «хейнкелях» они, разумеется, не думали, хотя тоже знали о их существовании. И, действительно, кому придет мысль швыряться бомбами вблизи своих войск? Но теперь они сами увидели, на что способны новые фашистские самолеты. Беда могла припожаловать с минуты на минуту. Батарея была размаскирована, «раздета» вражескими снарядами. Трава на брустверах обгорела, обнажились окопы, ходы сообщения и блиндажи. Орудия стояли на виду. Разворачивайся и бомби беспрепятственно. Однако беда миновала четвертую батарею, хотя «хейнкели» в этот день много раз низко проносились над нами.

— Братцы! — обрадованно закричал Веселкин, провожая взглядом ревущего «хейнкеля», — они ведь нас за своих принимают! Видят, что стволы наших пушек не в их сторону направлены...

Догадка Веселкина подтвердилась самым неожиданным образом: возвращавшийся с бомбежки советский штурмовик сбросил на нас небольшую бомбу и обстрелял из пулеметов. К счастью, все обошлось благополучно.

— Дела!— сказал Черепанов.— Это где же теперь наш передний край? За Игуменкой — наши, даже у Донца еще наши держатся. И мы на месте стоим, а «Илы» нас за гитлеровцев принимают. Довольно любопытно.

Черепанов отдал распоряжение быстро замаскировать орудия и укрыть людей в траншеях. Потом он собрал взводных, командиров орудий и наводчиков.

— Вот что, товарищи! — пояснил комбат.— Я сейчас же отправляюсь к тем двум орудиям. Связи у меня с вами, скорее всего, не будет. Так что действуйте, как говорится, на свой страх и риск. Соседи у вас надежные: впереди слева — шестая батарея, левее и сзади, у хутора Постников — пятая. Правда, все батареи ополовинены, часть пушек под Ястребово ушли, но фашистов встретить вам есть чем.

— Встретим, товарищ старший лейтенант,— задорно проговорил Привезенцев.— У меня почти триста снарядов на один ствол.

— Снаряды есть, грех обижаться,— подтвердил Макаров.— Даже шрапнель и картечь с самого Сталинграда возим. А бронебойных маловато. Пойдут танки — не отобьемся.

— Будем сражаться тем, что есть.— Черепанов внимательно оглядел своих артиллеристов и добавил: — Кройте фугасными, тоже дают эффект. У гитлеровцев много необстрелянных танкистов, и перед фугасными попятятся.

— Впрочем,— с минуту подумав, опять заговорил Чере-

панов,— танки через Макаров Яр не переберутся. Реальная опасность только со стороны пятой батареи. Но нас разделяет мощное минное поле. Думаю, что и здесь танки не пройдут. Словом, держаться можно и нужно. Главное, не поддаваться панике, не показывать врагу своей слабости.

...Толковые и обстоятельные наставления командира подняли дух батарейцев. Все вдруг увидели, что, действительно, танки не смогут преодолеть крутосклонный Макаров Яр и это успокаивало. Но опытный артиллерист и старый вояка Макаров хорошо знал, откуда может прийти опасность. Дело в том, что прямой выстрел у нашего орудия — всего пятьсот метров. А у «тигра»— тысяча восемьсот. Да и калибр снаряда много больше. Зачем «тиграм» лезть в Макаров Яр? Они спокойно могут расстреливать батарею с дальней дистанции. Однако вслух свои опасения Макаров высказывать не стал, не захотел смущать молодых артиллеристов. Мало ли как дело повернется? Может быть, им и не придется отражать танковые атаки. Хотя надежды на это, как думал Макаров, не было.

Во второй половине дня со стороны Северного Донца появились фашистские самолеты. Вначале партиями по пятьдесят-семьдесят машин шли одномоторные «юнкерсы», выше них огромные, тяжело нагруженные «хейнкели». Вокруг, впереди и сзади этой грозной армады вились десятки истребителей. В пределах видимости артиллеристы насчитали более четырехсот самолетов. Страшное, внушительное зрелище. Куда несут они свой многотонный, смертоносный груз? Ясно одно — самолеты идут прокладывать дорогу своим многочисленным танковым дивизиям. Тяжелый рокот моторов плыл к земле, на которой, казалось, замерло все живое.

— А где же наши? Почему нет наших истребителей? — наперебой спрашивали друг у друга артиллеристы.— И зениток нет. Идут, как к себе домой.

Через полчаса стервятники стали возвращаться. Шли они теперь разрозненными стаями и над ними сновали наши истребители. Самолеты свивались в клубок, стрекоча пушкам ни пулеметами, и в конце концов скрылись за дымным горизонтом.

Во второй половине дня наладили связь с дивизионом. Радченко приказал связистам перенести телефон в ход сообщения, поближе к третьему орудию. На вопрос Радченко, какие приказания будут батарее, все тот же дежурный ответил: «Будьте внимательны». Создавалось такое впечатление, что в штабе некому отдавать приказания. Пятая ба-

тарея изредка стреляла, ее снаряды высоко пролетали над нами. Несколько раз из одного орудия вела огонь и шестая, стодвадцатимиллиметровая батарея. Оттуда заглянул к нам, пробегая мимо, разведчик Геннадий Степанов.

— Что — там? Куда палите? — Спросил у разведчика Макаров.— Немцев-то хоть видите? Или так, в белый свет, как в копеечку?

— Фашистов кругом полно,— устало улыбаясь, сказал Степанов,—«на передке»* ими все траншеи завалены. А мы по Михайловскому элеватору бьем, наблюдателей сшибаем.

— Далековато. Не попасть, пожалуй,— усомнился Макаров.

— Попадем,— заверил Степанов.— Сам комбат Говорухин корректировку ведет. Лучший стрелок в полку. Или не знаешь?

Капитана Говорухина Макаров знал хорошо еще по Сибири, со времени формирования дивизии. Одно время даже был наводчиком в его батарее. Действительно, очень грамотный артиллерист. Такой все может, не подкачает. Так оно и вышло. Говорухин сбил с элеватора вражеских корректировщиков. На какое-то время им завладели наши наблюдатели. Но ненадолго. Фашистская стопятимиллиметровая батарея целый час била по башне элеватора, она обрушилась и стала никому не нужной: ни немецким, ни русским наблюдателям.

Этот долгий и тревожный день приберег к своему концу тяжелое и неприятное для артиллеристов происшествие. Уже вечерело, но было еще довольно светло, когда батарейцы увидели выползающий из балки танк. Полз он медленно, тяжело раскачиваясь на дребезжащих, расхлябанных гусеницах. Третье орудие изготовилось к бою. Макаров загнал в казенник фугасный снаряд и сам встал к прицелу. Танк повернулся боком и мы отчетливо увидели крупную белую надпись на его башне: «Дзержинец».

— Наш,— облегченно вздохнул Макаров и обернулся к лейтенанту Радченко.— Видишь, «Дзержинец».

— Это ничего не значит.— Вспомнив предупреждение о бдительности, лейтенант бросился к связистам, лихорадочно крутнул ручку телефона и громко стал кричать в трубку:— Алло! Это штаб дивизиона? К батарее приближается танк «Дзержинец». Что делать?

---

* «На передке»— так солдаты называли передовые позиции *(авт.)*.

— Это провокация. Огонь! — последовал немедленный приказ из штаба.

Радченко автоматически повторил команду «Огонь», но Макаров медлил у пушки. Тогда лейтенант подбежал к орудию и нажал на спуск. Под гусеницей танка взметнулся столб земли, раздался скрежет. «Дзержинец» остановился. Через минуту откинулась крышка люка на башне и показалась голова человека в танкистском шлеме. Он не спеша вылез из машины, за ним появились и два других танкиста. Артиллеристы опешили. Было совершенно ясно, что батарейцы подбили свой танк. Макаров и Радченко пошли к танкистам, те, увидев их, двинулись навстречу. Невеселой была эта встреча.

— Что же вы наделали? — горячился танкист в замасленном комбинезоне.— Можно сказать, из самого пекла вырвались и на своих черт нанес.

— Благодарите судьбу, что у нас ни одного снаряда не осталось. Так бы и полетела ваша пушчонка вверх колесами.

— Да откуда вы тут взялись? — сокрушался Радченко.— За два дня мы ни одного своего танка не видели. К тому же, приказ: провокации и все такое...

— Давно на фронте? — спросил у лейтенанта рослый, худой танкист, видимо, командир.

— Скоро месяц уже.— Радченко покраснел.— Вы уж простите меня.

— Оно и видно. Только на такой войне и за неделю можно соображать научиться.

Танкистов успокоили и повели в землянку. Веселкин засветил лампу и стал хлопотать у стола. Появилась тушенка, сухари, водка. Радченко достал из вещевого мешка пачку настоящего московского печенья. Видно, приберегал для подходящего случая. Но танкисты попросили прежде всего воды: попить и умыться.

— У самого Донца стояли,— с улыбкой проговорил один из танкистов,— а воды не было. Немец не пускал к берегу. Так и маялись все это время.

Из рассказа танкистов батарейцы узнали, как проходили первые часы наступления противника. Мины и снаряды буквально сровняли окопы. Потом надвинулись танки, стали утюжить их и поливать огнеметными струями. Мало кому из пехотинцев удалось спастись. Танк «Дзержинец» стоял в засаде, вкопанный в землю по самую башню. Много пожег он вражеских машин, много положил перед собой пехотинцев. Но фашистские танки, сделав свое дело, повер-

нули в сторону и прорвались в наш тыл. Целый день танкисты стреляли по случайным целям, а ночью, откопав машину, двинулись по следам отступавшей пехоты. В пути кончилось горючее и пришлось заправляться из баков подбитой самоходки. Дважды на легких минах повреждалась гусеница. Останавливались, ремонтировали и двигались дальше.

— А теперь вот вы опять гусеницу «починили»,— с досадой сказал танкист.— Опять ремонтироваться надо. Да и горючее у нас на исходе.

— Чем мы вам можем помочь?— виновато спросил Радченко и добавил:— досадная оплошность вышла, чуть было не угробили вас.

— Ладно, на войне всякое бывает.— Командир-танкист встал из-за стола.— За обед благодарим. А помочь нам, конечно, надо. Прежде всего, горючее. Гусеницу починим сами. К утру следует убраться отсюда. Какие мы без снарядов вояки?

— Снарядов подкинем,— обрадованно проговорил Макаров,— мы запаслись изрядно. Калибр у нас один, так что все устраивается как нельзя лучше.

Уже за полночь гусеницу починили, заправили танк горючим и снарядами. Тихо, на малой скорости «Дзержинец» спустился на дно Макарова Яра. Рокот мотора все удалялся, пока не затерялся совсем в неясных ночных шумах.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Отделенные от Ближней Игуменки и Андреевских хуторов широкой и глубокой балкой Макаров Яр четвертая, пятая и шестая батареи были, казалось, оторваны от всего света. Где-то за Игуменкой шли жестокие бои, вражеские машины с утра до вечера сновали по огибавшей дубовую рощу дороге в недальнем нашем тылу, а про нас фашисты словно бы и забыли. Правда, батарейцы не сидели без дела. При всяком удобном случае обстреливали дорогу и били по случайно забредавшим в полосу огневого действия батареи вражеским танкам. Танки уходили в безопасное место, движение машин на какое-то время прекращалось, а потом все начиналось сначала.

Связь со штабом дивизиона поддерживалась, но, кроме указаний о бдительности, никаких распоряжений оттуда не поступало, причем указания шли все от того же дежурного по штабу. Он не надоедал батарейцам лишними вопросами и даже не звонил сам, отвечая только на вызовы. Казалось, что штабу просто не до нас. Когда на батарее появился

комсорг полка Полянников, его буквально закидали вопросами. Как и танкисты накануне, он первым делом попросил воды. Выпив чуть ли не котелок, стал расспрашивать нас, что и как.

— Сами видите,— отвечал Радченко.— Батарея разделилась, связи с Черепановым нет, из дивизиона никаких распоряжений не получаем. Действуем, как приказал командир батареи, «на свой страх и риск».

— В штабе, по существу, никого нет,— сказал Полянников.— Командир дивизиона, майор Зенкевич, убит под Ястребово еще вчера утром, начальник штаба ранен. Его замещает капитан Тепляков, но и он сейчас там, с остатками дивизиона... Командир полка послал меня к вам.

Полянников быстро вошел в курс дела. Он бывал на батарее и раньше, многих хорошо знал. Две недели назад вручал молодым артиллеристам комсомольские билеты. Был с ним тогда и помощник начальника политотдела дивизии по комсомолу капитан Фазлиахметов, красивый, с оспинками на лице татарин. До войны он учительствовал в Ленинграде, преподавал историю в школе. Историк в нем проявился и при беседе с комсомольцами. Он прямо заявил, что Гитлер и фашизм «исторически обречены на гибель». Говорили тогда и о предстоящем наступлении. Капитан Фазлиахметов не стал вдаваться в планы командования, а лишь потребовал от комсомольцев «с честью выполнить свой долг». Полянников слушал его и чему-то улыбался светлой, задумчивой улыбкой. Таким он и запомнился молодым батарейцам.

И вот он теперь сидит в орудийном окопе в тени стального щита и чертит прутиком по земле, графически показывая, в каком положении мы сейчас находимся. Положение незавидное. Гитлеровские танки рвутся к городу Короча и уже находятся в двух десятках километрах от Донца. Правда, их теснят с обоих флангов, но сил у противника много и враг не считается ни с какими потерями. Шоссе Белгород-Короча перерезано. Как будут разворачиваться события, он не знает, но ему было приказано пробраться во второй дивизион и оставаться с артиллеристами до конца.

Над нами прошелестел тяжелый снаряд и взорвался где-то в районе пятой батареи. Потом другой, третий. Чувствовалось, что вражеские артиллеристы ведут прицельный огонь. Поднялась стрельба и в Ближней Игуменке. В селе рвались снаряды и густой темно-синий дым плыл между редких полусгоревших домиков. Стрельба вскоре

прекратилась. И хотя на четвертую батарею не упал ни один снаряд, все почувствовали себя несколько неуверенно.

— Что бы это значило? — ни к кому не обращаясь, спросил Поляпников.

— А это значит, что и наш черед пришел,— Макаров поднялся со станины и решительно приказал: — Прошу лишних удалиться от орудия. И ты тоже, Поляпников, уходи. Без тебя разберемся.

Лейтенант Радченко хотел было осадить сержанта Макарова, непочтительно, по его мнению, относившегося к комсоргу полка, но тут его прервали возгласы:

— Комбат идет! Черепанов.

Радченко оглянулся и увидел Черепанова с разведчиками. Они не шли, а бежали, путаясь ногами в густой траве, и только у самого орудия перешли на шаг.

— Макаров! — не успев отдышаться, закричал Черепанов.— Чего ворон ловишь? На колокольне в Игуменке наблюдатель сидит. Кинь туда пару осколочных.

— Есть пару осколочных.— Макаров приник к панораме, быстро заработал рукоятками подъемного механизма и раз за разом выстрелил.

Колокольня по-прежнему сияла зелеными куполами. Снаряды прошли мимо.

— Плохо, Макаров, плохо! — Черепанов сердился, что с ним случалось довольно редко.— Отойди от прицела, сам попробую.

Черепанов долго целился, отрывался от панорамы, смотрел на колокольню в полевой бинокль и опять склонялся к прицелу. Наконец выстрелил, и по радостным возгласам батарейцев догадался, что цель накрыта.

— Ловко! — восхитился Поляпников.— С первого выстрела попал.

Черепанов, между тем, велел зарядить орудие фугасным снарядом и снова выстрелил. На этот раз взрыв основательно разворотил правую сторону купола. Комбат послал еще три снаряда в цель и радостно сказал:

— Хватит, пожалуй, не то капитальный ремонт потребуется и поп обдерет своих прихожан до нитки.

Прошел час, другой, фашистская батарея не стреляла: корректировщик был сбит. Но этот перерыв в перестрелке не мог продолжаться долго. Чувствовалось, что фашисты намереваются окончательно захватить Ближнюю Игуменку, ввести туда свою пехоту. Случай с наблюдателем был только небольшим эпизодом боя за деревню. Через нее уже

проходили немецкие танки, потом туда снова вошли наши. Похоже было на то, что селом владеют и наши солдаты, и противник, точно обозначенной передовой линии не было, как не бывает ее обычно при наступлении. Бои и стычки происходили за каждый дом, за каждый очаг сопротивления. Передовые фашистские части продвинулись уже далеко в наш тыл, а здесь они заботились лишь об охране своих флангов. Наши батареи действовали, и гитлеровцы наверняка снова попытаются подавить их.

Командир батареи Черепанов, внимательно оглядывавший в бинокль расположение противника, увидел южнее Игуменки большие массы вражеской пехоты. Орудие Макарова, а затем и пушка Саяпина, находившаяся под командой лейтенанта Привезенцева, открыли огонь. В садах и кустарниках, в начинающих желтеть полях пшеницы поднялись дымы от разрывов. Когда дым рассеялся, Черепанов оторвался от бинокля и облегченно проговорил:

— Все, ребята, теперь фашисты так смело не сунутся. Однако глядите тут в оба. Мне опять надо отправляться к тем двум орудиям.

Прихватив разведчиков, Черепанов покинул батарею. Для связи он оставил своего ординарца, низкорослого, худенького мальчишку Мишу Конова. Тот уже обзавелся трофеем — новеньким немецким автоматом — и несколько свысока поглядывал на других батарейцев. Казалось, его хитроватые глаза говорили: «Вот я уже побывал в бою, видел врага лицом к лицу, а вы суетитесь тут у своих пушек и даже не знаете, куда стреляете». Если именно так думал Миша Конов, то был, разумеется, до некоторой степени прав. Батарея вела огонь с закрытой позиции по заранее пристрелянным целям и по команде с наблюдательного пункта. Словом, никакой самостоятельности. Даже колокольню не смогли сбить без помощи командира батареи. Сказывалось долгое отсутствие практики стрельбы прямой наводкой. Ведь батарея простояла на закрытых позициях почти три месяца.

Трудными были эти месяцы. Артиллеристы знают, что значит оборудовать боевую позицию батареи по всем правилам фортификационного искусства. Это изнурительная и кропотливая работа. В короткие ночные часы солдаты рыли землянки и траншеи, многочисленные щели и ровики, маскировали брустверы окопов и земляные насыпи блиндажей дерном, которым укладывают обычно городские газоны и футбольные поля теперешних стадионов. И работе этой не было конца. Каждое утро меняли засохшую траву

на маскировочных сетках, прикрывавших орудийные окопы, отдельные куски дерна, углубляли, расширяли и подчищали траншеи и хода сообщения.

Ничего этого, конечно, не испытывали разведчики и все, кто находились на наблюдательном пункте командира батареи. Копать им приходилось совсем мало. Правда, над разведчиками день и ночь свистели пули, чего не испытывали укрытые от вражеских наблюдателей батарейцы. По физической нагрузке с артиллеристами-огневиками могли сравняться только разве связисты. Это были, действительно, безответные трудяги. Ночь ли, день ли, грязь или снег — связист бредет по «линии» с пудовой катушкой на спине. На нем и вещмешок с патронами, и винтовка, целые пуды груза навьючены. А провод часто рвется, в иное дежурство связист от батареи до наблюдательного пункта сделает по «линии» десятки километров, да так и не присядет у телефонной трубки. Больше всех он под огнем, под выстрелами, больше всех рискует быть убитым. В отделении связи у сержанта Михеева все ребята — крепкие, кряжистые, выносливые. Один только Перескоков выделяется непомерно высоким ростом, долговяз и нескладен. Но тоже силен и безотказен.

Разведчикам многие откровенно завидовали: работа чистая, сиди на пункте да в стереотрубу поглядывай. Случалось, что артиллеристы беззлобно подтрунивали над разведчиками, называли их «лодырями». Но, конечно, все понимали, что на войне любая работа трудна и, безусловно, связана с опасностью. Здесь, на Донце, разведчики первыми понесли потери. Однажды на рассвете молодой солдат вылез из окопа и спустился в небольшую ложбинку, чтобы нарвать травы для маскировки. На наблюдательный пункт он уже не вернулся: на обратном пути его снял фашистский снайпер. Солдат был молодой, только что прибывший с пополнением. И повоевать не успел, даже по противнику ни разу не выстрелил.

Смерть молодого разведчика наделала много шума в дивизионе и даже в полку. На батарею пришел парторг дивизиона Бирич и долго беседовал с солдатами. Он говорил об осторожности, о товарищеской взаимопомощи, о внимательности друг к другу. Солдат погиб совершенно зря, по неопытности. Надо быть более внимательным и осторожным, не подставлять голову под шальную пулю.

— Как же это понимать, парторг? — с иронической улыбкой на тонких, с ехидцей, губах спросил лейтенант

Привезенцев.— Значит, он не должен был ходить за травой? Получается, что и воевать нельзя: убьют...

— Не об этом речь,— Бирич сердито махнул рукой.— Вы-то понимаете, к чему это говорю. Слышали, что говорил Михаил Иванович Калинин? Воевать с умом надо. Нечего лихость проявлять и на рожон лезть. Если человек погиб в бою — честь ему и слава, а если по своей расхлябанности — то это совсем другое дело. И вы, как и любой командир, должны отвечать за напрасную потерю.

После беседы с парторгом молодые солдаты разошлись по своим местам, унося с собой двойственное чувство. С одной стороны, конечно, надо быть осмотрительным, но с другой — как же обойтись без потерь: на то и война. Миллионы уже погибли на фронте. Вряд ли все они осторожничали и прятались от опасности. Нет уж, тут как повезет. Возьми вот Макарова. От самой Волги прошел и даже не ранен. И командир батареи жив-здоров, и телефонистка Рая, и разведчик Голубев. А все ведь в одном месте были: и под пулями, и под снарядами, и под бомбами. Нет, не годится солдату страшиться опасности. Так и до откровенной трусости дойти можно.

Дима Веселкин вспомнил об этом давнем разговоре, когда увидел Конова с трофейным автоматом и опять подумал, что уцелел разведчик и с трофеями ходит. А в каком переплете побывал. Значит, «не судьба», как любит выражаться повар Еренин, утешая солдата, которому не хватило обеда. Подумав о поваре, Веселкин почувствовал голод. Никаких продуктов, кроме сухарей, на батарее уже не было. Солдаты варили в котелках мелкие зеленые яблоки и молодой картофель. Как назло, ни у кого не оказалось соли, и от яблок и картофеля без соли солдат мутило и подташнивало. Врач дивизиона Лебедев, прозванный за малый рост и необыкновенную подвижность «кукурузником», решительно воспротивился такому самодеятельному меню.

— Пронесет вас, ребята,— говорил он,— молодой картофель — хуже слабительного, особенно без соли. И яблоки не ешьте. Потерпите, может быть, нам подкинут продуктов.

Лебедев, конечно, и сам не верил, что кто-то «подкинет» продукты. Судя по всему, тылы убрались далеко и наш повар вряд ли уверен, что батарея все еще стоит на месте. Фашисты медленно, но упорно продвигаются вперед. С батареи простым глазом видно, что делается в ее ближайшем тылу. По дорогам пылят немецкие машины и танки, орудийная канонада с каждым днем отдаляется. После того, как батарейцы упустили немецкую штабную машину, на

холме за Игуменкой появились танки. Они засыпали батарею снарядами. Тут-то и были ранены лейтенант Привезенцев и бронейбойщик Зацепин.

Это были первые потери в батарее со дня наступления. Но, разумеется, не последние. С каждым часом боевая обстановка становилась все тревожнее.

...В ночь на 9-е июля батарейцы ушли к Донцу и по тылам 6-й армии выбрались из полуокружения. А в середине июля вместе с частями резервного степного фронта двинулись вперед и уже не останавливались до самого Днепра.

Нугмет Тулендиев

ЗА НАМИ МОСКВА

Воинский эшелон с третьим батальоном сороковой стрелковой бригады, вышедший двенадцатого ноября тысяча девятьсот сорок первого года со станции Токмак, что в Киргизии, к исходу восьмых суток, словно подкрадываясь к подстерегающим опасностям, медленно приближался к одной из станций прифронтовой полосы. Под покровом сумерек, с предельной осторожностью, поезд остановился на крайней линии дороги, откуда до леса было около двух верст. Пехотинцы почти с ходу выскочили из вагонов и поротно направились по глубокому снегу через поляну в лес. Артиллеристы, пулеметчики, обозы с боеприпасами и другим военным снаряжением несколько замешкались — выкатывали с открытых платформ пушки, тачанки и телеги. Привыкшие в пути к «легкой жизни», лошади не хотели выходить из вагонов — пыхтели, ржали. Безмолвный и трескучий морозный вечер наполнился стуками, приглушенными человеческими голосами, посвистом кнутов.

Вдоль вагонов на лихом белом жеребце проскакал комбриг Макаров.

— Быстрее, быстрее! — поторапливал он.

Выстроившись гуськом в одну линию, колонна двинулась за пехотой в глубокий снег. По бездорожью лошади тянули еле-еле. Особенно было трудно первой тачанке, прокладывающей дорогу. Лошади то подпрыгивали на месте, то останавливались. Темнота быстро сгущалась. Послышался сплошной гул. Яркие лучи света сотен прожекторов резанули небо, разыскивая вражеские самолеты. По линии

движения разнеслась команда: «Не двигаться!» Вслед за командой вокруг затрещало, загремело — рвались снаряды зениток и очереди спаренных пулеметов уходили в пространство. Попавшие в свет прожекторов фашистские бомбардировщики стремились уйти от прицельного огня противовоздушной обороны. То там, то здесь, поблизости, со шлейфами яркого пламени падали сбитые вражеские бомбовозы. Для солдат-новичков это было подбадривающее зрелище, нас охватила жажда возмездия и чувство превосходства над врагом.

Беспорядочно разбросав бомбы, самолеты повернули назад, и теперь тишина нарушалась лишь движением колонны. Достигли леса. Батальон, приняв боевой порядок, стал окапываться. Местность оказалась болотистой — после трех-четырех лопаток выступала вода. Перестали копать, зарылись в снег. Не успевшие перейти на зимнее обмундирование бойцы, да еще приехавшие с юга, сразу же попали в тиски суровой зимы — мороз пронизывал до костей. Подъехали «ЗИСы» и остановились. Вслед послышалась команда:

— Выделить от каждого отделения человека для получения сухого пайка, поживее!

Получив свой паек на три дня, мы быстро погрузились на машины. Проехав лес, оказались на широкой асфальтированной дороге.

— Волоколамское шоссе,— объявил командир пулеметной роты старший лейтенант Кокарев.— Скоро подъедем к линии фронта. Не курить, громко не разговаривать. Наша бригада займет оборону на берегу реки Сестры, чтобы преградить путь врагу на солнечногорском направлении.

— Товарищ старший лейтенант,— с тревогой спросил я,— далеко до Москвы?

— Нет, совсем близко,— сказал он, вздохнув,— не более пятидесяти километров.— И проникновенно добавил, обращаясь ко всем:— Ребята, на нас надеются, что продержимся. Задача очень трудная. Но мы не должны пропустить фашистов к Москве.

— Не пропустим! — в едином порыве выдохнули ответ пулеметчики.

— Вот и хорошо, я верю в вас! — сказал командир.

Если умело выбрать позицию, то «максим» может преградить путь целому наступающему батальону кротивника.

— Выгружаться! — раздалась команда.

Пеший батальон свернул с Волоколамского шоссе и

двинулся по проселочной, заполненной движением воинских частей и боевой техники дороге. Не успели пройти и четырех километров, как к колонне подъехал конный связной и повел ее в сторону. Шли долго. Мороз все крепчал. В ночи далеко слышались скрип колес, топот шагов, даже дыхание людей.

Батальон вошел в безлюдную деревню. Остановился. Осмотрелись. Стояла мертвая, подавляющая тишина. Лишь откуда-то доносился беспомощный, жалобный лай щенка. Из-за горизонта, не торопясь, распространялся по этому беспокойному миру бледный свет наступающего утра. Внезапно просыпающееся утро вздрогнуло от артиллерийской канонады и глухо булькающих выстрелов немецких автоматов. Стреляли где-то впереди, недалеко. Разрывая сплошным гулом морозное небо, летели в наш тыл немецкие тяжелые бомбардировщики.

Боль тревоги за нашу столицу сжала сердце. Среди нас не было ни одного воина, который не думал бы о жизни и смерти. Но мы готовы были и умереть, ибо защита Москвы была для нас мерилом сыновней любви к Родине.

Наш пулеметный расчет, приданный третьему стрелковому взводу, расположился в дзоте. Сразу же поставили «максим» на боевую готовность. В дзоте показалось немного теплее, чем под открытым небом. С наступлением утра впереди нас усилились бои—беспрерывно трещали пулеметы, автоматы, даже слышались одиночные выстрелы из винтовок. Определили, в каком порядке расположена наша оборона: перед нами еще не полностью застывшая речушка, за которой редкие низкорослые деревья, за нами, в нескольких километрах, поселок. Левее дзота шоссейная дорога и железобетонный мост через речушку, по ним уходили в тыл обозы, машины с ранеными, боеприпасами, пушки, танки и пехота. По-видимому, наши отступали.

После полудня резко изменилась погода, густая пелена тумана окутала все вокруг — за несколько метров уже ничего не видать. Под покровом густого тумана враг мог подойти в любую минуту. Мы предельно насторожились, не сводя глаз, смотрели вперед — в сторону, откуда наступал враг.

Стало вечереть. Прекратилось по дороге движение. Вдруг из тумана вынырнула колонна, состоящая из нескольких «ЗИСов». Пройдя через мост, машины быстро развернулись в один ряд. Вокруг них бегали люди, срывали с машин брезентовые покрывала. Были слышны команды, за ними следовали странные воющие и скрипучие звуки. Ма-

шины оказались в густом белом дыму, из которого вылетали какие-то болванки с красно-багровым пламенем, уходящим в сторону немцев, оттуда доносились страшные взрывы. Я не понял, что это за чудо. Будто отвечая на мой вопрос, разносилось по траншее: «Катюши! Катюши!» Мы оглянуться не успели, как чудо-машины мгновенно исчезли с места их стоянки.

Неподалеку произошел взрыв огромной силы — саперы взорвали мост. Все это означало, что приближается наш час сражения с сильным и коварным врагом.

Но тут произошло неожиданное: приказано оставить оборону, немцы обошли нас, создав опасность окружения. Пехотинцы быстро уходили из траншеи. Тяжелая доля досталась нам, станковым пулеметчикам. Предельно нагруженные частями и боеприпасами пулемета (весом более ста килограммов), мы еле-еле волочили ноги по глубокому, выше колен, снегу. Пот лился градом, сердце стучало, шумело в ушах, в глазах темнело. Сделали привал.

— К черту с таким отступлением,— свалился возле меня второй наводчик пулемета Фатых Гордеев и выругался по-татарски.— Чем так мучиться, лучше сражаться насмерть. Давайте займем круговую оборону и будем сражаться до конца.

— С кем сражаться, дурень?— сказал командир расчета Алексей Курочкин.— Немцы-то, черт знает, где теперь. Ну, ребята, пошли. Возможно, подойдет подмога, пехоте-то не обойтись без нас.

Встали, опять пошли. Вскоре встретил нас наш командир старший лейтенант Кокарев с несколькими бойцами. Подождав подхода остальных шести пулеметных расчетов, двинулись дальше. Дошли до новой линии обороны, которая, начавшись сразу же от края леса, проходила по окраине деревни. Впереди обороны протянулась полоса проволочных заграждений. Наш пулеметный расчет занял самый крайний дзот, расположенный буквально у леса. Этот дзот оказался более просторным, чем тот, который оставили, не сделав из него ни одного выстрела. Когда стало темнеть, со стороны противника послышался шум, гам, скрип колес и гул моторов — по-видимому, фашисты готовились к наступлению. Но они еще долго тянули, оставляя нас в постоянном нервном напряжении.

К ночи началась сильная пурга. На рассвете в лесу, недалеко от нашего дзота, остановилась походная кухня. Стало совсем светло, когда мы закончили завтрак. Пурга усилилась. Я вышел из дзота, чтобы помыть свой котелок.

Невозможно было смотреть в сторону врага, откуда дул свирепый ветер, залепляя лицо колючим снегом. Но какое-то чувство заставило меня посмотреть на проволочные заграждения. К ужасу своему увидел, что немцы, замаскировавшись в белые халаты, перелезают через заграждения. Я мигом забежал в дзот и закричал:

— Немцы!

Все подбежали к амбразуре дзота.

— Пулемет к бою! — скомандовал Курочкин.— Остальные за мной в траншею.

Вскоре по всей протяженности обороны батальона начался бой. Грозно заработал «максим», выплевывая струи пуль, хотя попадать по зарывшимся в снегу фашистам было трудно. Вдруг послышалась команда Курочкина:

— Направить огонь на правый фланг!

Я повернул пулемет направо, до предельной возможности амбразуры, и увидел, что там немецкие солдаты поднялись во весь рост. Фланговый огонь преградил им путь, фашисты вновь залегли. Но теперь пошли в атаку те, что были впереди нас. Их поддержали легкие минометы, мины рвались вокруг дзота.

— Перенести огонь по фронту! — последовала сквозь разрывы команда Курочкина.

Мы направили огонь «максима» на атакующих немецких пехотинцев. Они опять зарылись в снег.

— Приготовиться к контратаке!— передалось по линии траншеи.

— Поддержать контратаку!

Все заглохло под грозным русским «Ура-ра-а!» Цепь наших бойцов бежала на врага по снегу, то падая, то вставая. У немцев не выдержали нервы, они начали отходить, отстреливаясь на ходу. Беглый артиллерийский и минометный огонь накрывал их. От беспрерывной стрельбы закипела вода в кожухе пулемета. Немцы уже отступали в панике, изредка отстреливаясь, затем скрылись в лесу. Но вскоре опомнились, закрепились в укрытиях и открыли по атакующим бойцам огонь из всех видов оружия. Наши потери заметно увеличились. Пришлось отойти на исходные позиции.

В момент боя забывается все, даже собственное существование. Человек думает об угрозе смерти непосредственно перед боем, о жизни — после него. Мы теперь радовались тому, что одержали первую маленькую победу и выжили. Казалось, будто вместе с нами радовалось и все вокруг, даже сама природа. Внезапно обратили внимание, что

прекратилась пурга, за тонкими и рваными облаками мелькало голубое небо. По-новому воспринималась неописуемая красота жизни.

Но вскоре она разрушилась от гула приближающихся к нашей обороне вражеских тяжелых бомбардировщиков со зловещими черными крестами под крыльями и свастиками на фюзеляжах. Их было девять — целая эскадрилья низко кружилась над нами. Затем, взметнувшись вверх, самолеты один за другим пошли в пике. Из «пазухи» каждого из них со свистом выпало по три бомбы, полились струи пламени из пушек и пулеметов. Воющая сирена влилась в грохот разрывающихся бомб, от которых будто испуганно дрожала земля. Сделав по три захода, самолеты улетели. Я выскочил из дзота, чтобы узнать, живы ли бойцы нашего расчета. Они встали, отряхиваясь от засыпавшей их земли. Сплошной едкий дым лениво рассеивался, сквозь него слышались стоны и крики раненых.

Едва самолеты скрылись за горизонтом, артиллерийский обстрел прижал нас на дно траншеи. Этот кошмар длился около часа, после чего немецкая пехота двинулась в очередное наступление. В этот раз фашистов оказалось намного больше — шли, не нагибаясь, в два ряда, издавая какие-то душераздирающие крики. Они явно численно превосходили наш батальон, потерявший значительную часть личного состава. Оторвавшись от полевого телефона, командир стрелкового взвода передал приказ вышестоящих командиров:

— Приказано встретить рукопашной. Пулеметчикам вести прицельный огонь!

Кто-то стрелял из моего «максима». Я забежал в дзот. За пулеметом сидел командир расчета Курочкин, направлял ленту Гордеев, а четыре подносчика набивали порожние ленты патронами.

— Возьми мою винтовку!— приказал Курочкин, не переставая стрелять.— Веди огонь из траншеи.

Несмотря на большое количество убитых и раненых, цепи наступающих шли вперед.

— Возьми там, у убитого, ручной пулемет! —сказал какой-то незнакомый капитан. Я оглянулся.

— Где?

— Иди по траншее, вон там, на повороте!

Разрывы мин усилились. Нагнувшись, я побежал и вскоре наткнулся на погибшего. Убитый лежал, облокотившись на левую руку, прижимая ручной пулемет к себе. Тело окоченело. Я с силой оторвал запасной диск.

Над нами на бреющем полете пролетели «Илы», которые, заходя с фланга, били по наступающим из пулеметов и пушек. Расстроился боевой порядок врага, смешался в панике. Вдобавок с тыла била по нему артиллерия. Девять «Илов» делали заходы вновь и вновь. Немцы начали отходить беспорядочно.

— В атаку! — по траншее покатились голоса.— Примкнуть штыки, в атаку! Ура-а-а!

Чтобы не допустить нашего приближения с левого фланга, немцы открыли сильный заградительный огонь из всех видов оружия. Удастся ли проскочить через этот ад, грозящий смертью? Вдруг сзади что-то грохнуло, ударило с большой силой. Я упал. Было такое ощущение, будто проваливаюсь в темный глубокий колодец. С трудом открыл глаза, в голове шумело, она слегка кружилась. «Взрывная волна»,— мелькнула мысль. Приподнялся, опершись на руки. Впереди кипел бой, неподалеку, уткнувшись лицом в снег, лежал незнакомый капитан. Показалось, что шевелится. Несмотря на то, что не совсем пришел в себя, пополз к нему на помощь. Дополз. Перевернул его на спину и оторопел от увиденного — из пробитого осколком лба вместе с кровью вытекали мозги. Опять потемнело в глазах и затошнило.

Справа до меня доходили еле слышные крики: «Танки! Танки!» Инстинкт самосохранения прояснил затуманенное сознание. Встал. Увидел пять танков, вклинившихся в нашу оборону с правого фланга, но за изгибом траншеи не были видны другие танки. Опять закружилась голова, кто-то подхватил меня под мышки и потащил.

«Руч-н-ной пуле-мет!» — с трудом произнес я. «К черту, разбит пулемет твой!» — услышал в ответ.

По обороне пронесся приказ:

— Ни шагу назад, приготовить противотанковые гранаты, бутылки со смесью. Пэтээровцы, бить по танкам противника!

Меня занесли в дзот.

— Что с тобой, ранен?— спросил Курочкин, не отрывая руки от «максима». Я отрицательно покачал головой.

— Как ты оказался в цепи атакующих? Ты же пулеметчик... Кто дал тебе право...

— За что ты его? — заступился боец Скрыпко.— Сам же приказал выйти, вот он и пошел...

Курочкин нахмурился.

— Ладно. Скрыпко и Новоселов, в траншеи, подготовиться к бою с танками! — Я шатаясь пошел за ними.—

Куда ты поплелся, подавай ленты. Гордеев заменит тебя.

Я встал на место помощника наводчика. Один из танков горел, три ползли медленно, выплескивая огненный дым и град пуль. Танки били по дзоту, чтобы уничтожить пулеметную точку и дать возможность идущей пехоте дойти до нас. Забежал Новоселов и сказал:

— Скрыпко убит!

У амбразуры разорвался снаряд, выпущенный из танка. Но нас не задело. Внезапно этот танк загорелся. Оставшиеся два, кроша и ломая проволочные заграждения и оторвавшись от своей пехоты, ползли неуверенно. Курочкин бил по пехоте, а я подготовил вторую ленту. Наши снаряды преградили путь двум танкам. Пехота залегла. Беспрерывно грохотали фашистские снаряды и мины над нашей обороной. Загорелся третий танк. Немцы стали отходить.

— Вот как воюем! — отойдя от пулемета, воскликнул Курочкин.— Я обнял его, поцеловали друг друга.— Выйдем, что там с нашими?

Выскочили из дзота. У входа пластом лежал Скрыпко. Курочкин снял шапку, опустился на колени и погладил рыжие волосы бойца. Только что весть о его гибели была как будто безразличной для него, а теперь он с братской любовью сидел, опустив голову, по грязным щекам текли капли слез — мужские слезы. Плакали все наши ребята.

— Отойдите, не мешайте!— Мы прижались к выходу дзота. Уносили раненых, убитых. Двое пулеметчиков другого расчета несли на плащ-палатке тяжело раненного Михаила Четверикова, за ним, держа окровавленную руку здоровой, шел бледный Николай Шахворостов.

— Гордеев, Новоселов,— приказал Курочкин,— отнесите тело в лес, а ты иди в санчасть!

— Почему? — удивился я.

— Ты контужен.

— Не пойду, уже чувствую себя лучше.

— Ну, как хочешь,— он направился в дзот.— Надо подготовить пулемет. Кто знает, какую очередную свинью готовят немцы. Семенов, Хайруллин,— обратился к двум подносчикам патронов,— заносите ящик с патронами. Вот так, братцы мои, держались хорошо!— мы улыбнулись. Небольшая победа, по сравнению с великими сражениями, происходящими на огромной земле Родины, подкрепила уверенность в конечной победе. Накаленное морозом солнце уходило на ночлег. Вокруг непривычная для войны мирная тишина. Но она тут же нарушилась гулом взрывов на нашем правом фланге — начался бой.

— Опять, гады!— сказал Семенов.

С перебинтованной головой подошел старший лейтенант Кокарев. Некогда опрятно одетый, бравый офицер, сейчас он выглядел неузнаваемым, постаревшим на несколько лет. Поздоровался тепло и чуть улыбаясь:

— Как, ребята? На правом фланге было намного жарче, чем здесь. Не мог прийти — заменил тяжело раненного командира стрелковой роты. Все целы?

— Нет, убит боец Скрыпко.

— Жаль, любил пофилософствовать. Как стемнеет, оставим позицию, немцы прорвали линию обороны бригады по направлению к Солнечногорску, даже, возможно, заняли его.— Опять тоска сдавила наши души — было больно оставлять этот кусочек родной земли, которую отстояли ценой больших потерь. Только сознание того, что оставляем ее не в панике, а чтобы сражаться на другом направлении, утешало нас.

Стемнело. В полной боевой готовности отошли в лес, где сосредоточивался батальон. В лесу — под многолетними соснами — сидели, лежали измученные бойцы, некоторые спали. Поставив пулемет, мы тоже свалились на снег. Я лежал на спине и через раскачивающиеся от ветра макушки богатырских сосен смотрел в бездонное небо, усыпанное бесчисленными звездами. Прислушался. В необъятном лесу стоял сплошной гул, будто могучий, гордый русский лес предупреждал врага не соваться в его пределы. И казалось, вся Родина — за этим лесом...

Отгремели первые бои. С тревогой и надеждой всматривались мы в завтрашний день — что принесет нам, солдатам? В сознании каждого не угасал огонек надежды, что он выйдет из боев живым и увидит, обязательно увидит торжество победы над врагом и будет радоваться, гордиться тем, что есть в ней доля и его тяжелого ратного труда.

Вспомнил родные места, где вечно снежные, неописуемой красоты горы и необъятные степи. Там, на земле казахов, стоит мой отчий дом. В моей душе не осталось и следа ужасов недавних боев — я находился в блаженстве воспоминаний. Не знаю, сколько тянулось это блаженство, но тронутый и обласканный мысленно увиденным, провалился в бездну крепкого солдатского сна. Вдруг сквозь сон, издалека, услышал какой-то неразборчивый голос, который постепенно приближался ко мне. Затем почувствовал, что

кто-то тормошит меня. Проснулся. Стоящий надо мной человек грозно приказал:

— Встаньте!

Вскочил. Не разобрался в темноте, с кем имею дело.

— Я командир третьего батальона, где люди? Кто вы?

— Станковый пулеметчик,— доложил я.

— Пулеметчик, пулеметчик,—недовольнопроизнес он,— черт побери, спят как мертвые, немцы могли перерезать всех до единого!— Голос его показался знакомым, но по телосложению он не был похож на нашего командира батальона — капитана Огневского.

— Ну, быстро разбудите пулеметный расчет, потом помогите мне поднять других.

— Есть разбудить,— сказал я, вытянувшись по стойке смирно.

— Простите, вы не похожи на нашего командира, назовите пароль...

— А, вот оно что! — смягчился он затем.— Прав, солдат, пароль «План». Меня только что назначили на место погибшего капитана Огневского. Я капитан Паршин...

— Боже мой! — подумал я.— Неужели это командир нашего взвода по Фрунзенскому пехотному училищу?

Не верил этой встрече! Подошел вплотную и в темноте вгляделся в лицо. Да, это он — наш добрый командир!

— Я ваш курсант...

Он тоже признал меня:

— А-а, курсант, помню. Здравствуй!— протянул руку.

Война, война! Против ее дикости, жестоких обычаев восстает совесть честных людей, они сплачивают свои ряды и мысли, что делает ранее незнакомых друг с другом — близкими, а знакомых — родными. Чувство братства охватило меня, я обнял своего бывшего командира, готов был зарыдать. Он, похлопывая по моей спине, по-братски мягго сказал:

— Не время, браток, сентиментальничать, быстро выполняй приказание!

От нашего разговора проснулось несколько солдат, но наш пулеметный расчет спал. Я разбудил его.

Капитан Паршин прошел перед строем, представляя себя личному составу батальона, потрепанному от первых ожесточенных боев, после чего встал во главе колонны и повел ее. Шли недолго. Остановились в густом, низкорослом лесу. Перестроив колонну поротно и повзводно, в два ряда,

и отдав команду «вольно», капитан ушел в сопровождении одного автоматчика. Строй не расходился. Безоблачная и безветренная ночь обжигали морозом. Солдаты, съежившись от холода, стояли, притопывая на месте.

— Хоть распустили бы строй, совсем озябли,— сказал кто-то,— побегали бы...

— Стой, не двигаясь, как кол в изгороди,— недовольно произнес другой.

Разговоры прекратились — возвратился комбат. Вскоре в темноте показались фигуры людей. Когда они приблизились к нам, последовала негромкая команда:

— Смирно!— Комбат, прибавив шаг, приблизился к той группе и, остановившись, доложил:— Товарищ «первый», вверенное мне подразделение построено!

Отделившись от группы людей, впереди комбата неторопливо шел рослый человек. Остановился против строя и тихим голосом приказал:

— Вольно!— Откашлялся.

По строю пробежал шепот: «Комбриг, командир бригады».

Он продолжал:— Братцы, знаю, что устали. Пережили трудные испытания, но вышли из первых боев победителями... Крепко и отважно держались вы. Вон сколько фашистов уложили. Только стратегическая необходимость заставила нас отступить. Но боевая обстановка меняется ежеминутно — немцы, несмотря на огромные потери, рвутся к Москве. Теперь мы должны вернуть оставленную позицию. Не скрою, задача очень трудная — нам придется наступать ночью. Отомстим фашистам за кровь и смерть наших однополчан!

Строй распустили. Командиры и политработники последовали за комбригом. Тем временем нас покормили горячей пищей. Мы, пулеметчики, начали закреплять станковые пулеметы на лыжах, иначе очень трудно таскать их на себе и маневрировать во время боя по глубокому снегу. Далеко за полночь построили нас поротно. Командир стрелковой роты, которой придали наш пулеметный расчет, перед строем тонким и усталым голосом известил:

— Я — командир вашей роты, лейтенант Сысоев, бывший пограничник, на фронте с самого начала войны, только вернулся из госпиталя,— сделал паузу, затем закашлялся, прикрывая рот рукой. Задыхаясь, произнес:— Простите, товарищи, после ранения...— Кашель становился все сильнее.—«Один из тех, кто принял на себя первый удар фашистского нашествия»,— подумал я. Этот стоящий перед

строем, с подорванным здоровьем человек вызывал у нас чувство особого уважения и надежды на то, что с ним, пропахшим порохом, не страшно будет идти в бой.

Кашель как неожиданно начался, так неожиданно и прекратился. Сысоев продолжил:

— Сейчас направимся к исходной позиции. Наша рота наступает на правом фланге, местность вам знакома. Чтобы застать немцев врасплох, надо с предельной осторожностью проползти большое расстояние. Впереди нас пойдут автоматчики в маскировочных халатах. Когда они подойдут близко к траншеям, будет дана красная ракета, поднимемся в атаку, а станковые пулеметчики с того места, где остановились, поведут прикрывающий огонь так, чтобы немцы не могли высунуться.

— А с артиллерией как?

— Минометы и полковая артиллерия будут вести огонь только по отступающим фашистам и в случае их контратаки. Учтите, артиллерии у нас мало. Всю тяжесть боя берем на себя. Сейчас пополните боеприпасы, побольше захватите гранат и патронов. Чтобы штыки были на месте — рукопашный бой неизбежен. Командование уверено, что вы и в этот раз выполните свой долг перед Родиной.

— Наши жизни не дороже, чем тех, кто пал вчера, на полях сражений,— сказал кто-то.

— Да, ребята,— просто обратился лейтенант,— хочу предупредить, немцы не любят ночной бой, предпочитают поспать. И штыковая схватка им не по вкусу. Поэтому действуйте смелее и решительнее!

Когда батальон расположился на исходной позиции, едва начинало рассветать. От нашей роты до немцев около ста пятидесяти метров. Слышны были кашель и обрывки разговоров во вражеских окопах. Впереди, придерживаясь определенных интервалов, лежали автоматчики, а за ними станковые и ручные пулеметчики. Как условились, батальон пополз медленно. Нам повезло — неожиданно изменилась погода, холодный ветер гнал с запада на восток сизый туман, под покровом которого стали двигаться быстрее. Очень трудно тащить за собой махину — станковый пулемет «максим», он часто опрокидывался в борозду, оставленную мною и Гордеевым в глубоком снегу. Или почуяв что-то, или боясь плохой видимости из-за густого тумана, немцы все чаще и чаще пускали в небо ракеты, но туман поглощал их яркость.

Со свистом над нами пролетела красная ракета — сигнал атаки. Лавина огня и поток людей устремились вперед. Только четыре станковых пулемета «максим», оставаясь там, откуда началась атака, стреляли беспрерывно, заливая расположение немцев свинцом. Фашисты от неожиданности такого стремительного нападения не успели как следует развернуть свою огневую мощь, что позволило нашим бойцам достичь траншеи без особых потерь.

Рукопашная схватка длилась недолго. Когда, прекратив огонь, чтобы не задеть своих, наше пулеметное отделение подошло к траншее, немцы уже оставили ее, побросав оружие, убегали туда, откуда наступали вчера утром. Развернув пулемет, я только хотел дать очередь по отступающим, но их артиллерия и минометы открыли ураганный огонь. Мы с Гордеевым покатились в траншею. Прикрепленный на лыжах пулемет стал поперек узкой траншеи мостиком. Я лежал под ним, прижавшись к земле. Фрицы вдруг перестали бить по нам, перенесли огонь на правый фланг, откуда был слышен грохот боя — наверно, один из батальонов нашей бригады напоролся на отчаянное сопротивление. Мы поднялись и оглянулись: всюду неподвижно лежали немецкие вояки.

— Да,— сказал подошедший к траншее Семенюк,— не верилось, что так быстро вытурим фрицев. Вон сколько их отдали богу душу.

— Как ты уцелел там, вне укрытий?!— удивленно спросил я.

— Наверно, не подошло время умереть,— ответил он.

— Ну и хорошо,— одобрил Гордеев.— Помоги нам поставить пулемет на огневую позицию, очухаются фрицы, полезут сломя голову.

— Смотри, смотри!— удивленно произнес Семенюк, показывая руками на лежащих неподалеку двух немцев,— живые они!

— Эй, ну-ка, встать!— пнул одного ногой Семенюк.— Хенде хох!— Оба немца сели на колени, подняли руки. Семенюк, скрипя зубами, с неудержимой злобой загнал патрон в ствол своей винтовки. Глаза его налились кровью. Я никогда не думал, что всегда спокойный, неразговорчивый Семенюк может оказаться во власти такой ярости.— Гады!..— Направил дуло винтовки на здорового немца. Тот, почуяв, что пришел конец, заикаясь, заговорил быстро:

— Рус гут, гут, гут. Гит... Гит—...лер капут!

Сидящий за его спиной щупленький немец как попугай повторял эти же слова.

— А-а, гады!— вскипел Гордеев.— Убивали наших, говорили «Хайль Гитлер!» Отпустим, опять повторишь «Хайль!» — Немцы, дрожа от страха, говорили что-то. Мы поняли только слово «киндер».

Семенюк опустил винтовку. Немцы по-прежнему сидели на коленях, охваченные неудержимой дрожью. Гордеев, по привычке ругаясь по-татарски, поднял на них пистолет. Семенюк отвел его руку и сказал:

— Брось, не пачкай священную землю поганой кровью!

Гордеев послушался, но продолжал ругаться. Наблюдавшие за каждым нашим движением немцы поняли, что спасены — жалкая улыбка пробежала по их лицам. Их вид вызывал у нас отвращение. Пилотка надвинута на брови. Одеты в тонкие шинели и брюки, из широких голенищ сапог торчали старые и грязные портянки. Просто не верилось, что эти вояки — те, что считают себя людьми высшей расы и будущими владыками мира. Разыгравшаяся перед моими глазами человеческая трагедия напоминала столкновение зла и добра, она была отголоском и микрочастицей той великой борьбы, которая решала судьбы миллионов людей.

Нравственное превосходство моих однополчан вселило в меня чувство гордости, еще далекая победа казалась совсем рядом.

Передышка кончилась: со стороны врага послышались минометные и артиллерийские залпы и загрохотали вокруг разрывы снарядов и мин. Они ложились неточно: из-за густой и низкой облачности немцы били наугад. Воспользовавшись этим, большая часть батальона во главе с комиссаром быстро направилась на вчерашние боевые позиции. Немцы стреляли долго, перенося огонь с переднего края в глубину обороны. Под непрекращающуюся канонаду прямо на нас пошла немецкая пехота в четыре ряда, на этот раз без танков.

Забежавший в дзот комбат спросил:

— Есть расстояние для прицельного огня?

— Еще далековато, товарищ комбат,— ответил я.

— Ленты хватит?

— Так точно, пять в запасе,— ответил Гордеев.

— Тогда нечего жадничать,— приказал комбат,— их не больше одного батальона, значит, один на один. Все равно превосходство на нашей стороне — они-то на виду, как на ладони, мы в укрытии. Смелей, ребята!

Направляясь к выходу из дзота, он уточнил:

— В случае нашей контратаки своих не побейте. Сумеете?

— Так точно, товарищ комбат, учили же,— ответил я, не отрывая глаз от наступающих немецких цепей. С трудом вытаскивая ноги из глубокого снега, фашисты двигались медленно, молча.

— Не стреляют,— проговорил Гордеев,— наверное, одни автоматчики. Сволочи, не хотят зря тратить патроны...

Он помолчал. Затем не без сожаления добавил:

— У наших-то нет автоматов, что сделаешь с пятизарядной трехлинейкой? Пока перезарядишь, скосят, как траву.

От его уныния на душе стало тошно, и я почти закричал:

— Не каркай, чего панику наводишь?!

— Ых-ы, какой паника?— с татарским акцентом удивился он,— первый раз вижу фрицев, что ли, сказать правду нельзя?

— Нельзя, направляй ленту, пора стрелять!

— На,— поправил он набитую патронами ленту,— стреляй на здоровье, только не кричи.

Я, не обращая внимания на его ворчание, установил прицел. Грозный «максим» заработал, производя мерный глуховатый звук. Немцы то падали, то вставали, но, очевидно, не от пулеметных очередей, а от взрывов снарядов и мин, рвавшихся вокруг них: наши пушки и минометы стреляли редковато, зато метко. Немецкая артиллерия, преимущественно минометы, била, не уменьшая первоначальных темпов. От артиллерийской дуэли стонала земля.

Комбат разослал связных по дзотам и приказал открыть по наступающим непрерывный огонь. По всей линии обороны батальона из четырех дзотов «максимы» били врага. Оставались без движения на снегу черные фигуры фашистских солдат. Основные силы нашего батальона, во главе с комиссаром, молчали, ожидая приближения фашистов.

Немцы, наверное, предполагали, что наступают на участок полупустой обороны, поэтому и не послали танки. Когда вражеская пехота дошла до линии противотанковых мин, наша артиллерия и минометы перестали стрелять, вся тяжесть боя была переложена на пехоту с ее огневыми возможностями.

Наш «максим» работал без передышки. А фашисты все шли, и шли, несмотря на большие потери. Сзади четырехрядной цепи солдат подгоняли офицеры.

Вот осталось до первых наших окопов метров шестьдесят—пятьдесят. По сигналу комбата застучали пулеметы Дегтярева, винтовки, полетели гранаты.

Это получилось столь неожиданно, что немцы растерялись. Сначала попятились, но под напором уцелевших офицеров залегли в снег и стали зарываться. Опомнившись, открыли огонь из автоматов, нескольких пулеметов.

Частота огня была очень велика. До нас доходили крики немцев: они, не прекращая огня, пошли в атаку. Но наши не сгибали головы перед тысячами пуль — бросали гранаты, стреляли из всех огневых средств, какими располагали.

Захлебнулась немецкая атака. В сторону врага полетела красная ракета — сигнал контратаки. Первым встал комиссар, размахивая пистолетом, кричал что-то, призывая в штыковую. Левее его, прямо перед амбразурой нашего дзота, Гордеев заметил немецкого пулеметчика.

— Быстрее стреляй,— закричал он.

— Вижу!— я сразу же открыл огонь, немец упал.

Расстояние между атакующими и контратакующими быстро сокращалось.

Сомкнулись! Между выстрелами над заснеженным русским полем слышались разноязыкие крики. Гордеев, выпустив ленту, охватил голову руками и, закрыв глаза, по-татарски выругался.

Перед моими глазами творилось невообразимое: люди стреляли друг в друга, били прикладами и, вцепившись в смертельной хватке, падали вместе.

Все, кто стоял в основной траншее, без приказа комбата Паршина ринулись вперед, держа винтовки со штыками наперевес — кровь, смерть братьев по оружию призывали их на смертельный бой. Перед святой силой величайшей ярости враг не выдержал — побросав оружие, спешно отступил. На поле боя кричали раненые.

Фашисты, отступая, отстреливались. Расстояние между ними и нашей наступающей цепью увеличивалось. Преследовать дальше — напрасно терять людей, и комбат дал из ракетницы сигнал отхода.

Едва мы вышли из дзота, у входа свалился ординарец командира нашей пулеметной роты боец Коренин. Он при-

жимал к телу правую руку, из рукава шинели стекала кровь. Бледный, как полотно, стиснув зубы, он натужно сказал:

— У, как больно! Идите, там на бруствере лежит тяжело раненный комроты Сысоев. Нугман, перетяни сверху, надо остановить кровь.

Я выполнил его просьбу. Пока я перевязывал Саше рану, Курочкин и Семенюк заносили в дзот лейтенанта Сысоева. Он дышал прерывисто, со страшным хрипом.

Курочкин быстро расстегнул продырявленную осколками верхнюю одежду, поднял гимнастерку — живот разворочен.

Невообразима живучесть человека — еще билось его сердце. Но хрипы становились все реже и приглушеннее — жизнь медленно покидала тело. Через некоторое время он закрыл глаза навсегда. Тяжело было находиться возле него, и я вышел из дзота.

Уцелевшие все до единого находились в траншеях, легкораненые уходили сами, на плащ-палатках уносили тяжелораненых в санбат. Мимо нас проходили два санитара с носилками, на которых лежал убитый, почти мальчишка, младший лейтенант. Ранее я его видел два-три раза. Он однажды разговаривал с Ешмуханбетовым на своем — казахском языке.

Тяжко было думать об оборванных войной тысячах молодых жизней. Его ведь тоже ждут отец и мать. И вспоминался поминальный плач:

«...Пусть не сломит их беда,
Испытания трудный час!
Горько думать, что нет орла,
Расправлявшего крылья в
полет...
Многих мать-земля приняла,
Многих в лоно свое
возьмет...»

У скольких таких орлов война оборвала крылья, унесла в небытие, а скольких еще ждет ненасытная смерть — неотлучный спутник войны. Только сознание, что они, будучи мертвыми, не исчезли бесследно, потому что оставили о себе добрую память, давало нам, пока еще живым, силу, уверенность в победе добра над злом...

— Где Комаров?— послышался голос комиссара, разыскивающего своего ординарца.

— Я,— спокойно ответил Комаров. Он стоял в окопчике открытой площадки для пулемета, закручивал папиросу. Приняв положенный строевой вид, направился к комиссару:

— Я, товарищ комиссар!..

Тот молча обнял его и несколько раз поцеловал по-братски:

— Спасибо тебе, Семен Семенович!— комиссар повернулся к рядом стоящему комбату.— Он спас меня от неминуемой гибели: в бою неожиданно сбоку появился фашист, бросился на меня со штыком и вдруг свалился, выпустив из рук винтовку. Оглядываюсь, смотрю, Семен рядом...

Рассказ комиссара прервали:

— Товарищ капитан, ваше задание выполнено!— доложили подошедшие Ешмуханбетов, Абдыхалыков и еще группа бойцов.

— Благодарю...— произнес комбат с волнением,— спасибо вам, братья! Проявили героизм. Ты знаешь, комиссар, кто открыл фланговый огонь? Вот они, эти орлы!

— Старший лейтенант,— обратился комбат к начальнику штаба,— немедленно оформляй приказ о представлении Ешмуханбетова, его помощников и ординарца комиссара к орденам Красной Звезды. Так будет справедливо!

Мы, бойцы пулеметного расчета, испытали глубокое чувство гордости за однополчан.

Валентин Смирнов

* * *

Я воевал, еще не веря,
Что я — на фронте, я — солдат.
Казалось мне, что я бессмертен,
Чужой снаряд — не мой снаряд.

Чужая мина или пуля
Подстерегает не меня.
Я, по-мальчишески ликуя,
Спешил на линию огня.

Я воевал, как бы играя,
Мне было восемнадцать лет.

В каком-то розовом угаре
Бежал за командиром вслед.

Его считал я старшим братом —
Ефрейтора из-под Читы,
Он после рукопашных схваток
Мне говорил:— Послушай, ты!

Ты не воюешь. Ты играешь,
Война, братишка, не кино!
Так скоро голову сломаешь,
Не улыбайся. Не смешно.

И все ж война игрой казалась
До дня того, до той поры,
Когда под минометным шквалом
Я с кровью вышел из игры.

Олег Меркулов

В БЕЛОСНЕЖНЫХ ПОЛЯХ...

— Погода — дрянь!— Кейко, поворачиваясь, рассматривал небо.— Дня на три. Не меньше.

Стрекотала сорока. Держась поодаль, она перелетала с сосны на сосну и тараторила им что-то неодобрительное. Дескать, какого лешего тут вам надо?

Погода и правда была дрянь. Мороз крепчал. На небе гуляли тучки, серенькие, довольно плотные, но толку от них не было — из них ни снег, ни крупка не сыпались, ветер почти стих, так что и на поземку рассчитывать не приходилось. Но они не могли сидеть целых три дня в овраге, спать да есть, да поглядывать вверх: ночью — не затягиваются ли звезды плотней, днем — не чернеет ли облачность, не несет ли снег.

Опушка была рядом — метров каких-то сто, от силы сто двадцать, но насыпь просматривалась лишь в западном направлении — рельсы уходили в выемку: при строительстве пришлось разрезать пологий у основания и горбатый в центре и от этого сравнительно высокий холм.

На запад же с точки, которую выбрал Кейко, дорога виделась далеко, сколько различал глаз, пока не начинала

сливаться с полосой отчуждения, с кустарниками и деревьями. Но вот подход к полотну от выбранной точки здесь не был прикрыт ничем. Лишь в одном месте у откоса жалко росла гривка бурьяна.

Они молчали, щурясь. Снег на этой сотне метров, поднимаясь к опушке, слежался, обтаял, превратился в наст, и наст блестел, хотя солнце едва-едва пробивалось.

— Приняли другой вариант. Кругом!— скомандовал Кейко. Резко отталкиваясь палками, он увел их на крохотную поляну. Матерый густой сосняк кронами закрывал их сверху хорошо.

Они замаскировали в кустах волокушу, мешки, а лыжи каждый расположил так, чтобы можно было в секунду встать на них.

— За мной! След в след!— Прижимаясь к кустам, Кейко вывел их к толстой сосне. Она росла на отшибе, соседи ей не мешали, и так как ей не приходилось тянуться вверх, она пошла в несколько стволов и свободно раскинула их в стороны. Впереди нее еще росли деревья, некоторые куда ближе к дороге, зато от сосны до кустов у опушки, до подлеска было ближе всего, и почти сразу же за кустами начиналась ложбина полотна.

Кейко, потоптавшись за сосной, сделал яму в метр шириной, углубил ее, присел, расчистил до земли. На стылой траве лежали хвоя, шишки, несколько листков, серое с темными поперечинками тетеркино перо.

Изогнувшись, Кейко стал подкапывать боковую сторону ямы. Сначала получилась пещерка, потом лаз, и Кейко лег на бок в нем и, работая так, на боку, не останавливался, пока не вывел лаз в сторону от стены, метра на три. Андрей и Ред выгребали снег у него из-под ног и из ямы. Потом Кейко вылез и перевел дух.

— Построиться!

Они построились.

Кейко поправил шапку, ремень на полушубке, отдал им честь.

— Слушай боевой приказ! Ориентиры: ориентир один — полоска сухой высокой травы, что прямо перед нами. Метр влево от правого ее края. Задача — подорвать эшелон противника у этого ориентира. Для чего сделать подкоп под снегом до откоса. Направление подкопа: яма — ориентир один. Время — до исхода дня. Работают все, кроме дозорного. Задача ясна?

Цурен откинул капюшон и отогнул наушники.

— Командир, поезд!

Они все отогнули наушники. Цурен не ошибся — где-то далеко стучали на стыках колеса.

— В укрытие! Не шевелись!— Кейко, сидя под кустом, набил, но не зажигал пока трубку.

Сначала прошел не поезд, первой прокатилась мотодрезина — квадратная с будкой в середине площадка на маленьких колесах. В будке стояли двое — машинист и, видимо, главный охранник. С десяток охранников стояли и сидели на площадке, вглядывались вперед.

За дрезиной прошел товарняк. Состав имел двадцать шесть двухосных вагонов-теплушек и два четырехосных пассажирских, плюс две платформы — за паровозом и в хвосте с зенитками, плюс пару платформ с балластом перед паровозом.

И в классных вагонах, и в теплушках топились вовсю печки — дым из труб так и валил. В теплушке-кухне дверь была задвинута на половину, и когда эта теплушка катилась мимо них, они видели, как на фоне темных котлов орудуют фрицы-повара в белых колпаках и передниках. Колпаки и передники демаскировали этих фрицев, и в них можно было бы бить наверняка, но Кейко приказал:—«Не шевелись!», и они все не шевелились, хотя тоже почти наверняка можно было бы стрелять и по зенитчикам, которые, замерзнув, толпились возле своих пушек. Зенитчики махали руками, слегка толкали друг друга плечами, притопывали — грелись.

— Опоздали мы, однако. Едут. Тыщи.— Цурен причмокнул.— Беда! Беда!

Когда товарняк прошел, когда они послушали, выждали, не прокатится ли еще какая дрезина, Кейко поднялся.

— По местам!

Ред, взяв Цурена за рукав, повел его к подкопу.

— Цурен, душа моя, ты помысли. Мы... Все не успеешь. Не может человек успеть все. Мы честно шли. И мы свое возьмем.

Андрей спрыгнул в яму. Кейко за ним.

— Выдерживать направление и размер! Беречь верх — пробитый наст демаскирует. Пропадет вся работа. Задача не будет выполнена. Ясно? Приступай! Редковский, за ним!

Подкоп, лаз, походил на полукруг — диаметром была земля, дугой — стенки и свод. У земли могли поместиться

двое, чтобы второй, находясь чуть сзади, оттаскивал вырезанный снег.

Странно, но в этом снежном коридорчике Андрею стало покойно. Вдруг ушла та внутренняя дрожь, которая появилась, как только их группа вышла на задание. Не то, что он и вправду дрожал, трясся там от страха, но что-то в нем, то ли какая-то жилка, то ли нерв какой-то, напряглись. И под грудною клеткою стало холодно. Как если бы там вдруг образовалась тонкая корочка льда, которая не пропускала к сердцу тепло.

Но сейчас, здесь, на стылой земле, в узком снежном белом тоннеле, в начале которого все лежало, сдвинутое под стенку, запутавшееся в жухлом пырее тетеркино перо, он как бы «вышел на дистанцию», как в «гонках патрулей»: стартовая напряженность до дрожи на уровне человека с флагом, взмах флага, рывок, опережающий слово «Пошел!»— и ты — на дистанции. Все в тебе — сердце, ноги, руки — работают на пределе, но дрожи уже нет, а есть покой, сила, воля и цель. Тут было, конечно, иное, война — не «гонка патрулей». Но ощущение сейчас оказалось одинаковым.

«Вот так!— сказал он себе, загоняя лопату по черенок.— Вы будете катиться на своей дрезине, все глаза проглядите. Нет нас здесь!..»

У этих, на дрезине, конечно, обязанности были распределены, они не просто сидели да поглядывали по сторонам, держа оружие наготове. Нет, каждый из них выполнял приказ: одни пристально вглядывались в правый рельс, другие — в левый, ощупывая взглядом набегающие стыки, крепления, шпалы под ними, гравий возле них — не потревожен ли, не отличается ли какой-нибудь клочок. Другие — смотрели на полотно от концов шпал до кюветов — нет ли тут каких-либо следов, третьи — на снег от кюветов в сторону от дороги.

«Шиш вам! С маслом!»

Снег набивался в рукава, за варежки к кистям, за воротник к горлу и шее, но Андрей резал, рубил этот снег, зажмурившись, чтобы не попадало в глаза, лишь время от времени открывая их, примериваясь, и отодвигал, сгребал снег к коленям, а потом, подвинувшись вперед, ногами отталкивал снег ко входу, и тут, подхватывая лопатой, Ред отшвыривал его к яме.

Через полчаса все было на своих местах. Если смотреть с тыла, откуда они пришли, то виделось все так. Толя Гуров, чуть отойдя от волокуши, лыж, вещмешков, стоял в дозоре — мало ли кто мог выйти на их точку. Толя поглядывал на триста шестьдесят, потирая затвор автомата. Когда рука замерзала, он совал ее за пазуху.

В яме, стараясь особенно не растаптывать ее вширь, действовал Кейко. Снег из лаза он переваливал в плащ-палатку и оттаскивал в ложбину.

В лазе,вытянувшись цепочкой, работали остальные.

Дело двигалось, но лаз удлинялся и темп падал — снег приходилось отгребать все дальше и дальше.

Когда были пройдены первые метров двадцать, Кейко передал по цепочке шомпол от пулемета.

— Проткнуть свод! Осторожно!

Шомпол вышел влево от линии яма — чертополох. Кейко примерился.

— Взять на полметра правее! Гуров, сменить ближнего!

И так они менялись. Сначала Маловы отстояли в дозоре, потом Цурен, потом Ред, потом очередь дошла до Андрея.

Они не только хорошо согрелись, они взмокли, от каменной земли ныли локти, ребра, кости таза. А Кейко лишь после третьей прикидки дал команду в лаз:

— Ред! На выход!

Но тут Андрей крикнул:— Воздух! Командир, воздух!— и Кейко приказал:— Отставить! В укрытие! Не шевелись!— и сам нырнул в лаз.

В сереньком небе на западе росла точка, все слышнее работал мотор, скоро точка вытянулась вдоль, в ней очертились крылья и над ними округлость кабины.

«Шторх»— маленький, юркий разведсамолет летел низко и медленно, держась над дорогой.

Андрей, упав за куст, спрятав под халат автоматическую винтовку, глядел на «Шторх» через ветки.

Он впервые в жизни видел настоящий, а не на учебных плакатах для опознания немецкий самолет так близко и низко. Это было удивительно, уму непостижимо. Как и то, что он видел, когда проходил поезд. Повара́ у котлов! Замерзшие зенитчики! Дым из теплушек! Теперь этот «шторх»— журавль по-немецки. «Какая сентиментальность!— подумал он.— Боевой разведсамолет назвать именем милой птицы. И какая низость!»

Журавль-стерх ни капли не походил на этот самолет. Стерх — медлительная, высокая, когда стоит, стройная птица. В полете, вытянув клюв, тело, длинные ноги в одну линию, она даже изящна, как все журавли вообще. А «шторх» был кургузым, горбатым, короткокрылым самолетом. И он летал не так, как летает стерх —«шторх» юрко рыскал вправо-влево от дороги, резко, по-воробьиному, меняя направление, чтобы побольше разглядеть.

Кухни! Зенитчики! Классные вагоны для офицеров! И все это на его, Андрея, земле. И в его небе.

Когда ночами, дежуря на крыше дома, он слышал, а потом и видел в перекрестье прожекторов, как летят к Москве немецкие самолеты, ему представлялось, что они летят издалека. Очень даже издалека. Так вот это представлялось. Может, потому, что бомбардировщики приходили на очень больших высотах. И это трансформировалось в голове в дальность.

А тут «шторх» летит себе низенько, летчик виражирует, чтобы лучше разглядеть, что там, на земле, как если бы он летал себе где-то в Померании или там в Саксонии, или еще где? Андрей вспомнил:—«В Баварии, Пруссии, Тюрингии...» И никто в него не стреляет. И никого он не боится! И эти все фрицы-немцы в теплушках и на платформах тоже никого не боятся. Катят себе. Обед варят. Толкаются, чтобы согреться. И это за сто километров от Москвы!

«Ах, черт!— воскликнул он про себя.— Да как же так получилось? Кто виноват? Само по себе такое не получается. Они едут — летят, а мы — прячемся!.. Стоп!— приказал он себе.— Спокойно, паря! Разговоры, почему они у московских пригородов, на чьих-то даже дачах, в летних детских садиках, в пионерских лагерях московской детворы — это потом. И «кто виноват»— тоже потом. Сейчас их просто надо сбивать. А тех, в эшелонах — расстреливать!»

Самолет подлетал, приближался, и Андрей, все через те же ветки, не высовываясь, не вытаскивая винтовку, на глаз прикидывал, прицеливался без нее. Так, на другой случай. Он бы попал. А кто бы из них не попал? Цурен? Цурен в двенадцать лет убил белку дробинкой в глаз! Чтоб не попортить шкурку. Кейко? Кейко — снайпер чистейшей воды. Толя Гуров? Толя входил в первую десятку в РСФСР по зимнему двоеборью по «Гонкам патрулей»— лыжи и стрельба. Маловы тоже бы попали из своего пулемета. Разве, промазал бы Ред? Да и то вряд ли...

Когда самолет пролетал мимо, до него по прямой было метров сто, максимум сто пятьдесят! В кабине различались

контуры головы и плеч летчика и летнаба, а на руле поворота ясно виделась свастика. Надо было сделать всего один прицельный выстрел. С упреждением на летящую цель, да в безветрии, да без помех. И нет тебе этого пилота, и врезался бы в лес неуправляемый горбатый самолетик!

«Смотри, смотри. Нас не увидишь. Учти, в другой раз мне можно будет шевелиться»,— сказал Андрей «шторху».

За самолетом сразу же, стараясь не отстать, но, конечно, отставая, прошла вторая дрезина. На ней вся площадка была забита охранниками, там даже если бы задумали посадить еще одного человека, он бы не поместился.

Второй товарняк состоял тоже из теплушек, классных вагонов, платформ с зенитками — но все это было не главным. Главным были танки. Накрытые белыми чехлами, они размещались плотнейшим образом — гусеница к гусенице. Они стояли даже между платформами, перед на одной, зад на другой, середина над сцепкой. Кое-где между ними были втиснуты вездеходы, какие-то крупные, с полувагончиками вместо кузовов машины.

«Вот это да!— У Андрея сжалось сердце,— эшелон-то катил к Москве! Где-нибудь, не доезжая окружной дороги, он разгрузится, танки построятся — развернутся и...»

— Редлинский, на выход!—повторил Кейко, когда эшелон прошел.

Ред выполз в яму до плеч, вытянул руки, пошевелил кистями и полежал на щеке.

— Ох, и тяжелая эта работа из болота тащить гибемота...— Он встал, свел задники валенок вместе.— Рядовой Редлинский...

— Покормить людей. Из расчета по двести колбасы, три банки консервов на всех, по сто спирту. Костер не зажигать. Чего улыбаешься.

Ред наклонился, выгребая из валенок снег. Там его было до стопы.

— На совести легче. А рванем, то..., как говорила моя бабка, на сердце будет, словно Христос по нему босыми ногами прошел.

— До Христа далеко.

Ред ладонями стер с лица пот, провел по нему рукавом, кинул в рот папиросу, чиркнул, Кейко достал трубку, повернул ее боком к спичке, посипел чубуком и несколько раз глубоко затянулся.

— Действуй. Десять минут тебе.

За эти три ночи и два дня они осунулись, почернели, небритые щеки у всех ввалились, а подбородки заострились, глаза запали, покраснели от мороза, потому что все время смотрели на снег, на снег, на снег.

Расположившись вокруг волокуши, они вяло ели: спирт разморил. За эти пятьдесят часов они поспали урывками три раза часа по четыре. И все! А прошли километров полтораста. Тут разморит! Сергунь с сухарем и куском колбасы в руках то жевал, то, прислонившись к плечу Саши, дремал и сопел, так как рот его был занят. Ред, положив голову Андрею на бедро, лежал на спине, вытянув и раскинув ноги; Цурен как будто ел и спал одновременно; Толя Гуров, завернувшись в полушубок, уснул по-настоящему; Кейко, закусив и отодвинувшись от еды, рассматривал, мигая, карту. Но когда он скомандовал:— Перерыв еще десять минут!— все зашевелились, и руки и челюсти задвигались быстрей.

Андрей стыл. Белье на нем было холодным, сырым.

— Сейчас бы чаю. Горячего и крепкого.— Он поднял кулак с оттопыренным большим пальцем.

— Попьем. После фейерверка. И кофе...— спокойно ответил Ред.

Сергунь подмигнул Андрею и шепнул, чтоб не слышал Кейко:

— Может, горячего молочка с булочкой?— Андрей пожал плечами.— И... и...— Сергунь давился от смеха,— и на печку... чку... чку... с... с... дурочкой?!.

— Ты, осел,— сказал Толя Гуров.— И пошляк.

Кейко слышал вторую половину присказки, но только приподнял бровь, Андрей махнул рукой.

— Он просто глупый.

— Надо лечиться,— посоветовал Ред.— Безотлагательно.

— Кончай обед!— приказал Кейко.— Перекур три минуты. Сергей! Сиди, сиди.— Он погрозил пальцем.— Еще одно такое, и я прикажу брату надрать тебе уши. Ясно?

Сергунь покраснел, отвел глаза вбок, надул губы и стал отковыривать с консервной банки краску.

— Ну как-то вырвалось. Я не хотел. А вы так сразу... Все на одного...

Последние двадцать метров они рыли с ожесточением, все спины взмокли, от лиц так и валил пар, и когда шомпол, воткнутый в переднюю стойку подкопа, вышел в бурьяне, Кейко отвел их к волокуше.

— Отдыхать! Стоя! На снег не ложиться! Ред, надень шапку, не до больных!— Он снарядил мину, отмерил кабель, покрутил машинку, убждаясь, что она дает нужную искру, срезал с елки мохнатую ветвь и вторую — маленькую, но тоже мохнатую, сильно потряс обе ветки и побил их одна об одну.— Гуров, кабель, машинку! Новгородцев, палатку, лопаты. Две. Со мной! Группа, к бою! Круговое наблюдение! Старший — Редлинский.

Спрыгнув за Толей в яму, Андрей видел, как Ред и Цурен выдвинулись правее их и легли и как, подхватив пулемет и сумки с магазинами, Маловы занимают позицию с левого фланга. Наклонясь, чтобы лезть в подкоп, он уже боковым зрением заметил, что Цурен поднял руку, а потом резко выбросил ее вперед вбок — в сторону дороги.

— Командир, внимание!— крикнул Андрей в подкоп.— Внимание!— и стал в яме на колени.

С востока шел порожняк — двойной состав вагонов и платформ. На одной из них стояли дрезины. Их маленькие колеса отдыхали. Охранников на платформе не было — ни одного. Охранники катились в плацкартном. Блаженствовали. Пили, наверное, водку, ели, играли в карты, кто-нибудь спал, расстелив на полке шинель, тулуп. Хорошо им было сейчас — в тепле, в гимнастерочках, сбросив валенки. Пошевеливая пальцами на ногах. Ешь поплотней да посматривай в окошко, как убегают назад елки и сосны.

Легко, как под горку, отстукал мимо них порожняк.

Кейко, высверлив в оставшейся стенке дырку с орех, дал и им посмотреть.

Полотно было рядом — хоть руку протяни! Под снегом угадывались круглые камешки гравия, головки костылей, темнели плоскости и торцы шпал, болты и накладки соединений в загустевшем мазуте. А рельсы блестели! Сияющие, отшлифованные колесами, они уходили вправо и влево геометрически точными, суживающимися параллелями.

— Новгородцев! К наблюдателям и назад!— шепнул Кейко, как будто их кто-то мог услышать.

Андрей сползал к яме, посигналил Реду и Маловым. Они покачали ладонями перед грудью: «Все в порядке!»

Кейко, держа палец у губ, вслушиваясь, выждал еще минуту, потом резкими ударами лопаты пробил выход и выполз на боку, прижимая мину к груди.

В горле у Андрея пересохло, и он слизнул с рукава снег.

«Ну... Ну, ребята!— подумал он.— Неужели нам не повезет? В самом начале... Должно повезти. Должно...»

Широко шагая, чтобы следов оказалось меньше, Кейко вышел на полотно. Повторяя его движения, держа наготове лопаты и конец провода, рядом с ним стал Толя. И Кейко сразу же присел, отложив мину чуть вбок, и они оба быстро заработали, делая под стыками углубление.

Андрей нагреб из лаза снегу, свалил его на палатку, свел концы в узел и, подхватив ветку и веточку, вышел к ним.

Здесь, в разрезанном холме над полотном дул ветерок, поднимая над гравием снежинки, надувая около мины валик.

Без рукавиц, не меняя позы, Кейко и Толя расширили углубление, Кейко подсоединил к мине провод, опустил мину на дно, сгреб ладонями на крышку гравий, нажимая на него, уплотнил, разровнял, принял куль со снегом, осторожно, наклоняя куль, ссыпал снег, вместе с Толей сгреб в палатку не поместившийся гравий, передал ее Андрею, скомандовал:

— Еще снегу!

Андрей, ссыпав гравий в ближний от лаза след, снова нагреб снега на палатку, передал ее через Толю, Кейко, сидя на корточках на рельсах, веточкой аккуратнейше замел над миной, потом, подбрасывая пригоршни снега на ветерок, проследил, как он все уровнял над миной и вокруг нее.

Отходя к лазу, получив узел со снегом, Кейко засыпа́л из него следы за собой и сначала большой, а потом и маленькой веткой тщательно все разровнял и тоже подбрасывал, как сеял на воздух, пригоршни, чтобы не осталось ни полоски от хвои.

Шел четвертый час. Вблизи все виделось еще хорошо, но дальний гребень холма, дальняя кромка леса теряли четкость, размывались.

Катились цистерны. Бокастые, тяжелые. На изгибе дороги состав выгнулся и стал особенно похож на гигантскую черную гусеницу, торопливо ползущую мимо зелено-белого леса. Отвратительная эта была гусеница — вонючая, металлическая, грохочущая, грязная. Она была чуждой здешней тишине, воздуху, чистоте, птицам.

Сразу за паровозом ехали платформа с зенитками и теплушки, видимо, с людьми. Такие же платформа и теп-

лушка были в середине и в конце поезда. И, конечно, же, перед собой паровоз толкал платформы с балластом.

— Огонь только по цистернам! Что бы ни случилось!— приказывал Маловым Кейко.— Задача — подорвать как можно больше. Боеприпасы — не жалеть. Ясно?

Из-за плеча брата Сергунь смотрел Кейко в рот. Глаза у Сергуня были круглые. Саша, наклонившись вперед, замер, как бы для того, чтобы все лучше расслышать и понять.

— Фрицы — не ваша цель! В каждой цистерне — пятьдесят тонн бензина.— Пятьдесят тысяч килограммов. Заправка машины — сотня. Заправка танка — двести — триста. Цистерна — это пятьсот машин. Или две с лишним сотни атакующих танков. Понимаете, что значит сжечь цистерну? Это остановить двести танков. Вот ваша помощь фронту! Родине!

Толя Гуров, стоя рядом с Маловыми, кивал, тер руки, как если бы их щипало, оборачивался еще к далекому составу, повторял одними губами:

— Пятьсот машин! Двести танков!

— Огонь по живой силе — все остальные! Отход по моей команде! Ясно? Группа, к бою!

Кейко быстро обошел поляну, вытянул из куста нос волокуши, а лямку ее распрямил. Опять пролетел «шторх», бодро простучала отдохнувшая дрезина, и Андрей мысленно сказал им:

«Там все замело. Ни снежинки не тронуто. Хоть глаза проглядите. Ага, пролетел? Ага, прокатилась? То-то!..»

Мощный паровоз, пыхая, приближался, рос, надвигался, и рельсы гнулись под ним.

Кейко подорвал мину как раз тогда, когда над ней было ведущее колесо паровоза, связанное с котлом шатуном.

Тяжеленный, горячий, лоснящийся от масла паровоз как бы подпрыгнул. Взрыв оторвал у него и колесо, и шатун, концы состыкованных рельсов с этой стороны сорвало со шпал, большие колеса паровоза помчались по ним, шпалы крошились, паровоз осел на этот бок, инерция балластных платформ, подпирающие цистерны развернули его еще больше, колеса и с другой стороны сошли с рельсов. Паровоз, зажатый откосами, развернуло почти поперек полотна, платформа с зенитками полезла ему на тендер, зенитки, сорвавшись с креплений, скользнули к борту, сломали его, ссыпались вместе с людьми под левые колеса теплушки, она с железным хрустом перекатилась, качаясь, по ним.

Набравшее скорость и вдруг застопорившееся тяжелое

железо сбивалось в громадный корявый бугор, скрипело, гнулось, стонало, трескалось, корежилось, ломалось. Был такой скрежет и грохот, что Андрей пригнулся. Та часть состава, которая шла по рельсам, давя вперед сбившиеся с пути вагоны, платформу, цистерны, вытолкала искореженный паровоз за сотню метров от мины. Когда бабахнула первая цистерна, а потом сразу же — подряд — вторая и третья, Андрей спрятал лицо в снег. Но и через него страшно воняло горящим бензином, краской, накаленным металлом. Жар шел над головой и спиной, и Андрей подумал: «Сгорим... Сами сгорим...»

Еще до взрыва первой цистерны Маловы начали бить из пулемета. Пули простреливали железо цистерн, и из них через дырочки хлестал на откос бензин. Маловы сменили диск, стреляли по все медленней, все устойчивей, все более тормозившимся перед ними цистернам. Бензин хлестал на откос, и хотя у паровоза все полыхало, здесь бензин не горел.

— Огонь,— кричал Кейко.— Огонь! Огонь! Гранату!

Поезд еще не остановился, а из теплушки — наискось от их позиции, за второй платформой с зенитками начали выскакивать немцы и лезть на откос. Рассыпавшись в цепь, они стреляли в лес прямо перед собой. Никто же из них не знал, где диверсионно-разведывательная группа. Зенитчики полоснули по лесу из пулемета и автоматов, и Андрей, ловя в прицел вспышки выстрелов, быстро стрелял по ним.

Бил пулемет Маловых, поезд стал, из цистерны напротив из простреленного бака — из длиной цепочки дырочек — лились напряженные струйки, снег от бензина темнел. «Огонь! Огонь!»— кричал Кейко, и тут Андрей увидел, что Толя Гуров вдруг подхватился со своего места и бежит к составу. Толя бежал, насколько позволял бежать снег, без автомата, держа правую руку с гранатой на отлете.

Белая куртка с капюшоном, белые брюки на фоне багрового зарева демаскировали Толю, зенитчики увидели его, с платформы второпях резанули очередью, пули взбили перед Толей ленту снежных фонтанчиков, пока пулеметчик поправлял прицел, Толя пробежал нужные ему метры, Андрей дважды успел выстрелить по платформе, кто-то около пулемета упал, тут пулеметчик резанул еще одной очередью, но граната уже летела.

Толя, сломившись в поясе, сделал еще шаг, второй, третий и как раз тогда, когда хлопнула граната, ткнулся лицом в снег.

Бензин на откосе вспыхнул, закрыл от них состав. Пламя какие-то секунды гудело, потом одна за другой чудовищно грохнули две цистерны. Огонь от них взметнулся вверх, плеснулся в бока, упал, накрыв Толю.

Жгло так, что Андрей начал отползать. Мимо него с визгом пролетел обломок трубы, в полуметре шмякнулся и шипел кусок вентиля, какие-то мелкие железки падали по сторонам и за ним.

— Отходить! Все назад! Быстро!— крикнул Кейко.

Рывком, невидимые за огнем, они перебежали к поляне.

Кейко сунул на волокушу машинку, примотал ее остатком кабеля, показал на вещмешок и лыжи Толи:

— Взять! За мной! Вперед!

Мубарак Садыков

В ОГНЕННОМ КОЛЬЦЕ

Кончался победоносный сорок четвертый год. Гитлеровцы отчаяно защищали Будапешт. В сводках Совинформбюро появилось трудно произносимое «Секешфехервар». То был венгерский город, вблизи которого велись ожесточенные бои. Бойцы шутили, что его легче будет взять, чем называть. «Престольный белый город»— так переводится это слово на русский. Местные мадьяры с гордостью поясняли, что город — ровесник венгерского государства. А в древности здесь была крепость Римской империи — Альба Регия.

Так в походах и сражениях изучал историю и географию Европы старший сержант Константин Андрианович Токарев, тогда еще крепкий сорокалетний мужчина, за плечами которого в мирные дни была грандиозная по тем временам стройка—Турксиб, а в военные—путь от Сталинграда до этих вот лесов Венгрии. Должность он занимал небольшую — писарь административно-хозяйственной части, сокращенно АХЧ. А служил в прославленной 80-й гвардейской стрелковой Уманьской ордена Суворова дивизии, чем вполне справедливо гордился.

Много усилий стоило Токареву стать солдатом. Он был снят с воинского учета, но убедил все же медицинскую ко-

миссию отправить его в 1941 году на фронт. Деформированные в результате несчастного случая пальцы одной руки не помешают ему стрелять,— убеждал он врачей. И так с заключением «ограниченно годен» попал всякими хитростями на передовую. С собой он взял памятную медаль «Турксиб, 1929—1930» с изображением железнодорожной колеи и первого паровоза в казахской степи.

Советские солдаты не только изучали, но и творили историю. Перекраивалась карта Европы, восстанавливалась справедливость, народы обретали свободу. Из дивизионной газеты «Атака» Токарев узнал, что Временное национальное правительство Венгрии 28 декабря объявило войну фашистской Германии.

80-я гвардейская под командованием полковника В. И. Чижова двигалась в направлении знаменитого озера Балатон, на бархатных пляжах которого еще недавно нежились фашистские генералы. Штаб и тылы дивизии разместились в маленьком селе Агостиан, которое по названию странно напоминало нашим солдатам далекую отсюда Армению.

— Как будто домой попал,— шутил по этому поводу штабной повар Миша Михетарян.— А где-то недалеко, слыхал я, есть даже населенный пункт, вроде бы в мою честь названный — Тарян...

Первый день нового 1945 года навсегда сохранился в памяти Токарева, потому что с того дня и начался отсчет тяжелым испытаниям, выпавшим на его долю, как и на долю всей дивизии.

С утра Чижов беседовал с интендантами, которых порой совершенно несправедливо и обидно называли «тыловыми крысами» и «обозниками» за их сравнительную с пехотой отдаленность от передовой.

— Враг рвется к Будапешту, где нашими войсками окружена большая группировка гитлеровцев,— рассказывал полковник.— Злодейски убив наших парламентеров, они отказались капитулировать и теперь оказывают упорное сопротивление на окраинах...

Чижов просил интендантов как можно лучше организовать перевозку штабного имущества, документов, и самое главное, оружия и боеприпасов.

Не знал Токарев, что гитлеровцы в ближайшие часы обрушат на Агостиан целую армаду танков, нанеся внезапный удар по 80-й дивизии. Дело в том, что немцы решили с запада прорваться к венгерской столице, чтобы освободить

ее от блокады и в свою очередь окружить советские войска, находившиеся за Дунаем и, прежде всего, четвертую гвардейскую армию, стоявшую у них на пути. В ее состав входила и дивизия полковника Чижова.

«Агостианская трагедия»— так впоследствии назовут эти дни борьбы за освобождение Венгрии советскими войсками. Разными путями выходили бойцы дивизии из огненного кольца. Отрезанные друг от друга и разрозненные, некоторые подразделения двое суток отбивались от нападавшего врага, то и дело прорывая кольцо окружения, и опять попадали в него.

Но все это было позднее, а пока что интендантская служба готовилась к походу. Штабникам не привыкать было к частым переездам, особенно в период наступления. Радостно было сознавать, что вся советская земля очищена от гитлеровских орд и теперь наша армия освобождает от фашистского ига другие народы и другие земли.

С этими мыслями Токарев вышел на дорогу, которая проходила возле села и по которой предстояло двигаться машинам со штабным имуществом. Вышел и не поверил своим глазам. Вчера еще совершенно свободная, она была до отказа набита боевой техникой и транспортом.

А произошло вот что. Немцы открыли сильный минометный огонь по соседним частям и крупными силами перешли в атаку. Им удалось вклиниться в нашу оборону и зайти в тыл одному из полков. Несколько сот гитлеровцев при поддержке танков напали на штабные подразделения, нарушили связь, управление. Нечего было и думать, чтобы пробиться отсюда на главное шоссе, что проходило невдалеке за лесом. Да и команды сниматься с места не поступало.

Еще было время осмотреться, и Токарев попросил разрешения у начальника АХЧ Павла Ивановича Бевса разведать в лесу: нет ли там какой дороги для машин. Откуда им было знать, что немцы бросят в бой главные силы и перейдут в наступление не только против дивизии Чижова, но и всего 31-го корпуса. На 53-километровом участке фронта, от Шютте до Банхиды, под прикрытием снегопада врагу удалось сосредоточить для нанесения удара по населенному пункту Бичке пять танковых и три пехотных дивизии, что означало превосходство в танках в 17, артиллерии и минометах — в 11, в пехоте — в 10 раз. Надо было во что бы то ни стало отстоять Бичке — стратегический пункт и узел дорог на Будапешт и Секешфехервар.

Не знали Токарев и Бевс, что гитлеровцы наносят свой основной удар на Будапешт в двух направлениях, одно из которых проходит через Агостиан. Они видели лишь запруженную войсками дорогу и думали, как пробиться на главное шоссе, что проходит невдалеке за лесом. Углубившись в него, Токарев прошел примерно километр, сверяясь по карте. Это, собственно, была не карта, а скорее туристская схема, которую Токарев обнаружил в одном из брошенных домов. Ему объяснили, что такими схемами пользуются местные жители, у которых имеются машины и велосипеды. Вспомним, что озеро Балатон, в районе которого они находились, всегда славилось своими курортами. Так что и туристам эти карты были нужны.

Старший сержант Токарев себя туристом в тот день не чувствовал. Напротив, он понимал, сколь далеко от развлечения и отдыха его задача. По карте ему удалось обнаружить, что поблизости имеется проселочная дорога. Если повернуть по ней налево, то можно выйти на большое шоссе, где сходятся все лесные тропинки. Теперь он знал, как пойдут в сторону шоссе штабные машины и тылы дивизии.

Токарев был доволен результатом своей рекогносцировки. Вдруг он увидел, что навстречу ему между деревьями движутся трое военных. Два бойца поддерживали раненого полковника, который шел, превозмогая сильную боль в ноге.

— Товарищ старший сержант,— обратился полковник к Токареву,— помогите мне добраться до своих...

Токарев объяснил, что его ждут солдаты и машины, которые вскоре пойдут по этой дороге. Он не знал, что штабные подразделения в это время отстреливались, отбиваясь от наступавшего противника, пятясь к горе, поросшей лесом, который окружал село со всех сторон. Перед отступавшими была стена темного леса, посыпанного снегом, позади — оставался Агостиан. Бойцы группами и в одиночку бродили по горам и лесам в течение нескольких суток, и только найдя слабое место в обороне врага, переходили к своим. Не всем это удавалось.

Все это Токарев узнал позднее, а пока что спешил к оставленным штабным машинам, в расположение административно-хозяйственной части.

— Побудьте здесь, товарищ полковник,— сказал он,— я вас посажу в какую-нибудь машину на обратном пути.

Каково же было удивление старшего сержанта, когда

он увидел, что там, где располагалась его АХЧ, никого нет. Токарев обнаружил двух бойцов — водителей грузовиков. Сами машины были спущены в овраг, чтобы не привлекать внимание противника, который по всем признакам был где-то совсем близко. В нескольких километрах грохотала канонада, рвались снаряды, и ветер доносил характерный чесночный запах тола.

В одной из машин находились раненые. Теперь уже не оставалось сомнения, что нападение на Агостиан было внезапным и силы противника намного превосходили наши. Начальник АХЧ Бевс дал указание машины спрятать в овраге, а самим выбираться пешком. Сам Бевс и некоторые штабные офицеры также пошли лесом. Как они могли оставить раненых, было совершенно непонятно. Паника могла объяснить, но не оправдать эти действия Бевса.

Была глубокая ночь, когда Токарев с двумя бойцами приступил к спасению раненых. Один конец троса прикрепили к дереву, другой — к автолебедке. Так удалось вытащить обе машины.

Дорогу преграждали деревья, пришлось их спилить, а затем корчевать небольшие пни. На это также ушло немало времени.

Тот, кто имел рацию, мог услышать в эфире голос командира корпуса, повторявшего одни и те же слова: «Вы окружены, выход только ущельем через Дардеш. Выход с боем через Дардеш»...

Позднее Токареву рассказали про группу офицера П. И. Маркелова, которая сутки собирала бойцов по горам и лесам, а потом пересекла лес в северном направлении. Тяжелым был для них подъем на перевал. Справа — крутой, обледенелый склон. Чем выше они поднимались, тем гуще становился лес. Некоторые бойцы, больные и раненые и просто истощавшие за двое суток, не выдерживали изнурительного подъема, срывались с горы и катились к ее подножью.

Двигаясь по дороге, Костя в предрассветных сумерках взглядывался в обступавший его со всех сторон лес, в надежде увидеть раненого полковника. Он назвался Оглуздиным, заместителем начальника политотдела дивизии. На прежнем месте его уже не было.

Извилистая лесная тропа вывела, наконец, на шоссе. Прошла длинная зимняя ночь, в течение которой Токарев и его бойцы не сомкнули глаз. Особенно беспокоили старшего сержанта раненые, лежавшие в кузове. Тряска при-

чиняла боль, мучила жажда. И все усугублял холод, достаточно сильный для тех широт. Мерзкая сырость пробирала до самых костей, проникала за воротник, била ознобом.

В утреннем тумане показалось какое-то строение с деревянным куполом. Затем стали видны домики помещичьего имения. В один из них внесли раненых, уложили их удобно.

Оказалось, что строение с куполом — это наблюдательная вышка сбежавшего хозяина имения. Токарев взобрался на нее. На юге отсюда хорошо был виден Дунай, а к северу, насколько хватало глаз, простирались лесные массивы. Вместе со старшим сержантом на вышку поднялся солдат и для лучшей видимости выбил прикладом стекла. И тогда оба одновременно обнаружили дым, который стлался неподалеку. Дымила чья-то землянка. Токарев послал туда одного из бойцов, посоветовав ему быть осторожным.

Вскоре смуглый мужчина среднего роста стоял перед Токаревым. Это он прятался в землянке. Мужчина назвался управляющим лесным хозяйством, которое принадлежало помещику. Впрочем, помещикам, как он сообщил, принадлежали все леса в этих местах. Большинство из господ предпочитает пока отсиживаться за границей в ожидании лучших времен.

— Лучшие времена для них уже не наступят,— уверенно сказал Токарев.— «Хотя и наше положение сейчас не из лучших»,— мысленно добавил он.

Обидно было в самом конце войны попасть в окружение, в котел, вместе того, чтобы гнать врага на запад. За спиной у Токарева было много военных дорог. Он шел к Балатону от самой Волги.

Он вспомнил зиму 1942—43-го, когда его родная 80-я дивизия еще называлась Сибирской: она формировалась на Алтае. За успехи в боях под Сталинградом ей было присвоено звание гвардейской. Как-то после боевой операции солдаты расположились в землянке, что находилась от города в трех-четырех километрах. Оказалось, что поблизости имеется немецкий госпиталь. Фашисты его разместили в бывшей сельской больнице. Отступая, они оставили своих раненых на произвол судьбы.

И вдруг в землянку входит один из этих раненых, обмороженный. Гейнц Эбингер — так он себя назвал. Австриец. До войны работал парикмахером в Вене. Он показывает фотокарточки, что хранил в нагрудном кармане. Это — моя жена, мои дети, говорил он. На клочке бумаги написал свой венский адрес.

— Вы там будете,— уверенно сказал он.— Обязательно зайдите!

Слова пленного показались Токареву пророческими. Многие солдаты гитлеровского рейха уже тогда не верили в победу бесноватого фюрера. Сталинградская битва окончательно лишила их всякой надежды на этот счет. Теперь старший сержант беседовал, как ему казалось, с представителем венгерского народа и с волнением ждал от него ответа.

— Где немцы?— спросил он, развернув карту.

Управляющий уверенно и даже с каким-то удовлетворением ткнул пальцем в карту — совсем рядом с имением, в котором они находились. Оставалось только двигаться по лесу, не выходя на шоссе. А он простирался, как Токарев уже мог убедиться, далеко на север. Старший сержант знал, что фашисты до судорог боятся леса, наслышаны про советских партизан. Поэтому риск встретить их там не слишком велик. Он чувствовал себя ответственным за судьбу шести раненых бойцов и двух солдат, которые доверились ему, как старшему по званию, и беспрекословно выполняли все его распоряжения.

Итак, дальше — в лес. Другого пути не было. Имелись винтовки, автоматы, немного патронов. В кармане у него две ручные гранаты. Так что встреча с советскими солдатами фашистам сулила мало хорошего. «Голыми руками нас не возьмешь,— думал Токарев.— Будем драться до последнего патрона, до последнего вздоха».

С этими мыслями старший сержант сел в грузовик. Ехали медленно, тщательно вглядываясь в лесные заросли. Опасность могла возникнуть на каждом шагу. На опушке леса показался танк. Токарев облегченно вздохнул, когда увидел возле боевой машины советских солдат. И среди них он узнал знакомого лейтенанта по фамилии Пушкин, что делало парня постоянным объектом полковых острословов. Стихи этот Пушкин не писал, хотя и признавался, что питает к ним, как он говорил «наследственную любовь».

— Стихов не пишу,— отшучивался он как мог,— чтобы не позорить фамилию...

Именно его, Пушкина увидел Токарев возле танка. Вид у лейтенанта был спокойный, что мало вязалось с тревожным состоянием самого Токарева. Пушкин объяснил, что его танк шел в колонне из девяти машин. Случилось непредвиденное — раскололась передняя звездочка, поддерживающая гусеницу. Остальные танки пошли в поселок,

где находилась наша мастерская. Теперь он ждет, когда пришлют нужную деталь, чтобы двигаться дальше.

— Можете ехать по следам танков,— сказал лейтенант.— А можете подождать, когда пришлют «звездочку». Потом поедем вместе...

Токарев остался с танкистами. Ждали до вечера, но напрасно. Первыми стали нервничать раненые: вот уже сколько времени они лежали без всякой помощи. И это решило дело...

На окраине поселка солдаты встретили безусого паренька-мадьяра, который, к их удивлению, на сносном русском языке ответил на все вопросы. «Русские танки ушли отсюда,— сказал он.— Никаких русских здесь больше нет. Нет и мастерской в поселке».

Как могло получиться, что танкисты бросили в беде своего товарища? Трудно судить, когда не знаешь обстоятельств. То ли стало известно о близости крупных сил врага, то ли необходимо было пробиваться быстрее к нашим частям, хотя бы даже и ценой жизни одного из экипажей. Они могли надеяться, что лейтенант сам найдет выход из положения.

Токарев все больше убеждался, что выпавшее на долю дивизии испытание стало проверкой характера каждого — от рядового бойца до командира. Одни не растерялись, сохранили хладнокровие, другие — смалодушничали, показали себя жалкими трусами и неврастениками, как тот же Бевс — его недавний начальник.

Поселок был настолько близко от немецких тыловых позиций, что доносились какие-то голоса. Вслушавшись, Токарев узнал русскую речь. Она звучала из рупоров громкоговорителей, развешанных на деревьях. Это был призыв к солдатам, офицерам и политработникам 80-й дивизии.

— Вы окружены, у вас нет выхода,— вещало радио,— вас ждет голодная смерть в горах и лесах. Идите к нам, где есть тепло, горячая пища и отдых...

Затем оркестр народных инструментов красиво и задушевно исполнил волжские песни...

Как ни тяжко было Токареву и его товарищам, они смеялись, слыша эту бесполезную, лживую пропаганду. Каждый знал цену фашистским посулам.

Но надо было решать, как быть с отставшими танкистами. Токарев предложил вернуться к экипажу Пушкина. Приказывать в этих условиях он был не вправе. Голоса солдат-шоферов разделились. Один согласился с Токаревым, а другой настаивал двигаться вперед. В конце концов

мнение старшего сержанта победило. Решили, что разумно будет сообщить отставшим танкистам о случившемся и объединить обе группы, усилив ее оружием, снятым с боевой машины. А там был полный боекомплект: пулемет, автоматы, гранаты. Отряд под командованием опытного офицера становился грозной для врага силой.

Так и сделали. Орудие танка было приведено в негодность, чтобы гитлеровцы не могли им воспользоваться. Пулемет поставили на переднюю машину, где находились раненые. Токарев и лейтенант шли впереди, освещая дорогу карманным фонариком. Машины на малом ходу следовали за ними в ночной мгле.

Токарев прислушивался к каждому шороху. Пригнувшись, он увидел на фоне ночного неба силуэты танков. Ночью трудно было определить чьи это машины. Притихли вдруг и те, кто копошился возле них. Однако лейтенант узнал своих. «Чуть не побили вас гранатами»,— сказал он товарищам. У одного из танков разорвалась гусеница. Общими усилиями ее починили и двинулись вместе вперед.

Но радоваться было еще рано. Грузовики шли вслед за танком, который подминал под себя тонкие деревья. Но они сразу выпрямлялись и препятствовали движению машины, в которой находились раненые солдаты. Приходилось спиливать деревья и таким образом шаг за шагом прокладывать путь. Медленно, но все же вперед.

На окраине какого-то селения встретился местный житель — мадьяр.

— Покажите нам, пожайлуста, дорогу на Байню,— попросил Токарев.

Мадьяр понял только одно слово «Байня», которое привело его в страшное замешательство. Дело в том, что к третьему января гитлеровцы вклинились в нашу оборону на шестнадцать километров и вышли с запада к Даряну, а с севера — к Байне. Из его сумбурной жестикуляции Костя понял, что там совсем недавно было большое сражение. Значит, они почти на передовой линии наших войск. Оставалось найти свою часть.

— Едем в Мань,— бросил ему на ходу знакомый офицер-танкист.— Это населенный пункт неподалеку.

Прежде чем снова двинуться в путь, Токарев в той же деревне покормил раненых. Зашел во двор. Никого не видно. Однако плита горит, в котле варится курица. Выезжая из поселка, заметили, как из подвала выбираются мужчина и женщина: видимо, хозяева — побоялись показаться советским воинам. «Результат геббельсовской пропаганды

о зверстах «красных» на венгерской территории»,— с горечью подумал Токарев.

Пять бессонных, голодных и холодных суток окончательно изнурили его и бойцов, не говоря уже о раненых, которым они отдавали почти все, что удавалось достать в пути — пищу, одежду. А нервное напряжение, в котором они пребывали все это время, сменилось страшной усталостью, как только они оказались в безопасности.

В Мани пришлось заночевать. Утром получили разрешение старшего офицера на дальнейшее следование в свою часть. И вот — маленький городок Бичке. Повозки, запряженные лошадьми, автомашины. Встретился знакомый офицер из дивизии Чижова. Он рассказал, как погиб начальник АХЧ Бевс, в панике бросивший технику и раненых. Похоже, что в дальнейшем он вел себя более мужественно. Пройдя десятки километров, он с группой офицеров наткнулся на гитлеровцев. Завязался неравный бой. Бевс храбро сражался и был убит осколком, когда перебегал в укрытие.

Много потерь понесла 80-я дивизия в эти дни. Но ее солдаты вынесли все знамена, хотя сами вышли не все. Вышли почти без машин, без повозок, без пушек и минометов. Но и фашистам дорого обошлось вклинение в оборону 4-й гвардейской армии. Весь путь врага был усеян разбитыми орудиями и танками, трупами солдат и офицеров.

Командование третьим Украинским фронтом предприняло все меры для отражения вражеского наступления на Будапешт. Была создана новая линия обороны, доходившая до десяти километров в глубину. Если пятого января немцы еще наступали, то шестого — встретив мощный артиллерийский огонь и танковые контратаки, остановились. Наступление противника на этом участке фронта выдохлось.

Шестого января Токарев прибыл в штаб дивизии. Часовой, забыв об уставе, бросился к нему навстречу с автоматом на плече.

— Тебя считают погибшим,— сказал он.— Остался во вражеском тылу, далеко от передовой...

— Вас вызывает начальник штаба дивизии,— сообщил прибежавший ординарец.

Полковник Павел Иванович Камышников шел к нему навстречу с дружески протянутыми руками. А Токарев, от усталости едва стоявший на ногах, рассказывал о том, как ему удалось в условиях окружения совершить свой скром-

ный подвиг — спасти раненых, сохранить технику и людей для будущих сражений.

Это было в январе 1945 года. До взятия Будапешта оставалось немногим более пяти недель. И вскоре столица Венгрии с ликованием встречала советских солдат.

Много фронтовых дорог прошел алмаатинец Константин Андрианович Токарев. Он награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», а также медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены». Как самую дорогую реликвию хранит он удостоверение ветерана 4-й гвардейской армии, где сказано: «В память об участии в боях и сражениях против фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны в составе войск 4-й гвардейской армии, победоносно пронесшей боевые знамена от Сталинграда до Вены».

Александр Сергеев

ОДИН ШАГ К ПОБЕДЕ

И в эту ночь, перед назначенной на утро атакой, солдаты спали крепким сном. Спали, скорчившись на соломенных подстилках, в окопах, завернувшись от пока еще не сильного холода в шинели, натянув на уши пилотки. За первые тяжкие месяцы войны они уже привыкли ко всему. А командир батальона капитан Костров заснуть не мог. Он полежал одетый на топчане в своем блиндаже, поднялся и вышел.

Ночь была тихая, без ветра, первая в этих сырых местах осенняя ночь без дождя, снега и тумана. Жиденький белесый серпик только народившейся луны тускло освещал огромное, тянувшееся перед линией обороны батальона поле, покрытое тонким слоем снега, зажатое с флангов лесом и болотными трясинами. Окопы батальона резкими зигзагами пересекали все поле. Костров прошелся по ближайшим. В траншеях, на поворотах в специально вырытых нишах коптили жировички-керосинки. Колеблющийся свет их выхватывал из полумрака фигуры спавших, будто ощупывая, шарил по их лицам, поблескивал на вороненых стволах и во сне зажатых в руках солдат винтовок. Заслышав шаги, дремавшие у амбразур дозорные откидывались от земляных стен, вытягивались перед командиром, всем

своим видом старались показать, что они не спят, что начеку. Костров кивал головой, шел дальше.

Обойдя весь правый фланг, он возвратился в блиндаж. Здесь его ждал командир полка Бадин — майору, видно, тоже не спалось. По углам жались на корточках сопровождавшие майора автоматчики; топчаны, скамейки заняли спавшие штабники батальона.

Скинув шинель, Бадин ходил по блиндажу. Как и Костров, кадровый офицер, он и сейчас, ночью, после тяжелого дня был строг и подтянут, гладко выбрит, выглажен и начищен. Остановившись перед присевшим на табурет Костровым, майор глянул на него в упор. В усталых, измученных недосыпанием глазах его стыла тревога.

— Ну как, комбат, подготовился?— осевшим тоже, наверно, от усталости голосом спросил он.

Костров помолчал и ответил твердо:

— Все что нужно сделано.

— Задачу понял? Что Батя толковал, уяснил?

«Батей» в дивизии ласково называли большеголового, грузного, уже пожилого комдива. Он лично вызвал Кострова в штаб дивизии и дал это задание.

— А что понимать? Все ясно — выбить фрицев из окопов, отогнать хотя бы на полтора-два километра и закрепиться. В общем-то дело пустяковое, но мы уже дважды зубы на этом «пустяке» ломали. Дважды в атаку ходили и оба раза кровью умылись... Не получился у нас «пустяк» этот.

Костров говорил, а перед глазами у него упирающийся в карту пухлый палец комдива, в ушах громкий, властный голос:

— Ты смотри сюда, комбат. Вот она, линия обороны фашистов. Видишь, как выгнулась, дуга настоящая, или подкова, краями своими как клещами полк ваш обжимает. Чуть даванут фрицы, вы опять в кругляшке, в окружении. Ох, как я слово это ненавижу, слышать не могу!— скривился он и стиснул пальцы в кулак.— Фашисты это, конечно, учитывают и вот-вот штурманут, силы уже накапливают. Ночью вот сюда,— ткнул он пальцем в заштрихованный синим карандашом правый фланг противника,— минометы подтянули, взвод автоматчиков на машинах подбросили. На левом фланге то же самое. Артиллерию к клещам этим подтягивают. День, два и штурманут. Обрушатся на полк, а он у нас самый слабый, окружат и уничтожат. А мне брешь затыкать нечем. Нечем, комбат! Оборона наша как струна тонкая и до предела натянута. У тебя самого

все на фу-фу. И позиция хуже некуда — весь у немцев на виду, как на ладони. Они вверху, ты внизу.

— Не выбирал позицию,— сердито буркнул Костров.— Где зацепился, там и закрепился. Отступать перестали и то ладно.

— Отступать, не отступать!— тоже зло глянул на Кострова полковник. Полное, обтянутое смуглой загорелой кожей лицо его покрылось розовыми пятнами.— Сказал, чтобы больше слова этого проклятого не слышал. Хватит, наотступались, почти до Ладоги допятились. Хватит!— И грохнул кулаком по столу.

Он помолчал, пряча глаза, стыдясь нелепой своей вспышки, потом продолжал:— Теперь наступать будем... Да, да, наступать!— уловив недоумение в глазах Кострова, опять выкрикнул он.— Потому и задание тебе, капитан, коммунист Костров, силой своего батальона обрубить выступ этот, с правого фланга. Левый атаковать не сможем, сил нет. Там в третьем батальоне и двух рот не наберется.

— А у меня? У меня что, больше?! И ведь уже атаковали, два раза ходили. В тех атаках и батальон ополовинил. «Уря!» «Уря!»— выкрикнул Костров.

— А ты не урякай, схитри,— уже спокойно проговорил полковник.— Думай, как их обойти, думай! А батальон у тебя почти полный. Думаешь, я не знаю, что вчера чуть не два взвода окруженцев принял с оружием. Скрыть хотел, а я знаю. Да еще все легко раненные из санбата к тебе ушли. Про наступление готовящееся прознали и вечером ушли. Откуда только узнают, ведь в секрете все держим. Так что люди у тебя есть. Да и задача не очень уж сложная. Ну, что я тебя прошу, что?... Обруби рог этот самый, клещи разломи и все. Нам и продержаться всего ничего, дней пять, шесть, пока свежая дивизия подойдет. Она уже в пути. А продержаться мы сможем только при условии, если собьем рог этот, вражеский. Он же навис над полком вашим. Навис!— опять повысил голос полковник.

— Атаковать тебе на этот раз будет легче.— Это уже голос майора. Он уселся на краешек сколоченного из неоструганных досок стола, закурил.— Фрицы отбили две наших атаки, третьей ждать не будут, уверены, что нечем нам атаковать. Да и сами они подготовкой к наступлению заняты. А мы тебе кое-что для атаки подкинули.— Костров про себя горько усмехнулся: «Подкинули... взвод из второго батальона, а в нем... двенадцать человек, в том числе

шесть легко раненных добровольцев».— Комдив пульвзвод к утру подбросить обещал,— продолжал майор.

— Пульвзвод — уже вслух сказал Костров.— Комдив его в каждую дырку сует, а в нем три пулемета и те почти без патронов.

— И то поддержка.

— Конечно, поддержка, и за это спасибо,— смягчился Костров. Он же отлично понимал, что очередная его атака, скорее всего, будет безуспешной, как и две предыдущие, но даже и безуспешная, она может нарушить планы противника, вынудить его оттянуть час наступления на этом, сейчас главном для фашистской дивизии направлении. Уже во имя одного этого стоит атаковать. И вообще, разве он против штурма, против атаки, разве бы он сидел в окопах?! Да он со своим батальоном!.. Он бы уже давно, еще в первые месяцы войны бил бы, крушил, зубами рвал проклятых захватчиков. О, с каким бы он счастьем погнал их, заставил отступать, показать спину... До этих пор отступал, позорно бежал он, с остатками своего разбитого, вырвавшегося из окружения батальона.

— Артиллерией мы тебе поможем,— бубнил майор.— Пулеметные, минометные точки их подавим.

— Ничего не подавите,— вздохнул Костров.— Точки эти у них не стационарные, передвижные, чтобы засечь их, знаете, сколько снарядов потребуется.... А у артиллеристов их по шесть на пушку. Тут другое нужно...

— Что другое?— насторожился майор.— Наверное, что-то придумал?

— Пока соображаю,— не сказал правды Костров.

— Ну, соображай, действуй, я пойду.

Он ушел. Костров поднялся с табуретки, прошелся по блиндажу раз, другой. Ходил, думал.

А что он мог в этой обстановке придумать? Атаковать так и так придется в лоб, потому что другого пути нет: справа болото, слева вклинившееся в поле продолговатое озерцо, которое, как ни крутись, рассечет фронт атаки. Зато оно рассекает надвое и линию обороны фашистов. Это обстоятельство теперь и решил использовать Костров. Основной удар он направит на правый фланг, на левом устроит демонстрацию малой силой. И еще, главное: по его приказу разведчики с помощью местного жителя провели по болоту, в тыл противника сколоченный им штурмовой отряд. Отряд небольшой, меньше взвода, зато крепкий. В основном в нем моряки-окруженцы, те самые, о которых сказал комдив. Ребята что надо, на фашистов обозлены до

предела. Им бы только до противника дорваться, шумок устроят. Ночью отряд просидит на болотном островке, на рассвете, в назначенное время, скрытно обойдет вражеские окопы и по сигналу Кострова — одна красная ракета,— ворвется в них с тыла. Одновременно начнет атаку и весь батальон. Это и был единственный козырь Кострова, на него он и строил надежды.

Комбат еще раз прошелся по окопам, теперь по левому флангу батальона, хотя ходить ему было незачем — с командирами рот, взводов все обговорено и решено, с солдатами беседы проведены, каждому определено его место в атаке, каждый знает, что в общем-то идет на смерть,— атака есть атака — но при этом у каждого, в глубине души затаенная уверенность в том, что он выживет, пуля, осколок не заденут его. Иначе не может быть, иначе не будет атаки. В общем люди свои задачи знают. А что тут знать? Беги вперед, на противника, падай, вскакивай и снова вперед. Добеги, дорвись до вражеских окопов и тут уж ты победитель, потому что фашист нашей штыковой не терпит. Простое дело, совсем простое, если все будет так, как нужно. А нужно, необходимо это до края, потому что отступать больше нельзя, некуда, за спиной Ленинград, Москва. И все это понимают.

В окопах, как обычно бывает в обороне — ничто не говорило о том, что с рассветом этим, безмятежно спящим людям предстоит подняться, вылезти наружу из надежно укрывавших их земляных щелей — окопов и бежать по совершенно гладкой открытой поверхности, ничем не защищенными, под разящим ливнем пуль и осколков, навстречу смерти. «Смерти, или победе,— мелькнула в голове Кострова мысль.— Конечно, победе,— ухватился он за нее.— На этот раз мы должны победить, должны!»

Он опустился на вырезанный в стенке окопа выступ, достал папиросу, закурил. Из-за поворота в траншее шагнул командир второй роты, на участке которой находился комбат. Ему, видно, уже доложили, что комбат в его хозяйстве. Тоже молодой, как и Костров, розовощекий — этого не брали никакие невзгоды — лейтенант вытянулся, приготовился к докладу, Костров махнул рукой.

— Ладно, ладно, сам все знаю. Иди поспи. Иди, приказываю,— предупредил он возражения.— Поспи, отдохни, чтобы утром роту за собой вести.

Лейтенант крутнулся на месте и скрылся в темноте. Костров сидел, курил. Стоявший у проделанной в бруствере амбразуры усатый солдат — лицо его чуть освещала

коптилка,— украдкой поглядывал на капитана, не понимая почему он тут задерживается, и, конечно, как всегда ждал от начальства какого-нибудь замечания.

А Кострову спать не хотелось. Он сидел, курил, смотрел на светившийся в темноте огонек папиросы, а перед глазами мелькали выворачивавшие душу страшные эпизоды отступления почти от самой польской границы, где он, тогда еще ротный командир, принял у тяжело раненного майора этот самый батальон, пробился с ним из окружения и отступал чуть не через всю Прибалтику, мимо Новгорода. Отступал он не в панике... с боями, но все они, увы, оканчивались его поражением. После каждого боя он, разгромленный, иной раз окруженный врагом, вынужден был пробиваться, отступать, в лучшем случае отходить, уступая позиции врагу, уходить в леса, в болота, переплывать речки, переползать топи, пробиваться через лесные чащобы. Правда, в блужданиях этих батальон снова пополнялся за счет отставших, пробивавшихся из окружения, снова принимал бой и снова терпел поражение.

За время блуждания по тылам, по флангам рвавшегося вперед противника, пока батальон не влился в дивизию, преградившую путь противнику, Костров повидал всякое: сожженные фашистами города и села, капитально, со знанием дела, видно, надолго сооруженные эшафоты, виселицы, колонны наших плененных солдат и угоняемую в Германию молодежь. Он, командир Красной Армии, призванный и обязанный защищать советских людей, родную землю, видел все это и ничего не мог сделать, ни защитить, ни спасти их. Сознавая это, он снова и снова бросался на фашистов с остатками батальона, бил, крушил, пока противник не получал подкрепление... И снова отступал.

Из всего страшного, виденного ему почему-то особенно запомнился последний этап его отступления. Вот и сейчас, нужно бы прилечь, вздремнуть, а он не может, перед глазами неотступно возникающая в памяти неширокая речушка с обрывистыми глинистыми берегами. Разведчики ее измерили — речка глубокая, вброд не перейдешь. До вечера батальон, рассредоточившись, хоронился в кустах, ночью солдаты ползали по берегу — искали брода. Нужен он был не только и не столько батальону Кострова — у него самое тяжелое — два миномета да три пулемета, их можно на первых попавшихся подручных средствах через любую глубину переправить,— но в последние дни к батальону прибился скрывавшийся в лесных зарослях отдельный автобат. Рачительный командир его, маленький, круг-

лый как шарик, майор сумел сберечь все новенькие, будто только из завода, свежепокрашенные машины, ухитрился укрыть их от врага, проселками, целиной, через леса и болота довести сюда. О нем и беспокоился Костров, посылал и посылал своих ребят на поиски хоть какой безопасной переправы. Но ее не было. Мосты бдительно охранялись, по ним день и ночь сплошным потоком двигались немецкие части. Плоты сделать не из чего — все деревни вокруг заняты противником, к тому же и берега у речки крутые.

Под утро, чуть забрезжил рассвет, Костров переправил свой батальон вплавь. Не имея другого выхода, также поступил и майор. Он приказал личному составу переплыть реку, а машины со всем имуществом сжечь.

— Жгите,— приказал он, отошел в кусты, упал, зарыдал, обхватив голову руками.

Пехотинцы и шоферы стояли на высоком противоположном берегу реки, а машины горели. Густыми клубами смрадного дыма исходили медленно загоравшиеся канистры с маслом, аккуратно сложенные в кузовах ящики с разным имуществом, занимались пламенем кузова. И вдруг машины начали кричать. Потом Кострову объяснили: от жары замкнулись провода сигналов и они включились. А отсюда, с противоположного берега казалось, что машины надсадно, истошно вопят о помощи, исходят смертельным криком.

Вопили машины долго, надрывая сердца водителей и пехотинцев, выворачивая душу, пока не стали рваться раскалившиеся в кузовах бочки с бензином и бензобаки. Гулкие взрывы эти неслись над речкой похоронным набатом.

Эта жуткая картина почему-то вставала перед Костровым часто, и в ушах также как тогда грохотал, гремел истошный вой замкнувшихся автомобильных сирен.

— У, гады!— выдохнул он сквозь стиснутые зубы.— Ох, дорваться бы до вас, дорваться бы!..

Где-то уже после полуночи он возратился в блиндаж, подремал...

Проснулся сразу. Над ним склонился вестовой.

— Пора, товарищ капитан. Время. Как приказали.

Адъютант батальона, замполит и все остальные офицеры уже пили чай. Перекинулись натянутыми шутками и разошлись по своим местам. Костров снова проскочил с фонариком по окопам. Солдаты тоже поднялись, грелись чаем, ели колбасу с хлебом. Старшины раздали для согрева по глотку водки.

— Из окопов выбираться без звука,— уже в который раз полушепетом предупредил Костров.— Чтобы не звякнуло, не брякнуло. И сразу вперед, по-пластунски.

Команду роты выполнили дружно, по сигналу. Разом, без сутолоки, без шума переметнулись через земляные брустверы и пропали, утонули в еще густой предутренней мгле.

Костров осмотрел окоп: оставшихся, кроме его вестового, не было.

— Пошли,— кивнул ему головой Костров, уперся руками в край окопа, выбрался наверх и пополз, плотно притискиваясь к чуть припорошенной снегом земле.

Полз он долго, не замечал больно коловших руки сухих будыльев. Послышалось хриплое дыхание. Свыкшись с темнотой, глаза определили двигавшиеся впереди подошвы сапог. Вот они замерли.Костров прополз еще немного и поравнялся с командиром первой роты, земляком Жакуповым. Круглое, белое, не как у большинства смуглых казахов лицо его — батальон, как и вся их дивизия формировалась в центральном Казахстане,— хорошо просматривалось в темноте.

— Второй рубеж,— шепнул Жакупов, подсунувшись к комбату.

— Посвети, время уточню,— велел Костров.

Старший лейтенант повернулся на бок, спиной к окопам противника, поднял полу шинели. Мигнул лучик фонарика. Костров глянул на часы: до начала атаки пятнадцать минут.

Рассветало. Впереди, за уже четко обозначившейся темной кромкой реденького березнячка по небу расползлась широкая белесая полоса. Чуть заметной серой линией на снежном фоне вырисовались вражеские окопы. Слева ровная, как стол, тоже покрытая снегом и потому хорошо видная полоска озера, рассекшего надвое изготовившийся к атаке батальон.

— Как они там,— шепотом спросил Костров.

— Из второй роты сообщили — вышли на исходный, ждут сигнала,— тоже шепотом ответил старший лейтенант.

Зашуршала трава, из-за уткнувшихся в землю бойцов вынырнула массивная фигура командира третьего взвода первой роты Бобылева.

— Мины сняты,— тихо доложил он.— Шесть штук их и было. Проволока не сплошняком, кое-где набросана. Обойдем.

«Комдив прав,— мелькнула у Кострова мысль.— Фа-

шисты и мысли не допускают, что мы снова на них полезем. Эх, проучить бы их!.. Только бы ребята в тыл прошли, только бы прошли, себя до времени не обнаружили. Если все как надо, они устроят шумок! Устроят гадам!»

Теперь он сосредоточил внимание на светлевшем за березняком горизонте, следил за тем, как быстро рассеивается, словно раздвигается темнота. Он весь подобрался, сжался в комок, будто изготовившийся к прыжку зверь. Часы на руке громко тикали, отсчитывая секунды, а ему казалось, что вдруг ставшее вязким, тягучим время ползет, тянется как резина.

Он не выдержал, велел скорчившемуся рядом, в такой же напряженной позе ротному посветить.

— Не надо светить, я так вижу,— отозвался тот.— Через минуту начнем,— и вытащил из-за пазухи пистолет.

У Кострова пистолет был в руке давно. Стискивая его, он чувствовал в ладони влажную от пота рубчатую отделку рукоятки.

— Пора,— шепнул ротный. Переложил пистолет в левую руку, правой вытащил из-за пояса ракетницу, глянул на комбата.

— Давай,— шепнул капитан.

В небо, рассыпая искры и оставляя яркий след, взвилась красная ракета.

— Вперед! За Родину! Вперед!— вскочив во весь рост, закричал Костров.

И сразу ожило поле, рванулись от земли серые бугорки, превратившиеся в бегущих, размахивающих винтовками и тоже раздиравших в крике рты бойцов.

— Ур-а-а-а!— катилось над полем.— Ура-а-а-а!

Ожила, замигала огнями, ощерилась в первый момент негустыми автоматными и пулеметными очередями линия обороны немцев. Недружно, в разнобой ударили минометы, в рядах атакующих взметнулись огненно-дымные фонтанчики взрывов. Кто-то закричал, упал. Под ногами Кострова протарахтела, поднимая снежные фонтанчики, трассирующая пулеметная очередь, справа, почти рядом, противно, по-лягушачьи, квакнула разорвавшаяся мина. Его обдало кусочками подмороженной земли. По привычке, механически он плюхнулся на землю и тут же будто подброшенный вскочил и, преодолевая внезапно накатившийся страх, опять вскинул над головой пистолет, закричал на бегу:

— Ура-а-а-а! Вперед! Вперед!

Фашисты быстро опомнились, их огонь нарастал. Костров между перебежками, падая на землю, совершенно от-

четливо представлял как они заспанные, без касок выскакивают из наспех сооруженных блиндажей-обогревалок,— долго они здесь задерживаться не собирались, готовились к наступлению,— припадают к амбразурам и жмут, давят на гашетки пулеметов, бьют по атакующим из минометов.

До их, уже четко видных окопов совсем близко, еще бросок, и можно пускать в ход гранаты. Но как его сделать, этот бросок, как преодолеть последние метры? Перед атакующими запорошенный снегом подъем, на нем и оборвалась, захлебнулась первая атака. Подъем не крутой, но ровный, гладкий. И атакующие на нем как мухи на листе бумаги. Та-та-та-та швейной машинкой строчит вражеский пулемет слева. И сразу — ух, ух,— заговорила наша артиллерия. Но, конечно, бесполезно: разве с двух, трех выстрелов их накроешь...

Костров видел, как упал, срезанный трассирующей очередью, Жакупов, рухнул на бегу кто-то из командиров взвода, так же как он бежавший впереди атакующих. Но атака еще не захлебнулась, бойцы вскакивают, бегут. И Кострову кажется, что бегут они, буквально грудью раздвигая переплетение смертоносных красных, желтых, зеленых огненных трасс, густо пронизывающих туманную дымку наступающего утра.

«Еще один, один рывок и все, и наша взяла,— лихорадочно соображает Костров.— Еще немного, еще...» Но темп атаки замедляется: залег один, второй, третий солдаты, жмутся к земле командиры. Теперь того, кто лег, не поднимешь. Еще минута, две и они начнут пятиться, а потом, ошеломленные страхом, побегут назад, угодливо подставляя спины под фашистские пули.

«Что же штурмовики-морячки? Почему молчат? Неужели не прошли?»— бьется в голове Кострова мучающая мысль. И словно в ответ на нее ухнули, загрохотали взрывы в окопах противника, плотно, перекрывая тарахтение немецких автоматов и пулеметов, ударили наши незвонкие автоматы.

— Ура-а-а!— покатилось родное, радостное навстречу атакующим.

— Вперед, братцы, наши там! Вперед!— опять закричал Костров, и ворвался во вражеский окоп, в котором уже орудовали моряки.

И гитлеровцы побежали. Они бросали оружие, теряли каски, выпрыгивали из окопов и, вереща от страха по-заячьи, бежали к березнячку, по прямой, подставляя спины под разящий огонь атакующих.

Ура-а-а!— неслось, грохотало над полем и крик этот подстегивал фашистов, заставлял бежать, сломя голову.

— Ура-а-а!— кричал Костров.— Вперед! Бей! Круши!— вопил он и сам не замечая этого, давил на спусковой крючок пистолета с расстрелянной уже обоймой.— Бежите, бежите гады и будете бежать до самого Берлина!— кричал он в неимоверном, охватившем его восторге. Он видел, видел бегущих в панике фашистов, видел их спины, и сердце его распирала палящая неимоверная радость. Это была его победа. Пускай маленькая, на один шаг, но первый победный шаг.

Он бежал, кричал, задыхаясь от ликующей радости, твердо уверенный, что теперь, после этой первой победы он уже не отступит ни на шаг, будет побеждать, только побеждать!

Геннадий Степанов

БОИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Это события августа 1944 года. II Украинский фронт, 81-я Гвардейская, Краснознаменная, ордена Суворова, Красноградская стрелковая дивизия, 173 тоже Гвардейский, Красноградский, а затем Ясский артполк.

Была Ясско-Кишиневская операция на землях Молдавии и Румынии, завершившаяся выходом к границам Трансильвании и частично Венгрии. И я хочу рассказать о небольшом эпизоде из истории нашего знаменитого полка, которым когда-то командовал храбрый артиллерист, ныне полковник в отставке Поляковский Константин Яковлевич, член Совета Ветеранов нашей дивизии.

Под Яссами наши войска добивали окруженные фашистские дивизии.

Второй артиллерийский дивизион совместно с 235 стрелковым полком продолжал преследовать разбитые полки фашистов, частично вырвавшихся из кольца окружения.

Мы форсированным маршем преследовали отступающих фашистов.

Навстречу нам почти с такой же поспешностью следовали не пожелавшие больше воевать за Гитлера румынские полки. Оружие они складывали организованно, а за-

тем также согласованно, как по плану, следовали навстречу наступающим. Взвод за взводом, целыми батальонами. А спустя несколько дней до нас дошел приказ: румынские войска не разоружать, не препятствовать им следовать по назначенному маршруту. А уже потом мы узнали о том, что Румыния объявила войну фашистской Германии.

Затем события происходили в Румынии на перевале, за которым раскинулся город Меркуря-Чук. Перевал этот недалеко также от города Одорхей. Фашистов там было мало, да и те побитые. Мадьяры воевали неохотно, не знали за что им воевать. Фашистам не удалось деблокировать окруженную группировку под Яссами. Обозники, повара, сапожники — все были на передовой. Других боевых единиц не было. А фронт нужно было держать. Бои шли местного значения. Фашисты с насильно мобилизованными отрядами мадьяр пытались любыми способами столкнуть нас с перевала. А мы понимали, что если сдадим хотя бы метр перевала, то подведем не только себя, но и своих однополчан, ведущих битву в Яссах и Кишиневе.

Карпаты. Угрюмые, скалистые, заросшие густым хвойным лесом хребты тянутся на многие сотни километров. Облака цепляются за вершины пиков, туман заволакивает долины. Хмурые, неприступные. Здесь мало дорог. Горные проходы и пути через перевалы немцы удерживали в своих руках.

От города Тыргул-Окна, куда вышли наши подразделения, начинался горный проход, который пересекал основной пояс Карпатских гор, проходил границу Трансильвании и через небольшой перевал выходил в долину, к городу Меркуря-Чук. На границе Румынии с Трансильванией были построены доты, прикрывающие дорогу, идущую по ущелью, поставлены проволочные заграждения и минные поля.

Через каждые триста метров дорогу преграждали завалы, устроенные из вкопанных в землю сосновых бревен и беспорядочно нагроможденных камней.

На деревьях сидели вражеские снайперы — «кукушки». Завалы и другие заграждения охранялись пулеметным огнем. Каждый метр дороги и места, доступные для прохождения нашей пехоты, находились под беспрерывным огнем немецкой артиллерии и минометов.

Немцы атаковали ежедневно, по нескольку раз. Все их атаки успешно отбивались. Понеся большие потери в живой силе и технике, немцы перешли к обороне, но продол-

жали атаковать, нащупывая слабые места в нашей обороне.

Я мало знал тогда, ибо был ефрейтером, в непонятном для себя положении: наполовину разведчиком, наполовину связистом дивизиона.

Связи у нас с командованием дивизии не было. Об обстановке в окруженной группировке мы знали лишь частично из данных, полученных от пленных немцев и румын. Основные и самые точные сведения доходили до нас по «Солдатскому телеграфу». Он никогда не подводил.

Фашисты с мадьярами начинали свою очередную атаку, чтобы сбросить нас с перевала и защитить город Меркуря-Чук. Надежда у нас оставалась только на пушки дивизиона, ибо патронов и гранат на «передке» почти не было.

Не подвозили нам и продуктов для питания. Солдатские желудки помогли наполнить заповедные животные тех мест — антилопы, олени и различные пернатые. Добыча шла в котел.

Шестая гаубичная батарея совместно с командованием второго дивизиона, из соображений лучшей самообороны, имели одно объединенное НП. Это была вынужденная мера, людей не хватало, а нужно было обороняться до подхода основных сил. Выхода другого не было. Хоть умирай, но перевал не сдавай. Гвардейцы со сталинградской закалкой стояли в который уже раз насмерть.

Один эпизод мне особенно памятен. Я алмаатинец, часто бываю на всемирно известном катке «Медео». Не доезжая до катка, слева из гор выступает гранитная отвесная стена. Она редко бывает безлюдной. На ней тренируются альпинисты. Одевают своеобразную обувь и легко, как в сказке, и быстро взбираются на верхотуру этой, на первый взгляд неприступной скалы. Затем с такой же легкостью мигом спускаются вниз.

Проезжая мимо этого зрелища, в каком бы настроении я не был, невольно вспоминаю перевал возле Меркуря-Чук. В сознании так ярко всплывает та обстановка, будто это было вчера, а не сорок лет назад.

Начальник связи старший лейтенант приказал мне восстановить связь с НП 2-го дивизиона и доставить туда боеприпасы. Затем остаться с разведчиками и связистами, помочь отбить атаки фашистов и мадьяр, которые тоже выдыхались и напрягали последние силы, пытаясь столкнуть нас с перевала.

С боеприпасами было скудно, гвардии старшина хозвзвода дивизиона Долгих Иван, разведчики и связисты дивизиона, находившиеся в тылах, снарядили мне мешок с

боеприпасами. Сотни две-три винтовочных патронов, сотен пять-шесть автоматных, десяток гранат.

Связь с НП обеспечивалась двумя кабельными линиями — одна, более дальняя, проходила между сопок, скрытая от противника, по ней пошел связист дивизиона, кажется, Сашка Сапожников. Он ушел раньше меня, а за эти минуты обстановка резко изменилась и не в нашу пользу. Мне доверили резвого трофейного жеребца — Красавца, из породы местных рысаков. Вторая нитка связи шла по единственной между гор дороге, проходившей вдоль берега небольшой горной речки к самой линии фронта и метрах в ста поднималась по крутому обрыву вверх, где находилось НП. Я знал эти места, поэтому выбор пал на меня. Только связь на НП проводили не от коммутатора и не от пушек, а наоборот, с наблюдательного пункта. Катушку с кабелем спустили вниз с гранитного обрыва и натянули к пушкам.

Вся эта дорога простреливалась всеми видами оружия, в том числе минометным огнем. Время было полуденное. Весь расчет был построен на внезапность. Фашисты нас в то время не ждали.

Нагрузив свой вещмешок боеприпасами, с автоматом на груди, я взял в руки кабель и галопом помчался на жеребце по дороге. Руку жгло от трения о кабель. Наверно, около километра, я проскочил без препятствий. Мой путь как «смертника» сопровождали взглядом связисты Масленников Федор, Моторкин Михаил, Черкасов Александр, Брагин Николай, Сизиков-старший, Комагорцев Константин и гвардии старшина Иван Долгих. Многих мне не пришлось встретить после войны. Минуты полторы я проскакал галопом. Как я сейчас помню, фашисты были удивлены моей дерзостью. Среди бела дня к ним в руки скакал боец.

Но нервы их не выдержали. Они открыли по мне огонь из батальонных минометов. Как после выяснилось, они стояли на гребне перевала и в отношении к ним я оказался под прицелом минометов как бы на прямой наводке. Огонь был довольно точен. Мины летели прямо в меня. Но трофейный жеребец, мой спаситель, навострив уши, делал резкий рывок — неимоверный прыжок вперед, и мины рвались сзади. Затем, как вкопанный останавливался на месте. Я, как артиллерист, понимал, что я нахожусь в артиллерийской вилке, следующие мины — мои. Фашисты перешли на поражение. Воздух запел противным воем десятка мин. Мой жеребец заметался в стороны и в тот миг, ког-

да он сделал резкий рывок вперед, сбоку против него в нескольких метрах разорвалась мина. Он сбросил меня к скале, сам бросился в сторону и упал с распоротым осколками брюхом. Я оказался в небольшой канаве с водой под обрывом скалы возле дороги. Этот обрыв не скрывал меня от противника, а наоборот обнажал. Я был как на ладони. Несколько мин разорвалось на скале, но большая часть на дороге. От пыли и гари вокруг меня ничего не просматривалось.

Разные мысли приходят в голову в момент подобного обстрела. Расчет был один: если я после того, как развеется гарь и пыль, останусь на месте живым, то обстрел повторится и смерть будет неминуемой. Чтобы скрыться от наблюдения врага, мне нужно было рывком перескочить дорогу в кустарник, проходивший вдоль реки, и ждать темноты. Либо вдоль дороги по той же канаве возвращаться назад. Но тогда приказ не был бы выполнен: связь будет восстановлена по второй нитке.

Поэтому у меня в то мгновение появилась единая и дерзкая мысль, только вперед, хотя это меня еще больше сближало с фашистами. Мне нужно было преодолеть метров семьдесят по канаве с водой, а затем по отвесной скале пятьдесят метров вверх. Пока рвались мины, я, полусогнувшись, успел сделать рывок вперед. Когда все стихло и просветлело, то я по канаве с ледяной водой на локтях и коленях продолжал двигаться вперед. Фашисты находились где-то рядом. Несколько раз неосторожно я задел вещмешком и автоматом гранитную скалу, посыпались камни. На шум бесприцельно упало еще несколько мин. Я понял, что канава, в которой нахожусь, противником не просматривается. Лицо и руки мои кровоточили от небольших осколков мин и камней.

Превозмогая боль, мне удалось скрытно добраться до изгиба дороги, где скала была более отвесна и образовывался угол, именно в этом месте телефонный кабель поднимался вверх по отвесной стене к НП. Я снял с себя тяжелый вещмешок, привел себя и оружие в порядок. Два автоматных рожка были за голенищем сапог, в автомате круглый диск, в карманах брюк по гранате. В этом углу немцы меня не могли видеть, меня скрывала отвесная скала, кое-где поросшая кустарником. Немцы перестали стрелять. Но я не исключал и тот факт, что они видели, как я пробрался в это «укромное» местечко, и не исключена возможность, что в этом месте они попытаются меня пленить. На случай предстоящего боя я уже выбрал позицию. Потянув

телефонный кабель в сторону наших пушек, я понял, что он оборван. Перебит минометным обстрелом. Посмотрев вверх на скалу, куда уходил другой конец телефонного кабеля, у меня появилась идея, подергать (прозвонить) кабелем вверх, где находилось НП, чтобы кто-нибудь из разведчиков или связистов подошел к обрыву. Затем, привязав за конец кабеля вещмешок с боеприпасами, можно помочь им вытянуть его вверх. Но в этот момент на «передке» усилилась ружейно-пулеметная стрельба. У меня появилось сомнение, не отступили ли наши с НП и нет ли на конце кабеля фашистов? Тогда мое положение будет, как говорится, хуже губернаторского.

Осталось одно решение, самое трудное, почти невыполнимое, но при удаче самое надежное: по отвесной скале взобраться вверх. Вещмешок с боеприпасами оставить внизу я не мог, не знал, что за обстановка наверху — на перевале. Да и если бы я привязал мешок к кабелю, идущему по скале вверх, то без помощи снизу его вытянуть вверх вряд бы удалось бы. Он бы зацепился за выступ на скале, за кустарник, выступающий из расщелин скал.

Я с жадностью напился из канавы ледяной родниковой воды, которая сочилась из скал и текла вдоль дороги. Закрепил покрепче вещмешок, автомат, затянул на последнюю дырку ремень и полез по отвесной скале вверх, стараясь далеко не отстраняться от кабеля, ибо это была единственная надежда застраховать себя от падения вниз, если обрушится под руками и ногами камень. Если бы я верил в бога, то перед началом следовало бы помолиться, попросить помощи. У меня дела с богом не клеились, и надежда была только на себя, на свои силы, на свою выносливость, а главное, что заставило принять рискованное решение — это солдатский долг перед товарищами по оружию, перед своей совестью. Я убедил себя, что это препятствие преодолею. Я должен был его преодолеть.

От выступа к выступу я поднимался все выше. Сейчас мне кажется, что я это делал не спеша, обдуманно, но вряд ли это было так. Каждый шаг вверх был рискованнее предыдущего. Превозмогая боль на концах пальцев, я шаг за шагом преодолевал возникавшие на моем пути одно препятствие сложнее другого. С пальцев сочилась кровь. Кончики их уже не чувствовал. Мне казалось, что удерживаться на скале помогают ладони. С каждым движением вверх силы слабели. И вот уже, кажется, наступил момент, когда они окончательно иссякли, я увидел выше себя выступающий из расщелины скалы куст можжевельника, но он, ка-

залось, слишком далеко от меня и вряд ли я до него дотянусь Рискнул, одной рукой ухватился за него. Теперь боюсь: он может обломиться, или его корни оторвутся, и я вместе с ним полечу вниз. Я уже поднялся от дороги метров на 30. Падение с этой высоты с грузом — смерть. Можжевельник не подвел — выдержал. У меня снова появилась надежда. Я еще не знал, что ждет меня на вершине, в тот момент это было неважно: была одна цель — вверх.

Десятилетия не сгладили те чувства, которые владели мною в то время. Мне порою кажется, когда я вспоминаю те далекие годы, они еще больше обостряются, будто преодолеваю это препятствие я именно сейчас, а не тогда, сорок лет назад.

Мне, подростком, со своими сверстниками на обрывистых берегах Алма-Атинки приходилось взбираться на скалы.

Мы в те далекие годы связывали брючные ремни один к другому или к обрывкам веревки и по очереди друг друга спускали вниз с обрыва. И вот один из моих товарищей, Владимир, вместе с оборванными ремнями рухнул и, полетев с высоты десяток метров, сломал голеностопный сустав. Нога у него так и осталась развернутая в сторону.

Страх падения с высоты мне приходилось ощущать не раз, но в сравнении со скалой под перевалом, да притом при тех условиях с тяжелым грузом и в той обстановке, это не в счет.

Вот наконец я достиг, казалось бы недосягаемой вершины. Уже под ногами почувствовал пологий склон, и главное, землю. Земля—спасительница солдата на войне. Как я был ей рад на этот раз. Земля, покрытая сочной травой, и на ней — густой кустарник. Для мирного времени это райский уголок. Сосна, пихта, ель, вперемежку с лиственными деревьями. У меня от радости потемнело в глазах. Мне еще не верилось, что я взобрался на вершину. Тяжело дыша, кряхтя от усталости, я еле стоял на ногах, но стремился подальше удалиться от этого проклятого мною обрыва. Пилотку я обронил при подъеме, это было впервые за всю войну. Волос на моей голове был белый, как солома. Одет я был в гимнастерку — из подаренного английской королевой материала, в такую форму нас обрядили перед Ясско-Кишиневской операцией.

К тому времени я был награжден двумя медалями «За отвагу» и медалью «За боевые заслуги». Я вспоминаю о них потому, что именно благодаря им я, вырвавшись из когтей смерти на обрыве, вновь чуть не попал в ее объятия.

Медали висели на груди, на правой стороне гвардейский значок. Волос взлохмачен, мокрый, измученный, с пальцев из-под ногтей капала кровь. В таком виде я появился на вершине, разыскивая продолжение кабеля, не отошел и десяти метров от обрыва, сгорбившись от груза, обходя кустарник, услышал перед собой щелчок автоматного затвора.

Я невольно выпрямился и в это мгновение увидел перед собой начальника разведки дивизиона гвардии лейтенанта Болгова, который держал палец на спусковом крючке автомата, направленного на меня.

Только когда я выпрямился, медали блеснули на груди, и я окликнул лейтенанта, он мгновенно изменил позу, опустил автомат вниз. Громко назвал меня по фамилии, не свойственным ему голосом сказал: «Я тебя принял за фрица».

Для него, как после выяснилось — это было не только неожиданно и невероятно. Оказывается, не только он, да и другие разведчики и связисты, находящиеся на НП, исключали появление с этой стороны кого бы то ни было.

Почему он не нажал на спусковой крючок автомата, сам он пояснить не мог. Что сработало вперед: или он хотел своей жертве посмотреть в глаза, или интуиция, или было все-таки сомнение. В жизни это называют фортуной!

Гвардии лейтенант потом ошалело осматривал меня, изучал, как бы увидев впервые. Я с недоумением смотрел на него, еще не разобравшись, что с ним происходит. Затем он стал ощупывать меня руками, все еще считая, что через меня прошла очередь из его автомата. Хотя было очевидно, что следов от пуль на мне нет, он продолжал смотреть на меня удивленно, не веря, что я жив.

Я назвал его, и только после этого, мне кажется, он пришел в себя.

И снова вопрос: «Ты откуда здесь появился?» Он знал из сообщения по телефону, что я несу им боеприпасы, но считал, что я иду между сопок по единственно надежной и возможной дороге. И снова вопрос:—«Как ты сюда попал?»

Я пытался ему рассказать проделанный мною путь, но он перебивал, не давал договорить до конца.

Как после выяснилось, он моему рассказу не верил. Уже потом, убедившись, что я мог появиться здесь, только пройдя по дороге ниже перевала и подняться по скале, он тяжело вздохнул и высказался разочарованно, как бы разговаривая сам с собой: «Вот видишь? Мы несколько раз гадали и смотрели с обрыва этой скалы вниз и убедились,

что здесь фашисты не пройдут, поэтому твое появление здесь я считал невероятным.»

Я сбросил с плеч мешок с боеприпасами. Видимо, услышав наш разговор, подошел разведчик с НП Димка Васильев. Гвардии лейтенант, обращаясь к нему, сказал: «Смотри, явление Христа, он пришел оттуда»,—показывал рукой то на меня, то на обрыв скалы.

Все это произошло быстро, философствовать было некогда: обстановка не позволяла. Гвардии лейтенант Болгов распорядился, чтобы Васильев несколько десятков винтовочных патронов оставил на НП для снайперской винтовки. Автоматными патронами пополнить диски автоматоматов, ибо патроны были на исходе, а оставшиеся патроны и часть гранат отдали пехоте, через ротного командира.

НП было уютно оборудовано, как по уставу. В глубокой траншее нашлось место и для меня. Все распоряжения исполнялись быстро, без слов. Я попытался выглянуть из траншеи, но меня заставила пригнуться рядом пролетевшая пуля. Гвардии лейтенант взял две гранаты из числа мною принесенных и со словами: «Ну теперь мы с ними разделаемся», быстро пошел по траншее в самый ее конец и одну за другой бросил две гранаты в сторону куста, где были окопы фашистов. После того как гранаты разорвались, он посмотрел в ту сторону и довольным голосом сказал:— «Ну вот! Отстрелялся!» Я понял, что гранатами он забросал окоп фашистского снайпера, который долго охотился за ними и даже прострелил окуляр стереотрубы. Расплата наступила. Он уже больше не стрелял.

Фашисты до вечера еще несколько раз поднимались в атаку, но эти атаки были недружные. Пушки дивизиона стреляли точно. Снаряды рвались в их рядах, артиллеристам помогали мы на НП и пехота около нас, кому достались патроны.

В тылу на батареях и в штабах держали круговую оборону. Особую бдительность проявляли по ночам, вылавливая, уничтожая и пленя фашистов, пытающихся перейти линию фронта.

В то время, как наши подразделения отбивали атаки немецко-мадьярской пехоты, по густым карпатским лесам, по диким тропам и горным перевалам пробивались сотни немцев, ускользнувших из Ясско-Кишиневского «котла».

Голодные, грязные, оборванные, исхудалые, они шли группами по сотне и более человек, нападали на крестьянские деревушки, убивали жителей, грабили у насления продукты и шли дальше. Нередко они делали налеты на доро-

ги, по которым проходили наши обозы. Обстреливали из леса проезжающие машины. Они пытались пробиться на запад, соединиться со своими частями, которые удрали под ударами Советской Армии в Карпаты.

Вскоре они появились в наших лесах, где стояли батареи, штабы полков, кухни.

Наши бойцы целыми днями гоняли их по лесам, разбивали на мелкие группы и брали в плен. Повар 4-й батареи гвардии рядовой Еремин спустился в балку за водой и увидел немца, который сидел в кустах и грыз сырую курицу. Еремин взял его в плен. Набрав два ведра воды, он заставил немца тащить их на высокую гору, за которой стояла его кухня. Когда его окружили солдаты, чтобы разобраться, как фашист попал на кухню, Еремин, обращаясь к немцу, сказал: «Вот гады, куда вы прорываетесь? Все равно не выберетесь. Все равно всех переловим».

Ездовой, гвардии ефрейтор Еровенко пас коней, увидел пять оборванных немцев, предложил им сдаться в плен. Двое попытались бежать. Еровенко убил их из карабина, а троих привел на батарею.

Связист, гвардии красноармеец Ушакин вышел с наблюдательного пункта на проверку линии связи. Пройдя метров триста, он увидел двух человек, идущих по его линии навстречу ему. «Что за связисты?»—подумал Ушакин и взвел автомат. Это были фашисты, переходящие линию фронта, а чтобы не заблудиться, они шли по нашей связи. Увидев Ушакина, фашисты попытались скрыться, но очередь из автомата положила конец их путешествиям. Фашисты шли и шли, но не многим из них удалось перейти линию фронта и встретить своих. Большинство из них погибло.

Попадая в плен, многие гитлеровские головорезы имели при себе белые повязки с красным крестом, полевые сумки, наполненные блокнотами и карандашами, выдавая себя за санитаров и писарей.

Они были наглы и самоуверенны, когда чувствовали свою силу, низки и жалки, как «овечки», когда попадали в плен. У некоторых из этих «писарей» при обыске обнаруживали в полевых сумках гранаты, у санитаров — спрятанные в сумках пистолеты с большим запасом патронов к ним.

Попадая в плен, они ругали Гитлера, заискивали перед русскими, с рабской готовностью брались за любую работу, забывая при этом, что они провозгласили себя представителями «великой расы господ», расой, призванной господствовать над всем миром.

Фашисты есть фашисты, их истребляли, брали в плен наши бойцы, как диких зверей, посягнувших на свободу народов. Сотни исхудалых, оборванных, голодных, но не складывающих оружие, их переловили наши солдаты в дремучих карпатских лесах.

После ликвидации Ясско-Кишиневской группировки подошли основные силы дивизии. Заместитель командира полка по политчасти гвардии майор Файзулин собрал к себе командный состав и политработников дивизионов артполка. «Товарищи,— сказал он,— мы неплохо справились с задачей обороны завоеванных рубежей, мы неплохо «поработали» по вылавливанию немцев, блуждающих по нашим тылам. Своей жестокой обороной мы вконец измотали немцев и мадьяр. Сами видите, за последнее время немцы не помышляли ни о каких контратаках, они лихорадочно укрепляют сейчас оборонительные рубежи на перевале, прилагают все силы, чтобы оставить нас на этом месте. Командование приказало наступать, наступать во что бы то ни стало! Разъясните людям необходимость этого наступления, находитесь с людьми во время наступления, следите за всем, помогайте командованию выполнять боевые задачи».

На другое утро гвардейцы начали наступление. Немцы бежали со всех своих оборонительных рубежей, не приняв боя.

Преодолев трудный горный перевал, гвардейцы увидели впереди себя большую долину и множество сел, расположенных на ней. В полдень наши части вошли в первое большое село. На всех домах были вывешаны белые флаги. Не останавливаясь в этом селе, наши части пошли дальше в наступление.

На середине долины возвышались холмы, которые закрывали собой несколько пригородных деревень и сам город Меркуря-Чук. Начались бои по освобождению Трансильвании.

А уже в Венгрии меня вызвало командование артполка, где мне наряду с другими нашими бойцами командир 173 гвардейского артполка гвардии майор Гахокидце вручил орден Красной Звезды. Я не знал за что и только прочитав реляцию понял, что это награда за бои Ясско-Кишиневской операции и перевал близ города Меркуря-Чук.

Память о перевале осталась на всю жизнь. Много товарищей погибло там. Хоронили мы их на гребне — на самой вершине перевала.

Я казахстанец. На фронт, а вернее в Ашхабадское воен-

но-пехотное училище призван, как и мои сверстники, в 1942 году.

Из восьмисот человек четыреста двадцать попало в Ашхабадское военно-пехотное училище, а остальные в учебный полк. Домой вернулись только сорок два. Те, с которыми я поддерживаю связь — это Калеев Виктор (величать не буду), он на фронте у нас в полку был писарем. Сейчас директор крупного научнно-исследовательского института в городе Караганде.

Это Голубь Николай — командир отделения разведки 5 батареи, ныне заместитель Генерального директора трикотажной фирмы им. Дзержинского. Фирма — гордость Казахстана.

Абрамович Борис, разведчик 3-го дивизиона, работает главным Инспектором Госкино Казахской ССР.

Я не назвал первым нашего алмаатинца профессора Терликбаева Айкена Ахановича — директора туберкулезного института Казахстана, заслуженного деятеля медицинских наук Каз ССР. Он раньше нас был призван и ушел на фронт в составе 81 гвардейской дивизии хирургом.

Дмитрий Васильев — мой близкий друг-однополчанин. Это рабочий нашего знаменитого Алма-Атинского машиностроительного завода им. Кирова. Токарь-лекальщик, инвалид войны. Ныне наставник молодежи — еще в строю. Сергей Шпаковский, связист 6 батареи, ныне старший мастер 18 типографии в городе Алма-Ате. Меймангожин Байгабыл, наводчик орудия, сейчас художник завода «Поршень».

Петр Якушев — наводчик 4-й батареи, затем комсорг дивизиона. Журналист газеты «Красный стрелок». Это он написал книгу «Солдатские были», про которую наш комдив — генерал-майор Морозов Иван Константинович, сказал: «Даже я не предвидел, что паренек из Казахстана, не обещая, как некоторые наши друзья, написал книгу о 81 гвардейской стрелковой дивизии, именно о солдатах, стоящую книгу. Она написана правдиво, от всей души.»

Многие ветераны-гвардейцы еще живы, хотя здоровье начинает подводить. Виктор Колупаев, старший офицер на 5-й батарее, пенсионер МВД. Слаб стал зрением. Сказались раны войны. Жив-здоров знаменитый Егоров Иван, сейчас в запасе, как полковник внутренних дел.

Трудится в Алма-Ате инвалид войны II группы Камышев Петр. В трудовом строю находится шеф-повар ресторана «Алма-Ата» Тетерин Сергей. Вдали от казахстанцев

Федоров Виктор — топограф 11 дивизиона, ныне он в городе Пскове, крупный специалист по автоматике. Уехал в Киргизию целинник Казахстана Комагорцев Константин, бывший гвардии старшина связи 11 дивизиона. Проживает сейчас в Новосибирске Хаснулин Иван, бывший топограф полка. Звали мы его на фронте «Мерила» и не случайно. Это он на глазах всего полка и фашистов всю войну уточнял передний край, нанося его на карту. В селе Барт он пострадал от разрыва снаряда «Ванюши», но не поддался ранам, еще и сейчас в строю.

Большинство же наших друзей остались в разных уголках страны.

Мне не довелось после войны побывать на братских могилах, на перевале возле Меркуря-Чук. Хотя благодаря Совету ветеранов и ее секретарям — Лапиной Нине Власовне (ветерану дивизии) и Чистяковой Марии Алексеевне я уже пять раз побывал на встречах с однополчанами в юбилейные даты Сталинградской и Курской битвы, участвуя в военно-патриотическом воспитании нашей молодежи.

Мне довелось побывать на местах сражений нашей дивизии в старом городе — Белгороде, селе Игуменка, найти старые орудийные окопы, землянки 2-го артдивизиона, его наблюдательные пункты. Все они обвалились, наполовину засыпаны землей, но наша память воскресила то тяжелое сражение.

Мне вспомнились невольно тяжелые бои, павшие в них и покалеченные войной однополчане.

Память о них обязывает нас, оставшихся в живых, не забывать войны. Годы, которые удалось нам прожить, это как подарок павших в войне, перед ними мы всегда в долгу.

Максим Зверев

БОЕВЫЕ ПТИЦЫ

В солнечное летнее утро ничто в лесу не напоминало о войне. Как обычно, стучал дятел, в густой хвое елей попискивали лесные синицы, а в ветвях берез кричала иволга. Солнце поднялось над лесом, но в тени деревьев еще сохранилась ночная прохлада и сверкали капельки росы.

Чуткие лесные обитатели всегда настороже: тревожный

крик кедровки заставил косулю поднять из травы голову. Ее большие уши неподвижно замерли, а влажный нос начал жадно ловить лесные запахи. Кедровка закричала ближе. Ветерок принес запах людей. Грациозное животное вскочило с лежки и неслышными скачками исчезло в глубине леса.

На поляну вышли один за другим три партизана. Бородатые, загорелые, они шли по лесу беззвучно, как люди, привыкшие к опасностям. В заплечных мешках у них что-то шевелилось.

Деревья поредели. За стволами показалось шоссе. Оно тянулось с линии фронта в тыл немецких войск.

Партизаны долго лежали за последними деревьями и наблюдали за дорогой. Она была пустынна в этот ранний утренний час. Две лесных горлицы бегали по асфальту, кивали головками, что-то склевывая. Коршун, медленно разгребая крыльями воздух, пролетел над шоссе, вспугнул горлиц и скрылся за вершинами деревьев.

Партизаны сняли заплечные мешки и осторожно положили на траву. Они вытащили из мешков двух белых гусей и петуха. Всех птиц привязали около шоссе, а сами залегли в траве за деревьями.

Гуси начали охорашиваться, приводя в порядок смятые перья. А петух осмотрелся и — раскатистое «ку-каре--ку» разнеслось над дорогой.

Ждать пришлось недолго — за поворотом послышался шум автомобиля. Партизаны приготовили оружие и приникли к земле.

Блестящая штабная машина быстро приближалась. Она неслась с фронта в тыл. Уже видно, что рядом с шофером сидит офицер, а позади два автоматчика.

Партизаны затаили дыхание, как охотники при виде ценного зверя. Неужели не остановится? Нет, это будет не похоже на фашистов!

Конечно, машина остановилась. Поднятая ею легкая пыль медленно оседала на дорогу. Расчет партизан оказался правильным: фашисты бросились ловить гусей и петуха.

Дружный залп всколыхнул лесную тишину. Фашисты упали, как подкошенные.

Партизаны выскочили из засады. Каждый делал свое дело без сутолоки, быстро и спокойно: один собрал оружие и документы убитых, другой облил бензином машину и поджег. Третий тем временем отвязал и прятал птиц. Они сами покорно совали головки в мешки, уже привыкнув служить приманкой для фашистов на тыловых дорогах.

За несколько минут операция была закончена, и лес гостеприимно укрыл в своих дебрях партизан. Вскоре они услышали, как раскатистое эхо понесло по лесу звук взрыва: это огонь дошел до бензинового бака и гранат, лежавших в машине.

Дороже оружия для партизан оказался пакет из сумки убитого фашистского офицера: в лесной землянке партизанского штаба узнали, что неприятель ночью должен форсировать реку около наполовину разрушенной деревни. По этой реке проходила линия фронта. На том берегу стояли наши части.

Двое партизан верхами поскакали лесом к берегу реки. Для страховки еще группа отправилась туда же пешком.

По берегу реки ходили фашистские патрули. Каждый километр обстреливался с нескольких точек. Появление на реке лодки днем было исключено. Однако ждать ночи было нельзя. О ночной атаке фашистов надо было немедленно предупредить наше комадование. Недалеко от берега в лесу виднелись развалины сгоревшего домика лесника. Под ними партизаны устроили прибрежную базу. По ночам на ту сторону реки переплывал молодой партизан с очередными донесениями. Он был искусный пловец и за ночь мог переплывать реку несколько раз. Но для дневных срочных донесений у партизан был другой способ связи — обыкновенная домашняя утка с белой шейкой. На том берегу у нее вывелись утята. Пловец каждую ночь «приводил» утку с той стороны. Днем ее выпускали с донесением и она уплывала к своим утятам.

На этот раз утка должна была передать донесение особой важности. Поэтому записку упаковали с большой тщательностью в целлофан и привязали под крылом.

Партизаны подползли к берегу и притаились в кустах. Как раз в это время по берегу проходил фашистский патруль. Похрустывание прибрежного гравия далеко дало знать о его приближении. Следующий патруль пройдет как обычно не раньше, как через полчаса. Хруст ботинок стих за поворотом. Партизаны пустили утку. Она вперевалку, не спеша, направилась к берегу, долго ловила кобылок, щипала траву и приближалась к воде, как назло сегодня недопустимо медленно. Партизаны из себя выходили, лежа в кустах, но вскочить и подогнать утку было нельзя.

Шаг за шагом утка все же приближалась к воде. Как раз в это время мимо пролетал орел. Утка присела и замерла, поглядывая на пернатого хищника одним глазом. Орел

давно пролетел, но утка все сидела и посматривала на вершины леса, за которыми он скрылся.

Скоро по берегу должен был проходить патруль.

Наконец утка встала и решительно направилась к реке. На берегу опять утомительно долго пила, охорашивалась и все же дождалась, что за кустами раздались шаги и голоса.

Утка испуганно вытянула шею, плюхнулась в воду и поплыла. Но было уже поздно. Фашисты заметили ее и бросились ловить. Однако поймать в воде утку, даже домашнюю, было непросто. Она нырнула между ног у долговязого фашиста и появилась на поверхности на глубоком месте. Фашисты остановились по колено в воде. Один из них снял с плеча автомат, но другой остановил его — выстрелы могли вызвать напрасную тревогу.

Фашисты стояли и разочарованно смотрели вслед утке, а та быстро плыла уже на середине реки, оставляя за собой расходящиеся струйки на зеркальной глади воды. Наконец один из фашистов с досадой махнул рукой, и они пошли дальше по берегу.

Партизаны облегченно вздохнули и опустили винтовки — они все время держали фашистов на прицеле: нельзя было допустить, чтобы донесение попало им в руки.

В бинокль партизаны видели, как утка выбралась на берег на той стороне реки и ушла к своим утятам. Значит, донесение вовремя попадет в руки нашего командования.

Ночная операция фашистов по форсированию реки закончилась для них полным разгромом.

ФАЗАНЫ — СИГНАЛЬЩИКИ

Зенитные орудия лейтенанта Сидорова под Москвой в саду Завидовского охотничьего хозяйства. Фронт надвигался с запада. Жизнь в хозяйстве замерла.

Лейтенант вышел во двор. Кряковые подсадные утки сразу окружили его, прося есть. Но сейчас было не до них. Открытые ворота не удерживали больше в загородке маралов. Работники хозяйства, уезжая, выпустили их в лес. На воротах сиротливо осталась висеть табличка с указанием, что маралы были доставлены Новосибирским зоосадом из Сибири. Пустые конюшни, открытые ворота гаража и складов говорили о приближении военной бури.

Лейтенант подошел к орудиям в саду. Зенитки грозно

подняли в небо свои дула. Бойцы курили, сидя и лежа около орудий. Они встали при виде офицера. Вдруг солдаты оживились и тревожно запереговаривались. Пожилой бородатый сержант подбежал к офицеру:

— Летят, летят, товарищ лейтенант,— взволновано доложил он.

Лейтенант, не раздумывая, скомандовал:

— Орудие к бою!

Прошло не более полминуты, как высоко в небе показались фашистские стервятники. Батарея ожила. Зенитки, сверкая вспышками выстрелов, посылали в небо снаряд за снарядом. Но самолеты врага прошли на недосягаемой высоте — они летели бомбить какой-то объект в нашем тылу.

Наступила тишина. Обратно фашисты обычно летели в стороне от батареи.

— Товарищ сержант, как вы узнали, что летят самолеты?— спросил лейтенант.

— А разве вы не слышали, как кругом закричали фазаны?

— Не обратил внимания, но при чем тут фазаны.

— Мы, товарищ лейтенант, подметили: как наши зенитки на линии фронта заговорят, так фазаны крик поднимают. Нам не слыхать выстрелов и взрывов бомб — далеко, а фазаны слышат!

Ночью все это повторилось еще раз. Завезенные из Семиречья в Завидовское охотничье хозяйство фазаны даже ночью просыпались и «сигналили» о приближении самолетов.

Утром по телефону лейтенант докладывал командиру дивизиона обстановку.

— Слушай, товарищ Сидоров, как вы умудряетесь там без локатора точно узнавать о приближении самолетов?

— По фазанам узнаем, товарищ майор!

— Перестань шутить, я тебя серьезно спрашиваю,— забасил в трубку сердитый голос майора.

Но лейтенант не шутил!

Утро и день прошли спокойно. Артиллеристы обедали тут же около орудий незатейливыми солдатскими щами и кашей.

— А здорово вы подметили про фазанов,— сказал лейтенант, обращаясь к старому солдату,— командир не поверил, даже рассердился, сказал, что сам приедет вечером разобраться.

— Это я еще в ту войну, с кайзеровской Германией, подметил на австрийском фронте. Как, бывало, батареи на

правом фланге заговорят, так фазаны крик поднимают. Мы не слышим, но сразу готовимся: не погонят ли австрийцев в атаку? Ни разу врасплох не заставали.

Только после войны подполковник Сидоров узнал от знакомого инженера в Москве Шишикина С. Н., что скорость продвижения громких звуков по земле во много раз быстрее, чем по воздуху.

В РАЗВЕДКЕ

Разведчики остановились на лесной поляне. Густой, мокрый снегопад только что кончился, но в воздухе еще неслись редкие снежинки. Лейтенант закрылся от снега плащ-палаткой, достал из планшета карту и долго ее рассматривал. Задача командования была ясна — нужно было установить, где фашисты.

— Давно пора выйти на речку, а ее нет и нет,— проворчал офицер.

Вдруг на поляну во всю прыть выскочил заяц, увидел людей, но не вернулся назад, а промчался мимо, правее солдат и исчез в лесу.

Один разведчик не удержался и озорно тихонько свистнул, другой хлопнул в ладоши.

— Тихо, где вы — дома или в разведке?— сердитым шепотом оборвал лейтенант.

Где-то далеко впереди тревожно закричала сойка.

— Товарищ лейтенант!— обратился к офицеру один из солдат, его звали Евгений,— впереди люди: заяц днем зря не бегает, кто-то вспугнул его.

— Возможно, ты прав,— ответил лейтенант и скомандовал:— Будем ждать здесь! А вы, двое,— показал он на Евгения и стоявшего рядом с ним солдата,— как можно осторожнее продвигайтесь вперед, пока не обнаружите берег речки — тогда возвращайтесь. Но из леса не показывайтесь, на деревьях могут быть снайперы. Выполняйте!

Но едва солдаты повернулись, офицер остановил их:

— Возьмите мой бинокль, на всякий случай! Идите!

Не прошли солдаты и сотни шагов, как впереди послышалось знакомое Евгению пение птички. Он остановился, послушал и прошептал солдату:

— Это поет оляпка, она зиму и лето в воде, значит, река рядом.

И в самом деле, вскоре показались просветы между деревьями. Это был берег речки.

В белом маскировочном халате с башлыком Евгений пополз к берегу. Жестом он показал товарищу ждать за толстым стволом дерева. Как нарочно, на самом краю леса росла пушистая елочка, заваленная снегом. Евгений подполз к ней и выглянул. Лесная речка, покрытая льдом, была безлюдна. На ней кое-где были полыньи. Из одной из них вынырнула на лед черная оляпка с хвостиком торчком, держа в клюве какого-то червячка, съела его и снова нырнула в полынью, а через минуту вынырнула в сеседней полынье. Снег недавно кончился, и на берегах не было видно ни одного следа. Речка обнаружена, можно было возвращаться. Но лейтенант упомянул о «кукушках». Евгений еще и еще раз шарил биноклем по деревьям на том берегу, густо засыпанным свежим снегом. В лесу за речкой тревожно зациркал поползень, а где-то дальше чуть слышно залаяла собака, но лай оборвался жалобным визгом. «Конечно, собаку ударили, чтобы не лаяла»,— подумал Евгений. По засыпанному снегом льду речки Евгений заметил след — это с того берега промчался заяц, набежавший на разведчиков. «Значит, в лесу есть люди»,— думал Евгений и также осторожно стал отползать назад, в последний раз взглянув на тот берег. Вдруг он увидел, как с одной из елей посыпался снег. Вскинув бинокль к глазам, он ясно увидел, что в просвете веток чернеет на стволе ботинок — на елке притаился снайпер. Решение возникло мгновенно — Евгений прицелился немного выше ботинка фашиста. Винтовочный выстрел гулко прокатился по лесу. Ломая ветки, «кукушка» грузно упала в снег.

Евгений и солдат бросились бежать. Лейтенант с солдатами шел им навстречу.

Разведчики скорым шагом по своим следам вернулись в часть — задание командования было выполнено!

ПОЛКОВОЙ МЕДВЕЖОНОК

Наш полк стоял на отдыхе. Сюда орудийная канонада с передовой едва доносилась. Ждали пополнение. Любимцем второй роты был годовалый медвежонок. Его поймали маленьким пушистым шариком и он вырос, обратившись в долговязого медвежьего «юнца» с кофейной шерстью и белым пятном на шее.

Медвежонок был большой проказник и забавлял солдат во время отдыха, расхаживая на задних лапах, по команде кувыркался через голову, плясал и рявкал. Медвежонок

постоянно что-нибудь опрокидывал, рассыпал, проливал или ронял. Но едва дежурный крикнет:

— Это что такое?— как медвежонок опрометью бросался к полевым кухням, где была его конура. Он как-то сам, без всякой выучки научился понимать эти слова. Когда он надоедал солдатам своими шалостями, они кричали ему:— Это что такое?!— и медвежонок опрометью бросался вон, вызывая общий смех.

Ждали приезд нового командующего полком. Командир второй роты велел привязать медвежонка около кухонь на цепь. Он не знал, как отнесется новый командир полка к постороннему жильцу в воинской части.

В полдень полк выстроился для встречи нового полковника. Но медвежонок сорвался с привязи, он бросился в строй между двух шеренг. При этом он сбивал с места каждого солдата переднего ряда мягким толчком сзади. Он мохнатым шаром прокатился по всему строю и скрылся в двери казармы, гремя цепью.

Строй был смят. Командир первого батальона растерянно стоял, опустив руки по швам. Офицеры давились от смеха за спиной полковника.

Вдруг новый командир полка весело улыбнулся и оглянулся на офицеров:

— Вот так встреча!

Командир второй роты доложил, что вместо собаки, с разрешения прежнего полковника, они держат медвежонка, и что это первый с ним случай нарушения порядка, но он сейчас же прикажет застрелить медвежонка...

— Нет, нет...— добродушно перебил его полковник,— пусть живет, первый блин получился комом... Только запрещаю вам, старший лейтенант, ставить в строй зверя, этого не нужно никогда делать.

— Виноват,— отчеканил командир роты, принимая вину мишки на себя, но довольный, что общий любимец теперь узаконен и все обошлось благополучно.

Боевая жизнь полка протекала в непрерывных боях. Враг отступал на запад. Медвежонок веселил и забавлял солдат в часы отдыха. О встрече с полковником долго еще вспоминали, но постепенно стали забывать. Командир полка оказался охотником, любителем природы и частенько сам заходил посмотреть на фокусы ручного медвежонка.

Однажды полк снова был направлен в тыл на пополнение и короткий отдых в недавно взятом немецком городе. К возвращению полка с передовой в большом пустом помещении театра на столах были расставлены тарелки, разло-

жены ложки, ножи, вилки и все, что было необходимо для завтрака усталых солдат. Букеты из весенних цветов украшали столы.

Дежурный офицер делал последние указания. С минуты на минуту должны были войти солдаты: полк уже прибыл.

Вдруг какой-то подозрительный звон раздался в помещении, где были накрыты столы.

Дежурный офицер умолк на полуслове: на крайнем столе среднего ряда стоял на четвереньках медведь и подозрительно обнюхивал букет цветов.

— Это что такое?!

Знакомые слова хлестнули медвежонка, как бичом. Он испуганно ухнул и рванулся по столу, топча посуду. Он подбежал к концу стола и прыгнул на следующий. От толчка стол приподнялся, как лошадь на дыбы и посуда рухнула на пол. А мишка уже прыгнул со следующего стола...

Медвежонок, подготовив встречу полку в столовой, умчался к полевым кухням и забился в свою конуру.

Разгром был полный...

— Все сюда!— закричал дежурный офицер, пряча в кобуру револьвер. Сгоряча он хотел застрелить медвежонка, но не успел.

И вот дежурные начали заново накрывать столы. Хорошо, что посуда была алюминиевая и не разбилась. Даже букеты цветов стояли в артиллерийских гильзах и из них только вылилась вода.

Порядок был восстановлен и когда солдаты вошли в столовую, никто не мог и предполагать, какой тут только что был хаос! Но слух о проделке медвежонка разнесся по ротам и об этом было доложено полковнику. Он опять от души посмеялся, но приказал сейчас же отправить медвежонка в город в сохранившийся здесь зоопарк.

Сейтжан Омаров

СМЕЛЫЙ МАЛЬЧИК

В конце 1944 года фашистские полчища под натиском Советской Армии откатывались на Запад. Зимним вечером мы въехали на трофейном «виллисе» в село Курсаково. Только на днях здесь прошли отступающие оккупанты: кругом развалины и пожарища...

Ехать дальше без фар по дороге, заваленной обломками брошенной техники, было опасно. Включать свет запрещалось. Мы с лейтенантом Жасыбаем Айшуковым решили ночевать в Курсаково. Вышли из машины и пошли искать ночлег.

Мороз крепчал с каждой минутой. Далекий грохот тяжелой артиллерии в морозном воздухе казался очень близким. На улицах не было ни души. Сзади нас послышались шаги. От речки по улице поднимался мальчик с ведром воды. Он был очень худ. Старый полушубок с чужого плеча, подпоясанный обрывком веревки, висел на нем, как на вешалке.

Мальчик подошел к нам, поставил ведро и радостно приветствовал нас.

— Где бы здесь переночевать, мальчик?— спросил я, похлопывая руками в варежках: мороз пробирал меня в добротном полушубке и в валенках.

— Ночуйте у нас!— приветливо ответил он.

— А где ваш дом и как тебя зовут?

— Володя Горюнов,— ответил мальчик и показал на ближайший двор,— мы живем здесь, заезжайте!

Махнув шоферу, чтобы ехал за нами, мы пошли за мальчиком в глубь большого двора.

— Свои! Слава богу! Здравствуйте, долгожданные. Будете дорогими гостями!— встретила нас Володина мать.

Оглядевшись, мы увидели четверку ребятишек: они сидели, прижавшись друг к другу. Самый маленький был закутан тряпками. Из-под повязки на голове на нас смотрели черные испуганные глазенки. Ребята напоминали испуганных воробушков. Малыш начал громко плакать, а вслед за ним заголосили и остальные.

— Миша, сыночек, да что с вами, ребята! Поглядите-ка лучше. Неужели не признали? Ведь это наши, свои!— успокаивала малышей Антонина Степановна (так звали хозяйку). Дети притихли, а хозяйка стала рассказывать, как дети напуганы фашистами.. Они забирали все мало-мальски ценное, перед уходом хватали не только продукты, но даже вынули из печи недопеченные, полусырые хлебы. Увидев, как враги забирают последний хлеб, четырехлетний Мишутка потянулся к усатому толстому немцу и закричал: «Дядя, отдай!»

Фашист так ударил мальчика, что малыш упал. А когда Антонина Степановна бросилась к сыну, то и ей досталось.

— Видите, какая я?— закончила рассказ хозяйка, показывая синяки и кровоподтеки на лице.

Володя молча сидел, хмуро опустив глаза.

— Сынок, растопи печку и вскипяти чайку, пусть товарищи обогреются.

Мальчик захлопотал около печки и вскоре вода закипела в чайнике.

Мы развязали вещевые мешки, выложили на стол хлеб, консервы, сахар и другое немудреное фронтовое угощение. Надо было видеть, с какой жадностью ели изголодавшиеся дети. Тут около стола они сразу уснули.

Теперь и мы сели ужинать с Антониной Степановной и Володей. Мы рассказывали фронтовые новости и узнали у хозяйки, как действовали у них в области партизаны. Оказалось, Володя был у партизан связным и даже помог одной успешной операции.

Антонина Степановна сказала об этом вскользь, хотя нотка гордости прозвучала в ее словах: видно было, что из скромности не хочет говорить о сыне.

Но мальчик сконфузился, низко нагнув голову, и что-то

— Расскажи товарищам командирам сам,— сказала сыну Антонина Степановна.

Но мальчик сконфузился, низко нагнув голову и что-то пробормотал.

— Что стесняешься?— сказала мать,— такое рискованное дело не побоялся сделать, а тут своих забоялся? Не маленький, четырнадцатый пошел. Люди просят — уважь! Нечего дичиться!

В словах матери прозвучала строгость.

Володя вначале сбивчиво начал рассказывать, потом освоился, стал говорить более связно.

Вот что мы узнали в этот вечер.

Через Курсаково четыре дня назад одна за другой проходили отступающие части врага. Жители с часу на час ждали встречи со своими. Последней явилась небольшая группа немцев на пяти грузовиках. Машины были нагружены доверху и накрыты брезентами. Пять солдат-шоферов и рыжий фельдфебель остановились в доме Антонины Степановны. Они были голодны и жадно принялись за еду, да и выпили с мороза, чтобы согреться. Пока ужинали, фельдфебель велел Володе караулить машины во дворе. «Если прозеваешь и кто-нибудь подойдет к машинам, застрелю тебя первого».

Володя долго топтался на морозе в своем рваном полушубке. Хорошо бы, конечно, дать знать партизанам — нем-

цев мало, но как это сделать? Убежать нельзя, фашисты тут же расправятся с матерью и братишками. Рыжий фашист несколько раз выходил посмотреть стережет ли мальчишка. Володе хотелось посмотреть, что за груз под брезентами, но это было рискованно. Пришлось ждать, чтобы они скорее кончили ужин и уехали. Немцы побоялись ехать дальше ночью и решили ночевать. Они сильно опьянели, легли на полу и сразу уснули. Только фельдфебель, пошатываясь, вышел из дома, вынул ключи из замков зажигания у всех машин и связал их веревочкой. На глазах у Володи он сунул связку в правый карман дорогого тулупа. Он приказал Володе сторожить, а сам сел в одну из кабин машины. Хлопнула дверка. Володя слышал, как немец долго глотал водку из фляжки и стих.

Мальчик приплясывал на морозе, но вскоре услышал, что фашист захрапел. Дерзкая мысль так показалась исполнимой, что Володя больше не чувствовал мороза. Он подошел к машине. Фельдфебель завернулся в тулуп и то что-то бормотал, то храпел. Осторожно мальчик нажал на ручку дверцы кабины. Она беззвучно открылась. Немец спал, повалившись на левый бок. Правый карман заманчиво был близко. Замирая от страха, Володя осторожно опустил туда руку и легко вытащил связку ключей от всех машин. Немец ничего не слышал и спал. Так же осторожно удалось закрыть дверку.

Не теряя ни минуты, Володя бросился в лес через огороды по знакомой тропинке.

Густой хвойный лес был залит лунным светом. От деревьев на поляны протянулись черные тени. Володе был знаком каждый поворот тропинки. Беспокоила только одна мысль: «Только бы успеть, пока не проснется немец!» Дорога казалась бесконечно длинной на этот раз. Мальчик то бежал, пока не перехватило дыханье, то шел и снова бежал. Наконец вот она, знакомая поляна, и окрик часового за густой елью на краю:

— Володя, ты?

Через десять минут по тропе бежали в село двадцать партизан. Среди них были пять шоферов с ключами от фашистских машин. Вся операция прошла быстро и бесшумно. Сонных, пьяных немцев обезоружили, связали, загудели моторы, и двор опустел.

Груз на машинах был кстати партизанам. Там были продукты, медикаменты, полушубки и награбленное имущество. В сумке фашиста был приказ сжигать все села, уезжая из них.

Летом 1945 года в Москве меня остановил суворовец с медалью «За отвагу» на груди. Это был Володя. Он узнал меня, хотя я и был в штатском. Отец его вернулся с войны, увешанный орденами и медалями, и работал в родном Курсаково, возрождая его от разгрома фашистов.

Владимир Колобынин

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ НАСЫРОВА

В ВОЗДУХЕ

Четыре «Мессершмитта-109» заходили в атаку на эскадрилью советских бомбардировщиков Пе-2, летевшую растянутым строем после выхода из пикирования. Поодаль и выше старшина Насыров увидел группы вражеских машин — осиные тела-черточки, устремившиеся круто вниз на эскадрилью.

Он нажал рычажок внутренней связи СПУ — самолетного переговорного устройства:

— Воздух! Две группы «мессеров». Четыре вблизи, слева. Левее и выше — еще группа...

— Вижу черточку. Где там еще?.. Вижу и этих! Они пока далековато...— ответил штурман.

Командир промолчал.

Старшина лег к своему люковому пулемету и дал в сторону первой черточки «мессеров» очередь, показывая стрелкам-радистам своей эскадрильи направление на вражеские самолеты.

Ближайшая пара фашистских истребителей открыла огонь. Длинной очередью Насыров подвел светлую точку своей трассы, бьющуюся у перекрестья прицела, к первому самолету. «Мессершмитт» накренился. Биение пламени выстрелов его пушек и пулеметов прервалось, и он «выкатился», исчез из поля зрения.

Едва начав стрелять по фашисту, Касым почувствовал тупой удар по ноге ниже колена. Лежа, быстро перевернулся на спину. Подсунул под бедро раненой ноги свой парашют, расстегнул брючный ремень, выдернул его и поверх комбинезона перетянул ногу выше колена, чтобы остановить кровь. Затем так же быстро перевернулся на живот, к своему пулемету.

Однако схватка уже кончилась. Фашистский истребитель

отвалив, был добит другими и уже прочерчивал бледно-голубое июльское небо черным клубящимся шнуром дыма.

Насыров приподнялся, чувствуя тяжесть раненой ноги, встал в верхнем люке и увидел среди белесой многоярусной облачности четыре косых дымных столба. На темноватом фоне земли глубоко внизу белели в просветах облаков три парашютных купола.

Он не увидел, как высоко над ним проходила группа Пе-2, огрызающаяся от врага огнем люковых пулеметов. Это и была их эскадрилья, продолжавшая свой полет по намеченному маршруту. Принявшее на себя первые атаки звено майора Кравцова, потеряв один бомбардировщик, вышло из боя.

Раненую ногу Насырова начало тянуть болью.

— Командир, я ранен в ногу,— передал он.

— Не ты один, Касым, потерпи,— услышал он приглушенный голос штурмана.

Послышался голос командира, майора Кравцова:

— Держись, Касым! Я помогаю штурману замотаться... Зацепило его крепко. Следи за воздухом и посмотри — я что-то не вижу стрелка у Филатникова. Запроси его микрофоном по рации: как они там? У нас правый двигатель заклинился. Посмотри, не дымит?

Насыров чуть перегнулся через борт верхнего люка. Часть крыла и мотогондолы почернели, но уже не дымились. Правый винт стоял с вывернутыми неживыми лопастями.

Успел командир «затяжелить», развернуть вдоль полета лопасти винта. Сильный летчик, грамотный.

— Дыма нет, командир!

Насыров глянул на штурмана соседней машины. Тот показал ему на кабину своего стрелка-радиста и сложил руки наперекрест. Насыров понял, покачал головой.

Насыров опять включил внутреннюю связь:

— Командир! Стрелок-радист Филатникова убит. В воздухе спокойно. Я немного перевяжусь, а то в сапоге мокро.

— Ясно! Перевязывайся. Будем добираться к своим.

Два советских бомбардировщика, тяжело поврежденные, летели в сторону своих войск к линии фронта. Их полет проходил над территорией, занятой вражескими войсками. Никто из обоих экипажей не захотел прыгать с парашютами, надеясь долететь...

По СПУ сразу за сигналами командирского вызова прозвучала размеренная, четкая команда майора Кравцова:

— Кто может — прыгайте, пока нет истребителей!

— Нет, командир! Я остаюсь в кабине. Будь что будет...— ответил через несколько минут Насыров.

Майор Страшко опередил личное обращение командира к себе и прорычал:

— Штурман. Остаюсь, товарищ командир!

Голос командира, как это и раньше бывало в трудные минуты боев, прозвучал с глубокой теплотой.

— Спасибо, братцы! Поехали дальше...

Полгода две эскадрильи 18-го авиаполка между боями отрабатывали методику бомбометания строем эскадрилий с пикирования — сложный, требующий высокой слетанности маневр. В этом вылете под Плугув-Зборов — они, наконец, получили разрешение на боевое бомбометание с пикирования.

В бой на выручку пехоты был поднят в воздух весь полк. Он должен был разбомбить гитлеровские войска, атаковавшие части 38-й Краснознаменной армии.

Опережая наше повествование, скажем, что полки 202-й бомбардировочной Краснознаменной дивизии выручили товарищей — краснознаменцев 38-й армии. И не просто выручили. После этого сражения маршал Советского Союза И. С. Конев отметил:

— *«Авиация спасла 38-ю армию»*[1]

Это был не единственный стучай, когда бомбардировщики Пе-2 с надписью «Советский Татарстан» вдоль бортов помогали пехоте и другим наземным частям. Угроза была ликвидирована. 38-я Краснознаменная армия перешла в решительное наступление. Вскоре ее передовые части вышли к границе СССР.

...Насыров заканчивал перевязку. Вдруг голоса и шумы эфира прервались, ворвался голос штурмана:

— Внимание, воздух! «Фоккеры»!

Насыров быстро вскочил, оглянулся, стоя в своем верхнем люке. Два фашистских истребителя заходили для атаки. Старшина лег на свой пулемет.

«Фоккеры», встретив дружный огонь обоих советских бомбардировщиков, отвалили и проскочили вперед. Однако то, что добыча была нетрудной, отметили. Советские самолеты были повреждены. Ведущий повел спокойно свою пару в новую атаку.

---

[1] *Белопесоцкий Ю. В.* «Боевые крылья», Татарское кн. издательство, Казань, 1979, стр. 49.

Он картинно круто развернулся с набором высоты, но сам стал заходить снизу на нестрелявший пулемет, а своего ведомого направил сверху — отвлекать на себя огонь пулеметов штурманов. Для удобства маневра зашли «фоккеры» издалека.

Пока фашисты готовили атаку — вся картина их захода была хорошо видна Насырову,— Касым внимательно осмотрелся. Левый, единственный работающий мотор его самолета, оставлял дымный след.

— Командир! Под левым мотором выбивает пламя и виден дым за хвостом.

— Зацепили, гады,— спокойно ответил Кравцов.— Приготовьтесь, Касым, и ты, Максимыч. Сейчас попробую сорвать пламя скольжением. Где там «фоккеры»!

— Заходят в атаку. Слева, сзади — метрах в трехстах.

«Фокке-Вульф» дали пристрелочные очереди. Кравцов накренил слегка бомбардировщик и «дал ногу», чуть развернул его так, что машина «заскользила» вправо и вбок, срывая пламя с левой мотогондолы потоком воздуха.

Такой маневр очень опасен, так как крен на неработающий мотор может сделать самолет неуправляемым, сорвать в плоский штопор. Насыров до армии занимался в кружке Осоавиахима и знал это. У него перехватило дыхание...

Летчик, опытный пилот, бывший инструктор летной школы, был смел и точен в своих действиях: едва самолет развернулся в «скольжение», как он резко положил его на левое крыло, в глубокий вираж. Затем мягко вывел из виража с небольшим набором высоты и тут же «прижал» штурвалом вниз, в пикирование. Самолет сделал «нырок» и перешел в режим горизонтального полета.

В самом начале этого сложного маневра фашистский ведущий «ас» был метрах в ста от соседнего Пе-2 у которого был убит стрелок-радист. Фашист начал выпускать щитки и шасси своего «фоккера», чтобы, притормозив, наверняка и спокойно расстрелять свою безоружную снизу жертву.

Именно в этот момент машина Кравцова в вираже преградила ему путь, оказавшись между ним и нашим самолетом.

Штурман Страшко, собрав все силы, дал прицельную очередь по «фоккеру». Распустивший тормозные приспособления «Фокке-Вульф» оказался прямо сверху перед его пулеметом метрах в 70—50. Фашистский летчик, видевший в начале своего прицеливания только то, что второй бомбардировщик отходит куда-то вправо и вниз, вдруг получил в

свою носовую часть несколько крупнокалиберных пуль. Но кто стрелял по нему — этого он не понимал. Носовая часть его собственного самолета заслонила от него советский бомбардировщик. Фашистский пилот от неожиданности бросил свой «фоккер» вниз.

Как раз в этот момент майор Кравцов вывел из виража и послал в короткое пикирование и свой самолет. «Фоккер» оказался под кабиной готового к стрельбе Насырова. Очередь крупнокалиберных пуль вспорола кабину фашистского пилота, разбила, разорвала и кабину и хвостовую часть. Самолет «клюнул» носом и вошел в отвесное пикирование. Врезавшись в землю, взорвался так близко, что бомбардировщик Насырова встряхнуло взрывной волной.

— Готов!— закричал Насыров.

Но радость его мгновенно угасла, когда он увидел чуть ниже два купола парашюта, а выше и в стороне — двойной тяжелый дымный след падающего бомбардировщика своих товарищей по звену.

Смертельно усталый голос штурмана зазвучал в наушниках шлемофона Насырова:

— Этот-то готов. Но и наши соседи добиты. Да и у нас дело плохо.

Командир подтвердил:

— Да, приходится садиться. Готовьтесь к посадке «на живот», без шасси. Попробую дотянуть вон до той полянки, если удастся...

Забегая вперед еще раз, заметим, что оба члена экипажа второго нашего бомбардировщика, выпрыгнувшие с парашютами, приземлились в тылу врага.

На земле летчик, старший лейтенант Филатников, подбежал к своему штурману, но тот был мертв.

Филатников благополучно перешел линию фронта, возвратился в свой полк и заменил майора Кравцова на должности заместителя командира первой эскадрильи 18-го полка, провоевав до Дня Победы.

Филатников поседел в этот день, 15 июля 1944 года. Он стал полностью седым в свои неполных двадцать семь лет...

Бомбардировщик Насырова проскочил просеку с дорогой, перелесок. Впереди справа за редкими деревьями открылась поляна. Справа... А правый двигатель стоит. Да и левый мотор — дымит. Слишком близко земля. Уже не набрать скорости для сложного маневра.

Касым натянул на руки перчатки. Без перчаток при такой посадке ему было не обойтись. Опыт он имел.

Он крепко вцепился обеими руками в крепления на бор-

тах. Поплотнее прижался к полу кабины, наклонившись почти к своим вытянутым ногам. Крепко подтянул подбородок к груди, чтобы на посадке не удариться затылком о передатчик, расположенный за его спиной,— воздушные стрелки-радисты летали в те времена «задом наперед».

Земля неслась под ними совсем рядом. Но вот рывком оглушил Насырова хлесткий грохот листьев и ветвей верхушек деревьев.

Такие тонкие, нежные, колеблющиеся под легким ветерком, они — жестки и тяжело хлещут при скоростях, близких к ураганным. Пе-2, фронтовой ближний бомбардировщик, отличался высокой посадочной скоростью.

Летчик не успел довернуть поврежденный самолет в сторону поляны. Удар о ствол одного из деревьев... Сергей Ефимович Кравцов потерял сознание.

Штурман Страшко, обхвативший летчика за плечи руками, не смог удержать командира, и тот сорвался с кресла пилота. У самого Митрофана Максимовича Страшко уже не был сил. Он умирал, истекая кровью.

Самолет еще прополз, сунулся в ложбину, подминая молодые березки, и замер.

Сломанное дерево замедленно, как в кошмарном сне, завалилось, хлестнуло ветвями по корпусу, и, грохнув расщепленным комлем по левому крылу, отлетело в сторону.

НА ЗЕМЛЕ

Старшина Насыров на короткое время потерял сознание от удара. Огромным усилием воли он пришел в себя и уловил переход к тишине. Может быть, именно наступившая тишина и вырвала его из сумеречного состояния.

Теперь он с напряжением вслушивался: не возникнет ли пожар. Сбитые бомбардировщики нередко не просто горят при таких посадках, но и взрываются.

Шума пламени не было.

Насыров сдвинул шлемофон вверх и уловил далекий, но явственный лай собак.

Острейший слух степняка не мог обмануть его. Приближающийся хриплый лай был особенным, чужим и чуждым.

К ним вместе с фашистами мчались собаки-людоеды, боевые немецкие овчарки, «кригсхундер», специально выдрессированные против людей.

Когда первая выскочила на поляну и устремилась к носовой кабине, Касым тихонко подсвистел. Пес с маху повернул на него, взлетел в прыжке над кабиной и... Насыров

едва успел выдернуть свой нож. Тяжелое тело собаки завалилось на фюзеляж. И второй пес с глоткой, косо разрубленной быстром ударом ножа, пролетел туда же.

Еще две собаки бежали на поводках с солдатами. Задыхающийся лай подсказал, что фашисты будут через две-три минуты на поляне.

Старшина выдернул пулемет толчком из гнезда и переместил его на правый борт, ближний к надвигающейся опасности. Приподнялся, поддернул по верху кабины обломанные ветви для маскировки. Подтащил парашют, уложил его в углубление нижнего люка. Примостился у пулеметного окошечка, встав коленями на парашют.

Псы были трусоваты. Они выбежали к поляне, увидели длинную сигару лежащего в развороченных кустах самолета, залаяли громче, но... сбились, затоптались на месте, запутались в длинных поводках.

Особенной смелостью не отличались и проводники. Насыров видел, как они выставили автоматы, но — не двигались. Подошли еще трое солдат.

Наконец набежал на эту группу унтер. Он попытался что-то приказать, однако солдаты даже чуть отступили назад, глубже в кусты, и громко, суматошно загомонили.

От самолета никаких звуков до них не доносилось. Он не горел, никто не стрелял. Подозрительным было только поведение собак да странная пропажа двух овчарок, спущенных с поводков.

Решительная лающая команда подошедшего с фельдфебелем офицера рассыпала фашистов в цепь, и они пошли веером к упавшему самолету. Двое достали из сумок у пояса гранаты.

Мгновенно оценив ситуацию, Насыров тщательно прицелился и сбил офицеров, поведя короткой очередью. Затем быстро повернул пулемет влево до упора. Вторую очередь он успел дать по солдатам, которые вооружились гранатами с длинными ручками, еще до того, как фашисты открыли огонь.

Внезапный грохот скорострельного пулемета ошеломил немцев. Один из них поддернулся, даже подпрыгнул вперед, взмахнул руками и упал. Под вторую очередь попала также одна из собак и ее проводник. Собака свалилась, а ее хозяин, ковыляя, побежал назад.

Старшина глянул на патронную коробку пулемета. Она была почти пуста. Прославленная еще довоенным кино скорострельность пулемета ШКАС сожрала всего за две корот-

кие очереди почти весь боезапас из двух 75-зарядных патронных коробок. Вдруг из первой кабины донесся стон.

Кто-то жив?!

Радость была недолгой — стон тут же обморочно оборвался.

Гитлеровцы, отбегая, продолжали стрелять вовсю. Несколько пуль попали в центроплан, среднюю часть фюзеляжа, где располагался один из самых больших бензобаков. Когда стрельба прекратилась, Насыров услышал звуки бегущей жидкости.

Он приподнялся с большим трудом, опираясь на пулемет. Взялся за обрез кабины руками, подтянулся и осторожно, поправив поудобнее раненую ногу, встал. Гитлеровские солдаты убежали куда-то далеко. Тела четырех фашистов и собаки не шевелились.

Он переложил парашют. Открыл нижний люк, спустил в него сначала раненую ногу, затем здоровую и присел под фюзеляж. Его кабина и хвост самолета были чуть приподняты. Он внимательно прислушался.

Тишина, обманчивая, зыбкая.

Гитлеровцы, конечно, вернутся, ясно было и то, что уйти от преследования со своей больной ногой далеко он не мог.

Насыров сменил коробку пулемета ШКАС на новую. Решил сделать пороховую дорожку к разлившемуся под центральным баком горючему и поджечь самолет. Или, если удастся, взорвать его, как только враги подойдут снова. Он хорошо знал, как рвутся самолетные баки, в которых почти выработано горючее.

Насыров вложил патрон пулей в щель конструкции кабины. Осторожно действуя ножом, попробовал вынуть пулю. Получилось.

Он разламывал патроны, аккуратно составляя гильзы с порохом по борту так, чтобы порох не высыпался раньше времени.

Опять послышался слабый стон.

Насыров присел поглубже под нижним люком кабины Оберегая раненую ногу, вылез из-под фюзеляжа на поляну. Попытался сделать шаг. Нога одеревенела, но боль не усиливалась, когда он на нее опирался.

Подтянул сломанные ветви деревьев, чтобы не скользить по обшивке крыла. Осторожно подошел к плоскости самолета, прополз по ней, опираясь больше на руки, к кабине пилота и штурмана, разбитой и залитой кровью.

Штурман Страшко был мертв.

Верхний люк кабины, так называемый «фонарь», был

вскрыт но не отлетел. Насыров стукнул по нижней пленке люка. «Фонарь» стронулся. Поддернув просунутой в щель рукой, Насыров сбросил его. Затем пролез в кабину и попытался приподнять летчика, подхватив его под мышки. Майор Кравцов громко застонал и грузно обвис в его руках, выдохнув в стоне, казалось, весь воздух из груди. Насыров отпустил его и приподнялся.

Что-то изменилось в обстановке.

Старшина настороженно вслушался и медленно огляделся. Еле различимо доносились неясные звуки.

Тело одного из гранатометчиков, попавшего под очередь его пулемета, лежало неподалеку, а граната подкатилась и была хорошо видна ее торчащая длинная ручка.

Насыров знал устройство немецких ручных гранат и вообще немецкого пехотного оружия.

На всякий случай Насыров пополз к немецкой гранате. Тихонечко взял ее, затянул крышку гранаты потуже, подбросил ее под фюзеляж самолета к нижнему люку своей кабины.

Лежа в траве, перевернулся, вытащил свой пистолет ТТ из кобуры. Он только сейчас вспомнил о своем личном оружии...

Странное дело! Только что он совсем позабыл о своем страхе. Без опаски гремел «фонарем» верхнего люка кабины летчика. Любой приблудный фриц мог бы из карабина одной пулей убить его. Даже просто с перепугу, сдуру.

А вот теперь, когда он решил умереть,— стал осторожнее, хитрее. Все в нем напрягалось, сосредоточилось на мысли о взрыве.

Он был готов к смертному бою — коммунист, член партии большевиков с 1943 года, Касым Галимович Насыров, уроженец города Кокчетава, воздушный стрелок-радист 18-го полка 202-й бомбардировочной Кранознаменной Среднедонской ордена Суворова авиадивизии имени Верховного Совета Татарской Автономной Советской Социалистической Республики.

В дремотной июльской тишине изменилось главное. Как в невидимой глазу сути процессов электрических, в этой тишине переменились знаки напряжения. Опасность сместилась. Тишина теперь таила смертельную опасность для врага.

Он подошел, склонился над убитым немцем, вытащил гранату, рожок с патронами и вытянул чуть придавленный телом солдата шмайссер. Выпрямился, проверил автомат и огляделся.

Звуки криков команд, еще непонятные, зазвучали ближе. Послышался отдаленный лай собак, какой-то металлический лязг.

Он вернулся к самолету, вытащил прямо через борт кабины майора Кравцова и потянул его обвисшее тело в сторону, в глубь перелеска.

Весь взмокший от усилий и от боли в растревоженной ноге, Насыров едва прислонил майора к ближайшему сравнительно толстому стволу дерева, как ветви над его головой, сбиваемые пулями, посыпались на него.

Гитлеровцы начали стрелять издалека: Насыров успел подползти поближе к самолету и дать из трофейного автомата три короткие очереди по отдаленным кустам за поляной, в которых мелькали огоньки, а гитлеровцы все палили, но не приближались.

Наконец они пошли тремя группами. Самой опасной была та, что подходила со стороны подлеска, ее движение было плохо видно. Оттуда слышался злобный лай собак, которых пока еще с поводков не спускали. Насыров дал еще одну длинную очередь из шмайссера, бросил гранату и быстро пополз под люк своей кабины.

Там он подобрал другую гранату, подготовил ее к взрыву.

Гитлеровцы после разрыва гранаты приостановились, залегли.

Касым встал во весь рост в открытом люке своей кабины, положил взведенную немецкую гранату на бортик около тяжелого крупнокалиберного пулемета. Снял пулемет со стопора и чуть-чуть повел его стволом. Проверил: все было в порядке.

Втянулся в кабину, прилег к прицелу. Он увидел полоску неба и кусты за чуть приподнятым хвостом самолета. Листва и ветки были ободраны и почти не мешали, не закрывали обзора на несколько десятков метров.

Мелькнула каска, вторая, третья... По косо прикрепленной хвостовой бронеплите его кабины прогрохотали пули. Одна или две с короткими взвизгами вспороли обшивку над его головой. Показались фигуры фашистов, стрелявших на ходу. Чуть выше — какая-то поблескивающая выстрелами башенка. Это был чудом сохранившийся до 44-го года полугусеничный, довоенного образца, броневичок, используемый гитлеровцами в тылу.

Старшина Касым Насыров глубоко вздохнул, поджал до предела кверху пулемет, еще раз, проверяя подвижность, чуть качнул стволом вправо-влево, не упуская мысли

о лежащей рядом взведенной гранате. Басовый голос его тяжелого пулемета перекрыл трескотню пальбы фашистов. Веер тяжелых крупнокалиберных пуль сметал все на своем пути. Башня броневика взлетела, сброшенная взрывом собственного боезапаса.

Не успели фашисты попадать на землю, как всю округу потряс тяжелый многократный грохот взрыва, поднявшего пламя, дым и пыль крутящимся столбом высоко над землей.

Жаркая волна взрыва, отбросившая оставшегося в живых летчика Кравцова и мгновенно опалившая и сломавшая дерево, под которым его оставил Насыров, долгое время казалась ему частью кошмарных бессознательных видений. Но след этого взрыва остался и ныне у Сергея Ефимовича Кравцова на руках, на щеках и вокруг его суровых, твердых глаз.

Эти глаза видели так много, что малой части вполне хватило бы не на одну сотню человеческих жизней нашего сложного века.

Александр Елков

ВАНЬКА — ВЗВОДНЫЙ

Вой снарядов. Черный дым кругом.
Кашель рвотный...
Прорван фронт.
А кто виновен в том?!
Ванька-взводный.

Лейтенантик. Кровная родня.
Взводный батя.
С нами он — на линии огня.
В медсанбате.

И в разведке полуночной, где
нас накрыли.
И в пыли. И в ледяной воде.
И... в могиле.

На него, хрипя, орет комбат.
Грозен ротный.

Поднимает в пятый раз ребят
Ванька-взводный.

В бой ведет — отнюдь не на коне
снежно-белом —
в кирзачах.
Трофейный на ремне
парабеллум.
В полный рост вперед бежит.
Метнул
в дзот гранату...
Будь я маршал — первым б козырнул
лейтенанту.

Снова хлещет на передовой
дождь холодный.
Ты поспи-ка, наш отец родной,
Ванька-взводный.

Рахимжан Кошкарбаев

ТАК БРАЛИ РЕЙХСТАГ

Мне думается, что у каждого человека, прожившего большую жизнь, есть свой звездный час! Это время наивысшего напряжения сил. Можно вспоминать о нем всегда и каждый раз находить все новые яркие детали случившегося и заново переживать и осмысливать все, что произошло.

Сорок лет отделяют меня от тех событий. Но время не изгладило в памяти «миг» длиной в триста шестьдесят метров и четыреста двадцать минут. Я счастлив, что водружал на стене рейхстага красное полотнище, согретое моим теплом. Это случилось на 1410 день войны, в канун Победы, 30 апреля 1945 года.

За четыре месяца до этого дня, в декабре 1944 года, в блиндаже под Варшавой, началась для меня фронтовая жизнь после окончания общевойскового училища во Фрунзе. 17 января начался марш 150-й Идрицкой дивизии. Передовая проходила в нескольких километрах от польской столицы. Там и состоялось мое первое боевое крещение. А ровно через месяц, в кровопролитных боях за Шнайдемюль

взвод потерял одиннадцать человек убитыми, не считая раненых.

Дорогой ценой досталась нам победа над вымуштрованными морскими пехотинцами у озера Ветшвин-зее. Пало много наших бойцов и среди них общий любимец киргиз Мусулманкулов, прирожденный импровизатор. Он обещал в Берлине исполнить нам песни на свои стихи, которые записывал на каждом привале в особую тетрадку.

Среди солдат и офицеров, отличившихся в боях под Шнайдемюлем и у Ветшвин-зее, я был награжден орденом Отечественной войны I степени.

В самый канун битвы на Одере меня из кандидатов, приняли в члены партии. Воодушевляла мысль, что я теперь коммунист. В числе первых батальон капитана А. С. Твердохлеба, куда входил мой взвод, переправился через Одер. Мой взвод раньше других оказался на левом берегу реки. Мы лежали в холодной воде и постепенно, цепляясь за илистое дно, поднимались все выше. Окопались. Вода в вырытых траншеях вскоре поднялась до пояса.

К вечеру следующего дня нам удалось выбить укрепившегося врага из траншей. Из тридцати восьми солдат в строю после боев осталось только восемь.

В три часа ночи 16 апреля я проснулся на «передке» от грохота канонады. Качнулась под ногами земля. Весь фронт светился красно-зеленым маревом. Кругом все гудело и стонало. Взрывной волной меня прижало к брустверу. Ничего не было слышно, кроме гула летящих в сторону врага самолетов и разрывов снарядов где-то совсем недалеко, на территории противника.

Ничего подобного я никогда не видел. Словно вся наша боль, вся наша злость обрушивалась на гитлеровцев вместе со смертоносным грузом. По врагу было выпущено в этот предрассветный час семь миллионов снарядов, мин и ракет. Говорить было бесполезно. Мы смотрели друг на друга и улыбались, довольные тем, что происходит. То было начало наступления I-го Белорусского фронта. Мы находились в семидесяти километрах от Берлина.

В двухчасовой артиллерийской подготовке, как мы узнали в дальнейшем, приняли участие 22 тысячи орудий и минометов. Десятки мощных зенитных прожекторов ярко поливали светом поле боя. Пленные фашисты признавались, что их охватила паника: казалось, русские применили новое секретное оружие. К тому же эскадрильи пикирующих бомбардировщиков бомбили вражеские позиции, непрерывно сменяя друг друга.

И все же враг упорно сопротивлялся. Фашисты цеплялись за каждый клочок земли. На нас также обрушили ураганный огонь. Со значительными потерями мы всего лишь на семь километров продвинулись в глубь обороны противника. В разгар боя нашему батальону был дан приказ одним ударом овладеть населенным пунктом Гросс-Барним. Его оборонял небольшой немецкий гарнизон.

В тыл врага отправили роту старшего лейтенанта Батракова. Надо заметить, что Гросс-Барним был умело укреплен. В бинокль хорошо проглядывались огневые гнезда противника, который занял круговую оборону. В этих условиях не могло быть и речи о лобовой атаке. Наша рота растянулась в длинную цепь и стала отвлекать на себя основные силы фашистов. Воспользовавшись этим, остальные роты поднялись в атаку. Немцы заметались и ослабили огонь в нашу сторону. Тогда и мы начали наступать.

Боясь окружения, фашисты оставили поселок. В нем мы и расположились на ночь. За длительное время мы впервые отдыхали в нормальных условиях, выставив сторожевые охранения. А утром я вновь разложил карту Берлина и близлежащих к нему районов, которую выдали офицерскому составу еще перед форсированием Одера. Эту карту я берегу до сих пор, как самую драгоценную реликвию. Есть на ней и мои пометки.

Дивизия расположилась вдоль канала Фриндландштром, прикрывающего небольшой городок Кунерсдорф. Его обороняли отборные эсэсовские подразделения. Городок занимал важное стратегическое положение — второй после Одера оборонительный обвод перед Берлином проходил через него. Немцы явно нервничали. Каждые несколько минут они запускали над каналом осветительные ракеты. Тем не менее наш батальон быстро переправился через канал и сразу же вступил в бой. В получасовом артобстреле этого городка участововала батарея «Катюш». Несмотря на отчаянное сопротивление гитлеровцев к одиннадцати часам дня городок был в наших руках.

Навсегда останется в моей памяти 20 апреля 1945 года. Этот день вошел в историю войны как день первого артиллерийского обстрела Берлина. Я видел, как это было. Наша дивизия стояла в густом сосновом лесу. В полдень ребята-артиллеристы выкатили на поляну целую батарею дальнобойных орудий и развернули их стволы в сторону столицы третьего рейха. Минут через десять срывающимся от волнения голосом командир батареи скомандовал:

— За наших павших отцов и братьев, матерей и сестер,

за погибших, замученных в неволе советских людей — по логову фашизма — огонь!...

Часы показывали 15 часов 50 минут по московскому времени.

В бинокль хорошо были видны клубы красноватого дыма. Город окрасился заревом пожаров. Посланные в Берлин снаряды были достойным подарком бесноватому фюреру в день его рождения от Красной Армии.

Наша часть была отведена с передовой на кратковременный отдых. И вот мы движемся во втором эшелоне по разбитым снарядами дорогам, на которых указатели с единственным словом — Берлин. Такая долгожданная и теперь уже близкая цель. Нас обгоняет боевая техника: машины, тракторы, танки. Лошади тянут артиллерийские пушки, зенитные орудия, гаубицы.

Мы знали, что кольцо вокруг Берлина сжимается все теснее. Вместе с нашим I-м Белорусским, которым командовал маршал Жуков, здесь были сосредоточены войска 2-го Белорусского фронта под командованием маршала Рокоссовского и 1-го Украинского фронта под командованием маршала Конева. Как впоследствии отмечал Г. К. Жуков, «Битва за Берлин была особой, ни с чем не сравнимой операцией...» Перед нашими войсками была сплошная эшелонированная зона мощных оборонительных рубежей. На его подступах предстояло разгромить крупнейшую группировку немецко-фашистских войск.

Итак, у нас была только одна дорога — в Берлин. Мы понимали, что многие из нас отдадут жизни здесь, на самых последних шагах долгой войны. Но понимали мы и другое — здесь заканчивался бой с самым страшным врагом человечества — с немецким фашизмом.

Наш батальон был превращен в штурмовую группу. За ним закрепили несколько легких пушек и танков. В распоряжение его командира, теперь уже майора, А. С. Твердохлеба был придан еще саперный взвод. Батальон был разделен на две атакующие группы, которые должна была прикрывать стрелковая рота. На такие группы возлагалась задача вести уличные бои в Берлине, где каждый дом, каждый метр городской территории будет даваться нам необычайно тяжело.

На нашем пути находился городок Бланкенбург. Бои шли со всех сторон. И батальон отвоевывал дом за домом, медленно углубляясь в город на своем участке. Накапливался опыт уличных боев, которого у нас прежде почти не было. Командиры рот и взводов получали в этих условиях

значительно большую самостоятельность. От их инициативы, решительности и умения зависел исход каждого отдельного сражения.

В скором времени нам изменили направление. Дивизия должна была пройти южнее Рейникендорфа и выйти на восточную сторону Берлинского канала. На пути находилось самое логово фашистского зверя. Но здесь было и самое пекло сражений за Берлин. Устало шагавшие бойцы сразу повеселели. Повернув на юг, мы вышли к указанному рубежу. Наш 674-й полк достиг железной дороги и окопался. В этом месте нас настигла радостная весть о том, что Берлин полностью окружен советскими войсками.

Время от времени нас переводили во второй эшелон для отдыха. Мы научились спать под грохот канонады и взрывы бомб. В следующее свое продвижение вперед мы вышли севернее реки Шпреи и заняли освобожденные передовыми частями многоэтажные дома. Это была последняя водная преграда на нашем пути. На карте правее ее шла прямая линия и доходила она до цифры «105». Мы знали, что это — рейхстаг. От наших позиций до его стен оставалось пятьсот пятьдесят метров.

На календаре — 28 апреля 1945 года. Этот день один из самых трагических в моей жизни, да и в жизни всего батальона. Убит наш дорогой комбат майор Твердохлеб. Убит эсэсовским офицером, который остался в разрушенном доме, заваленный до пояса в недавнем бою. Он до времени затаился, но когда понял, что выбраться ему не удастся, бросил гранату в проходившего под окном комбата и сам застрелился. Убил себя собственным жалом, как скорпион, попавший в огненный круг. У могилы погибшего командира прозвучал трехкратный прощальный салют.

Нашей дивизии приказано было развивать боевые действия по центральному оборонительному сектору. Штурм должен был возобновиться после того, как подразделения будут полностью укомплектованы живой силой и техникой. За последние два дня мы понесли тяжелые потери. В каждой роте находилось столько бойцов, сколько недавно их было в каждом взводе. Мне было видно, как шло сражение за мост Мольтке. Хорошо был виден большой белый дом — посольство Швейцарии. Он стоит на юго-восточной стороне улицы, которая начинается прямо от моста. На противоположной стороне очень хорошо просматривалось громадное из красного задымленного кирпича здание «дома Гиммлера», как называли сами фашисты здание Министерства внутренних дел Германии.

Утром начался обстрел «дома Гиммлера». После получасовой артподготовки в атаку пошли и бойцы нашего батальона. Мой взвод бежал в первых рядах атакующих. В числе первых ворвались в ближайшую разбитую дверь и заставили фашистов отступить на второй этаж. Я думаю, что это был один из самых кровопролитных боев, в которых мне довелось участвовать с района Вислы. Фашисты оборонялись с обреченностью смертников. Но наших бойцов ничто не могло остановить.

Многие солдаты полегли в этом бою. Меня же смерть обходила стороной. От моего взвода, получившего свежее пополнение, осталось чуть больше половины, когда я почувствовал кровь на лице. Рана была пустяковая — оцарапало щеку щепой от двери. Не зря покойный комбат называл меня «непробиваемым» после ранения в лоб, когда пуля скользнула по коже головы, оставив небольшую царапину.

Затем вместе с бойцами двух других полков мы очистили еще один этаж. Оставшиеся в живых фашисты укрылись в верхних этажах. То и дело возникали пожары и дым до боли резал глаза. С наступлением темноты в любую минуту можно было напороться на пулю. Четвертый этаж четыре раза переходил из рук в руки. Нас снабдили фонарями. И это помогло нам уничтожить фашистов: наши бойцы ослепили их ярким светом, остальное доделали автоматы.

Утром 30 апреля «дом Гиммлера» полностью перешел в наши руки.

После этого мы осмотрели зловещее здание, где почти в каждой комнате лежали трупы фашистов. В кабинете Гиммлера обнаружили несколько ящиков швейцарских часов, приготовленных для награждения гитлеровских головорезов. Наши офицеры распорядились раздать часы советским солдатам. Эти часы долго хранились и у меня, как память о тех исторических днях, свидетелем которых я был. Сейчас они — экспонат музея ЦК комсомола республики.

На втором этаже «дома Гиммлера» артиллеристы устанавливали 76-миллиметровые пушки, чтобы бить по рейхстагу. В это время меня вызвал парторг батальона Карибжан Исаков. В цокольном этаже здания заседала парткомиссия под преседательством командира полка майора Зинченко. Принятым в партию в боях за Вислу и на Одере выдавались партийные билеты. Вручили и мне красную книжицу с ленинским барельефом.

Командир полка тепло поздравил всех нас, молодых коммунистов, и сообщил, что создаются специальные груп-

пы, которые должны доставить в рейхстаг красные флаги.

— Это — высокая честь — укрепить в самом логове поверженного врага красный флаг — символ нашей победы,— сказал он.— Но и опасность велика. Площадь простреливается со всех сторон... Нужны добровольцы.

Партийный билет лежал у самого сердца, и я чувствовал, как оно забилось учащенно. Как передать охватившее меня волнение. Не скрою — много самых различных чувств владело мною в тот миг. Был и естественный для каждого нормального человека страх смерти. Хотя к тому времени я смотрел ей в глаза уже не раз. Но нельзя привыкнуть к мысли, что тебя могут убить. К тому же обидно погибнуть в последние часы такой долгой и трудной войны.

И была мысль о том, что мне — всего двадцать, и впереди огромная прекрасная жизнь. Усилием воли я прогнал эти мысли. Что же главным было в тот момент? Сорок лет спустя трудно восстановить все эти переживания. Многое стерлось в памяти, многое со временем притупилось.

И все же, думаю, главной была мысль: «Я — коммунист и партийный долг для меня превыше всего...» Может, и не так, не этими словами мыслил я тогда, но чувства мои были именно такими. Вот почему я вызвался в числе других добровольцев укрепить алое полотнище на здании рейхстага.

Когда состав группы был определен, командир батальона сказал:

— Есть предложение поручить возглавить группу лейтенанту Кошкарбаеву. Он первым ворвался в «дом Гиммлера»... Я думаю, что справится и с этим заданием...

Через зрительную трубу я долго разглядывал указанную комбатом точку. Из низко — почти над самой землей—расположенного окна была видна изрытая снарядами площадь. Впереди — рейхстаг. Громадное серое здание с ребристым куполом. По его сторонам выпирают тупые башни.

Заместитель командира батальона капитан Васильченко вручил мне флаг. Это был кусок красного тика, обернутый вокруг планки, отодранной от оконной рамы, и зачехленный черной светомаскировочной бумагой. Скинув с себя ватник, я поглубже спрятал флаг за пазуху под гимнастерку, потуже затянул ремень и взглянул на часы. Они показывали ровно одиннадцать.

Спрыгнуть с окна цокольного этажа «дома Гиммлера» на брусчатку Королевской площади успели только я и молоденький солдат из взвода разведки — Григорий Булатов, входивший в состав группы. Остальные не смогли этого сделать — враг вколачивал в дом снаряд за снарядом. Мы

скатились в воронку, что была впереди нас, но оставаться долго в ней было опасно. Под сплошным огнем мы медленно поползли друг за другом.

Какие-то сотни метров отделяли «дом Гиммлера» от рейхстага. Но преодолеть их ползком под непрерывным огнем противника было делом сложным. Сделав движение вперед, мы тут же надолго замирали. Так мы ползли до самой мертвой зоны, где нас уже было невозможно достать. Перевернутые пушки стали для нас спасительными укрытиями. Выглянув из-под лафета, я увидел, что площадь, на которой мы находились, простреливалась из пулеметов и автоматов со всех сторон.

В нескольких метрах от нас стоял подбитый советский танк. Мы поползли к нему. Однако пули тотчас же прижали нас к земле. Рядом, тяжело дыша, лежал Булатов. Колени у него были сбиты до крови, гимнастерка взмокла. Думаю, что и я выглядел не лучше. Прошло уже три часа, а мы преодолели всего пятьдесят метров, но эти метры, пожалуй, были самые трудные на пути к рейхстагу. Каждое неверное движение могло стоить жизни.

Наконец, мы добрались до нашего танка. Очень хотелось подольше полежать под его надежной защитой. Но надо было двигаться вперед, дальше. Полоса разбитых орудий и танков кончилась. В нескольких метрах находилось строение, напоминающее трансформаторную будку. Нужен был молниеносный бросок, чтобы проскочить это расстояние раньше, чем противник сумеет перейти на прицельный огонь. Вместе, рывком, вскочили, ввалились в будку. Но и здесь оставаться было опасно. Ее тонкие, изрешеченные пулями стены не защищали от огня.

Впереди темнела полоса противотанкового рва. Виднелись остатки пешеходного моста через него. Это было укрытие надежнее будки, но проскочить туда можно лишь через бушующий вокруг огненный смерч. Вдруг рейхстаг заволокло дымом и красноватой пеленой кирпичной пыли. Нельзя было упустить долгожданный миг. За секунды мы проскочили гребень рва и очутились по пояс в воде. Она была грязной, но прохладной, и мы черпали ее пригоршнями и жадно пили.

По воде двинулись в сторону канала. Ров надежно прикрывал нас от огня, и мы сравнительно быстро добрались до железного моста. Отсюда до рейхстага оставалось не более ста метров. Он возвышался серой каменной громадиной. К этому времени артобстрел с обеих сторон усилился. Несколько снарядов разорвались рядом с нами. Мы

могли быть убиты своими же снарядами. Пришлось вернуться под мост.

Уже надвигались сумерки, когда наши обрушили на рейхстаг огонь невиданной силы. Здание горело уже в нескольких местах. Перевернувшись на бок, я вытащил флаг, сорвал светозащитную бумагу и вывел карандашом на уголке алого полотнища: «674-й СП. Булатов, Кошкарбаев». Это на тот случай, если нас убьют. Мне тогда казалось, что сам воздух пропитан смертью.

Рейхстаг снова заволокло дымом. Плохая видимость нам была на руку. Дальше медлить нельзя. В этот последний рывок мы вложили все силы. Булатов опередил меня метра на два. Брусчатка Королевской площади кончилась неожиданно, под сапогами застучали мраморные ступени входа. Вот и стена рейхстага. В этот момент пуля зацепила мне ногу. Но я был уже за спасительной колонной. Она защитила нас от осколков снаряда, который разорвался метрах в пяти. Рядом шумно дышал Булатов.

Флаг! Где флаг!? Он у меня в руках. Надо его прикрепить, но куда? Чтобы его увидели, чтобы он заполыхал... В одном месте в стене лопнула кирпичная кладка. Сняв сапоги, Гриша встал мне на плечи. В это время с грохотом упал кирпич, почти что мне на голову. Я сердито зашипел: «Осторожно, ты... Тише...»

Я посмотрел вверх. Словно огонек, сверкнуло и загорелось красное знамя. Оно горело как раз над главным входом под небольшим выступом. Звало солдат на штурм. Оно извещало о том, что вход в логово фашистского зверя свободен. Первое красное знамя на рейхстаге!

Мы устало опустились на землю. Часы показывали 18 часов 30 минут. Только теперь я почувствовал острую боль в ноге. Булатов вытащил из кармана бинт и сделал мне перевязку. Кость не была задета. До меня постепенно стал доходить смысл происходящего. Потом мы узнали, что за семь часов преодолели триста шестьдесят метров. Для молодых ног — минута стремительного броска. Но для нас с Григорием Булатовым это было равносильно пропасти, в которую легче провалиться, чем проскочить. И мы проскочили.

Первым над входом в рейхстаг увидел алое полотнище заместитель командира 756 стрелкового полка майор Соколовский. Его сопровождал телефонист с катушкой кабеля. Майор тут же по телефону передал сообщение, что мы первые вошли в рейхстаг и укрепили на уровне его второго этажа красное знамя. Он распорядился направить к цент-

ральному входу один из батальонов, сражавшихся поблизости.

Через несколько минут над самым подъездом рейхстага, у нас над головой взмыла красная ракета. По площади прокатилось раскатистое «Ура!» Это командир роты Илья Сьянов поднял в атаку своих солдат. К рейхстагу бежали все новые бойцы. Я увидел, как подорвался на мине восемнадцатилетний башкир Рашид Рахматуллин, поступивший в мой взвод минувшей ночью. В двадцати метрах от рейхстага погиб от вражеского осколка старшина роты Николай Гончаренко. Он так и остался лежать на ящике с боеприпасами, которые волок за собой...

Поясню, как очевидец, что бои за рейхстаг начались еще ранним утром 30 апреля и приняли затяжной и упорный характер. Вечером под прикрытием артиллерийского огня советские воины бросились на последний штурм. В атаку поднялись и залегшие у канала на Королевской площади воины первого стрелкового батальона, 674 стрелкового полка, среди которых было много казахстанцев.

Яростное сопротивление фашистов было сломлено. Бой продолжался в вестибюле рейхстага, а затем в его залах. За ротой Сьянова пробилась и рота капитана Ярунова. Скоро в рейхстаге сражались с фашистами батальоны Степана Неустроева, Константина Самсонова, Василия Давыдова. Входы и выходы в рейхстаге были полностью блокированы частями 150-й стрелковой дивизии генерала В. М. Шатилова.

И вот темными, заваленными щебнем коридорами бегут по рейхстагу бойцы моего взвода...

30 апреля в 22 часа командир полка Зинченко поздравил нас со взятием, как он выразился, «главного дома фашистской Германии». Это произошло на 1410-й день войны. Но понадобились еще два дня, чтобы стало очевидным — пал Берлин, столица третьего рейха, где разрабатывались чудовищные человеконенавистнические планы, откуда направлялись гитлеровские дивизии на порабощение и истребление других народов. Поход на Восток закончился для фашистов полным разгромом и капитуляцией в своей столице.

Я боюсь показаться нескромным, рассказывая о себе. Но речь идет не столько обо мне, сколько о важнейших исторических событиях, свидетелем и участником которых я стал. Думаю, что нашим детям и внукам интересно знать, что писали в те дни о штурме рейхстага фронтовые газеты. Вот выдержка из дивизионной газеты «Воин Родины»: «Родина с глубоким уважением произносит имена героев. Над

цитаделью гитлеризма они водрузили знамя победы. Запомним имена храбрецов: лейтенант Рахимжан Кошкарбаев, красноармеец Григорий Булатов...»

27 мая в поверженном Берлине группе участников штурма рейхстага были вручены ордена Боевого Красного Знамени. Эта высокая награда вручена также Григорию Булатову и мне.

Героями Советского Союза стали разведчики М. А. Егоров и М. В. Кантария, которые подняли красный флаг на крышу рейхстага.

С тех пор слова «Знамя над рейхстагом» приобрели для каждого советского человека особое значение. В них как бы сконцентрирован смысл героических усилий нашего народа, приведших к полному разгрому гитлеровской Германии. Этот день, 30 апреля, навсегда сохранится в моей памяти. В этот день солдатами 150-й стрелковой Идрицкой ордена Кутузова II-й степени дивизии было водружено Знамя Победы.

1418 дней длилась смертельная схватка с фашизмом. В этом историческом столкновении победила правда, победили социализм, идеи интернационализма, идеи Маркса и Ленина. Теперь 9 мая для меня — самый радостный и священный праздник. Сороковой раз мы его отмечаем под мирным небом. И память о пережитом помогает нам бороться за мир.

Юрий Герт

ДЕНЬ, КОТОРОГО ЖДАЛИ ВСЕ

Утром — было еще раным-рано — кто-то застучал, заколотил в дверь, и она задергалась, зазвякала железным крюком, на который ее запирали на ночь.

— Кто там?.. Что случилось?..— донесся до меня сквозь сон бабушкин голос.

— Отпирайте, люди добрые!.. Война кончилась!..— кричала, смеялась, барабанила в дверь наш соседка.— Побе-да-а-а!..

Она и всегда-то была неуемно-шумливой, голосистой, веселой, наша Анна Матвеевна (так же, как тетя Муся, она с давних лет работала в больнице, заведуя не то прачечной,

не то душевой), но тут... Крюк в бабушкиных руках запрыгал, заскрежетал в петле, брякнулся о косяк — и они не вошли, а скорее ввалились, вкатились в комнату, обнявшись и целуя друг друга: Анна Матвеевна, пьяная от радости, с растрепанной головой, в ситцевом, кое-как накинутом халате, и бабушка, еще не успевшая опомниться, в длинной, чуть не до полу, ночной сорочке.

— Ах ты ж Муся ты моя Абрамовна!..— бросилась Анна Матвеевна к выходящей из своей комнаты тете Мусе.— Кончилась, проклятущая!..— Она так стиснула, что чуть не задушила худенькую, субтильную тетю Мусю.— Бог даст, Машутка моя скоро вернется!..

Дочь у нее была на фронте, и Анна Матвеевна сама всю войну растила внука.

— Ты сама, сама слышала?..— говорила тетя Муся, смеясь и ловя рукой соскальзывающее с носа пенсне.— Я тоже хочу собственными ушами услышать!..

— Да господи!.. Да там и сейчас передают!..

У нас, как назло, испортился репродуктор, и тетя Муся ушла к соседям —«собственными ушами» убедиться, что войны больше нет, что наступила победа...

Бабушка, притворив за нею дверь, вернулась, постояла посреди комнаты, потом вдруг охнула и опустилась на табуретку возле стола. Она сидела спиной ко мне — со своего сундука я видел только ее узкие (от давней дородности ее не осталось и следа), сутулые, мелкой дрожью дрожащие плечи.

Мне хотелось подойти к ней, попытаться утешить... Но что-то удерживало меня. Что-то в ее беззвучном, задушенном плаче вызвало во мне сопротивление, досаду. В этот день, которого так долго ждали, который мерещился всем, как праздник из праздников, нельзя думать, казалось мне, о чем-то тяжелом, печальном, это убавит, сотрет общую радость и торжество...

Но мысли мои сами собой возвращались к первому дню войны. К первому военному утру — такому солнечному, золотому... К тому, как мы собирались за билетами на новый американский фильм «Песнь о любви», и тут пришла Надя, Надежда Ивановна, зубной врач из санатория «Наркомзем», и сказала, моргая светлыми ресницами: «А вы еще ничего не знаете?..» И мы побежали к парикмахерской слушать радио — там, на столбе, висел перепончатый, как крылья у летучей мыши, громкоговоритель...

Я лежал на сундуке, отзывавшемся на каждое мое шевеление всем своим скрипучим нутром, и твердил, повторял на разные лады:

— Победа... Победа... Победа...

— Р-рахиль...— нерешительно произнес Виктор Александрович, выйдя к умывальнику, который стоял в нашей комнате. Он был, против обыкновения, в подтяжках, из-под распахнутой на груди рубашки белой пеной пузырились курчавые седые волосы.

— Р-рахиль...— повторил он, заикаясь больше, чем всегда, и глядя не на бабушку, а куда-то в пол, себе под ноги.— Ведь не т-только у вас од-дной, Р-рахиль... Не только у вас од-дной...

Вернувшись от Анны Матвеевны, тетя Муся объявила, что все так, все правильно: Германия подписала капитуляцию, нынешний день —9 мая — объявлен всенародным праздником Победы...

Мы сели завтракать. И было странно, что на столе — та же, что и вчера, потертая, в фиолетовых кляксах клеенка, и та же селедка, густо политая уксусом и припорошенная луком, и тот же чуть желтоватый, жидкий чай... Не те вилки, казалось мне, должны лежать на столе, не те ножи, не те ложки... И даже когда из глубины буфетного чрева появилась бутылка прошлогодней вишневой наливки, все равно — и это было не то, не то...

Я обрадовался, когда за мной прибежал Мишка Воловик, и мы помчались в город.

В этот день было не усидеть дома, в четырех стенах. Неудержимо хотелось простора, открытого со всех сторон, хотелось высокого, до рези в глазах синего неба, хотелось многолюдья, улыбок, громких голосов...

Мишка сказал, что на площади перед крепостью назначен городской митинг, и вот мы неслись туда, боясь, как бы не опоздать.

Мы боялись, как бы не опоздать, как бы чего не упустить. Чего-то главного. Исторического. Такого, что случается раз в 1000 лет. Ведь сегодняшний день был из тех, какие случаются раз в 1000 лет. Или раз в 2000. Или вообще раз за всю историю земли.

Мы ждали чудес в этот день. Мы верили — в этот день все возможно, любое чудо... Если бы слепые — прозрели, глухие — услышали, хромые и безногие пустились в пляс,

мы бы не удивились. Не знаю, как Мишка, но я вышел из дома с таким чувством.

Помню прохладное, полное утренней свежести небо, легкие волокна перистых, тающих в бледной синеве облаков, искрящийся, весь в золотых пылинках, воздух...

У нас, на окраине, улицы были еще малолюдны, но окна в домах были распахнуты настежь, отовсюду неслись звуки радио, марши, песни, снова и снова передавали сообщение о подписанной вчера безоговорочной капитуляции. Раздернув марлевые занавески, раздвинув горшки с пунцовыми геранями и колючим столетником, люди выглядывали из окон, пытливо осматривали улицу, прохожих, как будто искали для глаза подтверждения того, что слышали их уши...

Посреди мостовой, забыв обо всем, стояли в обнимку и плакали две женщины. В нескольких шагах от них шофер, высунув голову из кабины, терпеливо ждал, когда они опомнятся и уступят дорогу его трехтонке. Какая-то бабка крестилась на видневшуюся невдалеке церковь. Между домами на пустыре, мимо которого мы проходили, были вырыты щели, бугрились земляные валы, приглаженные дождями и ветром. Ребятня еще играла там в штурм Берлина, слышались крики: «Сдавайся!.. Руки вверх!.. Хенде хох!..»

Мы с Мишкой на минуту задержались у магазина «Хлеб». Когда-то в нем продавали пышные, пружинящие в руках пшеничные караваи, поджаристые чуреки, обсыпанные маком халы, французкие булочки с хрустящим на зубах гребешком... После начала войны в опустевшей витрине стали вывешивать плакаты. Ежедневно пробегая мимо, по дороге в школу, мы все их помнили наперечет. И теперь было странно думать, что плакат «Добьем гадину!», который сейчас висит за мутным от пыли стеклом (боец в плащ-палатке, заносящий каблук над извивающейся по-паучьи свастикой) — последний. Что его снимут — и взамен уже не появится ни «Чем ты помог фронту?» (строгое лицо седовласой женщины, суровый, пронзительный взгляд в упор), ни «Воин Красной Армии, спаси!» (окровавленный штык, нацеленный на испуганно приникшего к матери младенца)...

Вспоминая, какие и когда тут висели плакаты, мы добрались до давнишнего «Болтун — находка для шпиона» и перескочили к позднейшим, вроде «Раздавить врага в его логове!», и вернулись к совсем уже далеким временам, когда мы ходили в первый или второй класс, а по городу были

расклеены плакаты «Войны мы не хотим, но в бой готовы» и «Чужой земли мы не возьмем ни пяди, но и своей врагу не отдадим»... И Мишка говорил: «А ты помнишь...», и я говорил: «А ты помнишь...», и от плакатов мы перебросились к белейшим батонам, которые продавали тогда без карточек, сколько угодно в одни руки, а от батонов — к бубликам, кренделям и обсыпанной сахарной пудрой венской сдобе — кто-то из нас припомнил, что была ведь, была такая!... и мы ощутили себя вдруг ни дать, ни взять теми самыми стариками, которые вспоминают за чаем, сколько стоила когда-то дюжина пирожных в кондитерской «Шарляу», и сколько — фунт сахару, и нам сделалось отчего-то неловко и даже стыдно, и мы помчались дальше.

Впрочем, обнаружив, до чего же мы оба древние старики, мы с Мишкой уже не мчались, как раньше, а довольно степенно вышагивали по улице, ведущей к крепости. Однако не только в нашей степенности было дело. Чем ближе к центру, тем больше становилось народа. Люди все плотней заполняли тротуары, сквозь густевшую на глазах толпу трудно было пробиться. На угловых домах, над воротами швейной фабрики, на городском почтамте — всюду алели флаги. Лица вокруг были так оживлены, так весело взбудоражены, такой безудержной радостью блестели глаза, что ничего похожего я не видел в жизни ни прежде, ни потом. И воздух был мягок, струист, и яркая, пронизанная солнцем зелень кленов и готовых расцвести акаций — ласкова и шелковиста, и весь город пропитался запахом сирени, особенно пышной в ту весну, в толпе тут и там мелькали ее лиловые, белые, фиолетовые грозди. Все шли в одном направлении, запрудив дорогу, перегородив улицу — сухопарые, с капитанской выправкой старики в светлых полотняных фуражках, женщины с худыми, резкими, рано погрубевшими, а теперь как бы отмякшими лицами, юркая, мельтешащая между взрослыми мелюзга, ковыляющие на костылях инвалиды с орденами, прикрученными к линялым, пропотевшим в подмышках гимнастеркам, робко семенящие сторонкой старушки в темных платочках, молодцеватые, в широченных клешах, ребята из мореходного училища, озабоченные и сияющие матери с запеленатыми малышами на руках, школьники вроде нас с Мишкой, школьницы с желтыми, красными, голубыми огоньками атласных ленточек в косичках... Шелестели подошвы, постукивали об асфальт и булыжную мостовую палки и костыли, в воздухе вились

голоса, порхал смех, где-то запевали «Катюшу», чьи-то каблуки били чечетку... А впереди, в прострeле улицы, вчера еще самой просторной, а сегодня самой тесной в городе, поднималась — белая на синем — стройная, устремленная ввысь колокольня над главными крепостными воротами, на шпиле у нее реял, ходил по ветру волнами красный флаг, а мне вспомнилось, как с палубы моторной рыбницы «49» я смотрел на ее четкий, как из плотной черной бумаги вырезанный силуэт, и как он долго не исчезал позади, будто парил — над городом, над Волгой... Кто-то похлопал меня по плечу: «Эй, парень, а ну гляди веселей!..» Странно, мне казалось, что я улыбаюсь и так же весел, как все остальные.

Спуск со стороны крепостных ворот плавно переходил внизу в огромную, выложенную камнем площадь. Она уже сплошь бурлила народом, но из примыкающих улиц и переулков сюда непрерывным потоком продолжали стекаться люди. В центре заканчивали сколачивать трибуну, оттуда катились гулкие удары топоров по дереву, рассыпчатый перестук молотков. По радио в разных концах площади, вперебой с чуть запаздывающим эхом, гремела музыка. Военные были нарасхват. Вокруг них кипели водовороты, их качали, под крики «ура» подкидывали вверх, целовали, забрасывали сиренью...

Мы с Мишкой стояли под самой крепостной стеной, вблизи неимоверно высокой и мощной. Отсюда и усыпанный народом спуск, и широкая площадь, и облепенные мальчишками крыши — все хорошо было видно. И все, что в эти минуты я видел, мне хотелось навсегда вместить в себя, запомнить. Это — История, — думал, я представляя при этом не учебник с замусоленными, в чернильных крестиках страницах, а живой, грохочущий, ворочающий каменными глыбами горный поток, и чувствуя себя мельчайшей капелькой в радужном облаке повисшей над ним водяной пыли...

Трибуна была закончена. Гремели репродукторы. В промежутках между речами духовой военный оркестр играл марш. Огненные зайцы прыгали по изгибам труб. Обрывалась мелодия — и в тишине, казалось, было слышно, как дышит вся площадь. Когда впереди, внизу, возле трибуны кричали «ура», мы подхватывали вместе со всеми, мы орали «ура» во всю глотку, сливая свои голоса с множеством других, и это был такой острый, пронзительный восторг — чувствовать в подобные секунды одно на всех гигантское тело, одно сердце!..

Между тем солнце грело все сильнее. Стоять на взгорке, на самом солнцепеке, сделалось невмоготу. От жары и крика у нас обоих пересохло в горле.

— Может, по домам?— предложил Мишка.

По домам?.. Уже?..

— А что? Все равно больше ничего не будет.

Я это и сам понимал. Без него. Но так вот — взять и уйти?.. Взять — и уйти?.. И только?..

— Ты что, сбрендил?— сказал я.— Что тебе там делать — дома? В такой день?..

Мишка поскреб в затылке.

— Ну, как знаешь,— вздохнул он.— Только я пить хочу.

Чтобы добраться до газировки, нужно было пересечь всю площадь. Мы окончательно взмокли, пока пробились через плотную, разгоряченную толпу. Но к воде было не протолкнуться. На наше счастье у самой тележки стоял Володя Шмидт, он помахал нам рукой, а потом через головы подал стаканы. Он был высокого роста, и ему это ничего не стоило. Подождав, пока мы выпьем, он снова взял наши стаканы и снова наполнил. Он был красивый парень, Володя Шмидт,— белокурые волосы, широкий лоб, прямой нос и неотразимые, смотрящие в упор карие глаза. Они смотрели в упор, когда взгляд их бывал дружелюбен и мягок, и точно так же, в упор, без прищура,— когда что-то в них твердело, и уже не мягким, тающим светом лучились они, а отливали железом и сталью... Он был красивый парень, и пока поил нас у всех на виду, никто ничего ему не сказал. А может быть, день был такой, не знаю. Но мы напились, и Мишка похлопал себя по животу, там булькнуло, тогда он удовлетворенно сказал, что теперь можно жить. Мы пошли дальше втроем, и вскоре натолкнулись на Ваню Доронина и Нарика Хабибулина, из параллельного класса.

Мы поздравили друг друга с Победой и пошли в Братский садик, посидеть в холодке. Митинг закончился, солнце пекло все немилосердней, но люди не расходились, как будто ждали еще чего-то — на площади, где опустела трибуна и ушел оркестр. А может, это мне только казалось,— в самом деле, чего было еще ждать, чего хотеть?.. Площадь по-прежнему кишела народом, но теперь с нее как бы сняли затверделую, жестковатую корочку — и вся она была нараспашку. Люди вокруг, не сдерживая наплыва чувств, что-то громко рассказывали друг другу, пели, плясали, раздавшись кружком и оттаптывая каблуки, вспоминали и плакали...

В Братском саду тоже народу было — не протолкнись, мы еле ухватили скамеечку. Перед памятником героя гражданской войны, у цветника, разбитого на месте братской могилы, малыши в панамках лепили куличики. Со стороны отгороженной березками пивной веранды доносились возбужденные голоса, тупое звяканье кружек. Мы сидели и говорили о Гитлере. Несколько дней назад в газетах было напечатано опровержение слухов о его самоубийстве. То есть предполагалось, что полуобгоревший труп, обнаруженный в Берлине, во дворе имперской канцелярии,— всего лишь мистификация, а сам Гитлер бежал и где-то скрывается, то ли в Испании, у Франко, то ли в Африке. А может — в джунглях на реке Амазонке, долго ли переправить его туда самолетом или на подводной лодке... Вот мы и толковали об этом, сидя на лавочке в Братском саду,— где он сейчас может быть и что может поделывать в этот день, день Победы,— Адольф Гитлер?.. И большинство из нас было совершенно согласно с Володей Шмидтом: если, сказал он, Гитлер и вправду еще жив, то сегодня для него самое время сунуть башку в петлю или застрелиться. Но Мишка Воловик заспорил, скорее всего просто из духа противоречия, такое на Мишку иной раз накатывало, он вдруг начинал упорствовать, лезть в бутылку — один против всех.

И он, хмыкнув, сказал, что петля тут ни при чем, что мы о нем, то есть о Гитлере, слишком хорошо думаем, в том смысле, что он возьмет и повесится, да еще в этот день. А на самом деле как раз сегодня он может обдумывать новые планы, новые войны и зверства, с учетом, как говорится, допущенных ранее ошибок...

Но с Мишкой никто не согласился.

— Ну и балда же ты, Воловик,— сказал Ваня Доронин, широко ухмыляясь всем своим светлым конопатым лицом, у него и волосы, и брови, и ресницы — все было светлое, соломенное.— Это ты сам про него слишком хорошо думаешь!.. Чтобы он, в джунглях-то сидя, снова к нам возмечтал сунуться?.. Да из кого он армию наберет — из мартышек и попугаев, что ли?..— Он от души расхохотался, и мы за ним.

Доронин жил поблизости от нашей больницы, на том же Парабичевом бугре, и частенько заглядывал ко мне за книгами, в основном о путешествиях, о манивших его тропических странах... После морского училища он плавал штурманом, ходил на большом корабле в дальние рейсы. Но судьба его сложилась нелепо и несчастливо: спустя

несколько лет он умер в открытом море от приступа аппендицита...

Но до этого было еще далеко, и все мы, сидя на скамеечке в праздничном, полном людей Братском саду, смеялись над Мишкой Воловиком, который и сам, кажется, сообразил, что его занесло, но ничего не мог с собой поделать. Да,— упрямо твердил он, сердясь и краснея до кончиков больших, растопыркой, ушей, за которые когда-то был прозван Лопухом,— на свете хватает разных гадов и выродков, которые побегут за Гитлером, только он свистни... Правда, сказать в точности где они, эти самые гады и выродки, проживают, Мишка не мог, тут он терялся, но это не мешало ему продолжать плести околесицу о новых планах и новых войнах, так что в конце концов ему было объявлено, что если он не заткнется, то его поколотят, и давно бы уже поколотили, если бы не первый в мире мирный день...

Мишка поворчал-поворчал и заткнулся. Не оттого, разумеется, что на него подействовала наша угроза, а оттого, что и сам не верил в то, о чем говорил. Да и кто мог тогда во что-нибудь такое поверить?.. Все верили, и мы в том числе, что никогда уже то, что случилось, не повторится, что не найдется людей, которым захотелось бы это повторить...

И мы сидели, болтали, трепались — о том, будет ли теперь у нас в школе военное дело, и когда отменят продуктовые карточки, и как вообще все будет дальше... О чем только не болтали мы впятером, не касаясь при этом одной-единственной темы. Так выходило само собой, что мы ее не касались, хотя все, кроме, пожалуй, Володи Шмидта, у которого отец умер еще до войны, думали в тот день прежде всего об этом. Потому что у Вани Доронина был на фронте старший брат, а у Нарика Хабибулина отец был кадровый военный, а у Мишки Воловика отец, раненый вторично, лежал в госпитале, и вот теперь они все должны были вернуться, и ребята, понятно, только и думали об этом. И если даже не только от этом, то об этом — прежде всего... Но никто из них ни словом не намекнул, о чем они думают, и это трогало и немножко злило. Потому что мне была не нужна ничья жалость. И потому что они, получалось, не верили, что их радость может быть и моей... Но ребята в эти тонкости не вникали. Они просто молчали, как по уговору. И я молчал. Хотя, с другой стороны, болтали мы беспрерывно... Пока кто-то из нас — пожалуй, все тот же Мишка Воловик, ему постоянно чего-то хотелось, то

пить, то есть — пока Мишка не пощелкал себя по пряжке ремня и не объявил, что время к обеду.

И тут все встали. Я тоже. Мне показалось, что ребята и сидели-то в Братском садике, и болтали так долго только ради меня... И я поднялся вместе с ними, потому что — пора, и чего еще, в самом-то деле, ждать?.. Мне попросту не хотелось домой, но я мог еще побродить, пошататься по улицам. Может, вместе с Володей Шмидтом, если ему некуда спешить...

И вот здесь, когда мы то ли уже поднялись, то ли собирались подняться, к нашей скамейке подошли двое раненых. В Братском саду их обычно бывало немало, а в этот день особенно: госпиталь, расположенный в здании школы, где мы когда-то учились, находился отсюда всего за какие-нибудь пару кварталов, и в тенистых аллеях, под сомкнувшими зеленые кроны деревьями, постоянно белели бинты, гипсовые повязки, поскрипывали новенькие костыли. Из тех двоих, которые к нам подошли, один держал руку на перевязи, другой был в темных очках и с палочкой. Они сели.

Они сели, а мы встали, чтобы уйти. Вышла неловкость. Так вот взять и сразу же уйти мы не могли. Трудно объяснить почему, но не могли. Получилось бы, что мы от них уходим.

И мы задержались, заговорили. Мы — это в том смысле, что с нами заговорил один из раненых, тот, у которого рука была на перевязи. Он был высок, худощав, с хрящеватым, по-орлиному выгнутым носом, с голубыми, смело и весело смотрящими глазами. Было странно представить его в классе, склонившимся над журналом, но он был учителем физики, мы не сразу поверили, но он так загорелся, расспрашивая нас об уроках, опытах по электричеству, оборудовании физического кабинета, что не поверить ему было невозможно. Нам, конечно, хотелось, чтобы он рассказал о фронте, о том, как его ранило, его или его друга, о чем-нибудь таком, а он говорил о школе где-то на берегу Урала, в которой начинал работать до войны и куда ему не терпелось вернуться...

Впрочем, я плохо его слушал. Я делал вид, что слушаю, кивал, улыбался... А сам украдкой, краешком глаза нет-нет да и посматривал на его товарища. У него было молодое, совсем еще мальчишеское лицо, очень бледное, местами в багровых рубцах, как в неумело подшитых заплатах. Они казались раскаленными, эти рубцы, от них веяло жаром... Кем был он?.. Танкистом, который повел свой танк в самую

гущу боя, в пламя и дым?.. Я помнил танки на грохотавших мимо нашей теплушки платформах, звезды на башнях, тяжелую, грубую броню. Мы ехали на восток, а воинские эшелоны торопились на запад, на запад, на запад...

И вот теперь он сидел перед нами — с палочкой, в очках с фиолетовыми стеклами. И я смотрел — не столько на него, сколько мимо куда-то. И видел пятипалые, похожие на маленькие зеленые алебарды, листья клена... Видел желтый песок, выстилающий аллею, и синее, в полуденном блеске, небо над головой... Видел пестрые платья проходящих мимо женщин, их стройные ноги, их лица... Видел серую пичужку, бесстрашно присевшую на край урны и что-то искавшую там выпуклым черным зрачком... Я видел все это как бы впервые, как бы в первый и последний раз. *Видел* своими и *не видел* его глазами. *Видел,* потому что *не видит он.* Не видит и никогда не увидит...

— Слышь, Сергеич,— сказал он, дернув щекой (у него еще не выработалось каменно-неподвижное выражение лица, характерное для слепых),— а не осталось ли у нас чего на донышке?..

— Не осталось,— сказал первый раненый, с забинтованной рукой, нехотя прерывая разговор. Сказал с той терпеливо-нетерпеливой интонацией, с которой взрослые отвечают на однообразные капризы маленьких.— Ничего не осталось.

— Ну и жмот же ты, Сергеич,— сказал слепой.— Жмот он, ребята, что с ним разговаривать... Жмот и жмот.— Оба они, пожалуй, были немного навеселе.— Жмотина...— Он вздохнул.— Мне хотя бы баян, ребята. Ради такого-то дня... Душа песни просит.

Он все смотрел, играя палочкой, прямо перед собой, то есть очки его были направлены куда-то прямо, вперед, как фары, в которых выключен свет.

Мы переглянулись.

— Я принесу,— сказал Нарик Хабибулин.— Я близко...

— А матуха позволит?— усомнился Ваня Доронин.

— Сегодня она все позволит,— сказал Нарик Хабибулин.

Мы с Дорониным пошли ему помочь. В самом деле, мать Нарика нам ничего не сказала, только сунула каждому в руку по пирожку, прямо со сковородки. Они были очень горячими, и мы, обжигаясь, доедали их по дороге. Нарик, такой же маленький и черноглазый, как мать, но необычайно крепкий и жилистый; сам почти всю дорогу пер тяжелен-

ный баян, так что мы служили ему как бы почетным эскортом.

Мы спешили, боясь, что на скамеечке застанем только Мишку и Володю Шмидта. Но когда мы вернулись, кроме наших на скамеечке сидело еще несколько раненых, сидело и стояло около. Они расступились. Нарик осторожно вынул баян из футляра (отцовский баян, раза два я слышал, как Нарик играл на нем в школе, на концерте самодеятельности) и подал, поставил на колени раненому в темных очках — танкисту, как я про себя его назвал. И тот, передав соседу палочку, закинул на худое, остро торчащее плечо ремень и провел-пробежал пальцами по рядам белых и черных пуговок. Баян, развернув меха, дохнул в его руках громко и грозно. И тут же, словно пробуя голос, рассыпался в мягких переливах, серебристых, как речная рябь под луной. Потом раненый вытянул перед собой правую руку, потряс пальцами, самыми кончиками, будто стряхивал водяные капли, и несколько раз при этом, разминая, сжал и разжал пальцы. Потом он запел.

Аллея, в которой стояла наша скамейка, была боковой, неширокой. Люди, подходившие к нам, сначала, заполняя, сузили ее, а потом перегородили, так что те, кто и хотел бы пройти мимо, уже не мог, если только не пускался в обход по газону, но травка на нем была до того свежая и пушистая, что совестно было ее топтать. И все стояли возле скамейки, полукругом. А раненый пел.

Я стоял от него поблизости, в толпе. Никогда больше я не слышал ничего похожего. Было ли это «большое», «великое» или, как это там говорится, «истинное» искусство?.. Вряд ли. Да и описывать, как он пел своим бескровным, тощим, сбивающимся на хрип голоском, было бы почти кощунством. Поскольку, я уверен, волшебство заключалось не в этом. Не в силе, не в умелом владении голосом, не в его тонах, обертонах и модуляциях. Да их и не было — модуляций... Он пел, как мы говорим. С такой же естественностью, простотой и необходимостью — каждого звука, каждого слова... То есть он не пел, а жил. И все вокруг, боясь громко дохнуть или заскрипеть щебенкой, не слушали, а жили, успевая в немногие минуты прожить и пережить сызнова свою жизнь.

Что пел он?.. Запомнилась мне «Землянка». Не было песни популярней во всю войну. Как без нее было обойтись?.. Вот он и пел — о том, что

Вьется в тесной печурке огонь,
На поленьях смола, как слеза.

И было жарко, в толпе особенно, и на зеленой траве медово желтели одуванчики, а меня дрожь пробирала от этих слов, этого голоса. Но при этом не землянка была передо мной, а огромная, холодная наша комната, голубые окна в январской наледи, мнущийся в дверях Костя-почтальон... И мама, простершая к нему руки... «Костя, миленький,— лепетала она, не догадываясь, что лежит у него в сумке,— скорее, скорее...»

Ты сейчас далеко-далеко,
Между нами снега и снега...

И вот ведь какая шутка! Когда он пел, когда хрипло и ломко выводил про «четыре шага», не один я — все, должно быть, глядя на его напряженное, бледное, в фиолетовых тенях лицо, совершенно убеждены были, что — да в четырех, ни на шаг больше или меньше, именно в четырех шагах она и стояла — смерть!..

Я слушал, я смотрел на его лицо, на очки, на фиолетовые стекла вместо глаз — и был момент, когда я четко, бесповоротно почувствовал: чуда не будет.

То есть в тот момент я почувствовал, какого чуда ждал весь этот день, и понял, что его не случится. Пожалуй, самое главное в этом и заключалось: нужно было только поймать, ухватить, чего же я жду...

Мы все так ждали этот день, что никто бы не удивился, если бы сегодня слепые — прозрели, глухие — услышали, хромые и безногие — пустились в пляс. И мертвые — воскресли...

И мертвые — воскресли.

Это было бы так справедливо..

И однако никто, говорю я, не смел шелохнуться, громко дохнуть или заскрипеть щебенкой, и слабый голос певца то падал и как бы удалялся, замирая, то словно близился, наплывал, и толпа все разрасталась, люди со всех сторон отзывались на песню, шли на звуки баяна и становились позади — тихо, благоговейно. Между ними, казалось, были те, кого уже нет,— в эти минуты они были вместе с нами... И боязно было кашлянуть, переступить с ноги на ногу, чтобы странное это чувство не вспугнуть, не нарушить.

Пой, гармоника, вьюге назло,
Заплутавшее счастье зови...

Кто-то дышал мне в ухо. Кто-то грудью давил на плечо. Чей-то затылок мешал смотреть. Но мне хотелось, что-

бы все стояли еще плотней, еще теснее и ближе, и чтобы так было долго, долго...

Над головами шелестела молодая листва, вперемешку с яркими солнечными бликами играя ажурными тенями. На крепости били часы, медные их удары, дрожа, медленно растворялись в воздухе. Где-то на Волге перекликались пароходы, особенно зычные гудки достигали Братского сада.

Было 9 мая 1945 года.

День Победы.

День, которого ждали все.

Леонид Кривощеков

ВОЗВРАЩЕНИЕ

— Дай-ка, милок, я подержу ребеночка, пока ты устраиваешься,— предложила старушка, соседка по купе.

— Спасибо, мамаша, я разом,— обрадовался Максимов.

— А ты не спеши. Вещички-то не раскладывай по полкам, а под себя в ящик уложи, так надежнее будет. Народ нынче всякий едет, неровен час... И вагон у нас плацкартный, а не купейный, все открыто. По коридору всякие попрошайки да оборванцы шляются. Война проклятая наплодила их, сердешных,— беззлобно говорила бабушка.— Пошто без жены один с ребенком едешь?

— Нет у меня жены.

— Это как же? Сам, что ли, родил?— пошутила словоохотливая старушка.

— А вот и родил,— в тон ей ответил старший лейтенант. Он еще был при полной военной форме, погоны положено снимать, когда встанешь на учет в военкомате по месту жительства.

Старушка хохотнула:

— Оно и видно: худой, как иная баба после родов...

Старший лейтенант управился с вещами, повернулся к старушке и протянул руки, чтобы принять сына:

— Большое вам спасибо, мамаша.

— Да погоди ты. Приготовь на что положить ребенка...

— А вот на шинель.

— Можно и на шинелку. Но сперва спроси у проводника матрац. Тебе она, поди, не откажет.

Проводница не только не отказала, а сама принесла старенький матрац, ветхое байковое одеяло, серые застиранные простыни,— лучшего у нее не было,— и сама приготовила постель.

Старший лейтенант поблагодарил проводницу, положил на казенную постель детскую клеенку, подарок их львовской хозяйки Полины Ивановны, и опять протянул руки к старушке:

— Разрешите, мамаша. Теперь полный порядок...

— Тише ты... Экий торопыга! Мы еще не заснули. Пойди покури, а я уложу сыночка твоего. Как его окрестили-то?

— А его не крестили.

— Понятное дело, не крестили в божьем храме, однако ж нарекли как-то?

— Алешкой назвал.

— Вот и ладненько. Спи, мой Алешенька, спи, мой хорошенький,— зашептала старушка, улыбаясь.

Старший лейтенант кивнул на верхнюю полку, откуда все время смотрел на него остроглазый мальчуган, и спросил старушку:

— Внук?

— Внучок,— ответила она и отмахнулась рукой, ступай, дескать, не мешай.

Офицер вышел в тамбур вагона и закурил.

Сквозь пыльное зарешеченное тамбурное окно он смотрел на плывущие мимо зеленые поля и леса, на селенья с черными пятнами пожарищ и белыми срубами новых домов. Обшарпанный вагон скрипел и стучал на стыках рельс, его бросало из стороны в сторону, так, что офицеру приходилось держаться за решетку окна, чтобы устоять на ногах. «Жизнь продолжается, она наступает на следы смерти,— думал он.— Только павших ребят не воскресить... Сколько их в этих полях и лесах полегло... В одном моем взводе, а потом в роте и только за последние полтора года войны убито больше пятидесяти человек. Старшина Иван Тарасович Чумак и с ним пятнадцать солдат из первого состава моего взвода лежат в братской могиле в Белоруссии. Неподалеку от них книголюб Андрей Солнцев. Дальше в том же Полесье Чувыкин, Сидоров, Плетнев. Потом на проклятых высотках где-то под Ковелем три командира взвода и десять рядовых. А еще под Торчино, Устьулугом, на Вислинском плацдарме и в Бреслау... А я ведь записывал их домашние адреса, хотел у всех побывать. Теперь вот Алешка на ру-

ках, да и адресов нет. Моя записная книжка, Оксана говорила, осталась у Чижика.

Где теперь мой Чижик? Сможет ли он побывать дома у всех наших павших? Он ведь служит в армии, ему некогда. Надо будет разыскать на Алтае родных Чижика и узнать его адрес. Сам он не станет меня искать, потому что, как и Леня Бобров, считает меня умершим от ран.»

Резаный офицерский табак, добытый ему капитаном Левиным, приятно кружил голову и притуплял горечь воспоминаний. Он докурил самокрутку до ожога пальцев, ногой потушил ее на грязном полу и вернулся в вагон.

Алешка уже спал, а старушка-попутчица все еще что-то мурлыкала над ним. Внук ее, мальчишка лет одиннадцати, лежал на верхней полке и смотрел в окно. Лежал он на животе, опираясь подбородком на ладони рук, затылок его с двумя вихрами был рыж и широк. Старший лейтенант присел на старушкину полку, застланную домотканым рядном, и тихонько спросил:

— Уснул?

— Спит, голубок, спит,— обернулась улыбающаяся бабка.—Вспомнила вот, как еще девчушкой нянчилась с младшими братишкой и сестренкой. Мне хочется с подружками поиграть, а они на руках. Рассержусь, бывало, нашлепаю их, они ревут и я реву. Уж так ли мучилась с ними, а вот, поди ж ты, как сладко теперь вспомнилось... Братик-то Ванюшка больно-пребольно кусался. Еще молочными зубками кусался, шельмец. Дашь ему шлепка за что-нибудь, а он поревет-поревет и вроде бы успокоится, потом вдруг как тяпнет тебя за руку или за что попало. Нюрка на годик старше его была, а боялась Ванюшки больше чем меня, и звала его не иначе, как «зыдень», злыдень, значит. Ой, да что это я, старая, раскудахталась. Ты, поди, еще и не завтракал? У нас вот огурчики есть да хлебушко.

— Не беспокойтесь, завтракал. Давайте-ка лучше познакомимся. Меня зовут Юрием Сергеевичем, а вас?

— Мариной Ивановной люди кличут.

— А тебя Рыжиком зовут?— спросил старший лейтенант, глянув на мальчугана, зыркающего бойкими зеленоватыми глазенками.

— А ты.. Ты шкелет!

— Славка, замолчь!— вскочила бабка.— Как можно старших обзывать?

— А чо он сам обзывается? Шкелет несчастный.

Старший лейтенант улыбнулся:

— Это точно. Я, брат, шкелет и несчастный при том. А ты все равно Рыжик! Так ведь тебя мальчишки зовут?

— Ну и что? Рыжий да рябой — на базаре дорогой!

— Ну ладно, Славка, не сердись. Давай лапу, мир?

— Мир... Ты разведчиком был? Или снайпером?

— Нет...

— А... штабист, наверное?

— Почему штабист?

— Дяденьки говорили, что у штабистов тоже много орденов.

— И все-то ты, Славка, знаешь. Только я не разведчик, не снайпер и не штабист. Обыкновенным командиром роты был. Пехота-матушка.

— А...— разочарованно протянул Славка.— Мой папка комиссаром был — с гордостью сообщил он и, потеряв интерес к старшему лейтенанту, отвернулся к окну.

— Может, отдохнуть хочешь? Ложись рядом с сыночком,— предложила бабка, вставая с полки.

— Спасибо, дорога дальняя, успею выспаться. А вы, Марина Ивановна, далеко ли направились с внуком?

— Домой едем, к старику моему, а Славкиному деду, Ивану Кузьмичу.

— А он где же?

— Кузьмич-то мой? Кузьмич в Алма-Ате, где ж ему еще быть?

— В Алма-Ате? Вот здорово! Значит, мы с вами попутчики до конца дороги.

— Вот и ладненько. Где я тебе с ребеночком помогу, где ты мне с моим неслухом. В Москве вот, говорят, трудно билеты выправить. Народу больно много там.

— Это пустяки. Через военного коменданта враз закомпостируемся, как одна семья. И покатим в нашу Алма-Ату.

— Вот славу богу, а то я и не знала, как мне мыкаться в той Москве. Ты, знать, тоже алмаатинец? И семья твоя там?

— У меня там одна мама. А жену мою, мать Алешки, недавно здесь бандеровцы убили... Мы с ней в одном полку воевали...

— Да за что же они ее, сердешную?

— А так, ни за что.

— Ты-то где был?

— Я в госпитале раненый лежал.

— Вот нехристи окаянные. При гитлере лютовали, страшнее немцев были. А потом по лесам разбежались и опять лютуют.

— Как же вы с внуком оказались в этих местах?— спросил старший лейтенант, чтобы сменить тему разговора.

— Э, милок, сказ-то мой долгим будет, ну да делать все едино нечего. Слушай, ежели охота есть. Родилась и росла я, значит, в Сибири. До двадцати трех годочков жила при отце и матери. У нас там прежде, не то что здесь, рано замуж девки не выскакивали. Отец мой мужик справный был. Хлебов много сеял, четырех коней держал, трех дойных коров, да свиней, да всякую иную домашнюю живность. Так что работы мне, старшей, хватало. В школу бегала всего три годочка, а потом тятька, царство ему небесное, запретил: ему нужна была помощница. Так и росла я, крестьянствовала. А как затихла война с Колчаком, объявился в нашем большом селе пришлый кузнец с семьей. Купил кузнец у моего отца старую баню и там с семьей ютился, а сам по дворам ходил, лошадей ковал да мужикам плуги правил. Пришел из армии сын кузнеца Иван и посватался ко мне. А тятька воспротивился: не отдам, говорит, мою дочь за голодранца. Я в слезы, отец меня ременными вожжами успокаивал. Кончилось тем, что убегли мы с Иваном в Семипалатное, купили там пару лошадей да и подались на них в теплые края. Железной дороги тогда еще не было, так мы на лошадях цельный месяц ехали до Алма-Аты. Кругом еще банды разные шастали. Однако мы благополучно добрались, продали лошадей, да еще сережки мои золотые и купили себе в Малой станице домик. А при домике сад: невиданные нами яблони, сливы, черешни. Иван пошел по ремеслу своего отца — кузнечить. И зажили мы с ним любо-дорого. Тут и родилась наша Аннушка. Иван уже в артели работал, хорошо зарабатывал. Отец мой, как узнал про внучку, простил меня, благословение прислал. А с благословением полный воз моего приданого вместе с добрым конем и упряжкой. Да мы и не нуждались в том приданом. Однако шубы, перины, валенки, скатерти, льняное полотно мы приняли, а коня с упряжью вместе с ответными подарками вернули. Работник, которого отец нанял в хозяйство свое вместо меня, и коня обратно угнал и подарки наши увез отцу.

Еще лучше зажили мы с Кузьмичом. Только одна беда была — детишек бог больше не послал. Однако мы не больно тужили, растили Аннушку, учили да холили. Счастливые-то годы быстро летят. Едва Аннушка окончила девять классов, как появился у нее ухажер. Да не простой ухажер, а красный командир. Статный и бравый такой, а

уж говорун — заслушаешься. Мы не успели и глазом моргнуть, как уговорил он нашу Аннушку. Расписались молодые, сыграли свадебку честь честью и уехали они на Дальний Восток, к месту его службы. А через год у них там родился вот этот неслух,— улыбаясь, бабка глянула на верхнюю полку, где лежал Славка. Славка передернул плечами, видно, бабкина история ему была давно известна, а упрека ее он не принимает.

Бабка продолжала.

— Остались мы с Кузьмичом вдвоем и шибко затосковали. Хотели уж на Дальний Восток податься, как вдруг нежданно-негаданно приехали к нам Аннушка с грудным ребенком на руках. Батюшки мои! Думаем, бросил ее командир. Ан нет, напраслину мы на командира подумали. Его в академию, учиться на комиссара направили. Учился Андрюша цельных три года, на побывку к нам приезжал. Он в детдоме вырос и родных у него кроме нас никого не было. Нас с Кузьмичом за отца и мать почитал. Да, и мы его, как родного сына, любили. Да и было за что любить. Такой ли уж ласковый да уважительный. Бывало, ведра воды из колонки не даст мне принести, сам сбегает. Не раз, не два сбегает, а может, десяток раз. Все цветы вокруг дома польет. Вы, говорит, мама, отдыхайте, а мне это зарядка. А сад наш так за свою побывку приберет да уходит, что Кузьмичу там и делать было нечего. И все-то он делал играючи, легко да весело. Не пил, не курил, компаний никаких не водил, а народу вокруг его всегда полно, особенно молодежи. В школы и клубы его приглашали, он там про Красную армию да про Дальний Восток рассказывал и кружки военные затевал. Да, было за что любить нашего Андрюшу. Я уж не говорю про нас, соседи все с уважением относились к нему. После учебы направили его в город Владимир-Волынский. Он вступил в свою должность комиссара, взял отпуск и за семьей приехал. Мы просили хоть Славку оставить у нас.— Спасибо, говорит, вам сердечное, мама и папа, но мальчику отец нужен. И опять остались мы с Кузьмичом вдвоем, и затосковали пуще прежнего. Теперь уж больше по этому вот неслуху. Годика полтора я терпела, а потом поехала за внуком. Андрюша в это время написал, что согласен отправить к нам Славку. Знать, понял, что война не нынче-завтра разразится, вот и согласился поберечь сына от нее. Кузьмич мой уже на заводе мастером работал и не мог поехать, а я свободная домохозяйка, могла. Поехала, значит, я через всю-то нашу вели-

кую державу. Сперва все было ладно: кругом веселый народ, свадьбы да праздники новые справляют. Однако чем дальше я еду, тем тревожнее у меня на душе. Народ в вагоне меняется. После Москвы появились хмурые пассажиры, стронятся друг дружки. Проводники прямо говорят о близкой войне. А в Киеве на вокзале один пограничник сказал мне:

— Возвращайтесь, мамаша, не ко времени вы к нам.

Но как же возвращаться без внука? Поехала дальше. Вагон почти совсем опустел. Кроме нескольких солдат — никто в мою сторону не едет. Страшусь и сама себя успокаиваю: граница здесь, думаю, близко, потому и народу мало. Вот ведь как народ чует большую беду... Ну, одним словом приехала я. Встретили меня на вокзале Аннушка со Славкой и два солдата. Спрашиваю дочку, где же, мол, твой комиссар? А он, говорит, на казарменном положении, ему нельзя отлучаться. Приехали мы на их квартиру в военном городке. В субботу вечером это было. Сели на веранде чай пить с вареньем и видим, подходит к дому грузовая машина, выскакивает из нее Андрюша и к нам. Обнял он меня, взял Славку на руки и говорит:

— Две минуты на сборы! Возьми, Аня, документы, деньги, продукты. Из вещей самое необходимое, остальное брось. Семьи командиров приказано немедленно эвакуировать.— И, целуя сына, вышел. Мы с Аннушкой прихватили, что успели, и с узелками за ним. Даже банку варенья на столе оставили. Меня со Славкой посадили в кабину, Аннушку Андрюша подхватил на руки, расцеловал и поднял в кузов. Только и сказал:

— Берегите сына...

Козырнул он нам и побег куда-то по своим комиссарским делам. Потом в ту машину и еще в две других посажали до отказа детей и жен командиров, натолкали узлов, чемоданов. Я, старая дура, плакала и жалела о том, что мы-то с Аннушкой все вещи оставили... Все, помню, просила солдата-шофера сбегать хотя бы за банкой с моим алма-атинским вареньем. А солдат только улыбался:

— Не имею, говорит, права оставить машину. Успокойтесь, мамаша. Может, еще и не будет войны. Может, немцы просто пугают нас. Да мы не из пугливых...

Выехали мы ночью. До Владимир-Волынского было совсем близко, а ехали мы долго, потому как часто нас останавливали, проверяли. Перед самым городом машины наши обстреляли. Нам всем приказали спрятаться в канаве около дороги. Потом все успокоилось, мы снова позалезли в ма-

шины и дальше поехали. В городе на площади опять долго стояли. Какой-то старший командир приказал нам высадиться, а машины куда-то отослал. Пока то да се — небо с востока уже забелело. Первые птички защебетали, кругом тихо-тихо. Я еще помню, подумала, что, может, и прав тот солдат-шофер, войны не будет. А она тут как тут грянула, словно я бы сглазила тишину. Все враз загрохотало кругом и красными всполохами озарилось. Мы с площади побежали прятаться за домами. Аннушка со Славкой в одной руке, с узелками нашими в другой, тоже побежала куда-то в сторону и кричит мне:

— Мама, не отставай!

Бежали мы по пустым улицам, только во дворах где-нибудь промелькнет человек и снова скроется. Мы передохнем немножко и дальше бежим. К рассвету где-то на окраине города укрылись мы в маленьком саманном домике. Жила там старушка, знакомая Аннушки. Славка тут же уснул и я, усталая, прикорнула рядом с ним. Аннушка все выбегала на улицу узнать, что там делается, пока и ее насильно не уложила спать хозяйка наша, добрая душа, Петровна. Сколько мы проспали, не знаю, но, когда проснулись, в городе были уже немцы. Так мы и оказались под Гитлером. Документы наши Петровна в садике закопала в землю, и стали мы для нее родней: я двоюродной сестрой, приехавшей к ней из деревни в гости с дочкой Аннушкой и внуком Славкой. Первое время нас никто и не спрашивал, кто мы такие, а потом все соседи попривыкли к нам и считали нас за родню Петровны. У Петровны был хороший огород у речки, поросята, куры. Старушка была работящая и большая умница. Перво-наперво зарезала она матерую свинью, засолила сало вместе с мясом и закопали мы его в трех местах, чтобы, значит, ежели вороги найдут одну утайку, то две других нам остались. Так мы и зажили одной семьей с Петровной, Аннушку горемычную переодели во что похуже, а хорошую одежку Петровна на базаре на муку обменяла. Живем мы так-то, живы, сыты и ладно. Только Аннушка все убивается: война ушла далеко на восток, а от Андрюши ни слуху ни духу. Славку учим говорить, что отец его был до войны конюхом в колхозе и умер перед войной. А дитя никак не соглашается считать отца умершим конюхом. Мой папка, говорит, комиссар, он немцев бьет. Насилу мы внушили ему, что если он так скажет немцам, то его самого, маму и бабушку убьют. Вроде бы ребенок понял, а тут как-то заходит к нам соседка и спрашивает его:

— Тебя как зовут хлопчик? Где твой папа?

Мы с Аннушкой так и замерли. Славка набычился и спрашивает соседку:

— А ты немец?

— Бог с тобой, хлопчик, какой же я тебе немец... Я тетка Ганна, соседка ваша. А ты, видно, мамкин сын? Папки у тебя нема...

— Мой папка комиссар! Он немцев бьет!..— выпалил Славка.

— Ой, глупый ты, хлопчик! Так не можно никому говорить. Вы-то куда смотрите!— Ганна повернулась к нам.— Держите своего дурня взаперти, а то, не дай бог, ребятишки узнают и пойдет разговор.

Аннушка со слезами на глазах бросилась уши драть Славке, а соседка, прощаясь, успокоила нас:

— Меня не бойтесь. Но люди здесь всякие, поостеречься треба.

— А и случится беда, так я на тебя, соседка, никогда не подумаю. Отец моего внука конюхом был в колхозе на Волге и умер два года назад. Я ж тебе говорила...

— Помню, Петровна, помню. Так и другим гутарю.

Славка после того случая поумнел и на вопрос об отце хмуро отвечал:

— Нет у меня живого папки...

Должно быть, вправду говорят: устами младенца глаголет истина,— вздохнула Марина Ивановна и продолжала свой рассказ:

— Прошел по городу страшный слух: будто бы где-то ближе к границе гитлеры сгоняют в лагерь пленных красных командиров и комиссаров и мучают их там смертными муками. Близко к тому лагерю никого не пущают. Сколько я не отговаривала Аннушку, все-таки она пошла туда, поспрашивать о своем муже Андрее Белове...

Бабка замолкла, вытирая уголком платка слезы.

— Что же с ней сталось?— спросил старший лейтенант, догадываясь о несчастье.

— А то и сталось... Не вернулась Аннушка домой... Не вернулась, сердешная. Извелась я вся, ожидаючи ее... После уж, как освободили вы нас, рассказали мне люди добрые, что опознал ее какой-то предатель. Как жену комиссара расстреляли ее в том лагере.

— А муж ее жив?

— И Андрюши нашего нет в живых. Кузьмич писал мне, что еще в первый год войны получал он на зятя похоронку. Погиб он под Киевом. Славка-то, кажись, уснул,— заглянула бабушка на верхнюю полку и продолжала:

— Почитай всю войну одна я промыкалась с внуком. Да еще и после год прошел, прежде чем мы с Кузьмичом нашли друг друга. Я ему в Алма-Ату писала, а он, оказывается, на Урале работал, мобилизованный. Танки варил. Теперь по болезням на пенсию вышел и вернулся в Алма-Ату, и домик наш откупил обратно. Туда, к родному дедушке и везу я внука. А мамку его, Аннушку мою ненаглядную, здесь оставила. Даже могилки ее нет. Ездили мы с внуком в лагерь. Пустырь, колючая проволока, а могила для всех общая — ров... Люди говорят, сорок тысяч там нехристи замучили. Положили мы цветочки к обелиску да с тем и ушли...— бабка скорбно поджала губы, вытерла глаза и закончила:

— На том и сказ моей жизни кончается. Ан нет, не кончается. Надо еще внука поднять. Дал бог здоровье бы, поднимем...

— Да, война всем досталась...— сочувственно вздохнул старший лейтенант.

— И не говори, сынок. Я крепкой да веселой бабой была, казалось, износу мне не будет. А за эти четыре годочка старухой стала. В пятьдесят лет и старуха! Такого у нас в Сибири не знали. У нас и присказка была: сорок лет — бабий век, а минуло сорок пять, баба ягодка опять. Вот тебе и ягодка...

— Ну что вы, Марина Ивановна... Глаза у вас вон какие молодые да улыбчивые.

— Э, милок, глянул бы ты в молодые-то мои глаза... Бывало, как положу взгляд на какого парня — враз онемеет. Ежели пьяный, так отрезвеет, а тверезый опьянеет. Только один Ванюша — кузнец и выдержал мой взгляд. Подошел ко мне, за руку взял: ты, говорит, девка, не колдуй, все едино моей будешь. Крепко да сильно так взял, будто бы лошадь за ногу,— счастливо улыбнулась Марина Ивановна.

— И подковал? И спутал?— улыбнулся и старший лейтенант, немного удивляясь быстрой смене настроения Марины Ивановны.

— Нет... Не ковал меня Иван и не путал. Сказывала ведь уже: сама себе, вольная побежала за ним на край света. Я и теперь люблю моего Ивана Кузьмича, страх как истосковалась по нему. Он ведь у меня — орел! Два ордена на Урале заработал,— похвасталась Марина Ивановна.

— А не завел он на Урале другую?

— Не должон, мужик он верный. А и была какая, так прощу. Я не ревнивая. Это он у меня ревнивый. Мужики на

меня в молодости вон как пялились, а он страдал, глупый, хотя виду не подавал. Зазря страдал.

— Так уж и зазря?— пошутил старший лейтенант.

— Зазря. Бабе, которая любит, верить надо, и верой держать ее. Никогда она той веры и любви своей не переступит. И душу ее беречь надо, не обижать. Из обиды на мужа да из мести ему бабы часто грешат. Так и знай, сынок наперед. Не обижай жену и обиженным не будешь,— Марина Ивановна помолчала с минуту и неожиданно заключила:— Оно во всем так: чем больше люди забижают друг друга, тем больше греха на земле. Оно, может, и воюют друг с другом из-за того...

— Ну, Марина Ивановна, тут вы не правы. Разве мы обижали немцев?

— Не мы, так другие насолили им.

— За что же они на нас полезли?

— На нас им не за что было бросаться. Это правильно. Однако от обиды человек слепнет. Вот они со слепу и полезли на нас.

— По-вашему, выходит, не они, а кто-то другой виноват. Вы оправдываете их, фашистов?

— Я оправдываю этих иродов? Ты, сынок, не понял меня. Нет им ни оправдания, ни прощения. Сколько народу загубили... И Аннушку мою и Андрюшу... А уж такая ли парочка была ненаглядная. Молодые да красивые, дружные да верные. Жить бы им — радоваться, детей растить...— Марина Ивановна опять вытерла уголком платка засверкавшие слезой глаза и спохватилась:— Однако заговорились мы, не пора ли Алешеньку кормить?

— Проснется, тогда и покормим.

— А чем кормить-то будем? Ему молочка, поди, надо.

— Есть у нас сухое молоко, в кипятке растворить и готово Алешкино блюдо. И манная каша у нас есть, все львовская наша хозяюшка приготовила. Пусть пока спит.

— Да ведь сколько времени-то прошло? Смотри, выспится он днем, а ночью нам спать не даст. Лучше разбудить дитя и накормить... Уже и будить не надо, просыпается. И мокренький уже. Пеленки-то сухие есть?

— Есть,— старший лейтенант достал из сумки сменные пеленки и бутылочку, наполненную жиденькой манной кашкой.

Алешка спросонья немножко похныкивал, а бабка перепеленывала его, приговаривая:

— Вот мы и проснулись и нам хочется кашки с молочком. Не плачь, Алешенька, не плачь, мой хорошенький. У

твоего папки и кашка и молочко есть. Голодным тебя не оставим.

Спеленутого Алешку она ловко положила себе на левую руку, в правую взяла бутылочку:

— Холодная, поди? Так и есть холодная. Подогреть бы надо. Пойди, отец, набери у проводницы кипяточку вон в энту кружку. А ты, Алешенька, потерпи. Мы кашку твою согреем, тепленькая-то она вкусная.

Старший лейтенант взял бабкину кружку и пошел к кипятильнику.

— Вода теперь, наверное, уже остыла. Может, вам чай заварить?— спросила проводница.— Так я подогрею и заварю.

— Мне надо кашку для ребенка подогреть.

— Тяжело вам без жены. Вы уж не стесняйтесь, что надо спрашивайте.

— Спасибо,— поблагодарил старший лейтенант и подумал: «Везет же мне на добрых людей.»

После того как накормили Алешку, собрались сами обедать. Марина Ивановна выложила на столик вареную картошку, пирожки с грибами, нарезала сала. Старший лейтенант подал ей буханку солдатского хлеба, кружок колбасы, пачку печенья — офицерский паек. Увидав все это богатство, Славка враз слетел с верхней полки и к столу, но бабка прогнала его мыть руки. Старший лейтенант достал еще банку тушенки.

— Видно, как не нуждаются наши люди, а родную свою армию хорошо снабжают,— сказала бабка, принимая банку тушенки.

Старший лейтенант улыбнулся:

— Снабжают, конечно. Но это все друзья где-то раздобыли и в дорогу мне натолкали.

Поезд в это время затормозил, дважды дернулся и остановился.

Старший лейтенант прильнул к окну:

— Разъезд какой или станция? Не видно. Вы не знаете?

Марина Ивановна не ответила, она осмотрела банку с тушенкой и вернула ее:

— Не открывай. Еды на столе довольно, а дорога дальняя. И матери своей надо что-то привезти. Она, поди, на картошке там перебивается, бедная.

— Хватит у меня и на гостинцы маме,— беззаботно ответил старший лейтенант, крупными ломтями нарезая хлеб.

— Подайте христа ради...

Марина Ивановна и старший лейтенант одновременно

оглянулись и увидели женщину и девочку, стоявших в проходе с протянутыми за подаянием руками. Старший лейтенант молча подал женщине полбуханки хлеба, а девочке полкруга колбасы. Мать и дочь были одеты в какое-то жалкое тряпье. Девочка понюхала колбасу и тут же хотела есть, но мать толкнула ее:

— Благодари!

Благодаря и кланяясь, они поспешно ушли, а Марина Ивановна, вздохнув, заметила:

— Щедрый ты больно, сынок. Так нельзя. Кто же нынче столько подает? Много попрошаек после войны расплодилось, всем не наподаешься, сам голодным останешься.

— Жалко их, особенно девочку,— смущенно оправдывался старший лейтенант.

— Девочку, конечно, жалко. А мать ее молодая и здоровая, вроде. Шла бы куда работать, хлебные бы карточки на себя и на дочку получила. Работа везде найдется.

— Да может, беда какая у нее.

— Все нынче бедствуют. И все война проклятущая. Как мы перед войной сытно да хорошо зажили. А теперь, когда еще поправимся?.. Вот и еще один попрошайка,— перебила себя Марина Ивановна.— Тебе чего надо? Проваливай отседа, ишь нализался.

— А я не к тебе, мать, обращаюсь, чего раскудахталась?— грубо оборвал Марину Ивановну небритый, грязный и пьяный человек неопределенного возраста. Шинель, гимнастерка и брюки на нем были грязными, мятыми-перемятыми. Он вытянулся по стойке смирно, вскинул руку к непокрытой бритой голове:

— Товарищ старший лейтенант, разрешите бывшему рядовому, ныне инвалиду войны обратиться к вам?

— Слушаю,— по привычке ответил офицер.

— По случаю моего голодания, а вашей сытости... прошу...

Старший лейтенант опомнился и шагнул к попрошайке:

— Ваши документы!

Небритый человек попятился:

— Ха, документы,— осклабился он.— Ты что, лягавый?

— Убирайся отсюда, пьянчужка несчастный!— гнала его проводница, а он отмахивался от нее:

— Ты, баба-дура, не толкайся. Пусть меня офицер угостит, я и сам уйду. У него и выпивка есть, если жратва такая...

— Документы,— снова потребовал старший лейтенант.

— Ах ты, какой строгий! Я не боюсь тебя. Документы

ему подавай! Может, тебе справку из тюряги показать?— уже из тамбура выкрикивал и сквернословил наглый пьяница.

— Надо его к военному коменданту отвести,— рванулся было к выходу старший лейтенант, но проводница уже вытолкала пьянчужку из вагона:

— Не связывайтесь, сейчас тронемся. Еще отстанете, а у вас ребенок на руках.

Старший лейтенант постоял в тамбуре, подавляя в себе гадливое чувство, и вернулся к столу. На душе было мерзко.

— Успокойся, сынок. Стоит ли обращать внимание на таких беспутных людишек? Нервы-то у тебя и так потрачены. Ешь,— ласково говорила Марина Ивановна, нянчась с Алешкой.

— Обидно, Марина Ивановна. Как подумаю, каких ребят положили, а такая вот дрянь живет и жить будет...

— Успокойся. Не долго ему божий свет коптить, сдохнет где-нибудь под забором. Ешь, а то Славка вон слюнку глотает...

Славка жадно посматривал на еду, но ни к чему не притрагивался, ждал.

— Ну его к черту того попрошайку! Давай, Славка, рубать,— через силу улыбнулся лейтенант.

— Давай!— живо поддержал Славка. Он ухватил большой ломоть хлеба, колбасы и стал уплетать за обе щеки.

— Колбаски-то мы за всю войну не видели. На картошке да свином сале перебивались. А ты, сынок, мои пирожки с грибочками попробуй, тоже ведь, поди, давно не едал такого?

— Спасибо, Марина Ивановна. Ой какие вкусные! Как у моей мамы. Она тоже до войны любила печь пироги с грибами.

— Мать-то у тебя кто будет? Молодая или в годах уже?

— В годах, седьмой десяток пошел. Она у меня учительница.

— И что же, ты один у нее?

— Один. И она у меня одна, отца давно уже нет. Теперь вот Алешка еще. Вам неудобно с ним, давайте пока положим его, он терпелив.

— Какое тут неудобство, дело привычное.

— А все же давайте положим да распеленаем. Пусть подвигается, он любит играть своими ножками. В вагоне тепло. А проход в коридор я сейчас занавешу, чтоб уютнее было и не все глазели сюда.

Старший лейтенант натянул в проходе бечевку, которой была увязана коробка с продуктами, и на бечевку повесил свою плащ-палатку. Тем временем Марина Ивановна положила на постель Алешку и распеленала:

— Поиграй, поиграй, родненький.

Когда Марина Ивановна и старший лейтенант снова присели к столу, на нем осталось всего два кусочка колбасы, с остальной Славка управился. Теперь он робко потянулся за печеньем, но бабушка легонько шлепнула его по руке:

— Погодь. Сейчас я принесу чай и все вместе побалуемся печеньицем,— она поднялась и вышла. Славка смутился, покраснел.

— Что, брат, строгая у тебя бабка?— шутливо спросил старший лейтенант.

— Ни, она совсем не строгая. Это она так, вас стесняется. А можно мне поиграть с Алешкой?

— Как же ты с ним поиграешь? Он же маленький.

— Ничо, они такие все понимают. У наших соседей был еще меньше и то играл с нами.

После чая Марина Ивановна прилегла отдохнуть, Славка играл с Алешкой, а старший лейтенант ушел в тамбур курить.

До Москвы доехали без особых происшествий. Только где-то под Киевом, когда спали, исчезла их отгородка. В проходе осталась висеть одна бечевка, а плащ-палатку кто-то стащил. Ивановна переживала пропажу больше, чем старший лейтенант:

— Вот старая тетеря, думала ведь снять на ночь, да запамятовала. Это все попрошайки проклятые: просят христа ради, а сами так и зырят, где что плохо лежит. Вы-то еще вчера пожалели их...

— Ладно, Марина Ивановна, не велика ценность... Подумаешь, плащ-палатка!

— Не скажи... По нынешним временам еще как велика...

В Москве можно было с Киевского на Казанский вокзал переехать на метро, но с громоздким тюком и чемоданом туда не пустили бы. Носильщик помог вынести вещи на привокзальную площадь, там старший лейтенант быстро нанял за банку тушенки грузовую машину, и они через час были уже на Казанском. Повезло и здесь. Военный комендант прочитал документы, глянул на боевые ордена молодого офицера и спросил:

— А зачем вам еще два гражданских билета?

— Со мной едут два ребенка и теща,— чуть запнувшись,

соврал старший лейтенант, оправдывая себя за эту ложь тем, что иначе пришлось бы долго объяснять.

Комендант заметил его смущение:

— А где твоя теща?

— В зале ожидания...

— Идем!— потребовал комендант и, не возвращая документы, направился в зал ожидания.

Старший лейтенант растерянно шел за ним, ругая себя за ложь и не зная что делать,— сказать ли правду сейчас или ждать разоблачения? А может, пронесет?

— Так где же твоя теща?— комендант остановился в зале.— Показывай. А может, вовсе и не теща, а зазноба?— пошутил он.

— Ну что вы! Там сынишка мой и...— старший лейтенант не успел договорить правду.

— Юра! Мы здесь,— окликнула Марина Ивановна, думая, что офицер потерял их в людской сутолоке.

Комендант увидел ее и повернулся к офицеру:

— Прости, брат. Думал, ты мне голову морочишь. Пошли в кассу.

— Я скоро вернусь!— обрадованно крикнул старший лейтенант Марине Ивановне и поспешил за комендантом.

У военной кассы тоже была длиннющая очередь, но комендант взял у него деньги на два билета до Алма-Аты и сказал:

— Жди меня здесь.

Минут через двадцать он вернулся и, вручая билеты, пожелал:

— Будь здоров, старшой. Счастливо тебе устроиться в гражданке. Требуй там, что тебе положено, а то ты какой-то робкий. Выше голову, пехота!

— Спасибо, товарищ капитан,— несколько смущенно, но искренно поблагодарил старший лейтенат. Ему все еще было стыдно перед пожилым капитаном за свое вранье.

Поезд Москва — Алма-Ата отходил вечером, через четыре часа.

Времени было достаточно, чтобы бегло хотя бы посмотреть Москву. Старший лейтенант гадал как это сделать. Можно бы вещи сдать в камеру хранения, но там огромные очереди. Да и неудобно в форме с Алешкой на руках ходить по городу. Выручил Славка:

— Дядя Юра, давайте Москву посмотрим, а бабушка с Алешкой посидит здесь.

— Ты что же за бабушку решаешь? А может, она не согласна...

— А что ж тут всем-то делать? Ступайте, только смотрите к поезду не опаздайте.

— Вот молодец бабушка!— обрадовался Славка.

— А не устанете с Алешкой? — спросил старший лейтенант.

— Вот еще! Если что надо будет, к солдату вон обращусь. Мы уже познакомились с ним. Степаном зовут, в Сибирь домой едет.

— Поможешь, браток?— спросил старший лейтенант солдата, дремавшего рядом на скамье.

— Обязательно, товарищ старший лейтенант! Мамаша, оказывается, почти землячка моя, тоже сибирячка. Так что будьте спокойны — всегда выручим.

— Порядок!— улыбнулся старший лейтенант.— Пошли, Славка, посмотрим нашу белокаменную.

— И на метро покатаемся?

— Непременно!

Они успели покататься на метро, сходить на Красную площадь, постоять у мавзолея и по улице Горького пройтись. Славка оказался мальчишкой бойким, неутомимым, и сведущим.

— Ты что же, бывал в Москве?— спросил его старший лейтенант.

Славка грустно сказал:

— Меня папка дважды брал с собой и все здесь показывал... Я тогда еще маленький был, но все помню. Вот здесь у гастронома мы с ним мороженое покупали...

Старшего лейтенанта тронуло мальчишеское горе и он предложил:

— Давай, мы тоже здесь купим мороженое.

— Ладно...

К поезду они успели вовремя.

И опять старший лейтенант жадно смотрел на поля, рощи, разъезды, деревни. Прошел уже целый год наступившего мира, а он все еще чувствовал себя возвращающимся с войны. Он видел последствия войны и здесь, в глубине России. На перронах вокзалов часто встречались и безрукие и безногие инвалиды. Безногие передвигались на самодельных деревянных катках: две коротеньких дощечки на четырех колесиках. Укороченный наполовину человек сидит на такой платформочке, руками отталкивается о землю и с грохотом катит вперед. Старший лейтенант видел это впервые. Впервые он видел в проплывающих селах разгороженные напрочь дворы, избы под голыми стропилами без

крыш. Глядя на раскрытые избы, он удивленно спросил у Марины Ивановны:

— Зачем они раскрывают дома, в которых живут?

— Это у кого крыши соломенными были, так они их коровам скормили зимой.

— Коровам? Почему же летом не запаслись сеном? Или уж той же соломой?

— А кому запасаться-то? Мужиков начисто всех из села забрали. Кого на фронт, кого на тыловые работы, в трудовую, значит, армию. Да и оставшиеся в селе бабы, старики, ребятишки — все как есть работали на войну. Все отдавали армии, ни с чем не считались, только бы сдюжить, одолеть ворога. Село наше российское, считай, и здесь пострадало, почти как под немцем. Великое бедствие прошло по всей земле-матушке. Теперь-то вон видишь, и новые крыши, и новые срубы появились. Мужики повертались домой, вот и оживает село. Да мало их живых-то осталось... Разве что калеки какие. Сказывали мне, что во многие села и вовсе никто не вернулся. Которые на заводах работали, так там в городах и остались. Которые из армии подались туда же. Совсем бы, говорят, запустело село, да ребятишки подрастают. Вся надежда теперь на них. Ребятки и эту весну пахали землю на замордованных лошаденках, быках да коровах. А бабы жалеючи коров и сами впрягались в плуги... Это я и сама видела.

— Да... веселенькая картина получается,— вздохнул старший лейтенант.— Не скоро, видно, мы оклемаемся.

— Не вдруг, конечно. Но оклемаемся. Народ наш живуч и работящ. Будет мир — будет и хлебушко. А хлебушко будет — все будет.

— Вы правы, Марина Ивановна. Живым нужен мир. А вот павшим... Вы знаете, сколько ребят я похоронил. Им теперь все равно...

— Ан, нет, сынок, не забижай их. Сдается мне, они и на том свете вместе с нами радуются миру. А как же иначе? За это они, сердешные, и животы свои положили.

— Вы опять же правы, Марина Ивановна. Я хорошо знаю, как мои солдаты мечтали о мире, о возвращении домой...

Дорога была дальняя, так что старший лейтенант и Марина Ивановна успели наговориться. Говорила больше Марина Ивановна. Слушая ее, старший лейтенант вспоминал рассказы своих солдат и удивлялся единству и верности суждений народа о жизни. «Мы обретаем свои взгляды больше из прочитанных книг,— думал он.— А вот такие как

Марина Ивановна, сами осмысливают события жизни, говорят о них друг с другом и в конце концов приходят к истине. Конечно, в спорах этих активно участвуют и газеты, и радио, и кино. Но все это преобразуется многоустной молвой и откладывается в народном самосознании. Простые люди черпают из такого источника, а еще из богатого своего опыта. Много ли знал бы я о своем народе, если бы после десятилетки не попал в солдатскую массу? Теперь я кое-что знаю. А что умею? Умею стрелять и командовать ротой солдат в бою. Мог бы учить этому других, но меня списали из армии... Так что же мне делать? Скорее обрести какую ни на есть профессию и работать? Или пробиваться в институт? Какой институт? Может, по маминой стезе: в педагогический? А как вступительные экзамены? Я же все перезабыл за войну... Ладно, посоветуюсь с мамой и решу на месте»,— заключил старший лейтенант свои давние уже и тревожные размышления.

Когда за окнами вагона к концу четвертых суток показались Заилийские горы, сердце старшего лейтенанта забилось чаще, сильнее. Горы нисколько не изменились, они также ослепительно блистали снежными вершинами и темно-зеленым поясом тянь-шаньских елей.

— Радуешься, сынок?— Марина Ивановна подошла к окну и стала рядом.

— Радуюсь, мать...

— И я, старая, волнуюсь, глядя на них. Считай, пять годочков не видела.

Славка тоже подал голос со своей полки:

— А я не помню горы. Домик наш, высокие тополя под окнами чуть-чуть помню, а горы не помню. Бабушка, я их видел или нет?

— Ты, Слава, махонький был тогда, чуток больше Алешеньки. Где ж тебе помнить горы?

— А красивые они... чистые!— восхитился Славка.

— Еще какие красивые! Мы с тобой, брат, обязательно сходим в горы!

— Правда?

— Обещаю. Немного отдохнем дома и сходим. Летом в сороковом году мы с ребятами всем классом ходили на озеро Иссык-Куль. Вон мимо того остроконечного пика поднимались по ущелью на перевал. Однако давайте укладываться, подъезжаем.

— Я уже все уложила. Только бы нас Кузьмич встретил, день-то сегодня рабочий. Ну да если не встретит, не беда, сами дорогу знаем.

— А мама, если получила мою телеграмму, то встретит. Я вас тут же познакомлю с ней. И вы потом к нам в гости приходить будете.

— Спасибочки, Юрий Сергеевич. За дорогу я привыкла к вам... По Алешеньке скучать буду. Вы тоже не забывайте нас.

— Ну что вы говорите, Марина Ивановна! Мы ведь со Славкой договорились уже. Правда, Рыжик?

— Сам ты...— Славка покосился на бабушку и не обозвал старшего лейтенанта скелетом.

Поезд подходил к перрону. Старший лейтенант увидел среди встречающих худенькую старушку, но сперва не узнал в ней матери. Он еще раз оглядел немногочисленную толпу людей на перроне и взгляд его опять задержался на худенькой старушке. Седые волосы, уложенные в узелок на затылке, очки. Мать до войны не носила очков.

Встречающие заволновались: одни побежали по ходу поезда, другие навстречу. А старушка стояла на месте и оглядывала окна вагонов. Руки ее теребили концы какого-то бесцветного платка, наброшенного на плечи. Этот старенький платок или эти руки, теребящие его концы, или что-то другое толкнуло старшего лейтенанта прямо в сердце и он неожиданно для себя по-детски звонко, на весь перрон закричал:

— Ма... ма!!!— и, высунувшись по грудь из окна, замахал вскинутой рукой. Бежавшие мимо вагона люди остановились и глядели то на него, то вокруг себя в поисках той, к которой был обращен его крик. Седая старушка улыбнулась и пошла к остановившемуся против нее вагону. Люди перед ней расступались.

— Вот и еще один сын вернулся, слава богу,— сказал кто-то в толпе.

Старший лейтенант метнулся в купе, схватил спеленутого Алешку и попросил:

— Марина Ивановна, вы пока посидите здесь?

— Беги, беги к матери. Мы успеем. Нашего Кузьмича что-то не видно пока.

— Я быстро!

Мать молча припала к нему и слабыми руками щупала, щупала его спину, плечи, лицо, словно хотела убедиться, что он жив. Потом она наклонила его голову, поцеловала в лоб и приняла внука из его рук.

— Здраствуй, Алешенька. Как ты доехал? Ты, Юра, иди за вещичками, а мы с внуком подождем.

Старший лейтенант бережно взял в ладони голову матери, близко посмотрел в родные серые глаза и хрипло прошептал:

— Здравствуй, мама...

— Здравствуй, сынок...

Он поцеловал оба ее глаза и, круто повернувшись, полез в вагон, чувствуя на губах солоноватый привкус не то своих, не то маминых слез. Впереди его в вагон поднимался крепкий, широкоспинный, седой человек в кепке, в синей рубашке, темных брюках и сапогах. Старший лейтенант догнал его в проходе и тронул за плечо:

— Вы Кузьмич?

Человек спокойно оглянулся:

— Да, я Кузьмич. А вы кто же будете, товарищ старший лейтенант?— спросил он, тревожно вглядываясь в лицо молодого офицера.

— Максимов Юрий Сергеевич. Возвращаюсь домой. С Мариной Ивановной и вашим внуком от самого Львова в одном купе ехали.

— А, попутчик, значит. Где же они, мои-то?

— А мы здесь,— как-то робко отозвалась Марина Ивановна, выходя из купе.

Кузьмич на мгновение остановился, потом раскинул руки и шагнул вперед:

— Ну, здравствуй, мать...

Славка выскочил из купе и замер рядом. Кузьмич, не опуская супруги, одной рукой сграбастал его и поднял к себе в объятия. Они загородили проход. Старший лейтенант стоял позади их и улыбался.

— А у нас еще Алешка есть,—сообщил Славка дедушке.

— Какой Алешка?— удивился Кузьмич.

— Маленький. Старшего лейтенанта сын,— объяснил Славка.

Тут спохватилась Марина Ивановна:

— Простите, Юрий Сергеевич, мы тут на радостях... Знакомтесь. Это и есть наш Кузьмич.

— Однако ты опоздала, мать. Мы уже знакомы. Но давайте для порядку поручкаемся. Кротов Иван Кузьмич,— представился старый рабочий и протянул широкую жесткую руку. Старший лейтенант двумя руками уважительно пожал ее и сказал:

— Очень рад. А теперь выгрузимся и я вас познакомлю с мамой.

Они простились на привокзальной площади: Марина Ивановна с внуком и супругом уехали домой на автобусе, а

старший лейтенант пошел искать машину. Машины свободной он не нашел и нанял за тридцатку какого-то старика с ишачной упряжкой.

«Триумфальное возвращение с войны победителя!» — весело подумал он. Мать глянула на него понимающе и улыбнулась. По мостовой споро семенил ушастый ишачок, он легко тянул тележку, на которой лежали коробка с продуктами, тяжелый чемодан и объемистый тюк. Старик тоже сидел на тележке. А рядом по тротуару шел старший лейтенант, одной рукой прижимая к груди сына, другой обнимая за плечи мать. Так они на удивление и пересуды соседей и въехали во двор маленького домика на углу улиц Седова и Карла Маркса.

Шел 1946 год...

Леонид Скалковский

СОЛДАТСКИЙ НАКАЗ

На войне
перед боем
я слышал не раз:
«Кто останется жить,
расскажите о нас».

Доверяли друг другу
в порыве одном
все:
и жизнь,
и судьбу,
и бессмертье потом.

И никто не просил
в тот решающий час
«обо мне расскажите»,
а только
«о нас».

Эту просьбу несли
по цепочке живой...
...Кто поэтом рожден,
я же
избран войной.

«Расскажите...»,—
я сам
перед боем просил.
Пуля чиркнула раз —
томик Гете
прикрыл.

И стучит в моем сердце
солдатский наказ:
«Расскажите о нас...
Рас-с-ка-жи-те о нас...»

Чтоб верней рассказать,
забираю внучат,
перед Вечным огнем
пять минут
помолчать.

Василий Антонов

У СТАРОГО ДОТА

I

Море показалось сквозь золотой частокол сосен, как огромная застывшая стеклянная масса, и осенней неприязнью веяло от него. Сосны были зеленые там, где другие деревья и кусты выгорели в желтизну или багрянец, или совсем оголились. Одна из сосен стояла особняком, толстая, широко разбросавшая колючие космы своих ветвей, с отбитой верхушкой, была знакома и чем-то, может быть, скорбным величием, напоминала братскую могилу, перед которой он только что стоял с наполненной слезной горечью душой.

А тогда сосна была тонкая, как ствол противотанковой пушки; осколком снаряда или мины ей отсекло макушку, и среди других деревьев она стала калекой. Не помнит Ветров, по какой причине она запала ему в память, но он не забыл о ней и, вспоминая войну, вспоминал и ее: как она? Ведь ее, обезображенную, могли срубить на дрова...

Из-под каменного бугра на дорогу, до самого ее поворота, таращилась амбразура вражеского дота: из него тогда била противотанковая пушка. Разведчики не наткнулись на дот — так ловко он был упрятан в молодую поросль со-

сен. Как только танк лейтенанта Ветрова высунулся из-за поворота, из кустов впереди выплеснулось пламя. Машину так тряхнуло, что лейтенант, отлетев назад, стукнулся головой о заднюю стенку башни. Всем живым в себе почувствовал, что ничего страшного не случилось, танк просто охромел на одну сторону. Левая гусеница, дергаясь и скрежеща, еле ползла за правой. Взревев всей мощью мотора, танк стал отползать назад, за поворот, и лейтенант понял: водитель сам сообразил, что надо делать. Прильнув к прицелу в перископе, он надавил носком сапога на левое плечо водителя. Танк чуть повернулся влево, и в прицеле в аккурат оказалось «то место». Он даванул на спуск, но выстрел почему-то только почувствовал: под сосняком опять всплеснулось пламя и по боку башни что-то со звоном шаркнуло и отлетело — вражеский снаряд, ударившись в лобовую броню, срикошетил и унесся прочь. «Ловко поставил машину!»— подумал Ветров о своем механике-водителе.

— Осколочный!— крикнул Ветров заряжающему, вклеившись в перископ, в котором где-то под колючей зеленью пряталась страшная цель.

На этот раз он услышал выстрел своей пушки, а внизу, под ногами, металлически четко и громко стучал пулемет стрелка-радиста, и трассирующие пули огненными струйками стремительно неслись и исчезали там, в этом молодом сосняке, который уже взялся белесым, как туман, дымом. Ответной вспышки оттуда не последовало, и, когда Ветров выстрелил третий раз, там что-то грохнуло, будто лопнул весь этот зеленый холмик, и вихрем взметнулся черный дым.

— Все!— сказал лейтенант себе и своим товарищам и шершавым рукавом комбинезона вытер лоб.— Теперь ремонтироваться будем.

Открыв люк башни, он по привычке хотел было выброситься из него, но, оказавшись в огромной тишине, сразу обмяк и, бессильный, упал грудью на край башни. Очнулся от приятного забытья уже на земле — товарищи вытащили его из стальной коробки.

Ему казалось, что лежал он на теплой перине, пощупал ее — мелкий, как мука песок, прикрытый еловой и сосновой хвоей. В голове странно шумело, будто мухи, ища выхода из нее, шелестели крыльями и бились внутри. Он поднялся и сел, снял шлем и осмотрел его: как раз на затылке он был выжжен — недавно пришлось им сбивать пламя с моторной части. Ветров подумывал сменить шлем, да все

некогда было... Вспомнил присказку одного бывалого командира: в бою может подвести солдата и плохо пришитая пуговица на штанах...

— Дела, дела!— Ветров хлопнул по колену шлемом и встал на ноги.

Подбежал стрелок-радист, маленький, юркий сержант, с намерением в радостно вытаращенных глазах доложить. Лейтенант махнул рукой:

— Не надо... Траки?

— В катки осколок камня попал, товарищ лейтенант, выбиваем!

Словно в подтверждение слов радиста, за танком начали бить кувалдой.

— Как пехота?— спросил Ветров и подошел к неподвижно лежащему поодаль пехотницу. Лицо его было при крыто пилоткой, но из-под нее на щеку густо текла темная кровь.

Бойцы из пехотного десанта сыпанули с танка, когда вражеский снаряд грохнул рядом. Только один соскочить не успел, его сняли товарищи и, неподвижного, положили на песчаную подстилку у обочины дороги.

— Сообщи комбату: путь свободен!— приказал он и поглядел в ту сторону, где было тихо, но еще неузнана была эта тишина, и добавил:— До поворота к морю.

Гусеницу наладили быстро.

Лейтенант помотал головой, встал, натянул шлем на голову и подошел к товарищам, уже заменившим хлябающий трак и придирчиво осматривающим свою работу. Механик-водитель, лысеющий старшина из первых колхозных трактористов, вытирал о траву заляпанные мазутом руки. Ветров взял у заряжающего молот-кувалду и саданул ею по тракам над катками. Вся гусеница оглушительно звякнула, даже в башне тенькнула пустая гильза, и сказал:

— Поехали!

Из переднего люка высунулся радист, сообщил, что приказано следовать дальше, до «одинокого костела». Лейтенант, скрывая свою слабость от подчиненных, с удовольствием зевнул и подумал: если в костеле засели фрицы, то придется садить и по нему, обители католического бога.

Уже стоя в башне, Ветров увидел бегущего от поворота солдата и подумал, что это связной от командира десантной группы.

— Там мины!— закричал солдат.

Танк приостановился, и вскарабкавшийся на него сол-

дат договорил криком чуть не в самое ухо лейтенанту, свесившемуся из башни:

— У того дота, который вы разбили, два хайла!..

— Амбразуры?— спросил Ветров, усмехнувшись ловкому солдатскому сравнению.

— Ага. Одна амбразура к морю. Наш лейтенант говорит: десанта фрицы боялись с моря, значит, берег заминирован, не иначе... А вы прямехонько всадили снаряд в переднюю, он внутри ахнул и все там разворотил. Мы хотели поглядеть, как там, да дверь не смогли открыть, толстенкая, вся из стали и будто кто ее изнутри подпер, али на замке каком... Так про мины не забудьте, товарищ лейтенант.

— Не забуду, солдат, не забуду. Сейчас же по рации передам. Так и доложи своему командиру!

Солдат скатился с танка, перебежал дорогу и скрылся в лесу.

— А нам придется по дороге!— сказал лейтенант и посмотрел на дот, зияющий чернотой амбразуры сквозь поредевшую хвойную зелень.

Быстро набросав на листке донесение, лейтенант Ветров отдал его радисту и приказал срочно передать в штаб механизированного полка, а водителю — остановиться против разбитого дота. Хотелось взглянуть на удачную работу экипажа.

К доту вела чуть приметная в каменистой осыпи и редкой траве дорожка.

— Э, сосенку рассекло!— сказал заряжающий и указал кивком на сосенку, тонкую рядом с другими, возмущенно ощетинившуюся нижними ветвями. Макушка, отсеченная осколком, висела рядом, запутавшись при падении в каких-то кустах с желтыми цветочками. Величественно возносящаяся недавно к солнцу, она выглядела теперь вялой и смертельно бессильной.

Лейтенант прошел к амбразуре, раскидал ногой срубленные пулями и осколками ветки и сразу увидел торчащий вбок и вверх конец ствола противотанковой пушки. Из широкой и длинной щели, похожей на оскаленный рот мертвого, головастого чудовища, курился желтоватый дымок и несло едкой гарью. Лейтенант заглянул в амбразуру, но увидел через другую такую же щель в противоположной стороне дота серое, словно шершавое, от мелких волн море; от него, уже по-осеннему холодный, с тоскливым гудением летел сквозной ветер.

— Да,— сказал лейтенант.— Крепость с расчетом на круговую оборону.

— Как они сумели ее затащить в этот погреб?— спросил заряжающий и стукнул каблуком сапога по мертвому стволу пушки.

Лейтенант не ответил товарищу, приник ухом к сквозняку из амбразуры. Нет, ему не чудилось — он услышал слабый стон с каким-то щенячьим подвывом.

— Там кто-то стонет или плачет,— сказал он.

— Ну и пусть подыхает, могила, что египетская пирамида — вечная!— бросил, как швырнул, заряжающий.

— Ну, знаешь, старший сержант!— спокойный голос Ветрова сорвался, он ругнулся и, прыгая по камням, спустился на площадку перед дверью.

Дверь оказалась, как и говорил связной, из стальной плиты, но, когда он ударил в нее ногой, услышал глухой отзвук — вероятно, между металлическими стенками двери была толстая прокладка из чего-то прочного и тяжелого, наверное, бетона.

От удара ногой в прочном кирзовом сапоге дверь даже не дрогнула, и лейтенант, прикинув время, которое уйдет на то, чтобы ее открыть, хотел было махнуть рукой, когда услышал голос заряжающего:

— Там в самом деле кто-то верещит!

Башенный стоял у другой амбразуры, ощерившейся к морю, и явственно слышал стон.

Лейтенант, оценивая крепость двери, увидел внизу щель между нею и косяком.

— Старший сержант Веселов!

— Слушаю!

— Живо к машине! Скажи старшине, чтобы задом подогнал сюда. Сам возьмешь трос и тоже сюда. Живо!— с командирским нажимом приказал лейтенант.

— Есть!— словно радостью брызнул старший сержант и убежал, громыхая сапогами по камням.

Лейтенант Ветров спустился к амбразуре, обращенной к морю, заглянул в ее пустую — даже пулемета не было — пасть и повернулся к морю. Да, подумал он, не зря фрицы боялись десанта. Высадиться здесь просто, в смысле удобства. Но, с другой стороны, эта бухта, похожая на язык, выброшенный морем на сушу, могла простреливаться одним пулеметом и прицельным огнем,— все как на ладони... И пляж, словно песчаная окантовка... В жару бы, да искупаться бы, да поваляться бы на этом песке... Но из

амбразуры снова послышался щенячьи визгливый стон, собранный, видно, из последних сил души в слова:

— Майн гот!.. Майн гот!..[1]

Лейтенант поморщился, приблизился и закричал в амбразуру.

— Чего вопишь? Сейчас разворотим твою пещеру, и ты увидишь, гад, русских ангелов!

Ревя мотором и скрежеща гусеницами по камням, подошел, пятясь, танк, и башенный с радистом уже волокли трос с крюком на конце. Но щель между дверью и косяком оказалась узка, и крюк не входил в нее. Тогда старшина-водитель неуверенно предложил:

— А если в амбразуру всунуть крюк... Может быть, вывернем хоть кусок, и в дыру можно будет пролезть?

— Товарищ лейтенант, полковник приказал доносить маршрут через каждые десять минут,— тихо сказал Ветрову стрелок-радист, но слышали все. И водитель с башенным прытко заработали крюком у амбразуры, прилаживая его так, чтобы он зацепился.

— Разрешите потянуть?— спросил водитель, а башенный, словно поддерживая его слова, дергал за жесткий тяжелый трос и не мог вырвать его конец из амбразуры.

— Тяните!— махнул рукой Ветров и приказал радисту, обдумывая свое положение «вперед смотрящего».— Передай: вынуждены немного задержаться... Из разбитого дота вытаскиваем пленных... И меняли трак.

«Про трак-то надо было раньше,— злясь и не находя этому причины, подумал Ветров.— И бросить этого доходягу как-то не по совести, подохнет, пока его другие услышат...»

По работе мотора он понял, что танк двинулся, и подошел к амбразуре. Трос с крюком на конце податливо выпрямлялся и натягивался. И, кажется, даже зазвенел.

Старший сержант стоял на танке и смотрел в сторону командира. Танк ревел, дрожал напрягшийся трос, и наконец дот словно треснул. Из нижней части его амбразуры вывалился большой кусок стеклянно блестящего на изломе бетона и отлетел в сторону. Тяжелый крюк на обмякшем тросе игрушкой зазвенел и свободно покатился дальше.

Командир сделал руками башенному: «Порядок!» и повернулся к пролому. Не стал дожидаться башенного, ногами вполз в него. Кажется, ободрал спину о зазубленный край амбразуры, если б не повернул голову, ударился бы бородой о нижний край. Нащупав ногами пол, втащился

---

[1] Майн гот — мой бог. (*нем.*)

внутрь весь и только теперь, схватившись за кобуру, закричал:

— Хэндэ хох[1], кто живой!.. Иначе окончательно будет капут!..— и даже кобуры не расстегнул, увидев в рассеивающемся прямоугольнике света, свободно льющегося со стороны моря, глазастое лицо перепуганного мальчишки. Тонкие до невидимости губы солдата дрожали и стучали зубы.

Лейтенант не знал немецкого языка, кроме нескольких дежурных слов. Мальчишка снова завыл, залопотал что-то по-своему и показал рукой на ноги. Ноги были в тени от стены и поперек, лицом в них, раскинув руки, неподвижно лежал второй немец. Головы его Ветров не увидел; на ее месте мокрело вишневое месиво, будто раздавили большой переспелый арбуз. Поняв, в чем дело, и не удивившись этому, он взял мертвеца под мышки и сбросил с живого.

— Фатер, фатер!— визгливо прохлюпал живой и попробовал сесть, но рывком вытянулся от боли и снова упал на спину.

«И отца вспомнил»,— подумал лейтенант, взглянув на развороченную амбразуру и прикидывая: пролезет или нет фриц в эту могильную дыру?

— Ну что там, командир?— спросил башенный, заглянув в пролом.— Полковник ругается...

— Держи и тащи!— ответил лейтенант, подсунув одну руку под спину раненому, помогая другой, поднял его и сунул головой в пролом.— Тяни за ворот!

Ноги немца были недвижимы. С одной сполз сапог вместе с портянкой или носком, и болталась костлявая желтая ступня; другая до колена походила на окровавленный сутунок; из рваных дыр в штанине лениво, как ручейки из болотной топи, сочилась густая кровь. Лейтенант даже отпрянул и оглядел себя: не вымазался ли?

— Волоки его поближе к дороге!— выбравшись из дота, крикнул Ветров.

Расхватил ножом поясной ремень на немце, вконец отупевшем от страха, перетянул его разбитую ногу выше колена этим ремнем и глянул на дорогу: с нее только ночью нельзя было увидеть раненого и беспомощного врага, который еще мог пригодиться как «язык».

— Провозились с этим дохляком и в море не умылись,— проговорил заряжающий с сожалением.

---

[1] Хэндэ хох — руки вверх (*нем.*)

Думая о своем, лейтенант сказал:

— Он, наверное, с отцом был...

Башенный усмехнулся:

— Ты что, командир, в метрику этого сопляка заглядывал?

— Он про какого-то фатера твердил, а фатер по-ихнему отец... Там же еще один... Измолотило всего, от головы один шмот из мяса.

Они оба на мгновение замерли, прошарив дорогу до того места, где ее, спрятанную в лесу, вновь преградила еле слышная пулеметная и автоматная стрельба. Почти одновременно вскочили на танк.

— Умыться бы ты, старший сержант, не сумел, фрицы берег минами начинили, не иначе... Вперед!— приказал он водителю.

Скрежеща гусеницами по вросшим в землю валунам, танк рванулся вперед по дороге, по которой до войны ездили, наверное, только на лошадях или ходили пешком, и любовались морем.

2

Ветров стоял перед искалеченной, но прочно вросшей в землю сосной с таким чувством, будто встретил доброго соучастника тех дней своей молодости, когда грохотала и чадным полымем пластала война.

Тогда кончалось лето сорок четвертого...

Тридцать с лишним лет назад он расстрелял этот дот, из которого так хотели враги убить его с товарищами по танковому экипажу.

Ветров подошел к сосне и, задрав голову, посмотрел туда, где должна была колюче кудрявиться ее вершина. Но не увидел ее; дерево как бы втянуло макушку в себя, натопорщившись и потолстев. Зато другие сосенки, которых тогда он не заметил, а, может быть, забыл, что они были рядом, прямо вырвались в небесную высь и так натянули свои золотистые стволы, что они, кажется, дрожали и гудели от бесконечного ветра с моря.

— Ну и выросла же ты, подружка!— рассмеявшись, сказал Ветров. Обхватив шершавый, хрустящий сухой рыжей кожей ствол сосны, он прижался к нему грудью.— И без головы выросла... Перещеголяла, выходит, человека...

В просветы между осенней пестроты деревьев, отразившись от зеркальной глади моря, на него брызнула солнечная россыпь, и сразу потеплело и рассмеялось само море и

позвало к себе... Давным-давно ненужный никому дот словно осел и покорился тяжести времени. Трава лезла из его бетона, присыпанного песком. Раздвинув кусты и нижние ветви подружки-сосны, Ветров по памяти определил, где была дверь у дота. И с этой стороны зелень все прошлые приметы упрятала, и не протоптана вновь тропинка от дота на берег моря. А когда-то она была приметной, и старший сержант Комаров так хотел спуститься по ней на сияющий желтым песком берег, умыться Балтийской водой...

... Старший сержант Комаров, старшина Козин. Уже за Ригой, когда они танковым полком вцепились в отступающих фашистов, из каменного подвала дома какой-то богатой усадьбы ударили по их танку фаустпатроном. Взрыв был как удар по темени тяжелым молотком. Лейтенант Ветров очнулся на огороде, среди неубранной и какой-то странной капусты — одни листья. Все тело гудело болью, и голова казалась совсем не его, и будто не было правой ноги. Но она была, но не вся. Кое-как оторвавшись от земли, лейтенант сел и огляделся. Он долго старался понять: каким же образом это получилось — на правой ноге не было половины стопы вместе с частью сапога. Немного в стороне увидел башню своего танка. Боль в ноге сразу стала такой, что захотелось кричать. Но он не закричал: пронзила мысль — что стало с тремя его товарищами?..

Потом, уже в санитарной машине, перевязанный, он узнал: одна половина тела заряжающего была в танке, а вторую нашли в отлетевшей башне; механик-водитель, старшина, как сидел перед смотровой щелью, так и остался сидеть, но без затылка. Только стрелок-радист, сержант из вчерашних мальчишек, остался живехоньким, даже без единой царапины. Но в госпиталь все-таки угодил: прежде чем сказать что-либо, долго чмокал губами и дергал кожей на лбу...

Наверное, все они тогда хотели умыть закопченные, горячие лица холодной морской водой...

...К морю можно было спуститься, но по опыту хождения на искалеченной ноге Ветров знал: спускаться ему легче, чем подниматься. При спуске помогает уцелевшая пятка. Незачем теперь к морю, решил он. На том месте, где когда-то амбразура охраняла дот с моря, площадка не так заросла, нет-нет, да и топтался кто-то на ней. Ветров спустился чуть ниже, раздвинул кусты и удивился, словно окликнутый увиденной неожиданностью: дот зиял теменью в дверном проеме. Двери не было, ее каким-то образом вы-

рвали совсем. Сделали это или наши тыловики или те, кто после войны собирал металлолом...

Вспомнив, что было когда-то внутри, Ветров заглянул туда. И ничего не увидел, кроме высохшей, нарванной и набросанной на пол травы, пустых бутылок и двух алюминиевых кружек, вещи немецких солдат, наши солдаты называли трофейными — овальные, будто приплюснутые с боков, приспособленные крепиться над пробкой во фляге. На них еще, он помнит, была отметка посредине: можно было налить «50» или«100», а может быть, «100» и «200». Наши пили из таких скромных по объему посудин, наливая их до краев. Говорили «разводящему»:

— Налей-ка фрицевскую «зер гут»![1]

Пригнувшись, Ветров вошел в дот, сел на какое-то возвышение, прикрытое толстой подстилкой высохшей травы. Взял одну бутылку, прочитал этикетку: «Водка». Трофейные кружки все-таки были неудобны в смысле питья — пьешь, как сосешь из какой-то щели.

Среди скорбного шепота воспоминаний на цыпочках прокралась вроде бы сама собой явившаяся мысль: а не взять ли кружку на память об этом доте и вообще о войне? Но совесть отмахнулась: кружка должна быть именно здесь, в мертвой жестокости войны, а не в домашнем «музее», достаточно полном памятью о навечно пережитом — ордена и медали, фронтовые топографические карты Риги и ее предместий, планшетка и прожженный танковый шлем, который он пронес через все госпитали и снял, только перешагнув порог родного дома...

Ветров услышал голоса и прислушался. Говорившие приближались. Шли двое и разговаривали по-немецки. Ветров пожал плечами и усмехнулся: неужели те самые?..

Когда он с толпой экскурсантов ходил по сказочному великолепию залов Екатерининского дворца в Пушкино и экскурсовод рассказывал о том, что было «здесь после выдворения фашистов»... Все как-то примолкли, когда их нагнала группа иностранцев. «Туристы из ФРГ»,— тихо сказал их экскурсовод. Они, эти туристы, не благоговейно прошли по музейным комнатам, а прошмыгнули, словно торопясь куда-то и взглянув на гордость русской старины между прочим. Как-то невольно все спутники Ветрова, и он тоже, обратили внимание на двоих: высокого, худого, с прилипшей к узкому черепу седой прядью волос, припадающего на одну ногу (протез, подумал Ветров), и молодого,

[1] Зер гут — очень хорошо *(нем.)*

его сына, наверное. Молодой зыркал по восстановленной красоте чужой истории, и в серых прозрачных глазах его поблескивал холодок надменного равнодушия.

... Ветров встал, вышел из дота и, сцепив руки за спиной, стал смотреть на море сквозь рваную пестроту осени. Ему почему-то не хотелось, чтобы немцы увидели его внутри старого дота.

Они подошли, те двое немцев, почему-то застрявших в его памяти, пропустившей всех остальных «гостей издалека». Пожилой, ткнув тростью в прямоугольный зев дота, вымученно проговорил:

— Хиер![1] — и, держа протезную ногу на отлете, на здоровой пропрыгал вниз и сел на валун.

Он поднял на Ветрова налитые давней усталостью глаза и виновато, даже покаянно, сказал по-русски:

— Здесь был, когда зольдат и война... Отец майн, майн фатер, тоже там был,— и указал тростью в темную пустоту дота.— Он был погип... меня отчень раниль эта ног,— он стукнул тростью по своей равнодушно вытянутой ноге с застывшей в упорном положении стопой.— Он есть мой сын Пауль,—и кивнул головой на молодого человека, слушавшего этот разговор как-то отчужденно, словно его отец навязывался этому русскому в попутчики, чего он, сын, совсем не желал.

Отец сказал что-то ему по-немецки и он, пригнувшись, боком, стараясь не коснуться своей щегольской одеждой стенок дота, вошел в него. Согнувшись, постоял и с такой же пренебрежительной осторожностью вышел обратно.

— О, Пауль, он не отчень знайт, что здесь биль!— со скорбной усмешкой покачал головой отец.

Ветров, едва взглянул на него, удивился — это тот самый фриц, тощий мальчишка в солдатском мундире, который верещал от боли и страха в этом вот расстрелянном им из танка доте.

«Бывают же чудеса!— удивился Ветров неожиданной, как давно виденный сон, догадке.— Пожалуй, и не придумать такого...»

Он огляделся: куда бы сесть, и сел напротив своего бывшего врага на какой-то выступ, заросший жесткой, длинно стелющейся травой. Спросил, разделя слова и выговаривая их четко:

— Значит, приятель, вы были зольдатом (он так и сказал —«зольдатом», из желания представиться собеседнику

---

[1] Хиер — здесь *(нем.)*

не просто прохожим),— вы были зольдатом, когда был Гитлер, и были здесь, когда шла война?— он кивнул на дот, не отрывая глаз от лица немца.

— Ия, ия!.. Пыл здесь, когда война!— охотно, даже с радостью сделавшего важное открытие, согласился немец.— И отец мой пыл здесь, он погибаль, когда русский танк сделал фойер.[1]

— Где был танк, который сделал вам фойер?

— Там, вот так, вот так,— немец махнул рукой в сторону дороги и вычертил в воздухе поворот.

Ветров не сдержал улыбки.

— Танк был наш, из танка вел этот самый фойер я... Для вас получилось зер гут, очень хорошо, значит. Для бати вашего вышло зер шлехт, очень плохо, или капут.

Немец напрягся, вытянулся, белесые глаза его потемнели. Неподвижно, словно на обличающий призрак, смотрел он на странно добродушного русского и молчал.

Ветров, почему-то уже тяготившийся этой встречей, продолжал:

— Вы тогда были там, замурованы, как живая мумия. Пришлось подгонять танк и буксиром разворачивать амбразуру... Мне пришлось вытащить вас из этой могилы на свет божий... Чтобы вы не истекли кровью, я вашим ремнем перетянул вам ногу, вот здесь.— Ветров хлопнул себя по левому бедру и встал.— Я тоже кое-что помню из истории этого дота.

Напряженное внимание отца насторожило и сына. Пауль стоял боком между ними, слушал сперва отца, но глядел настороженно на русского, а когда тот отвечал, смотрел с сочувствием на отца.

— Не мешало бы вам, герр бывший зольдат, рассказать об этом сыну!— немного строго и не стараясь скрыть этого, добавил Ветров. Не спеша стал закуривать. Ждал, когда заговорят между собой родственники.

Отец, разминая между пальцами старую сосновую шишку, стал говорить вначале медленно, как бы стесняясь, но с каждой новой фразой голос его креп, и взгляд становился упорнее. Пауль явно тяготился словами и взглядом отца и отводил глаза в сторону. Смотрел то на отца, то на трепет солнечных бликов на море, особенно ослепительных в прорывах сплетений колючих ветвей безглавой сосны. В розовом свитере, в стильных джинсах со множеством карманов и заклепок, он размахивал сумкой на шнурке, похожей на

[1] **Фойер** — огонь *(нем.)*

большую зеленую каплю, и она качалась все медленнее и медленнее, словно увязая в загустевшем потоке отцовских слов.

Но вот Пауль мотнул белобрысой крепкой головой и заговорил скоро, напористо, из многих и длинных немецких фраз Ветров понял только два слова — найн и фюрер. Когда чужой парень умолк и бледный глянец его щек зарделся гневом, Ветров спросил:

— Чего это ваш сынок так разошелся?— и уточнил для немца:— Сын ваш есть недоволен чем-то?

— Он говорит: Германия не победиль потому, как отшень много генерал стал предавайт фюрера,— проговорил немец тихо, будто в собственной провинности сознался.

Тихо, но внушительно выговорив что-то отцу, сын забросил зеленую каплю на спину и пошел прочь.

— Швайн!— вздохнул отец в след сыну, и Ветров подумал, что свиньей он обругал его только для самого себя, поддерживая этой слабой старческой подпоркой свое убеждение.— Он не знайт, что есть война,— сказал немец громко Ветрову и, опираясь обеими руками на трость, как шест, встал.

— Вы ему вдолбите это яснее...— Ветров пошевелил растопыренными пальцами над головой.— Одним словом, попробуйте доказать ему, что войны теперь той не будет, какую вы всучили нам в сорок первом.

Немец помолчал, раздумывая, утвердительно качнул головой и сказал:

— Да, да, буду коворить, как глюп воевать Россия. И вопше воевать глюп. Аувидерзейн!— и протянул руку.

— До свидания,— ответил Ветров, пожимая ту самую руку, которая когда-то хотела его убить.— Говорите каждый день, кричите, в конце концов. Вы должны делать это!

Ветров помог немцу подняться от дота, и тот, поглядев еще раз в черневшую из травы щель амбразуры, пошел вниз, на дорогу, ставя протезную ногу на пятку.

Когда горбатенький серый автомобиль, развернувшись, покатил вниз мимо его «Запорожца», он повернулся и долго еще смотрел на насупившуюся в своем молчаливом увечье сосну. И думал, что все-таки настоящее ее место там, внизу, у братской могилы, где похоронен, конечно, и тот мальчишка, который катил с пехотной разведкой на их танке.

Георгий Нечунаев

СНАЙПЕР ЛИДИЯ БАКИЕВА

ВОЙНА

В то памятное утро 22 июня 1941 года Лида Бакиева поднялась раньше обычного: накануне с одноклассниками договорились побывать на Медео. Такие походы в живописное урочище, расположенное в самой непосредственной близости от Алма-Аты, были нередки, и Лида с охотой принимала в них участие. Все решил разговор с подругой, Майкой Забродиной.

— Лида, а почему бы нам не устроить пикничок по случаю окончания школы? Как ты смотришь?..— предложила Забродина.

— Так вчера же в школе отметили это событие,— попыталась отговорить Лида.

— Ну это в школе,— не сдавалась Майка,— а на природе — другое дело.

Бакиева рассмеялась:

— Кто возражает... Природа, горы — это всегда здорово! Только вдвоем не очень интересно....

— Думаю, что нашу идею поддержат все. Народ у нас компанейский.

Всех, правда, собрать не удалось, но добрая половина выпускников 10-го «Б», «раскинули бивак» как выразилась Зинаида Королькова, у подножья «Мохнатки»— довольно высокой сопки, закрывающей с северо-востока вход в ущелье.

Позатракали. Сидели, смеялись, говорили, делились друг с другом самым сокровенным, о будущей профессии. И тут выяснилось, что большинство ребят мечтают стать учителями, капитанами дальнего плавания, аэронавтами.

Бакиева вместе со всеми смеялась, слушая шутки товарищей, однако сама большей частью молчала. И это не укрылось от остальных.

— Послушай, Бакиева, ты-то, ты кем хочешь быть? Или это секрет?— сощурилась в улыбке Королькова.

Для себя Лида уже давно решила этот вопрос. Она будет инженером. И когда она сказала об этом, Королькова сделала большие глаза.

— И это серьезно?

— Вполне,— подтвердила Бакиева.

— А я считаю: лучше всего иметь профессию, которая могла бы пригодиться и на войне,— задумчиво проговорила Королькова.— Я, например, твердо решила стать врачом. Случись что — я на фронте нужнейший человек.

— А ты веришь, что война будет?— настороженно, почти с испугом спросила Лида.

— А почему бы и нет?— отозвалась подруга.

— А как же тогда пакт о ненападении с Германией?..

— Пакт — пактом, а фашисты всегда останутся фашистами. Они способны на все. Напали же они без объявления войны на Польшу, захватили Австрию, Чехословакию,— уверенно ответила Королькова.

Сразу же поднялся шум. Мнения разошлись. Каждый старался отстоять свою точку зрения и привести как можно больше доказательств в подтверждение ее. И неизвестно, сколько бы еще так продолжалось, если бы ребят не остановил окрик седобородого мужчины.

— Послушайте меня,— седобородый вплотную приблизился к ребятам,— проезжаю мимо вас (надо залить воду в мотор) и слышу ваш разговор о войне...

— Ну и что?— ощетинился Максим Золотухин.— Вам-то что за дело?..

Мужчина покачал головой, сказал с болью в голосе:

— Война началась, ребята. Об этом сообщили по радио.

— Не может быть!— вырвалось у кого-то.

— Может!— ответил мужчина.— Фашисты вероломно нарушили договор о ненападении и теперь бомбят наши города. Вот так-то,— вздохнул он и стал спускаться к машине.

Все повскакивали и теперь стоя, понуро смотрели куда-то вдаль, будто пытаясь разглядеть пока еще далекого, невидимого врага.

В парке культуры и отдыха имени Горького звучала музыка. Молодежь пела грозную песню:

Если завтра война, если завтра в поход,
Будь сегодня к походу готов.

Вместе с тысячами горожан, окруживших в парке фонарный столб с черным раструбом репродуктора, Бакиева слушала сообщение о нападении фашистской Германии на нашу Родину. Слушала и думала: то, чего больше всего боялась она, свершилось. Началась война. Это зло, большое зло для всех. А как бороться с ним? Что может противопоставить ему она, семнадцатилетняя девчонка?

Лида вспоминала прочитанные книги об Отечественной войне 1812 года. «Многие женщины поднялись тогда на защиту своей родной земли в трудное для нее время. А можем ли мы сейчас бездействовать,— думала она,— если над Родиной сгустились тучи? Я должна быть там, где сейчас решается судьба моей отчизны, чего бы это мне ни стоило. Мудро и точно сказал Гете:

«Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой».

Решение пришло внезапно и было окончательным.

В СНАЙПЕРСКОЙ ШКОЛЕ

Поезд, составленный из товарных и пассажирских вагонов, медленно приближался к Москве. Бакиева, прежде никогда не видавшая столицу, с нетерпением ждала встречи с ней, переживала разговор с дядей перед отъездом, бывшим летчиком, его рассказы об авиации, героических людях, совершавших чудеса храбрости. Этот разговор и привел к мысли стать летчиком.

Но увы, у нее оказался нарушенным вестибулярный аппарат. С мыслью стать летчиком пришлось распрощаться. Председатель приемной комиссии сказал: «Выбирайте любой другой род войск, только не авиацию».

— А куда же идти?

— Вы могли бы выучиться на медсестру, пойти в связь, зенитные части. Да мало ли куда?..

— А в снайперы вы могли бы меня определить?— осмелев, заявила девушка.— В Осоавиахимовском клубе занималась, значок «Ворошиловский стрелок» имею.

Председатель кивнул головой.

— Надо подумать. О твоей просьбе доложим по инстанции,— сказал он после непродолжительной паузы.

Через три дня у Бакиевой на руках уже было направление в Центральную женскую школу снайперской подготовки, которая в то время находилась недалеко от Москвы. И вот она в столице. Что-то будет, получится ли из нее снайпер? В школе она всегда была первой, быстрее всех бегала на лыжах и коньках, занималась легкой атлетикой, бегом и наконец — стрельбой, которая увлекала больше всего. Почти все свободное время проводила в стрелковом клубе, терпеливо отрабатывала приемы ведения огня из различных положений, не забывая при этом другие, главным образом подвижные виды спорта. И была

за это вознаграждена: успешно сдала норматив первого класса, а незадолго до окончания школы ей в торжественной обстановке вручили значок «Ворошиловский стрелок». В школе появился свой «Ворошиловский стрелок» и им стала девушка — Лидия Бакиева.

...Стояла суровая военная зима. Снайперская школа, запрятавшаяся в лесу, понравилась Бакиевой. Общительная по характеру, она сразу перезнакомилась со многими, а вскоре появились и подруги: Тамара Гайдук, Руфима Петрова, Антонина Королева. Они-то и ввели Лиду в «курс дела».

Новые подруги показали Бакиевой ее место в казарме. И тут же Лиду захватил круговорот дел: баня, парикмахерская, подгонка обмундирования. Никак не могла подобрать Бакиева себе шинель по росту. Еще хуже с сапогами. Измучилась вконец, разбирая сапожные завалы на складе, но тридцать шестого размера так там и не оказалось. Пришлось надеть тридцать девятый: ничего не поделаешь — меньше не было.

Но что особенно огорчительно: пришлось Лиде расстаться с косой — подстригли под мальчишку.

— Зато теперь ты, Бакиева, настоящий солдат,— сказала начальник школы капитан Чегодаева.—Да ты подумай сама: время военное, кто сейчас носит косы? Кончится война — еще лучше прежних отрастишь.

Занималась Бакиева старательно, с увлечением. Быстро усваивала материал, ко всем дисциплинам относилась с одинаковым рвением, но, пожалуй, больше других любила огневую подготовку. Уже на первых занятиях она поразила всех, выбив из ста возможных девяносто четыре очка.

Старый воин, майор Крепс, проводивший огневую подготовку, был так растроган, что даже обнял девушку:

— Голубушка, да это же неслыханно, показать такой результат!— воскликнул он, восхищенный результатами стрельбы Лиды.— Я вот, как говорится, «зубы съел» на огневом рубеже, а с тобой не берусь тягаться!

И даже после того, как узнал, что Бакиева «Ворошиловский стрелок», не мог успокоиться:

— Значок — это, конечно, хорошо. Но чтобы успешно бить врага, надо еще на зубок знать правила маскировки, уметь стрелять из любого положения.

И вот Бакива со всеми учится ползать по-пластунски, маскироваться, делать быстрые, стремительные перебежки. Майор строго требовал от будущих снайперов умения

оборудовать ячейки, окопчики — основные и запасные, умения владеть шанцевым инструментом.

Почти весь день, независимо от погоды, девушки находились в поле, на стрельбище, до которого было восемь километров, бегали кроссы с полной выкладкой. Но особенно большое внимание уделялось стрельбе.

Домой девушки возвращались на пределе возможного и все-таки находили в себе силы петь. Старательно, звонкими голосами выводили они:

Любимый город может спать спокойно.
И видеть сны, и зеленеть среди листвы.

В такие минуты Лида вспоминала родную Алма-Ату, своих подруг, с которыми она переписывалась, одни остались в тылу и теперь, не жалея себя, трудились, стараясь всем, чем только можно, помочь фронту, другие так же вот как и она, готовилась на фронт или уже с оружием в руках громили врага.

Как-то Бакиева узнала, что здесь находится ее землячка Алия Молдагулова, прибывшая в школу несколькими месяцами раньше. Рассказывая об Алие только что прибывшим девушкам из Казахстана, начальник политотдела снайперской школы Елена Ивановна Никифорова неизменно подчеркивала ее волевой характер, трудолюбие и ни с чем не сравнимую настойчивость.

Как-то ночью дневальная доложила командиру роты, что Алия Молдагулова неожиданно исчезла, в казарме ее нет. Начались поиски, только на рассвете ее удалось найти. И где же? На высоком дереве с расцарапанными коленями и ободранными локтями.

На вопрос, что она там, на дереве, делала, Молдагулова ответила:

— Я жила в степном ауле, деревьев у нас нет. Потому лазать по ним я не умею. А на фронте, вы сами говорите, всякое может случиться... Может, и по деревьям придется лазать, надо учиться. А когда это делать? Днем — засмеют. Вот я и решила ночью потренироваться.

Алия успешно закончила весь курс обучения на снайпера, но тут оказалось, что начальство решило оставить ее в школе инструктором в роте. Забыв о всякой субординации, она пришла к начальнику школы и потребовала в самой категорической форме: «Отправьте меня на фронт. Не отправите, буду писать вплоть до Верховного главнокомандующего, но своего добьюсь».

И Алию отправили.

Позже, когда Бакиева сама оказалась на фронте, она узнала о героической гибели Алии.

Еще запомнился Бакиевой приезд в школу Героя Советского Союза Людмилы Павличенко, к тому времени уничтожившей более трехсот гитлеровцев.

Курсанты много слышали, читали в газетах об этом прославленном снайпере, но одно дело слышать от других, другое дело — видеть своими глазами человека, ставшего, можно сказать, легендой. Все слушали Людмилу Павличенко, боясь пропустить слово. А говорила она в общем-то о вещах, по сути обычных: о фронтовых делах, о том, как охотится на фрицев, бьет их. Но особенно Бакиеву заинтересовала технология этой ее охоты: выслеживания фашистов. Она тогда подумала — каким терпением и мужеством надо обладать, чтобы долгими часами, а иногда и сутками, подкарауливать и засечь врага. Вот у кого можно и надо учиться. Слова прославленного аса навсегда запали в ее душу.

Уже первые же занятия после посещения школы Людмилой Павличенко показали, что приезд ее не был напрасным: Бакиева, используя советы Павличенко, так замаскировалась на снегу в маскхалате, что приехавший инспектор в генеральском звании, находясь всего в пяти метрах от снайперской ячейки, не заметил ее, а уже потом сказал:

— Молодец,— похвалил он.— Маскироваться умеешь.— И узнав, что и стреляет Бакиева отлично, добавил:— Снайпер должен владеть всеми видами стрелкового оружия, только тогда будет неуязвим для врага.

К концу обучения Лида с неизменным успехом выполняла все упражнения: с 800 метров точно поражала «перебежчика», с 500 метров — «грудную мишень», а с 250 метров — «стереотрубу». Научилась Бакиева точно поражать цели гранатами, бутылками с зажигательной смесью, стрельбе из пистолетов и пулеметов различных систем.

И вот выпускные экзамены, снайперские стрельбы. Их Лида сдала на «отлично». В числе других ей перед строем объявили благодарность и вручили удостоверение об окончании Центральной женской школы снайперской подготовки.

ПЕРВАЯ ОХОТА

Весть о том, что на фронт прибыли снайперы, сразу же облетела полк. «Виданное ли дело, дают пополнение, да

еще снайперов»,— радостно потирал руки командир полка Игошин. Он мысленно представлял себе богатырей саженного роста, от одного вида которых душа уходит в пятки. И каково же было его удивление, когда из кузова машины, подошедшей к штабу полка, словно горох высыпали девчушки небольшого росточка, в новеньких серых шинелях.

Командир полка от неожиданности даже крякнул, наморщил лоб, хотел сказать что-то колкое, но сдержался.

Девушки построились. Игошин помолчал, потом подошел к правофланговой, Анне Шамец.

— И что вы можете делать на фронте?— спросил он девушку.

— Стрелять, разумеется, товарищ полковник.

— Стрелять, говорите?— недоверчиво покосился командир.

— На то мы и снайперы!— пришла на помощь подруге Бакиева.— Этому нас учили в школе.

— И вы что... все из снайперской школы?— уже потеплевшим голосом спросил Игошин.

— Так точно, все до единой, товарищ полковник,— за всех громко ответила Лида.

— Ну, тогда другое дело,— обрадовался он.— А что росточка вы небольшого, это не беда. Умели бы только стрелять...

— Можете быть уверены — не подведем!— дружно заверили девушки.— Хочется поскорей приступить к работе.

Игошин улыбнулся.

— За этим дело не станет. Работы хоть отбавляй,— он кивнул в сторону вражеских траншей.— Последнее время совсем обнаглели, гады. Днем почти в полный рост ходят... Но самое скверное, недавно у них появился снайпер. Уже троих наших подстрелил. Головы не дает поднять, собака. Вот им-то в первую очередь и следует заняться. Но об этом завтра. Располагайтесь, отдыхайте. Утро вечера мудренее.

Ночь Бакиева провела почти без сна. Мысль о том, что завтра ей предстоит встреча с врагами, не давала покоя. «А что мне волноваться?— пыталась она успокоить себя. — Стреляю неплохо, маскироваться умею, и нервы, вроде, в порядке».

Поднялась она, когда еще было темно, лишь по еле различимому серому пятну, обозначившемуся на востоке, угадывалось приближение утра.

Еще вечером командир роты Комаров, на участке которого орудовал фашистский снайпер, подробно расска-

зал Бакиевой и работающей с ней в паре Гайдук о всех повадках врага, как он ведет себя, в какое время появляется.

— Однако,— развел руками командир,— где он появится, предсказать невозможно, все время меняет место.

Бакиева рассмеялась:

— Хорош бы он был снайпер, если бы все время сидел на одном и том же месте. Нужно его выследить...

...Бакиева разбудила Тамару Гайдук. Девушки умылись, проделали несложный комплекс гимнастических упражнений, перекусили. По извилистому лабиринту траншей они добрались до расположения роты Комарова. Осмотрелись. Перед ними чуть всхолмленная, покрытая снегом равнина. Тут и там островки низкорослого кустарника. Стояла плотная, настороженная тишина, ни одного выстрела, даже вражеские ракетчики, обычно боявшиеся темноты, бездействовали.

Девушки быстро оборудовали заранее подготовленные саперами ячейки, тщательно замаскировали их. Изготовились для стрельбы.

— Ну вот, Тамара, и первая наша с тобой охота,— рассматривая в бинокль нейтралку, сказала Бакиева.— Когда и где появится фашистский снайпер — это загадка со многими неизвестными. Настораживает другое: в полку говорят об одном снайпере. А может ли быть такое? Ведь и у них, так же как у нас, снайперы работают в связке.

Гайдук нахмурилась.

— Меня, признаться, тоже это озадачило. Или этот фашист настолько опытный, что не нуждается в напарнике, или здесь что-то другое...

Разговор девушек оборвала взвившаяся на вражеской стороне ракета. Снайперы переглянулись.

— Отсюда до фрицев не менее пятисот метров, значит, снайпер стреляет откуда-то с нейтралки,— вслух рассуждала Бакиева.— Но где он?

Рассвело. Лида, припав к биноклю, прощупывала нейтральную полосу. Внимание девушки привлек, как ей показалось, чуть зашевелившийся бугорок. Вот он вновь шевельнулся, чуть сдвинулся вправо. Сомнений не оставалось: вражеский стрелок! Бакиева прицелилась и плавно нажала на спусковой крючок. Бугорок качнулся и осел. Рядом с ним качнулось что-то черное. «Ствол винтовки,— догадалась Лида.— Значит, не промахнулась».

— Молодец, Лида!— вскрикнула Тамара Гайдук. Она

приподняла голову, стараясь получше рассмотреть поверженного врага и охнула, тяжело осев в ячейку. Запоздало донесся звук выстрела. «Второй снайпер»,— пронеслось в сознании Бакиевской и она бросилась на помощь подруге. Пуля пробила грудь. Приняв все меры предосторожности, Бакиева перевязала Тамару. Кровотечение не прекращалось. Ее нужно было срочно доставить в медсанбат. Но как? Местность совершенно открытая. Лида сделала неосторожное движение и рядом чирикнула пуля.

Бакиеву охватил страх, страх не за себя, за подругу. Если ждать до вечера, Тамара может умереть от потери крови. А тащить ее по открытому полю — бессмысленно, фашистский снайпер не пропустит. Через несколько секунд созрело решение:

«Выход один — надо убрать «второго», и тогда дорога к своим будет свободна. Только успокоиться, постараться взять себя в руки, иначе и сама нарвусь на пулю».

И она успокоилась, не спеша достала фляжку с водой, дала несколько глотков раненой, перезарядила винтовку, поправила оптический прицел, немного расширила и углубила ячейку. Сделав в чистом листе бумаги прорезь, она через нее до боли в глазах долго рассматривала раскинувшееся перед ней пространство. Затекли ноги, ныла поясница, но Лида боялась шевельнуться — пусть думает фашист, что поразил обоих советских стрелков.

Время, казалось, остановилось. В голову лезли всякие мысли. Но чаще всего она вспоминала снайперскую школу. Начальник огневой подготовки на прощание сказал ей: «Хоть ты, Бакиева, и метко стреляешь, снайпер должен из тебя получиться неплохой, но выдержку, выдержку выработать нужно».

«Да, видно, не сумела я воспользоваться этим мудрым советом»,— с горечью упрекнула она себя.

Чтобы размять затекшие ноги, Бакиева повернулась на бок, увидела в прорезь листа, как зашевелился снежный бугорок, отстоящий от первого метрах в десяти.

Реакция мгновенна: последовал выстрел — и со вторым снайпером было покончено: на образовавшемся черном проеме Бакиева в бинокль увидела неподвижное тело врага.

Тащить Гайдук пришлось под огнем. Гитлеровцы заметили движение, начали методически обстреливать нейтральную полосу. На половине пути на помощь Бакиевой подоспели трое наших бойцов. Тамара была спасена.

ФРОНТОВЫЕ БУДНИ

Близился вечер. В воздухе висела горячая душная пыль. Низкие тучи неслись над головами людей и, казалось, задевали макушки деревьев. Бойцы роты старшего лейтенанта Зарудного подчищали окопы, устанавливали пулеметы, орудийный расчет сержанта Киселева менял огневую позицию, выдвигаясь поближе, чтобы прямой наводкой бить по фашистским танкам. Две атаки врага уже были отбиты. Пороховой дым смешался с туманом. Трудно было дышать, еще труднее смотреть: дым разъедал глаза.

В окопах, на передовой находились и снайперы. Бакиева за полгода, что провела на фронте, похудела, скулы обострились, под глазами легли тени. Но усталость не угнетала ее. В ней жила упрямая уверенность, что враг, как бы силен он ни был, уже не способен повернуть назад колесо истории. Теперь время работало на нас, стратегическая инициатива полностью перешла к советским воинам.

Траншея, в которой разместилась Лида и только что вернувшаяся из госпиталя Тамара Гайдук, пересекала небольшую высотку, с которой просматривалась вся местность. Бакиева отлично видела, как выдвинулись на передний рубеж вражеские танки и тут же к ним примкнули автоматчики, взобравшиеся на броню. Взвилась ракета, и танки устремились на наш передний край.

Лида не спускала глаз с тяжелого танка, идущего впереди других. Она засекла, что в него сел грузный немец, судя по всему, командир. Бакиева видела, как танк, хищно припадая на выемках к земле, стремительно приближался к нашим траншеям, быстро вырастая в размерах. Ударила наша артиллерия. Из десяти вытянувшихся по фронту вражеских машин две сразу же вспыхнули, задымили. Остальные, в том числе и головная, продолжали двигаться. Вокруг свистели пули, рвались снаряды, но Бакиева будто не замечала, ее вниманием завладел головной танк. Снаряды его не брали, и он остервенело рвался вперед. За танком бежали эсэсовцы. На рукавах у них виднелись белые черепа и кости. Они стреляли не целясь, короткими очередями.

Пятерых из них Лида уложила, когда они приблизились метров на четыреста, трое упали от пуль Тамары Гайдук. Но танк... Он продолжал все также упорно ползти к нашей передовой.

— Надо бить в смотровую щель,— с этими словами

Лида первой ударила по танку, потом еще и еще раз. И тут произошло неожиданное: стальное чудовище, неуклюже повернувшись, изменило направление и двинулось вдоль фронта, подставив под огонь свои наиболее уязвимые борта. Этим воспользовались наши артиллеристы: всадили в него один за другим три снаряда, танк запылал факелом. Из открывшегося люка показалась голова гитлеровского офицера. Лида первым же выстрелом уложила его наповал. Потом у танка повалились подбитые ею еще два гитлеровских танкиста, пытавшихся спастись бегством.

Атака сорвалась. Оставив на поле боя до двухсот трупов и восемь танков, гитлеровцы отхлынули назад.

Позже Лида выяснила, что своим первым выстрелом она вывела из строя вражеского механика-водителя, потому пошел вдоль фронта оказавшийся без управления танк. В нем находился фашистский подполковник, командовавший танковым полком.

А через полчаса, сломив сопротивление врага, прямо на плечах отступавших танков, батальон капитана Смольккова устремился к населенному пункту. Но на пути оказался вражеский дзот, который ощетинился свинцовым ливнем. Трижды поднимались в атаку наши бойцы, но плотный настильный огонь дзота вновь и вновь прижимал их к земле.

Бакиева молча всматривалась в пространство, отделявшее ее от врага. Сердце ее сжималось от боли. Только что на глазах у нее погибли два молодых солдата. Один из них по фамилии Ахметов был ее земляком. Наблюдая из бинокля за дзотом, Лида разглядела узенькую лощинку, тянувшуюся чуть не до самого дзота.

— Товарищ капитан, разрешите мне попробовать утихомирить фрицев,— обратилась Лида к комбату, кивнув в сторону дзота, и коротко изложила свой план.

— Действуй,— одобрил комбат,— только осторожнее. Под огонь не лезь!

Захватив винтовку и связку гранат, девушка перевалилась за бруствер.

Лощинка оказалась настолько мелкой, что не укрывала человека. Гитлеровцы в дзоте заметили Лиду сразу. Над головой девушки просвистела пулеметная очередь. Лида затаилась, потом, не поднимая головы, снова поползла вперед. Маленькая, щуплая, втискиваясь в землю, она переползла ложбинку. Дальше открытая местность, ни единого кустика. Девушка чуть-чуть приподняла пилотку и тотчас огненный шквал вырвался из амбразуры.

Фашисты несколько минут поливали ложбинку свинцом.

Комбат все это видел и понимал, что положение у Бакиевой неважное, фашисты не дадут приблизиться к дзоту. Он подозвал помкомвзвода, поставил перед ним задачу — имитировать ложную атаку на дзот с левого фланга.

Лида ждала. Она знала, что комбат должен что-то обязательно предпринять, и не ошиблась. Как только взвод Северцева открыл стрельбу и гитлеровцы перенесли огонь на него, девушка стремительно вырвалась из лощины, бегом преодолела двадцатиметровое расстояние и с размаху, что есть силы, бросила в амбразуру дзота связку гранат. Раздался оглушительный взрыв. Сама она упала, но, видимо, опоздала, осколок задел ее ногу, но однако задача была выполнена — пулемет врага замолчал.

Батальон капитана Смолькова вновь устремился в атаку и овладел укрепленным пунктом.

Вернулась Лида в полк из госпиталя через два месяца. Здесь ее ждало радостное известие: за участие в боях по овладению местечком Сенно она награждена орденом Красной Звезды.

И снова потянулись фронтовые будни. Ежедневно девушки парами уходили на охоту, часами, не отрывая глаз от оптических прицелов, лежали на земле, выслеживая врага, вели поединки с фашистскими «охотниками за черепами». Об одном из таких поединков часто вспоминает Бакиева:

— Фашистского снайпера у нас назвали «неуловимым». Появлялся он ежедневно, сделает один-два выстрела и исчезает. За неделю больше десяти наших бойцов подстрелил. Комбат, на участке которого действовал гитлеровец, дал мне задание уничтожить снайпера во что бы то ни стало.

На рассвете вышли мы с Фридой Цыганковой, моей сверстницей с Урала в засаду на нейтральную полосу. Зима. Редколесье в снегу. В двухстах шагах от наших траншей облюбовали ствол срубленного снарядом дерева. Подползли. Нас в маскхалатах фашистам не видно. Рассвело. Лежим, наблюдаем за траншеей противника. В бинокль вижу близ фашистских позиций еле различимый пень, старательно замаскированный снегом. Неужели, думаю, здесь фашист затаился? Смотрю, как говорят, во все глаза на этот пень. А время идет. Решила спровоцировать врага. Прицелилась в самую середину пня, где, как мне казалось, темнело отверстие, выстрелила. Сразу поняла, мимо цели — ни малейшего движения. Невольно вспомнила над-

пись над плакатом, висевшим у нас в школе: «У снайпера тверда рука, он бьет врагов наверняка». «Да, наверняка, а я промахнулась,— рассказывала она потом.— Проходит еще примерно час и вдруг выстрел с той стороны — фашист не выдержал. Его пуля просвистела над моим ухом. Значит, мы под пристальным наблюдением гитлеровского снайпера. И хотя по инструкции в подобных случаях запрещается вести огонь с той же позиции — либо меняй ее, либо уходи совсем,— мы с Фридой остались.

Продолжаем терпеливо ждать. Прошло еще часа полтора. Я выбрала момент и сделала второй выстрел. Реакция та же. Теперь стреляет фашист: простреленная ушанка слетает с моей головы. Не реагирую. Держу вражеского снайпера на прицеле. Вся сжалась в комок... стреляю. Наконец-то! Враг повалился на винтовку, ее ствол подпрыгнул вверх. Фрида шепчет: «Смотри, фрицы в траншее зашевелились, носилки тащат». Так оно и есть. Все. Задача выполнена!»

Так шли дни за днями. В конце сорок четвертого на счету Бакиевой было уже шестьдесят пять уничтоженных фашистов.

Человек, аккуратный от природы, любящий точность, Лидия после каждого поединка с врагами проводила глубокий анализ своих действий, стараясь как можно полнее восстановить минувшее событие и если находила промахи, то жестоко корила себя за них. С неменьшим пристрастием разбирала Бакиева ошибки и своих младших подруг, для которых она по опыту была непререкаемым авторитетом.

А слава о девушках-снайперах между тем росла, множилась, о них слагались веселые легенды и забавные анекдоты. Один из таких анекдотов сохранился в памяти Лидии Ефимовны:

«Фриц спрашивает: «Слушай, Ганс, что это ты все на тот лесок поглядываешь?». Ганс отвечает: «Да там красивая русская девушка мне глазки строит». «А почему ты тогда спрятался?»— вновь спрашивает Фриц. «Дело в том,— отвечает Ганс,— что она глазки мне строит через оптический прицел снайперской винтовки».

Страх перед девушками-снайперами был у фашистов настолько велик, что взвод, в котором сражалась Бакиева, они принимали за «отборный снайперский батальон», о чем даже писали в своих газетах.

А между тем война подходила к концу. Последнего семьдесят восьмого по счету фашиста Лидия Ефимовна

уничтожила под Пиллау в Восточной Пруссии. Тогда все жили ожиданием победы. Казалось, ею был насыщен даже воздух, которым дышали все наши бойцы.

«БЕЗ ДЕЛА СЕБЯ НЕ МЫСЛЮ»

Поезд приближался к Алма-Ате. А мысли Лиды были все еще там, за тысячи километров от дома. Почти два года на фронте... Вспомнила стихи Василия Гудовича, посвященные им, девушкам-снайперам:

Все тяжести войны изведав,
Они не раз ходили в бой,
И награжденные, с победой
Вернулись снайперы домой.

Что же она увидела и узнала за это время? Многое... Во-первых, она прошла без малого всю землю, которая называется Родиной, увидела ее в трудный, непраздничный час, поняла, как любит ее своей горячей дочерней любовью, узнала и всем сердцем поверила в нерушимость дружбы живущих на ней людей, независимо от того какой они национальности.

— Я — русская,— говорила она себе,— Тамара Гайдук — украинка, Анна Шамец — белоруска, Байрам Садыкова — казашка, Анна Микропуло — гречанка. Нет, просчитался Гитлер, нельзя победить людей, спаянных такой нерасторжимой дружбой.

На перроне Лидию Ефимовну встречала мать. Маленькая, сухонькая, с лицом, изрезанным глубокими морщинами, она выглядела старухой, хотя ей и не было пятидесяти. «Видно, война и ее не пощадила,— про себя отметила Лидия Ефимовна.— Да и чему удивляться? Все годы военного лихолетья одна, отца убило в самом начале войны».

Лида первой заметила мать, бросилась к ней на шею. Так и застыли они в немом оцепенении стояли до тех пор, пока Лида, высвободившись из объятий матери, тихо попросила:

— Может, пойдем, мама?..

И вот началось мирная жизнь бывшего снайпера. Был конец августа 1945 года. Лида подумывала насчет учебы, стала даже готовиться в горно-металлургический институт и вдруг словно напасть какая — открылась фронтовая рана на ноге. Больше двух месяцев пролежала в госпитале ин-

валидов Отечественной войны. А вернувшись оттуда, пошла на Алма-Атинский завод тяжелого машиностроения, устроилась бухгалтером — благо математика у Бакиевой была едва ли не самым любимым ее предметом.

Но мысль об учебе не оставляла. Нельзя на стационаре — можно заочно. Выбрала факультет машиностроения горно-металлургического, ныне политехнического института. Через четыре года у нее в руках уже был диплом инженера машиностроителя. Причем, с «отличием». Куда податься с ним? Предложений было немало, но Бакиева, уже привыкшая за это время к АЗТМ, решила на нем и остаться. Только поменяла место работы — перешла в конструкторское бюро. Двадцать три года проработала она инженером-конструктором. Многими грамотами и благодарностями был отмечен труд ее там.

И все-таки АЗТМ пришлось покинуть — увлеклась проектированием. Вплоть до восьмидесятого возглавляла групу проектировщиков «Сантехпроекта». Вышла на пенсию, но не сидеть же без дела — попросилась на швейную фирму «Казахстан», взяли начальником смены, где и поныне трудится.

— Без труда не мыслю себя,— говорит Лидия Ефимовна.— Посидела несколько дней без работы и сразу какая-то хандра напала, ощущение такое — будто живешь в долг. И чем больше сидишь, тем больше этот долг растет — без дела нельзя. Нет, нас, бывших фронтовиков, коммунистов такая форма существования не устраивает. Пока не оставили силы, есть еще порох в пороховнице, надо трудиться. К этому нас обязывает и нынешняя тревожная обстановка. Дерево, говорят, живет корнями, а человек — трудом.

Недавно Лидия Ефимовна разменяла седьмой десяток. Правда, никто ей этого не даст. Она подтянута, ходит прямо, чуть вскидывая голову, лицо почти без морщин, а энергии хоть отбавляй — молодежь завидует. Нередко Бакиеву можно видеть в стрелково-спортивном клубе ЦК ДОСААФ. Однажды, взяв малокалиберную винтовку у одного из ребят, она десять пуль уложила в «десятку». Парень не мог сдержать удивления, он с завистью посмотрел на Бакиеву и спросил:

— Вы, наверное, тренер?

— Может, и тренер,— отшутилась Бакиева.

Сорок лет минуло с тех пор, как на нашу истерзанную землю пришла победа. Много воды с тех пор утекло. Изменились патриотки, выпускницы Центральной женской школы снайперской подготовки, из стен которой вышло около двух

тысяч высококвалифицированных снайперов. Даже по неполным данным, ими уничтожено более двенадцати тысяч гитлеровцев — целая вражеская дивизия. Родина высоко оценила их ратный труд. Многие выпускницы школы награждены орденами и медалями. Алия Молдагулова и Татьяна Барамзина удостоены звания Героя Советского Союза. Грудь Лидии Ефимовны Бакиевой украшают ордена Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медаль «За отвагу» и другие боевые награды.

Первую награду она получила, когда ей не было еще и восемнадцати, а последнюю, когда исполнилось девятнадцать.

Такова судьба обычной, скромной девушки из Казахстана. А за ней угадывается судьба всех выпускниц школы снайперской подготовки, молоденьких девчонок, мужественно шагнувших из детства прямо в войну.

Маргарита Алигер писала:

У каждого была своя
война.
Свой путь вперед, свои
участки боя.
И каждый был во всем
самим собою
И только цель у всех
была одна.

И к этой цели, имя которой Победа, шли мужественные девушки-снайперы и вместе с ними наша землячка из Казахстана — Лидия Ефимовна Бакиева.

Юрий Рожицын

«ОТЗОВИТЕСЬ, ПАНЕ ХОРУНЖИЙ»

Субботним вечером к Ермаковым неожиданно нагрянули из города дорогие гости — сын Алексей со снохой Ниной и пятилетним внуком Дениской. Сам хозяин вернулся с поля затемно и, подъезжая к дому, издали заметил на ярко освещенных шторах человеческие силуэты, бьющийся над печной трубой язычок веселого пламени, припаркованные к ограде светлые «Жигули», разобрал алмаатинский номер автомашины. Третий год ездит на ней Алексей, а десяти тысяч километров еще не намотал. К родителям и то от праздника до праздника времени не выберет заглянуть.

— Батя, ты?!

Над крыльцом вспыхнула лампочка, видимо, в доме услышали шум мотора. Алексей с Дениской подслеповато всматриваются в серый полумрак, пытаясь разглядеть подъехавшего.

— Ну, я, я,— отозвался Ермаков, хлопая дверцей.

— Деда,— засеменил по ступенькам Денис,— где ты? Я тебя совсем потерял...

Ермаков подхватил внука, подбросил кверху, тот с радостным испугом вскрикнул. Тяжеловат мальчонка, шибко не наподкидываешься. Да и тому, похоже, такая игра не по нраву, крепко-накрепко обхватил дедову шею, мягкой щекой прижался к колючему подбородку.

— Чо не позвонил?— упрекнул Ермаков сына.— Пораньше бы домой выбрался.

— А мы к тебе экспромтом собрались,— хохотнул тот,— обсюрпризить решили.

— Деда, а я тебя в газете видел. Ты с войны...

— В какой газете?

— Эх, Дениска,— огорчился Алексей,— секретов тебе доверять нельзя. Говорил же я, сделаем деду сюрприз, а ты...

— А я первый,— зачастил мальчонка,— а я первый...

— Ладно, перестаньте,— рассмеялся Ермаков,— мы с матерью и без сюрпризов вам рады. Почитай, с майских праздников не виделись.

— Сам знаешь, батя, городскую жизнь...

— Знаю, потому и не в обиде.

В доме радостная суета. На кухне Ермаков обнял сноху, разрумянившуюся у жаркой печи, перепачканную мукой и тестом. Глянул на ожившую жену: хлопочет как молодая, радостью глаза светятся. Гуся яблоками начиняет, мясо на манты перекрутила, салатами и закусками подоконник заставила. Готовит как на Маланьину свадьбу, а гостеньки по-цыплячьи клюнут раз-другой и отставят. Сноха фигуру бережет, сын с детства к еде равнодушен, а много ли внуку надо? Промолчал, зачем огорчать хозяйку. Для матери превейшая радость — хлебосольство, сама себя готова превзойти, лишь бы Алексею с женой угодить.

— Отец,— подала она голос,— не путайтесь под ногами, идите в залу. Мы с Ниной сами управимся.

Телевизор включен, на голубом экране очередная хоккейная баталия. Ермаков глянул и равнодушно отвел глаза: к заядлым болельщикам он себя не причислял. Иногда

посмотрит из любопытства, пытаясь понять, почему народ до исступления доходит, да с тем и отвернется. Опустился в кресло, спросил у сына:

— Кажи газетку, чо там про меня прописали?

Алексей осуждающе покосился на Дениску.

— Язык твой надо укоротить. Приедем домой, зажму его в тисы, рашпилем легонько пройдусь.

Дениска разом скуксился. Ермаков привлек внука к себе, посадил на колено.

— Он не нарочно, деда хотел порадовать.

Алексей вынул из папки и подал отцу газету. Тот развернул и вопросительно посмотрел на сына.

— На третьей странице,— подсказал Алексей.

Ермаков скользнул взглядом по фотографиям, мелкому тексту, остановил взгляд на снимке, над которым чернела надпись: «Отзовитесь, пане хорунжий!». Долго вглядывался в двух пареньков, прижавшихся друг к другу. Тот, что справа, в располосованной гимнастерке, с немецким шмайсером через плечо, с тремя светлыми пятнами на чумазом лице — зрачками смеющихся глаз и зубами, приоткрытыми в улыбке. Не веря, наклонился к газете. Он, точно он... А парнишка?!

— Стась... Сташек...— с взволнованной растерянностью выпрямился Ермаков и глянул на сына.— Ему тогда было лет пятнадцать или шестнадцать, совсем пацан... юнак.

— Точно,— подался вперед обрадованный Алексей,— Станислав Варышак. Заморыш заморышем выглядит.

— Фамилию не спрашивал, не до того было. Стась да Стась... Любимое его словечко — лайдак.

— Почему он тебя хорунжим называет?

— В ту пору я был младшим лейтенантом, по-ихнему — хорунжим.

— Батя, а ты ведь никогда не рассказывал, как из Варшавы выбирался,— укоризненно проговорил сын,— а Станислав пишет, что у вас там целая одиссея получилась. И тогда, когда тебе Красную Звезду вручили, мы из газет узнали, как ты на «кукурузнике» от «мессера» отбился...

Ермаков опять взглянул на снимок, вздохнул, бережно сложил газету и задумчиво промолвил:

— Я и не помню, кто нас фотографировал. Видно, склероз... А чо рассказывать-то? Жив и слава богу...

— Мужчины!— возникла в дверях Нина с большим блюдом в руках.— Кончайте хоккей, расстилайте скатерть...

Засиделись за полночь, пока сноха не спохватилась:

— Папа, ты завтра работаешь?

— Озимые сеем, утром в поле выскочу. Воскресение воскресением, а у крестьян страда в разгаре.

— Ложимся спать,— объявила Нина,— нам отдых, отцу работа...

Ермаков, чтоб спозаранку не тревожить близких, поставил раскладушку на веранде, но ложиться не стал. Растревожила его душу давняя фотография. Вышел в примолкший сад, уселся под вишней на скамейку. В глухой тишине гулко шлепаются на землю переспевшие яблоки и груши, издалека ветерок доносит комариный гул тракторных моторов.

Стась... Сташек... Станислав Варышак! Откуда ему знать фамилию паренька, неожиданно возникшего среди спекшихся развалин Варшавы. Не встреться он Ермакову, безвестно сгинуть бы ему в каменных завалах, где немцами хоть пруд пруди. В летное училище он из деревни попал, за шесть месяцев раза два-три ходил в увольнение, где ему городскую жизнь было распознать. И вдруг он оказался в центре польской столицы, охваченной пожарами, планомерно уничтожаемой гитлеровцами. Впору и опытному солдату растеряться, не только восемнадцатилетнему юнцу, делающему пятый самостоятельный вылет на «кукурузнике».

Разбередили мужику душу письмо и снимок, наяву воскресили они события тех давних дней. Тогда Ермакова послали в разведывательный полет посмотреть, сохранились ли очаги сопротивления варшавян немецким оккупантам. Накануне лондонское радио сообщило о капитуляции повстанцев, что с первого августа дрались с фашистами. Начальник разведотдела приказал визуально разузнать, что происходит в городе, не попадают ли сбрасываемые на парашютах летчиками девятой дивизии ночных бомбардировщиков военные грузы в руки гитлеровцев.

Облетел Ермаков заданный район разрушенного города, а на обратном пути сплоховал. Автоматическую зенитную пушку «эрликон» засек, когда она открыла огонь. Сперва отшатнулся от близких разрывов снарядов, но быстро опомнился и расконтрил пулемет. Развернулся, и дал очередь... другую... третью... Первая взметнула фонтанчики пепла на пожарище, чуть в стороне от зенитки, а две прошлись по артиллерийскому расчету. Со стаметровой высоты увидел, как падают посеченные пулями немцы, как фонтаном взлетело багрово-искристое пламя. Мощная взрывная волна как перышко подбросила «кукурузник». Видать, взорвались на земле боеприпасы.

— Порядок в летных частях!— радостно вскричал Ермаков и осекся, увидев, что из мотора выбиваются огненные языки.

Огляделся, в нижнем крыле две больших дыры, и верхнее насквозь просвечивает. Перебит лонжерон, куски перкаля болтаются. А пламя уж к кабине подбирается. До своих не дотянешь, а здесь садиться,— немцам в лапы угодишь. Но другого выхода не оставалось.

Коптящий дым застлал глаза. Ермаков резко наклонил нос самолета, глянул перед собой и покрылся холодным потом. С края, перегораживая перепаханную снарядами улицу, стоял почерневший от огня фашистский танк со странно скособоченным орудийным хоботом, слева на боку лежал изрешеченный пулями и осколками трамвайный вагон, а посреди бульвара торчали пни измочаленных в щепу деревьев, виднелись глубокие воронки.

Хочешь не хочешь, приземляйся, иначе бензобаки взорвутся. Нацелился на сравнительно ровный пятачок и зажмурился. От сильного толчка едва из кабины не вылетел. Земля резко ударила самолет по шасси, метра на два подбросила гуттаперчивым мячиком, перенесла через срезанное снарядом дерево и благополучно опустила.

«Кукурузник» еще бежал, а Ермаков, отключив бензопровод, торопливо выкарабкался на крыло, спрыгнул и, задыхаясь в едком дыму, бросился к ближайшей воронке. Едва скатился на ее дно, как громыхнули взрывом бензобаки, крупными хлопьями посыпалась сажа. Он торопливо сорвал с себя тлевший комбинезон, затоптал огонь. Выглянул, самолет пылал костром...

По давней привычке Ермаков потянулся к карману, но отдернул руку: два года как бросил курить, врачи запретили. А сейчас бы папироска ко времени пришлась, на фронте табачок часто помогал в тяжелые минуты. И тогда, в Варшаве, Стась по самокрутке распознал в нем русского солдата.

... Уходя от сгоревшего самолета, Ермаков прямиком лез через выгоревшие дотла каменные дома, порой балансируя на железобетонных балках, чудом сохранившихся над глубокими провалами зацементированных подвалов. От близких разрывов снарядов и мин вздрагивали стены, с уцелевших потолков пластами срывалась штукатурка, случайные пули высекали искры из кирпича. Вокруг летчика на излете часто шлепались горячие рваные осколки.

В сравнительном затишье, изнемогая от жажды и голода, Ермаков прилег за каменным фундаментом. Пить, пить...

А где воду возьмешь? Кругом в камень сплавившийся кирпич, пепел, зола, битая черепица, стекло под ногами хрустит, а человеком и не пахнет, будто в пустыне. Кричи не кричи, людей не дозовешься. Разве немец на голос пару мин бросит.

Вытащил из галифе кисет, достал газетку, оторвал уголок, насыпал щепотку махорки, послюнявил края бумажки и аккуратно склеил самокрутку. Чиркнул зажигалкой, прикурил от колеблющегося огонька и глубоко затянулся.

— Пан... Пан жолнеж!..

Сдержанный мальчишеский голос застиг Ермакова врасплох. Он мгновенно выхватил из кобуры пистолет «ТТ» и распластался на земле.

— Пан, пан... Я естем пóляк! Россиянам кревний пшияцель...

— Выходи, не то стрелять буду!

Паренек вылез из подвала, метрах в трех от Ермакова. Сквозь щели в каменном нагромождении он, похоже, с самого начала наблюдал за русским.

— Тьфу, до холеры ясной!— обрадовался Ермаков.— И напугал же ты меня, пацан!

— Стась, Сташек,— ткнул тот себя пальцем в грудь.

— Ванюшка,— назвался Ермаков,— Иван по-русски.

У щупленького паренька на чумазом лице впалые щеки обтягивают острые скулы, настороженно выглядывают зеленые глаза из-под опаленных огнем ресниц и бровей. Вытертая кожаная куртка, неопределенного цвета штаны из чертовой кожи, сбитые башмаки на ногах, на голове — замасленная кепчонка с пуговкой на макушке. В руке паршивенький револьвер, похожий на дореволюционный «бульдог» с барабаном.

Польскую речь Ермаков с грехом пополам понимал, потому понял, что семья Стася неведомо куда заброшена войной, а сам он с начала варшавского восстания был связным в каком-то отряде. Повстанцы погибли на баррикаде, а он, выполняя поручение командира, случайно уцелел.

— И у тебя положение хуже губернаторского,— посочувствовал Ермаков.— Давай к Висле пробираться, может, в Прагу переплывем. Там и наши, и поляки позиции занимают.

— Пшистко едно,— вздохнул Стась.— До дому нема шляху, пшеклентые швабы захопили Варшаву...

На уцелевшие от огня и разрушений кварталы набрели в сумерках, едва не падая от усталости. В этот момент

сквозь дым пожарищ робко пробился блеклый солнечный луч, но ни отблеска, ни золотого зайчика не сверкнуло в мертвых, покинутых людьми домах. Солнце испуганно мигнуло и набежавшей тучкой, как ладонями, прикрыло лицо. Сумрачные тени выползли на мостовую и густой серой мглой обступили парней.

Вблизи стрельба стихла, но вдалеке еще стучали резкие автоматные и пулеметные очереди, зловеще лопались гранаты. Все страшнее багровело небо над пожарами, все чаще взлетали ярко-белые осветительные ракеты, а дальний горизонт будто ножами полосовали лучи прожекторов.

— Прошу, пане хорунжий!— потянул Стась Ермакова в черный провал подъезда.

Тот нащупал в кармане электрический фонарик «жучок», вытащил, но не решился нажать на рычажок крохотной динамки. На свет могли грянуть выстрелы. Чуть не в затылок дышал он пареньку, осторожно пробираясь за ним в кромешной темноте. Стась вел темными переходами, в которых тянуло гнилью и плесенью, взбирался и спускался по ступенькам, пока не добрался до крохотного дворика, над которым перекрещивались очереди трассирующих пуль.

— Посвети, пан хорунжий!— попросил Стась.

«Жучок», зажужжав, выдал слабенький лучик, достаточный, однако, чтобы осветить оконную раму с зубчатыми осколками стекол. Стась нащупал шпингалет, распахнул окно и первым нырнул в пыльную духоту. За ним Ермаков. Он спрыгнул с подоконника на пол, из предосторожности захлопнул за собой раму.

— Стась, может, здесь подхарчимся? У меня кишка на кишку протокол уже пишет.

— Добже, пан хорунжий!

На кухне отыскали горсть кукурузных зерен и заплесневелые хлебные корочки, а в ванной комнате наткнулись на воду. Пили взахлеб, не брезгуя мыльным привкусом и сильным запахом какой-то эссенции. Кукурузные зерна, крепкие, как речная галька, подолгу крушили зубами, перетирая в клейкую массу, и медленно сосали, чтобы почувствовать хотя бы видимость сытости. Хлебные корочки размочили в воде и с наслаждением выпили болтушку.

— И оболтус же я,— сокрушался Ермаков,— энзе оставил, а там шоколад, сало...

— О-о, шоколад — оживился Стась и зачмокал губами.

— До наших доберемся, угощу,— пообещал Ермаков.

В темной пустой квартире и поведал летчик варшавянину о Казахстане, Алма-Ате, в которой побывал с отцом. Запомнил Стась... Станислав Варышак его рассказ, через годы в памяти пронес. В газете пишет, что и по радио обращался, да не отозвался его побратим. И сейчас, не живи Алексей в городе, разве попала бы кому из односельчан на глаза эта газета? И не скоро бы узнал Ермаков, что жив и здоров его случайный варшавский пшияцель, что долгие годы он его разыскивает...

Уселись тогда на пол в тесном коридорчике, прикрытые от опасности дверями, ведущими на кухню и в гостиную. Стась мигом уснул, привалясь к Ивану, а тот, сжимая вспотевшей ладонью рубчатую рукоятку пистолета, настороженно вслушивался в ночную темь. Уловил далекий звук, сперва ушам не поверил. Может, померещилось? Нет, голос скрипки ему с детства знаком. У брата отца, дяди Михаила, она с гражданской войны. Неведомый музыкант прямо за душу берет. Скрипка и стонет, и плачет, покоя не дает. Потом мелодия танцем зазвучала, и опять скрытая боль, протяжные стоны сквозь плотно сжатые зубы.

Как и начала, скрипка смолкла внезапно. Парень затаил дыхание: ни звука, лишь редкие выстрелы будоражат ночь. Может, одним из них и мелодия оборвана? Всякое может случиться, на войне никто не поручится за человеческую жизнь...

— Schneller!— разбудил Ермакова резкий голос и хлесткий выстрел.— Rechts![1]

Вьюном взвился Иван и с пистолетом наготове прижался к стене. Рядом застыл Стась. Ермаков осторожно приоткрыл дверь в гостиную, прокрался к окну, выглянул через продырявленную штору и неподвижно замер. Почти рядом, шагах в трех, стояли немцы. В грязно-серых шинелях, широко расставив ноги, положив руки на висевшие на шее автоматы и карабины. Один из них обернулся, из-под распахнутой шинели выглянул черный мундир с двумя серебристыми змейками в петлице, на пилотке — череп, эмблема смерти. Эсэсовцы!

Немцы, видать, со всего квартала сгоняли поляков, обнаруженных в потайных убежищах. Пинками гнали седого старика в ермолке, от подзатыльника упала на брусчатку мостовой разлохмаченная девчонка, в стену ударилась пожилая женщина. Оцепенение у Ермакова прошло,

---

[1] Быстрей! Вправо! (*нем.*)

и он с прежними предосторожностями перебрался в кухню. Стась и на шаг от него не отставал. Осторожно оглядели пустой дворик, понимающе переглянулись.

— Рискнем, Стась! Или пан, или пропал..

— Прендзе, пан хорунжий!..

И сейчас, спустя десятилетия, Ермакову трудно представить, как они ухитрились вырваться из огненного кольца. Немцы с методической планомерностью квартал за кварталом уничтожали польскую столицу. Сперва грабили; выносили из домов мало-мальски ценные вещи и мебель, затем огнеметами поджигали здания, чтобы впоследствии взорвать их остовы. Где ползком, где согнувшись в три погибели, в смертельной близости от поджигателей, два смельчака выбрались из опасного района, грохочущего взрывами и выстрелами, полыхающего пожарами.

Короткими перебежками парни продвигались от дома к дому, залегая за стволы деревьев, садовые оградки, заскакивая в безмолвные подъезды. Тревожно озираясь, огибали подозрительные здания с распахнутыми окнами, напряженно вслушивались в каждый подозрительный звук. Удивляло Ивана, что чем дальше они пробирались, тем менее заметны разрушения.

— Швабы до уцечки жили,— помрачнев, пояснил Стась, и внезапно упал. Лежа, отчаянно махнул рукой удивленному Ермакову и тот, рухнув как подкошенный, распластался за бордюром.

Всмотрелся, впереди улица раздавалась вширь, становилась просторней. В глубине площади высился двухэтажный особняк из красного кирпича с белыми обводьями проемов, широкими итальянскими окнами. Зеленел газон, круглились купы деревьев и кустарников, на клумбах пламенели поздние цветы. Брусчатка мостовой отполирована до блеска, посреди площади виднеется чугунная крышка канализационного люка.

Оглядел Ермаков серые дома, поразился стеклам в окнах. Впервые за эти дни увидел их целыми и вымытыми. От непонятной неизвестности мурашки по спине побежали. Одно дело с врагом лицом к лицу встретиться, и совсем другое лежать на виду и ждать выстрела.

Парень поудобней поправил ножны с финкой, подполз поближе к Стасю, хотел предложить обойти это проклятое место, как почувствовал, что тот напрягся всем телом. Ермаков выглянул и остолбенел. Над мостовой шляпой приподнялась крышка люка, из-под нее высунулась рука и сдвинула в сторону, беззвучно опустив на брусчатку. По-

казалась мужская голова с пышными усами на округлом лице и исчезла. И тут же из колодца живчиком выскользнул поляк с автоматом и распростерся на камнях, поводя стволом из стороны в сторону.

Следом из люка высунулся его напарник. Сжавшись в комок, он водворил чугунную крышку в гнездо, сиганул от товарища вбок и залег. Синхронно вскочил первый, метнулся к домам, но его перехватила пулеметная очередь из красно-кирпичного особняка. Он будто споткнулся на бегу и во весь рост грохнулся на мостовую. Предсмертная судорога в дугу выгнула его, потом отпустила. Он дернулся, свернулся калачиком и затих. Усач потянулся было к выпавшему из рук автомату, но короткая очередь пригвоздила его к камням.

— Ты куда?!— перехватил Ермаков и прижал к земле взметнувшегося Стася.— Им не поможешь, а себя угробишь не за понюх табака.

— Пшеклентые швабы, чуете свою згубу...

Забился парнишка в злых рыданиях. Придерживая Стася, Ермаков жестко проговорил:

— Слезами фрицев не проймешь, они пулю понимают. Перестань, чай не маленький. Мы сейчас им покажем кузькину мать...

Ермаков ужом переполз тротуар, перемахнул палисадник и прижался к цокольной стене здания, поджидая всхлипывающего Стася. Он разом преобразился, припомнив охотничьи уроки, преподанные отцом в камышовых зарослях Алаколя. Бесшумно пробирался обезлюдевшими квартирами, пробегал сквозные подъезды, перепрыгивал садовые оградки, продирался сквозь плотноколючие заросли акаций. У Стася кровоточили ободранные руки, синевой наливалась шишка на лбу, а Ермаков до тела располосовал гимнастерку и исподнюю рубашку, искровянил грудь и лицо.

— Замри!— шепетом предупредил он Стася и залег в густо разросшихся кустах сирени.

Часовой, охранявший особняк, вышел из-за угла, дошел до деревянного грибка, опасливо покосился на труппы, лежащие на мостовой, и отправился в обратный путь. Был он немолод, похоже, труслив, но старался исправно нести службу. Ермаков мигом стянул с себя кирзачи, пистолет сунул за пазуху, а финку вынул из ножен.

— Если поднимется стрельба,— предупредил он Стася,— меня не жди, тикай отсюда.

И бесшумно исчез в кустах. Вот когда пригодились от-

цовские уроки! Дополз до дорожки, не шевельнув веточку, не зашелестев сухой травой. Затаился за плотной кроной можжевельника. Шарк... шарк... шарк. Немец обреченно озирается, похоже, боится собственной тени. Палец на спусковом крючке карабина, готов в любой момент его нажать. А выстрел помешает Ермакову, тогда он и ломаного гроша за свою жизнь не даст.

Парень с ногтя пульнул на дорожку небольшой, со сливовую косточку, камешек. Немец испуганно отпрянул, завертелся с карабином, но, не обнаружив ничего подозрительного, нагнулся к дорожке, отыскивая первопричину своего испуга. Тут-то Ермаков на него и прыгнул. Когда выпрямился, Стась оказался рядом. На остреньком мальчишеском лице зеленая бледность пробилась сквозь многодневную копоть.

— Чо тебя принесло?— рассердился Ермаков.— раз пришел, помоги фрица вон в тот ящик сунуть.

С черного хода проникли в особняк. Стася Ермаков оставил внизу, в крохотном чуланчике, а сам, засунув финку в ножны и взяв в руку пистолет, на цыпочках подобрался к широкой лестнице. По пышному ковру, устилавшему ступеньки, взлетел на второй этаж. Застыл, заслышав негромкий разговор и смех, крадучись вошел в просторный коридор.

Дверь в угловую комнату, застекленным фонарем нависшую над землей, была приоткрыта. Двое немцев в защитных френчах стояли с рюмками в руках у раскрытой фрамуги и наблюдали за площадью. На подвинутом к окну столе раскорячился ручной пулемет, с краю лежали шмайссеры. У порога на чемоданах громоздился гофр.

Ермаков, прижавшись к стене, поднял пистолет, прицелился, но опустил руку. Совесть не позволила стрелять в спину.

— Хенде хох!

Немцев будто ветром к оружию бросило, но Ермаков опередил гитлеровцев.

— Езус-Мария!— раздался радостный голос Стася.— Дырокол...

И парнишка от двери метнулся к столу, схватил шмайссер и прижал к груди. Видать, сбылась его давняя мечта.

Счет шел на минуты и секунды. Парни стаскали в кучу мебель, набросали бумаги и, уходя, подожгли. Забрали автоматы с запасными магазинами, набили карманы гранатами-лимонками. Стась выбросил свой «бульдог», обзаведясь «вальтером» в новехонькой кожаной кобуре. Прих-

ватили харч на дорогу, наполнили водой трофейные фляжки.

Первым в канализационный люк спустился Стась, предварительно пробормотав коротенькую заупокойную молитву над погибшими поляками.

— Вонища-то, не продохнуть!— невольно зажал нос Ермаков, спустившись в колодец.

— Я неделями под землей жил,— глухо отозвался Стась.— И сейчас тысячи варшавян здесь от швабов хоронятся...

Ермакову не забыть, как стыдом полыхнуло его лицо. Ведь и сам потом притерпелся к отвратительному запаху, но боялся коснуться осклизлых вонючих стен, исступленно стирал с кожи липкую паутину. А уж крысы долгие годы снились ему в кошмарных снах. Полчища жирных тварей накинулись в темноте на них и они, забыв об осторожности, автоматными очередями били по омерзительным созданиям...

Как он запамятовал фотографа! Ведь тот снимал измученных парней на утро после ночной переправы через Вислу. Усталые, изможденные, выползли они из студеной воды и наткнулись на секреты дивизии имени Костюшко. После короткого разговора в разветотделе штаба, их передали на попечение прихрамывающего поручика из дивизионной газеты. Тот, снимая, сокрушался, что погода ему не благоприпятствует, кадры могут получиться серыми, размытыми. Значит, они встречались, Стась и поручик...

Сна ни в одном глазу, незачем тогда и ложиться, будешь с боку на бок ворочаться, переживая пережитое. Уж лучше на поле поехать, забраться к трактористу в кабину и побалакать о смысле жизни, а если механизатора сон сморит, подменить на пару часиков.

Вышел со двора, глянул на степь. Над черным гребнем лесопосадки зарево перемещается, кинжальные лучи фар то сталкиваются, то расходятся. После войны первое время не мог с этой картиной свыкнуться, все мерещилось, что он на бреющем полете глухой ночью во вражеский тыл пробирается, и вдруг прожектора начинают небо, как ржаную ковригу, на ломти полосовать. Потом освоился: к миру быстрей привыкаешь, чем к войне...

Василий Скоробогатов

КРЫЛЬЯ ИКАРА

«Утро в детстве пахло голубиным пером, влетевшим со двора в окно и опустившимся на горячую от солнца подушку».

Ю. Бондарев

I

В роду Манычковых, среди многочисленных его ветвей, до этого только двоюродный брат, Михаил, болел стенокардией, и поэтому Вениамин Петрович, перенеся жестокий приступ коварной болезни, отправил письмо украинскому родственнику, прося у опытного человека совета: «что можно и что нельзя». Ответ по телефону звучал категорично: «Приезжай. Поместим тебя в нашем санатории, в Сосновке! Тут прекрасный воздух, хорошее лечение! Ты меня спрашиваешь о путевке? Путевка будет. Наш совет ветеранов ни в чем мне не отказывал. Кстати, не забудь взять курортную карту».

Брат продолжал: «Мы рады, что наконец-то ты, Вениамин Петрович, отдохнешь. Подумай о своем здоровье. У иных основная забота-работа — загорать на жарких пляжах Крыма или Сочи. И даже на Балатоне и в Варне! А ты, столько переживший, со своими ранениями и больным сердцем, по-моему, за всю жизнь не знал настоящего отдыха. Давай, гони долечиваться сюда, в Сосновку.»

Манычков понимал, что отказаться нельзя — обидятся. Придется ехать. Выписываясь из больницы, Манычков поинтересовался, не противопоказано ли ему пользоваться самолетом.

Врач тоже поинтересовался:

— А далеко ли собираетесь лететь?

---

* О т а в т о р а. В этом рассказе нет ничего вымышленного, я написал о том, что сам видел и слышал, сохранены и подлинные имена участников событий. Однако в тексте не нашлось места для цифровых обозначений полка и дивизии, под которыми они существовали. Их я опустил намеренно, чтобы до конца быть конкретным и последовательным. Ведь тогда о месте службы мои однополчане говорили: «Энская стрелковая часть» или «Полевая почта 3883». Могу, наконец, добавить, что наша дивизия и ее полки сразу же после войны были расформированы, все материалы хранятся в Архиве МО, в фонде 248.

— Далековато, доктор. Часов пять-шесть в воздухе.

— Разные бытуют мнения,— подумав, ответил врач,— особенно среди тех, кто любит порассуждать абстрактно. Но своим пациентам я не советую.

Добавил, вручая листочек, исписанный латынью:

— Вы — полковник, а полковники, даже отставные, неохотно меняют свои решения. Это я знаю. Если все же полетите, возьмите с собою лекарства по этому рецепту. Надеюсь, все обойдется благополучно. Сейчас осень, обычно у людей в это время самочуствие улучшается. Билет взяли?

— Да, на послезавтра. Как раз под первое ноября. Под мой день рождения.

— Поздравляю.

Он должен был лететь на Ил-62 из Алма-Аты утром, но по трассе полосами проходил циклон, и рейс задерживался. Пассажиры, а вместе с ними и Манычков, нервничали.

В помещении аэровокзала Манычкову стало душно, и, чтобы успокоиться, он вышел из зала, увидел скамейку со спинкой, сел, опершись спиной на ее деревянные ребра. По привычке, приобретенной в больничной палате, коснулся пальцем пульса, и сразу насчитал несколько «пауз».

Сердце «шалило»— Манычков на своем опыте теперь убедился, что со стенокардией больному нужен покой и лучше не путешествовать, тем более по воздуху. «Как глупо, что я в таком состоянии собрался в путь, и никто меня по-настоящему не отговорил»,— подумал Вениамин Петрович. Но к чему колебания? Билет зарегистрирован, в кармане — посадочный талон. А вот уже звонкий женский голос по радио называет его рейс, зовет на пункт регистрации пассажиров.

По пути в Киев в расписании значилось две посадки — в Караганде и Куйбышеве. Караганда благополучно самолет пропустила, но в Куйбышеве сидели довольно долго. Приволжские степи и город уже были запорошены снегом, и в вечерней мгле кружились «белые мухи». Одетый в леса, с заколоченными дверьми, аэровокзал ремонтировался; по соседству в наспех возведеном павильоне людей было, как сельдей в бочке, а к буфетной стойке за чаем и бутербродами тянулся длинный хвост. Посадка в самолет проходила очень поздно. Оказавшись в салоне, Манычков попросил у бортпроводницы воды, разбавить лекарство.

— Плохо себя чувствуете?— заботливо спросила она. Манычков высыпал в стакан поршок, выпил, переждал, пока пройдет немота, и вместо ответа безнадежно махнул рукой.

— Но мы все же сообщим о вас Киеву, в Борисполь, где мы приземлимся. Явится «скорая»,— пообещала бортпроводница.

Когда самолет прошел по посадочной дорожке, заглушил двигатели, у трапа Манычкова действительно встретил врач. И это было хорошо. Хорошо и то, что сестра в медпункте умела делать уколы, не причиняя боли. Шлепок ладони, и игла шприца — в теле. Поблагодарив врача и сестру, он пошел к диспетчеру, предъявил зеленые корочки своего удостоверения и поинтересовался местами в гостинице. Услышал раздосадованное:

— Транзитный? И вы еще спрашиваете. Мест нет!

Так и сказала: «Вы еще спрашиваете?»

Как обычно! Далеко ли то время, когда взамен привычного «мест нет», будет—«добро пожаловать?» Например, для ветеранов войны, транзитных или не транзитных.

Можно было, слава богу, подремать в кресле до утра. Так, наверное, и поступил бы всякий, немного подумав. Однако наши побуждения иногда берут верх над разумом. Манычков не склонен был откладывать. Чтобы следовать до Черкасс, ему надо было взять такси и ехать к другому аэродрому, в Жиляны, купить новый авиабилет. Но Манычкову пришел на ум Днепр: «Использую ветеранский талон на водный транспорт. Для чего-то ведь его выдали»,— рассудил он.

Ясно, что водный путь — не самый лучший вариант для человека в осенюю ночь. Но Манычкова почему-то потянуло к Днепру. Выйдя из аэровокзала, он сел в первый попавшийся автобус и, на ночь глядя, поехал в город.

Вот уже и киевские пригороды. Ночные улицы холодно сверкали огнями. Неподалеку от моста Патона молодой водитель на несколько секунд остановил машину и показал трамвайную остановку.

— Маршрут до речного вокзала?— уточнил Манычков.

— Он самый, батько.

В вагоне трамвая Манычков оказался единственным пассажиром.

Где-то вблизи Крещатика спустились к Подолу, проехали к площади, прилегающей к пристани. Манычков, бывший в Киеве давным-давно, все же узнал речной вокзал, на остановке вышел с чемоданом на асфальтированную площадку и остался один-одинешенек. Он, как видно, приехал сюда последним трамваем, уходившим в парк.

Что ж, до речного вокзала — приземистого массивного здания — рукой подать. Но почему же он совсем не осве-

щен? Все вокруг как бы в саже, глухо и мертво! Ни одного яркого огонька, ни одного прохожего поблизости. Все погружено в глубокий мрак. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день! Подошел ближе, убедился, что центральный вход капитально закрыт. Ну, конечно же, ехать сюда не следовало, ночью суда не ходят.

Значит, придется исправлять ошибку, убираться отсюда восвояси. Но на чем же и куда? Ночь проглотила все. Город спал.

— Черт возьми! Не вокзал, а склеп. «Гур Эмир».

Манычков едва держался на ногах. В поисках входа потащился с поклажей в руках, которая вдруг так отяжелела, вокруг здания. Шел равномерно, стараясь не сбить дыхания. Обрадовался, заметив падающий откуда-то сверху неяркий свет. Прочитал надпись: «Служебный вход».

Потянул ручку двери и она открылась. Послышались голоса. Значит, не все мертво, люди есть. Он сразу попал в зал ожидания. Двое у самого входа заняли скамью-диван, на котором сооружена была сервировка — возвышалась эмалированная канистра литров на пять, а на разостланной газете — хлеб и сало. Невзирая на поздний час, они закусывали, время от времени поочередно прикладывались к канистре, громкими голосами, гулко разносившимися под сводами зала, доказывали что-то друг другу. Правда, вначале мужчину в форме они приняли за человека, присланного властями, и приутихли, но видя, что он не собирается тревожить их, восстановили тон «беседы».

Поодаль устроилась бабка. Рядом с нею на сиденье помещалась ее перегруженная корзина; склонившись на нее, старуха дремала.

Манычков перевел дух. Покинуло чувство неприкаянности. Жить можно. Не на улице он, а в помещении — пусть нетопленом, сумрачном. Это не так уж худо, даже для утратившего было душевное равновесие пассажира. Теперь, поставив свой чемодан, Манычков прошелся, оглядывая пустые окошки касс и справочного бюро. Не найдя ничего примечательного, возвратился и сел. Следуя примеру тетки с корзиной, откинувшись на диване, Манычков тоже хотел забыться, но ему мешали надоедливые голоса тех двоих небритых субъектов.

«Они будут согреваться, пока не прикончат канистру,— заключил Манычков.— Надо поискать место потише». Он направился подальше к лестнице, ведущей на второй этаж, нащупал руками перила, стал подниматься. На площадке

различил светящуюся полоску, пробивавшуюся сквозь щель приоткрытой двери. Манычков осторожно толкнул ее.

В небольшой комнате, за стеклянной перегородкой, сидела и работала женщина в белом. Чернобровая, средних лет, довольно полная, но полнота ее не портила. Перед нею на столике лежали журнал и какие-то ведомости. Женщина перебрасывала костяшки на конторских счетах. Она подняла на Манычкова глаза. Без удивления и спокойно. Очевидно, отметила: еще не старый человек, с пепельно-серым, измученным болезнью лицом, устало опускает на пол свою поклажу.

— Добрый вечер!— сказал он, выпрямляясь. Как многие люди высокого роста, Манычков немного горбился.

— Здравствуйте,— отозвалась грудным голосом женщина.

— Прошу прощения. Я хотел бы отсюда плыть в Черкассы.

— Поняла. Утром поплывете.

— Утром?

— У нас рейсов и пассажиров мало теперь. Навигация кончается. Первым пойдет «Кобзарь». Это наш лучший теплоход. В девять двадцать утра. Вон он стоит, там,— указала женщина рукой в сторону реки.

— Посоветуйте, пожалуйста, что мне делать? Скажем, до утра?

— Отдыхать надо.

— Где?

— У нас и переночуете. Я вас устрою с экипажами, в комнате отдыха. Паспорт есть?

— А как же! Пожалуйста.

— Вам, можно сказать, повезло. Есть свободная койка. Снежок Грыцько ушел на ночь к своим.

— Снежок? А он кто?— невольно переспросил Вениамин Петрович. Ему показалось, что ослышался.

— Да Гриша Снежок, моторист с «Кобзаря». А что? Может быть, он вам родич?

— Нет, не родич.

Женщина поднялась со стула и повела Манычкова в комнату отдыха. Двустворчатая дверь распахнулась, и он увидел с десяток коек. На них, оглашая комнату богатырским храпом, отдыхали натрудившиеся за день люди — капитаны и штурманы, механики и мотористы.

— Спокойного сна.

— Спасибо вам. Не чаял, что здесь сыщутся добрые люди,— ответил Манычков. Он нашел отведенную ему желез-

ную кровать со свежим бельем, с мягкой подушкой. Снял верхнюю одежду, обувь, и, с досадой ощущая нытье в груди, проглотил пилюли. Боли в сердце утихли. Он укрылся одеялом, беспокойно поворочался и вскоре уснул.

Проспал до шести. Сквозь окно со стороны Днепра попадал в комнату слабый электрический свет. Потом незаметно исчез. Манычков снова закрыл глаза, но сна уже не было, ему вспомнилась фамилия «Снежок». Почему она вызвала в нем неясное беспокойство? Непонятно. Однако, мучительно напрягая память, Манычков понял, что эта фамилия не дает покоя совсем не потому, что редка. Где-то, в подсознании возникла уверенность, что с нею связаны какие-то события собственной жизни. Но какие? За давностью лет мудрено все припомнить.

И тут за окном раздался густой шелест крыльев. Крылья зашумели, заплескались. Слышалось громкое голубиное воркование: окно выходило на веранду, и птицы ее плотно заполонили. Им, видно, не хватало места, и они стали выяснять свои отношения. Доносилось воинственное «гур-гур».

Тут Манычков окончательно пробудился. Голубиные стаи. И рядом с ними таким знакомым всплыло имя — Снежок!

Имя из далекой военной поры. Кто же он, Снежок?

Конечно, так оно и есть — Николай Снежок, боец саперного взвода в полку, где начальником штаба был он, Вениамин Петрович Манычков. В мозгу его, как на киноленте, всплывали и гасли вопросы и ответы:

«Сколько прошло лет с тех пор?»

«Сорок!»

«Кем же может доводиться ему нынешний Снежок, на чьей койке он, Манычков, отдыхает?»

«Возможно, родственник. Или однофамилец».

Нет, нет. Однофамильца, почти наверняка следует исключить. Ведь тот, известный Манычкову на фронте боец по фамилии «Снежок», был тоже речник, с нижнего Днепра. А если это его сын? Или племянник? Или брат?

II

Воевать Манычкову, тогда еще молодому офицеру, выпало с ноября сорок второго и до конца военной службы в дивизии, входившей в двадцать восьмую, а потом в пятую ударную армию. Части дивизии наступали через степи Калмыкии, стремительно продвигались по югу Украины и осенью сорок третьего уже вышли к Днепру. Здесь при-

шлось задержаться, хотя реку форсировали с ходу. Фашисты хорошо закрепились, и полк Манычкова, отбив вражеские контратаки, вместе с другими частями занял оборону, удержав за собой так называемый Никопольский плацдарм.

В этом гиблом, заросшем ольхой и камышами месте, где простирались болота-плавни, протоки, держать оборону было невероятно тяжело. Особенно, если учесть, что подразделения саперов сильно поредели. Полковой инженер Сергей Бирюков выбился из сил — его люди работали без сна и отдыха. Начальник штаба полка посоветовал ему:

— А ты вот что: езжай-ка в ближние военкоматы. Неужели не соберут нам добрую маршевую роту? В штадиве бери наряд на людей и двигай.

Бирюков «двинул». И доставил пополнение. Да еще какое! Бывшие рыбаки, портовые рабочие, грузчики, речники. Их почти не пришлось обучать саперному искусству. Можно сказать, они были саперами «от бога». Во взводе сразу же появились баркасы, рыбачьи челны. Целый флот! Ночами стали перевозить доски, бочки, нужные бойцам в окопах и блиндажах. Среди новичков выделялся Николай Снежок, лобастый матрос, лет тридцати пяти.

В военкомате комиссия сначала забраковала Снежка, оказалось, что у него правая рука плохо сгибается. Он когда-то повредил локтевую косточку. «К строевой негоден»,— был вывод.

— Почему «не годен»? Я упал с трапа!— возмутился Снежок.

— Для нас,— назидательно произнес возглавлявший комиссию врач,— безразлично, играли ли вы в футбол или упали с трапа. Важен результат: не в порядке двигательный аппарат... Рука плохо работает. Понимаете?

Снежок продолжал настаивать:

— И все же я ворошиловский стрелок. Дайте винтовку — я покажу... А насчет руки, объясняю: разгружал баржу и оступился. Производственная травма. Есть справка.

Убеждали четверть часа. Но разговаривать было бесполезно. И Снежка направили к Бирюкову.

Бирюков сначала растерялся, увидев Снежка, явившегося из дому в маршевую роту с тележкой, нагруженной доверху. Сделал досмотр вещей — ничего лишнего. Топоры, лопаты, разный плотницкий инструмент. Смутила только клетка с голубем. Голубь-то для чего?

— Пусть с нами будет птица! Такой обычай!

Оказывается, что почти все днепровские речники — за-

ядлые голубятники. Выводили они прекрасных породистых птиц. Когда-то над приднепровскими городами и селами кружили во множестве дутыши, воркуны, турманы, трубачи. Одни, воркуя, вздували зоб пузырем, другие ходили на кругах, третьи вертелись на лету кубарем, через хвост либо через крыло. А сизари водились чуть ли не под каждой крышей.

Но Снежок держал у себя только летных голубей, почтарей. Его сердце замирало при виде красных одесских, белоснежных николаевских. Он одним из первых стал членом секции почтовых голубей при местной организации Осоавиахима, получал журнал «Голубеводство». Завидовал своим товарищам-голубеводам, бывавшим на своих конференциях, соревнованиях. Самому ему на это времени не хватало. Снежок плавал на самоходной барже по Днепру. Частенько, отправляясь в рейс, он брал с собой птицу, чтобы послать почту. А адресатом был сын Гриша, школьник.

Чтобы голубь, взятый в плавание, наверняка вернулся под родную крышу, Снежок обычно разъединял голубиную семью, рассаживая их, «короля» и «королеву», в отдельные садки. Готовя голубя в путь, Снежок одевал ему на ногу алюминиевое кольцо с регистрационным номером, который давал для почтовых голубей центр. А потом уже прикреплял портдепешник. Сажал в клетку, забрасывал ее за спину и шел на работу в порт.

Домочадцы до слез жалели «королеву», видя, как она, сверкающая красным оперением, тоскуя, мечется в голубятне, ожидая возвращения «короля».

И каким для ребят, прежде всего для Гриши, было счастьем видеть, как сиреневой точкой голубь, отпущенный из Запорожья или Черкасс, появлялся над горизонтом. Это был «король». Вдруг зависал он над домом. Потом, сделав небольшую паузу, свертывался в кольцо, падал вниз шаром. Не достигнув крыши, голубь развертывался на крыльях и спокойно садился на прилетную доску.

Гриша и его приятели с радостными восклицаниями брали крылатого почтальона в руки, несли ему корм, питье. Успокоившись, осторожно снимали с ножки портдепешник с вложенной в него свернутой в рулончик голубеграммой. Депеша переходила из рук в руки, ее читали мать, соседи знакомые...

Получив весточку, узнавали как проходит плавание, и когда вернется экипаж домой...

Началась война. Советские войска отступали с крово-

пролитными боями. У днепровских круч загремели залпы фашистской артиллерии. Небо над Никополем заволокла густая пелена дыма и пыли.

Наших сил не хватило, чтобы удержать город. И вот на его улицах замелькали зеленые фигуры врагов, послышались лающие немецкие команды. А потом на стенах и заборах был развешан приказ немецкого коменданта, требовавший сдачи ценностей и регистрации всей живности, в том числе и голубей.

Узнав о гитлеровском приказе, мальчишки побежали на шутцпункт. И там увидели они, как мордастый рыжий унтер не только регистрировал, но и забирал у испуганных теток конфискованных голубей. Здесь же орудовали ножницами для резки окопной проволоки расторопные фрицаки, с палаческой сноровкой обезглавливая крылатых пленников.

Но не исчезли голуби в Приднепровье. Хотя и немногих, но спасли их люди. Одних птиц с выщипанными перьями прятали по закоулкам амбаров и в подвалах, других, подвязав крылья, передавали родственникам в дальние села и хутора.

Семье Снежка удалось сохранить пару голубей, спрятав ее у знакомого сторожа, охранявшего опустошенную городскую мельницу. Эти птицы и уцелели.

III

О том, что в саперном взводе содержат внештатную единицу — почтового голубя, знали, конечно, все штабники. Не знал об этом только командир полка Паровышников. Сурово-строгий полковник был в части новым человеком. Когда он знакомился с хозяйством части, начальник штаба и полковой инженер ему показать саперов не успели.

Паровышников раньше был начальником военного училища. О нем рассказывали, как о требовательном командире, исключительно пунктуальном. Даже на передовой он следил за тем, чтобы воинские уставы исполнялись неукоснительно, нещадно ругал каждого за малейшие упущения, за «вольности», и «фантазии».

Что будет, если полковник увидит клетку с голубем? Как отреагирует? Этого никто не мог предсказать. Вдруг возмутится:

«Что это — подразделение или зоопарк? Убрать, елки зеленые!»

Бойцы-саперы почему-то верили, что Паровышников поймет их. Тем более, что птицу привез в полк никопольский доброволец-голубятник. Ему кое-что дозволяется сверх воинских уставов. Ходит же он в полосатой тельняшке! Потому что матрос, речной волк. И знали бойцы, каким добрым и приветливым был полковник, обнаружив старание людей, прилежность.

...В полках действующей армии, как это делается везде в частях и в мирное время, ежедневно издавались приказы по строевой части, в которых указывалось число людей, стоящих на довольствии, численность лошадей, нуждающихся в фураже. Представляя на подпись командиру полка очередной приказ, Манычков сказал:

— В строевой записке саперы не все отражают, товарищ полковник. Во взводе саперов, оказывается, почтовый голубь есть.

— И это проблема?

— Да, проблема. Люди боятся, что вы не разрешите содержать птицу.

Паровышников думал о чем-то своем, и слушал Манычкова рассеянно. А думал он о том, что плавни губят людей. Появилось много случаев фурункулеза[1]. Особенно часто болеют в батальоне Федора Гоглазина. В роту ПТР Анатолия Щинова нагрянула комиссия. Возглавляла ее врач-эпидемиолог Анна Костерина из медсанбата. Она же сочинила акт, еле уместившийся на полдюжине страниц. В присутствии начштаба полковому врачу Шухману пришлось ставить подпись под этим пространным документом. Шухман заметил: «Вы не бережете бумагу, уважаемая моя однокурсница, Анна Павловна. В институте ты была другой, Аннабель-Ли». Она его оборвала: «Здесь не институт, зауряд-врач,[2] Михаил Семенович! Коверкать женские имена неуместно, и вы побольше обращайте внимания на санитарное состояние подразделений, а не на имя». Шухман стал объяснять: «А что особенного? Аннабель-Ли — это неплохо... Имя взято из Эдгара По... Классика...»

Свой акт Костерина увезла в штаб дивизии.

Комдив размашисто наложил свою резолюцию на нем: «Тов. Паровышников! Представлял тебя к награде, но ре-

---

[1] Заболевание. Вызывалось в условиях окопного быта постоянным загрязнением кожи, сыростью, переохлаждениями. Медико-санитарная служба заботилась о предотвращении этого заболевания среди бойцов. *(Прим. автора).*

[2] Зауряд-врач — выпускник мединститута военного времени *(без диплома).*

ляцию отозвал. Не люблю фурункулов и карбункулов. Н. Галай».

— Полюбуйся,— сказал командир полка, указывая на акт. Он набросил на себя свою кавказскую бурку, кутаясь в нее.

Манычков, прочтя галаевский эдикт, рассмеялся: «Разве это первый случай? Были резолюции и похлеще». Повеселел и Паровышников. Вернулись к разговору о саперах.

— Они просят зачислить на довольствие голубя?— спросил командир полка.

— Да, просят...

— Надо с ними потолковать. И заодно проверить, что сделал капитан Шухан по санитарии и гигиене. Многое упускаем мы, не смотрим, не проверяем. Вот и прорехи то там, то здесь. Сегодня во взводе завелся голубевод, завтра — пчеловод. Так дело не пойдет!

В это время, гремя большими медными шпорами, зашел в штаб начальник разведки Николай Полтавец. В руках он держал суточную разведсводку.

— Разрешите доложить?

— Докладывайте.

— Есть данные, что генерал фон Шверин отводит в тыл свой полк с высоты «Зубастой», где находился его НП. Сегодня ночью высоту заняли подразделения, укомплектованные «тотальными», переброшенными из Богемии. Точнее, стариками из контингента последних гитлеровских мобилизаций.

— Хорошо,— ответил полковник. После этого, обменявшись мнениями, штабники договорились подготовить план расширения плацдарма за счет высоты «Зубастой». Лучше всего, если ее возьмет батальон Гоглазина, люди которого сидели буквально в воде. Идею одобрил штаб дивизии, Паровышникову сказали: готовьте людей к операции. Брать высоту эту рано или поздно придется.

Паровышников и штабники отправились в батальон Гоглазина. Они убедились, что бойцам и в самом деле «отсиживаться» надоело. Люди ждут настоящего дела.

— Теперь веди к саперам,— кивнул полковник Манычкову.— Где они обитают?

— Пойдем отсюда наискосок, под кручу. Они под нею устроились. Там сухо. Фурункулеза, кстати, у них нет.

При входе офицерам пришлось немножко нагнуться. А дальше можно было идти по ступенькам вниз во весь рост. Когда в землянке показались офицеры, раздалась команда:

— Смирно!

Паровышников, выслушав рапорт, дал команду: «Вольно!». Снял бурку, папаху, поправил свою седую шевелюру волнистых назад зачесанных волос. Осмотрелся. Вход прикрывает полог, сшитый из плащ-палаток. Нары, стол сколочены добротно, для гостей имелись «кресла»-чурбаки. Поодаль виднелась железная печка, от которой шло тепло. Пол устилала золотисто-желтая солома. Тут любому эпидемиологу понравилось бы.

Полковник усадил бойцов, в красном углу блиндажа уселся сам и взглянул на солдат. Они, разумеется, отличались друг от друга и по характеру, и по внешнему виду, но сейчас, в землянке, их серьезные озабоченные лица казались удивительно похожими, объединяясь в сознании командира полка в один собирательный образ — саперы. Людей сроднили, свели в одну семью спайка, взаимовыручка. Вытащив пачку «Казбека», Паровышников разрешил курить, но курящих «не оказалось». Зато капитан Щинов набил табаком и зажег свою трубку.

— Как живете, друзья?— спросил Паровышников.

— Да так, ничего,— за всех ответил Снежок.

— Вижу,— согласился комполка. Справился, аккуратно ли доставляются письма, есть ли газеты? Бывал ли кто из санчасти? Да, бывают, только что ушел доктор Виктор Иванович Соловьев, посланец Шухмана. Бойцы на этот раз предпочли не обращаться с просьбами и жалобами. Паровышников сделал паузу. Потом продолжил разговор:

— Я человек любознательный. Говорят, у вас есть боец-голубятник? Правда? Есть чем похвастаться?

— Сию минуту!— воскликнул смутившийся Снежок. Что-то мальчишеское было в движении, каким он подался вперед, извлекая клетку из-под нар и подхватывая голубя.

— Дай-ка мне его!— попросил Паровышников. Взял птицу. В руке сразу оказались и крылья, и хвост, а ножки — между средним и указательным пальцем.

Солдаты переглянулись: командир полка, оказывается, знал толк в голубях! Так берет голубя только тот, кто имел с ним дело! Затаив дыхание, саперы ожидали, когда полковник осмотрит красавца. Птица ему понравилась. Он отметил ее нежное сложение, изящество, красивое оперение.

— Ого, да он с номером!— воскликнул комполка, заметив алюминиевое колечко на ноге птицы. Командир полка обвел взглядом бойцов и усмехнулся, отчего кожа лица мелкими морщинками собралась вокруг глаз. Снежок откликнулся:

— Кроме номера там обозначена и кличка: «Икар». Ему уже пять лет.

— Ну, кличка — это добрая воля хозяина, а почтовый голубь по уставу только нумеруется.

— Вы бы посмотрели, как он купается! Мы достали тазик. Стоит налить воду — он уже там. С удовольствием плещется в воде, поднимает парусом то одно, то другое крыло, распускает веером хвост. Кликнешь: «Гули-гули-гули»,— отзывается.

В это время помкомвзвода, грузный рябоватый сержант, принес большой чайник. На столе поставили банку с медом, целую гору блинов и кружки.

— Совсем, как в гостях у кумовьев! Давайте, давайте. Я порядком промерз,— заметил комполка. Бойцы знали, что полковник вечно ходит простуженным и надеялись, что особый чай, который они приготовили, его подлечит.

— Чай, товарищ полковник, у нас с вересковым медом. Правда, мед немножко горчит, но это не горечь, а терпкость. Простуду как рукой снимает. Одному нашему корешу теща привезла. Наши-то недалеко!

— Что ж, попьем,— сказал комполка, беря кружку и отхлебывая из нее. За кружками потянулись бойцы. Настроение поднялось.

Много интересного услышали в тот вечер бойцы от своего командира полка. Узнали, что Паровышников был ефрейтором в царской армии. И у него были земляки, служившие на почтово-голубиной станции!

В первую мировую войну уже были и телефон, и телеграф, и радиосвязь. Но в армиях России, Германии, Франции, Англии держали на службе и голубей. Тщательно продуманная и отлаженная сеть почтово-голубиных станций занимала свое место в стратегических и оперативных планах штабов. Штабы во многих случаях получали необходимую информацию только с помощью голубей. Ценили почтовиков за их мастерство одиночного полета — они летают со скоростью 80—90 километров в час — за хорошую ориентировку, способность находить родную голубятню. И понятно, что существовали и меры борьбы против крылатых связистов. Раскидывались посты, где держали специально обученных истребителей-ястребов, которых и выпускали, заметив в воздухе почтового голубя.

Во время гражданской войны в частях и партизанских отрядах голуби во многих случаях были просто незаменимы. В тысяча девятьсот двадцатом году Севастопольская

почтово-голубиная станция попала в руки белых. И когда черный барон Врангель со своим побитым воинством, воровски захватив исправные корабли Черноморского флота, ускользнул за границу, увезены были и голуби, их потом продали в Германию. И что же? Многие птицы, вырвавшись из плена, вернулись в Севастополь, пролетев почти две с половиной тысячи километров[1].

— Наши дивизии, воюя с фашистами, обходятся без голубей,— закончил свой рассказ командир полка,— но пусть ваш красавец скрашивает окопный быт, побуждает стремление крепче бить врага.

Заговорили о том, когда можно будет отпустить голубя в Никополь. Хорошо, если бы Икар принес в свой родной город какую-либо радостную весть.

— Радостной вестью,— подсказал полковник,— будет освобождение нашей земли от гитлеровской нечисти. Вот выйдем на Днестр или на Прут — отпускайте голубя к его «королеве».

В отменном настроении Паровышников и другие офицеры покинули блиндаж. И с этого времени почтовик Икар стал птицей полкового значения.

IV

С Никопольского плацдарма полк вместе со всем фронтом совершил бросок на запад. На пути вставала мартовская слякоть, ранние весенние дожди превратили степь в болото. Часто бойцы тащили пушки на руках: лошади в залитых грязью колеях рвали упряжь. Застревали грузовики. По пути попадались брошенные немцами пушки без замков и с взорванными жерлами стволов, танки, «фольксвагены» и «оппели».

Раздавив вражеский оборонительный пояс, наши войска взяли Николаев. И дальше вал наступления, по полям и через лиманы, покатился на Одессу. С моря дул сырой ветер, низко пронося клочья апрельского тумана. Рвали воздух взрывы снарядов. Шоссе обстреливалось корабельной артиллерией. На участках, где фашистам удавалось закрепиться, разгорались жаркие бои. «Лютуют, гады,— говорили бойцы.— Но напрасно...» Саперы наводили мосты и переправы, вместе с разведчиками резали проволочные заграждения и прорывались во вражеские

---

[1] Исследования показывают, что голуби обладают чувством ориентирования. Оно основано на воздействии магнитного поля земли, которое воспринимают в той или иной мере другие птицы и животные.

тылы, блокировали и взрывали долговременные огневые точки. Фашисты, боясь десантов с моря, навалили здесь сплошняком мин. Каждая из них таила черно-желтую тротиловую смерть. И стоило только машине, повозке или бойцу свернуть с разминированного шоссе, как раздавался взрыв. И приходилось лишь снимать шапку, глядя на рваное железо и кровавое месиво.

У поселка Свердлово, после короткого боя, подразделения снова пошли вперед. Комполка, обгоняя колонну, увидел и узнал Снежка. Боец медленным матросским шагом, вразвалку, шел за перегруженной подводой, в которую были впряжены астраханские мохнатые лошадки. С фигуры шагающего сапера, одетого в стройбатовский бушлат, свешивались саперные инструменты, вещмешок, автомат и гранаты на поясе. Косо сидящая на голове шапка придавала ему бравый вид.

— Как дела, матрос?— обратился к Снежку комполка.

Боец распрямил плечи и приложил руку к виску:

— Нормально. Работаем! У нас на Днепре было так: работать — когда нужно, отдыхать — когда можно. Видите новенькую колесную спицу? Старую вчера вышибло осколком. Мина рядом взорвалась.

— А связист твой Икарус, то бишь Икар? Не пострадал?— спросил Паровышников.

— Нет. Он с нами наступает, товарищ полковник,— ответил боец.

На повозке среди наваленных лопат, топоров, мин и миноискателей виднелись торба с овсом и большая клетка, в которой был упрятан почтовик Икар.

— Берегите своего крылатого приятеля.

— Постараюсь. Мы за него горой стоим. И я, и весь взвод,— ответил Снежок.

Он сам и бойцы взвода немного завидовали солдатам из особых саперных частей, которые обгоняли их в «студебеккерах» с понтонами, ящиками со взрывчаткой, другим солидным инженерным имуществом. Но если бы им предложили оставить взвод и пересесть в железный кузов «студебеккера»[1],— вряд ли кто согласился. Они дорожили своим маленьким подразделением.

В Одессе были жаркие схватки. Стреляли из окон и подворотен, с чердаков и крыш. Город окутывала пелена из дыма и тумана. Но батальоны быстро продвигались вперед. Командиры торопили: «Скорей, скорей! Ребята!»

---

[1] Марка автомобиля, использовавшегося во время войны.

По пути попадались обгорелые дома, груды щебня. Автоматные очереди раздавались на Садовой, Дерибасовской... В коротких, быстротечных мгновениях штурма не заметили, как приблизились к площади перед великолепным, роскошным оперным театром.

И тут же над оперным театром заполыхал кумачовый стяг... Одесса взята! Одесса освобождена! Грохот боя стал удаляться. Радость охватила горожан, они заполнили улицы, площади, бульвары и переулки, скверы и парки. Одесситы обнимали своих освободителей, передавали букетики цветов, приглашали в дома, угощали бутербродами, чаем, кофе, румынскими сигаретами. Когда саперный взвод оказался на Пушкинской улице, какая-то молодая красивая женщина в дождевике и парике, заметив повозку с клеткой и голубем, подарила Снежку бутылку отличной «цуйки» и тоненькую, отпечатанную на серой бумаге книжечку с именем писателя И. Бабеля. От нее пахло французскими духами. Книжечку «История моей голубятни», оказывается, напечатали одесские партизаны, скрывавшиеся в катакомбах.

Во взводе читали замечательный рассказ Бабеля уже на Днестре. И тогда же было решено: хватит! Пора отправлять Икара в путь. Кто-то предлагал дождаться выхода на Прут. Но большинство высказывалось за немедленную отправку Икара. Когда, воспользовавшись случаем, боярская Румыния вероломно захватила Бессарабию, по Днестру некоторый период проходила государственная граница.

Донесение содержало всего несколько фраз: «Привет с Днестра. Фашистам каюк. Ефрейтор-орденоносец Снежок и еще восемнадцать саперов».

Беспокоил выбор дня. Он должен быть погожим. Такой день, наконец, выдался. В середине мая. Капельки росы посеребрили траву. Взошло оранжевое круглое солнце. Небо вокруг было чистое-чистое, лишь кое-где его покрывали легкие кучевые облака. В этот ранний час немцы не вели обстрелов и бомбежек. Они, видно, отложили это на вечер. Снежок покормил Икара с рук конопляным семенем,— лакомством пернатого друга. Напоил его, погладил: «Ну, милый, не подведи!» Затем посадил на крышу клетки в направлении полета.

Икар жил в клетке во взводе больше четырех месяцев. Выгулы были, были купания и тренировки. И все же... Не ослаб ли он? Долетит ли? Свой маршрут он знает. Сил бы хватило!

Голубь чуть-чуть расширил свои темно-лиловые глаза, огляделся, распустил крылья и взлетел! Он сначала поднялся не очень высоко, сделал три круга над батальонами полка, стремясь сориентироваться и избрать верное направление.

...И голубь полетел круто вверх. Оказавшись в бескрайней вольной стихии, Икар уверенно взял курс на восток, туда, где он появился на свет и грелся в гнездышке, получал корм и впервые взлетел над хрустальной прозрачностью зеленеющих берегов великой реки, где гудели голоса судов, сухогрузов, пассажирских теплоходов, качающихся на крутой волне Славутича. Курс на Никополь. На восток, домой. Саперы махали пилотками, кричали:

— Попутного ветра!

— Ни пуха, ни пера!— подбодрил птицу толстяк-помкомвзвода. Грубую шутку сочли неуместной. Она вызвала укоризненные взгляды.

Почтовик первые полсотни километров летел навстречу солнцу, вдоль шоссе, которое внизу, извиваясь словно змея, повторяло ленту морского побережья. Над ним с громкими криками метались белые тугокрылые чайки. По шоссе двигались колонны войск, разный транспорт, схватывался сизый дымок над танками, то здесь, то там сверкали молнии, с грохотом вспыхивали облачка разрывов зенитных снарядов, отгонявших стальных стервятников с черными крестами на хвосте. Икар их не понимал и не боялся, но взрывные волны достигали и его крыльев.

И вот фронтовой район остался позади. Остались позади тяжелые восходящие воздушные токи.

Воздух сначала был окрашен лазурью, потом чуть позже принял синеватый оттенок. Икар летел, повернув голову вправо, разглядывая холмы, овраги, лощины, тропы, дороги, рощицы, одиночные деревья у дорог.

В поле люди работали лопатами и мотыгами. Не замечалось кошек, собак, домашней птицы. Пустовали пруды и озера. Редко-редко можно было видеть лошадь или корову.

Над вытянувшимся вдоль оврага селом, в центре которого вздымалась руина здания, с полусгоревшей церковной колокольни поднялась стайка голубей. От стаи отделилась птица. Эта красногрудая голубка сильно походила на никопольскую «королеву». Она заметила пернатого путешественника, отстала от своей стаи, пересекла трассу Икара. Свечой взмыла она вверх, на миг оказалась выше почтовика и, призывно махая крыльями, застыла в лазурном воздухе. И тут же перед ее глазами мелькнули, со свистом

рассекая воздух, крылья свирепого сапсана. Нагрянула беда. Хищник сапсан[1] ударил сверху в спину голубку. В воздухе закружился пух. Хищник когтями подхватил бездыханное тело, стал не спеша спускаться и полетел низом к морю. Там сапсан уселся на скалу и принялся клевать добычу, глубоко вонзая в нее свой ненасытный клюв.

Морские чайки и голуби, кружившие неподалеку, испуганно захлопав крыльями, улетели прочь.

Икар резко уклонился на север и ускорил полет. Скорость — основная защита для голубя. Полет с этого момента продолжался в сухом степном воздухе — бодрящем и легком.

Икар стремительно летел вперед и вперед, крылья его слились с солнечным светом. В нем слышалось ласковое воркование «королевы». С высоты птичьего полета виден был Ингуленц с его илистым дном и мутной водой; петляя, река вливается в море. Дымились селения, угадывались мосты, белые дороги и зеленые поля. Мошками казались висевшие внизу жаворонки. Икар не ощущал усталости, он лишь испытывал голод, но это придало ему энергии, он заторопился. Порой Икар сбивался с пути. Тогда приходилось менять направление, отыскивать известные ему ориентиры. Последний раз поправить курс удалось только возле Каховки, но и то крылья вынесли голубя сначала к островку Хортица на Днепре.

Дул ветер, река пенилась.

Здесь Икар почти под углом повернул на юго-запад.

Теперь он еще острей почувствовал голод и жажду. Внизу нес свои воды могучий Днепр. В одном из затонов в лодке колыхались на воде два старца рыбака. Они заметили птицу и стали смотреть вверх, по маршруту ее полета: откуда и куда летит этот турман-храбрец?

— Не из Немеччины ли?

— К голубке торопится! Ради нее он пойдет в огонь и в воду.

— Крикнуть бы ему пару добрых слов.

— Да не услышит.

— Дома его ждут, там ему скажут...

Ориентируясь на реку, почтовик уже легко мог попасть домой.

Показался большой город. Его трубы и дымы, квадраты кварталов, линии строений обрывал речной берег, затененный тополями и вербами.

---

[1] Сапсан — сокол. Нападает на голубей, казарок и других птиц, убивая их на лету.

Никополь!

Конец пути!

Опасный и долгий путь закончился благополучно. Это был праздник. Праздник для домочадцев Снежка — сына Гриши, его матери, одноклассников, праздник для всей улицы и всех-всех, кого оповестила городская газета об удивительном событии — о возвращении с передовых позиций фронта бесстрашного почтовика Икара. Но он, почтовик, не ведал, что его перелет был чудом мужества. У птиц таких понятий нет. Они живут — и все.

Опустевшая было Снежковская голубятня вновь наполнилась воркованием.

V

Маршал Жуков решил взять с юга к себе, на первый Белорусский, пятую ударную армию. И ставка разрешила ему это сделать.

Манычков уже не помнил в деталях, как грузились батальоны и батареи полка в вагоны, сколько дней эшелоны были в пути, когда полк оставил леса, болота и покрытые водяной пылью хуторки под Ковелем, где всю осень готовили бойцов к наступательным боям...

А потом — это уже было на Висле, в Праге-Варшавской, в ноябре — в часть на новеньком «виллисе» приехал деловитый и энергичный офицер. Несмотря на холод, он был в фуражке и хромовых сапогах. Свою светло-зеленую шинель английского сукна оставил в машине.

В низком каменном строении, где расположился КП, он встретился с командиром и начальником штаба полка. Назвал себя: порученец[1] командующего фронтом.

Открыв никелированные замки большого желтого кожаного портфеля, порученец извлек из него зеленую папку с наклейкой: «На доклад командующему», а из папки — конверт. Нет, не прошитый нитками и опечатанный сургучом пакет серии «К» или с грифом «секретно». В его руках оказался обычный простенький самодельный конверт, склеенный из листков школьной тетради, и с адресом, написанным фиолетовыми чернилами, неровным ученическим почерком.

Порученец сказал, что маршал Жуков получил письмо от группы никопольских школьников, касающееся рядового саперного взвода энской дивизии Николая Снежка.

---

[1] Порученец — лицо, выполняющее особо важные задания командующего.

Ребята писали о том, что они ежедневно слушают радио и от передач всегда у них в школе большое оживление. Все рады, что маршал Жуков и его солдаты гонят фашистов взашей, все дальше и дальше, и что скоро наши солдаты доберутся до рейхстага и самого главного фашистского бандита — бесноватого фюрера.

Воюют в жуковских войсках и солдаты из Никополя. Например, отец их одноклассника — Николай Иванович Снежок. Он воюет хорошо, однажды домой приходило письмо от командования с благодарностью после того, как дядя Коля был награжден орденом Славы III-й степени.

Свое письмо ребята решили написать, узнав из газет о подвиге пионера-ростовчанина Вити Черевичкина, который был связным в партизанском отряде. Свои донесения Витя Черевичкин[1] передавал из оккупированного города голубиной почтой.

Читая письмо, маршал узнал, что солдат Снежок на фронте тоже имел почтового голубя. Но с Днестра он отпустил его домой. Голубь принес депешу, адресованную ребятам. Теперь с дядей Колей голубиной связи нет, и это плохо.

В конце письма ребята просили разрешения приехать на передовую к Жукову с птицами-почтарями. Когда радиостанция в штабе вдруг выйдет из строя — то можно будет их использовать, посылать донесения и сводки.

«В школе у нас уже второй год есть кружок голубеводов. Члены кружка вырастили и натренировали для фронта голубей и хотят привезти их на фронт. Нас четверо: Григорий Снежок, Вячеслав Братко, Петро Броневицкий и Григорий Гузь. Мы приедем...»— говорилось в письме.

По тону письма чувствовалось, что «пацаны» явно не намерены были мешкать.

Офицер, читавший письмо, умолк.

— Что делать? Задачку дети задали, нечего сказать,— заметил командир полка.

— Они должны остаться дома, эти будущие призывники. Таков приказ маршала. И его надо передать в пионерскую организацию школы. Но не письменно, через военкомат, а нарочным.

— Как же?

— Очень просто. Направить в Никополь сапера Снежка. А уж он там на месте, в школе растолкует.

---

[1] *В. Черевичкин* — ш к о л ь н и к-герой, казненный гитлеровцами. В Ростове-на-Дону ему сооружен памятник: поставлена скульптура мальчика с голубем на плече.

— Будет сделано!— ответил командир полка.

Разговор закончился. Манычков, провожая гостя к «виллису», стоявшему за оградой палисадника среди огромных кустов рябины, заговорил с ним.

— Хочу задать один вопрос, товарищ подполковник.

— Пожалуйста.

— Я окончил педучилище, практику проходил в школе. В чисто человеческом плане мне интересно: как реагировал командующий фронтом, читая письмо от никопольских ребят?

Офицеры остановились возле вездехода. Где-то гулко рвались снаряды, сыпал пулемет. Далеко это или близко — понять было нельзя.

Порученец, державшийся до этого сухо, официально, улыбнулся, сорвал несколько красных ягод с куста, разжевал их, поморщился, зябко дернул плечом.

Ответил:

— Наверное, он увидел в этом особый случай, товарищ капитан. Маршал не только военачальник с огромной властью; он — отзывчивый человек, имеет семью, детей. Он поступил по-отцовски. Немного рассердился вначале, сказав: «Вот придумали что, гаврики!» Потом задумался, сделал на письме карандашную пометку и сказал в своей обычной суровой манере: «Найдите этого солдата! Отпустите домой на побывку. Пусть сделает ребятам внушение. Не то они и в самом деле сорвутся и удерут! Они обязаны помогать родителям, расти и учиться.»

— Так и сказал?

— Так. Вздохнул, поднялся из-за стола, подошел к окну и долго курил.

— Мне теперь ясна мысль маршала,— заключил Манычков.— Мол, каждому поколению — свое. Придет пора для них, придет время, когда эти ребята будут определять военную судьбу страны. Мы оформим саперу-голубятнику командировку.

— Да, это будет логично. Именно, не отпуск — это не позволяется, а командировку, в порядке исключения, оформить можно,— ответил порученец, открывая дверцу «виллиса». Когда Манычков вернулся в штаб, там уже находился Снежок. Для выражения радости он не находил слов. Всех до глубины души тронули распоряжение маршала, его забота о солдатах и их семьях.

Манычков помнил, что солдат побывал дома. Но привозил ли он в свою часть почтового голубя? Об этом в памяти следов не осталось. Возможно, привез.

Что же было потом? Знал Манычков и о судьбе солдата, знал, что не дожил он до победного дня. Как это произошло? Сам Манычков не видал. По рассказам же очевидцев выходило так.

Полк вел бои с «пятачка» на левом одерском берегу. Обстрел наших позиций фашисты вели с укреплений за кладбищем, где у них были огневые точки и посты наблюдения. Бойцы рядом удерживали земляную дамбу и потери были значительными.

Через реку действовал паром, старшим на пароме был Снежок.

Разыгрался шторм. Но паром бесперебойно делал рейсы, эвакуируя раненых. Мощные встречные волны на этот раз захлестывали платформу, нещадно били о борта и заливали ее так, что на буксирном катере вылетели иллюминаторы, над рубкой погнулась радиомачта, помпа еле успевала откачивать воду. В эту пору люди плыли под огнем, среди гула и грохота, меньше опасаясь волн, чем вражеских пикировщиков. Укрыться негде, бежать некуда. Уже приближались к берегу, и вдруг над паромом с ревом появились Ю-87. Обрушились бомбы, буксир был поврежден. Платформу сорвало и опрокинуло.

Убиты были многие. Раненые и оглушенные тонули в ледяных водах.

Кто-то видел, как Снежок все же выплыл, пытался спасти тонущего офицера, но и себя не сберег.

Манычков этого не забыл.

«Так кем же ему, Николаю Снежку, доводится этот речник, с такой же фамилией?»

Зовут его Григорий. Сына Снежка, помнится, тоже звали Гришей. Но это ни о чем не говорит. Могут же быть совпадения! Размышляя об этом, Манычков оделся, побрился, умылся и стал медленно ходить по комнате отдыха речного вокзала, останавливаясь то в одном месте, то в другом.

Пошел в диспетчерскую и увидел там заканчивающую свою смену дежурную по речному вокзалу. Она стояла в бежевом костюме и причесывала волосы. Вениамина Петровича заметила через зеркало и обернулась.

Женщина приветливо улыбнулась. Манычков поприветствовал ее и спросил:

— Где же ваши капитаны? Где знаменитый Снежок?

Женщина поняла, что интересует пассажира. Ответила:

— Балакала я по телефону с гришиной тещей, сказала про то, что для него здесь есть новости — незнакомый пол-

ковник спрашивал его. Сказала: мол, он проездом из Казахстана и будет плыть до Черкасс по своим делам. Но вот лышечко: «Кобзарь» сегодня не поплывет, и Грыцька я не захватила.

— Плохи дела!

Видя, что Манычков расстроился, стала успокаивать: «Ступайте в кафе внизу, позавтракайте, там подают хорошие галушки, хотя, конечно, похуже, чем в харчевнях на Крещатике. Не надо тревожиться: «Вега»— быстроходная ракета, ее снаряжают. Она моментально вас доставит. На подводных крыльях».

— Я и сам уверен, что доберусь в Черкассы.

— Доберетесь! Вам поспешать не треба,— продолжала дежурная.

— А что же, как же быть с Гришей Снежком?

Женщина еще раз обстоятельно пояснила, что Грыцька она не застала, ей сказали, что он на рассвете уехал на судоремонтный завод. Что-то там у него на судне не ладится с компрессором. Об отмене рейса он узнал от кого-то из членов экипажа.

— Вин гарный работник,— охарактеризовала она Снежка.

— Да, так и должно быть. Я знал одного Снежка на фронте, тот был тоже человек что надо. Делил пополам с товарищами и хлеб, и бинты.

Пока женщина, всплеснув руками, причитала, горюя, что моторист Гриша так и не повидает гостя, Манычков вырвал из блокнота листочек, черкнул несколько слов и свой адрес. Свернул листочек вчетверо и обозначив имя адресата: «Снежку», Манычков отдал его дежурной.

— Исполните мое поручение. Если это сын Снежка — моего однополчанина, скажите ему, что жду его в Алма-Ате или в Черкассах.

— Исполню обязательно. Бачу, вы дуже хворый. Может быть, проводить вас на катер?— обеспокоенно заметила дежурная, жалея стареющего бесприютного человека.

— Благодарю. У меня голова болит и мне нужен всего лишь аспирин. Пойду сам, загляну в аптечный киоск и буду ждать «Вегу».

VI

На улице было холодно и неуютно. И не было надежды, что остывший ночью воздух нагреется. Плескались свинцовые волны. Манычков, сделав запас лекарств, вышел на

набережную. Он смотрел на утреннюю суету пробудившегося речного порта и думал. В его памяти воскресало многое из того, что было пережито сорок лет назад, на фронтовых дорогах. Словно в кинокадре, он видел переправы. Иногда — это понтоны с настилом, по которым проходили и железнодорожные составы, но чаще шаткие сооружения из бревен, досок, оказавшихся у саперов под рукой. Переправы служили врагу мишенью. Противник крушил их бомбами, минами, снарядами, расстреливал из пулеметов. Манычков получил два ранения, и оба раза — на переправах.

Видения вспыхивали и гасли, вызывая щемящую боль в окаменевшем сердце. Манычков начал воевать на Дону в сорок втором. Отбивая вражеские атаки, в мутных донских водах погибли многие его товарищи.

Горькие утраты!

Миус и Кальмиус. Через эти неказистые речушки под многоярусным вражеским огнем полк переправлялся вброд. Коснись их дна — нащупаешь в любом месте черные от ржавчины мины, каски, осколки. Каменистое дно это служило и могилой.

У переправ через Днестр погибла та, которую любил он первой любовью. Она, Анна Костерина, однажды приезжала в полк по делам, а вторично Вениамин встретил ее в политотделе, в группе солдат и офицеров, получивших боевые награды. В тот день двадцатидвухлетнему капитану Манычкову начальник политотдела дивизии от имени Президиума Верховного Совета СССР вручил орден Александра Невского. И начальник политотдела, и все присутствующие на церемонии горячо поздравили капитана. Его узнала и поздравила Анна Костерина, та, которую полковой врач называл английским именем «Аннабель-Ли»,— от его ответного железного рукопожатия она вскрикнула. И тут же засмеялась:

— Ну и сила! Не рука, а медвежья лапа.

Пришлось краснеть и объясняться. Мол, что поделаешь, слишком много занимался гимнастикой. Переборщил.

— Охотно прощаю,— сказала она.— Орден-то, орден каков: полководческий!

Отсюда Манычков увел ее на концерт популярной исполнительницы волжских частушек Розы Баглановой[1], приехавшей из предгорий Алатау в прифронтовую зону, дивизия стояла тогда во втором эшелоне.

---

[1] *Багланова Роза Тажибаевна* — ныне народная артистка СССР.

— А вы строгая,— сказал он, обрисовав впечатление, которое она произвела на него во время инспекционного посещения полка.— Мишель Шухман даже похудел, выполняя ваши рекомендации.

Анна весело ответила:

— Ничуть не строгая. Миша — славный парень, но с ветерком в голове. У нас в институте заводилой был в сфере художественной самодеятельности. Считал себя артистом. Но Утесова из него не вышло.

— А зачем это ему? Главное — он хороший врач. Слышали голос нашей Розочки? Лучше ее спеть нельзя!

Извинившись, Анна попросила у своего спутника-«полководца» разрешения отлучиться на четверть часа. Палатки медсанбата располагались рядом. И пока на полянке, среди кустов акаций, в суете и возгласах, готовился настил для эстрады, собиралась публика, Анна вернулась в другом обличье — вместо гимнастерки с погонами на ней была тонкая белая блузка из креп-жоржета, черная крепдешиновая юбка. А на ногах были не сапоги, а лаковые туфельки. И в этом праздничном наряде она стала похожей на студентку-первокурсницу.

— Зачетной книжки не вижу,— шутя заметил Вениамин.

— Зачетка в институтском сейфе хранится,— пояснила Анна,— нас с четвертого курса мобилизовали. Сочли, что мы уже готовые доктора.

Была южная весна, с сиренью и буйным цветением вишневых садов, с пьянящим воздухом и чистотой молодости.

А с эстрады уже звучало:

Эх, Самара-городок!
Не спокойная я,
Не спокойная я,
Успокойте меня!

Хватающие за душу, немудреные слова песенки, обаяние юной певицы порождали лирические размышления и вызывали у собравшихся восторженные рукоплескания. Точнее — вулкан рукоплесканий. И здесь Вениамин осторожно обнял худенькие плечи Анны. Девушка не отстранилась.

Скупые встречи. Их было совсем не много — можно сосчитать по пальцам. При расставании ее глаза переливались цветами — от голубого до ультрамаринового. Анна и Вениамин пообещали искать друг друга после победы. Как это в стихотворении:

«И, любовью дыша, были оба детьми,
В королевстве приморской земли.
Но любили мы больше, чем любят в любви,—
Я и нежная Аннабель-Ли».

Но очень скоро, в одно благоухающее июньское утро война переиначила судьбу. Вениамин сначала онемел и не сразу поверил, что все кончено, когда подружка Ани, захлебываясь от рыданий, сообщила ему по телефону скорбную весть. Во время вражеского артналета Анна переправлялась на плацдарм и была смертельно ранена. Осколки впились ей в позвоночник, попали в голову. В медсанбате он застал ее еще живой. Укрытую белым, на носилках. Она была без сознания, и санитары спешили доставить ее на операцию. Анна на какое-то мгновение как бы ощутила присутствие Вениамина, открыла глаза. Что-то вроде слабой улыбки радости мелькнуло на ее бескровном лице: «Видишь, меня несут... словно знатную римлянку...»

На операционном столе она скончалась.

По Днестру всю весну и все лето плыли трупы убитых. А мертвенно-холодные волны Вислы? А лед Одера, покрытый кровью и гарью?

Раны и недуги позже настигали и тех, кто уцелел. Долго и тяжело болел застудивший легкие и почки Михаил Гаврилович Паровышников. Он перенес несколько операций и скончался в госпитале.

Манычков не мог и никогда не сможет спокойно смотреть на шири рек, принимавших свинец и кровь. В плеске воды ему чудятся завывания ветра, рыдания и стон. Сколько здесь оборванных жизней! Манычков слышал о трогательном старинном обычае, бытующем испокон веков, чтить память моряков, не вернувшихся из плавания. Родные приходят к морю, подолгу всматриваются в его дали и в знак траура бросают в воду перевитые крепом живые цветы.

Вот Днепр, река дважды в минувшую войну ставшая безымянной могилой для многих. Его тихие темные воды несут сейчас только россыпь пожелтевших листьев, сорванных ветром с дубов, верб, берез и плакучих ив... Он почувствовал источаемый ими горьковатый аромат.

Пасмурное небо немного прояснилось. Скудное на тепло солнце обещало хорошую погоду. С набережной отчетливо был виден город. Древний и молодой Киев. Отсюда его строения напоминали изометрический чертеж. Одни дома рвались к небу, другие на большой высоте сверкали ярусами окон, лоджий и балконов, линиями стекла.

Белели колокольни Софийского собора, золотились его

купола, на Владимирской горке различались большой крест и фигура легендарного князя Киевской Руси.

Полковник смотрел на Киев — мать городов русских, на панораму, видел и не видел то, что вставало перед его взором. Даже в мыслях трудно совместить жизнь с ужасами войны. Как избавить людей от огня и разрушений? Да, давно погасла война в Европе. Но и после победного сорок пятого не было на земле ни одного полного мирного года. После Гитлера выпустили эту войну на волю вояки из Вашингтона. Они и их подручные то там, то здесь убивают и сжигают, топят все живое.

Довелось Манычкову увидеть все это воочию, когда из стен академии его, преподавателя истории, пригласили для изучения древностей в Египет. Уже в Александрии, во влажном дыхании Средиземного моря, он ощутил знакомые ему запахи паленого железа и сажи, и знал, что к этому смраду постепенно можно привыкнуть. Привычными были невообразимая суета и транспортные пробки на скрещениях дорог — столь плотно шли колонны военных грузовиков с людьми, артиллерией и боеприпасами. Несколько непривычным был для глаз вид подразделений пограничной стражи, отходивших в пустыню — солдаты-бедуины двигались на быстроходных верблюдах — дромадерах[1] с навьюченным снаряжением и пушками в разобранном виде, с минометами, пулеметами, другими грузами. И над всей этой массой в раскаленном воздухе метались тучи встревоженных птиц: они растеряли свои гнезда в высоких конусообразных белых башнях-голубятнях — изобилие голубей издревле было особенностью нильской долины.

Почти полдня понадобилось машине Манычкова, чтобы пробиться к Каиру и Гизе, а этот путь обычно преодолевается за три-четыре часа.

Каир бурлил, его улицы и площади, забаррикадированные мешками с песком, переполнял народ. Вечером, ужиная в ресторане отеля «Мена-хаус», где Манычков нашел временное прибежище, он услышал о гибели самолетов на арабских аэродромах, о выступлении по радио Гамаля Абделя Насера. Египетский президент объявил о своей отставке — отставки требовало просионистское большинство, окопавшееся в правительстве. Местные толстосумы — реакционеры предавали анафеме «полковника Насера», толкали его, вождя нации, на уход с поста главы государства в то время, как через засыпанный песком

---

[1] Одногорбые верблюды, распространенные в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Суэцкий канал, сломив сопротивление арабов, перемахнули сработанные в США израильские танки.

Кризис решили армия и народ, по-своему разрядив драматическую ситуацию. Они сказали «да» Насеру и решительное «нет» сионистской агентуре. Тем временем близ Исмаилии, где было все разрушено, выжжены все рощи и фруктовые сады, со страшным ожесточением кипели бои. Здесь отважно дрались черные от зноя и огня герои обороны каменистых перевалов Гиви и Дувейра, и готовы были скорее умереть, чем отдать хотя бы пядь своей священной земли. Солдат-египтянин в минуту когда на него надвигался израильский танк соскользнул с белых камней и, выкрикнув голосом, покрывшим шум двигателя, слова предсмертной молитвы, бросился с противотанковой миной под траки. И на том месте вместе с танком поднялся столб земли и дыма.

Металл, камни жарко горели.

...Манычкова будили по утрам обычные для египетской столицы суматоха и шум, проникавшие в гостиничный номер. Он одевал широкую блузу, шорты, тщательно вычищенные ботинки, дымчатые очки и выходил на улицу. И всегда у подъезда встречал смуглого паренька, который протягивал ему свежие газеты.

В газетах Манычков находил репортажи со сжатым изложением событий. На первых страницах печатались фотографии из фронтовой зоны, с захваченного врагом Синайского полуострова. Газета «Аль Ахрам» поместила страшный снимок: множество убитых сионистами людей. Среди сложенных в штабель трупов различались тела стариков и детей.

Газета давала длинный перечень преступлений сионистских молодчиков. В одном из египетских селений израильская солдатня ворвалась в мечеть во время молитвы и устроила в ней погром. В другом селении, встретившись с непоколебимым препятствием защитников, взбешенные захватчики давили людей танками, сжигали дома, в упор расстреливали жителей.

Враг принес арабам все ту же тактику выжженной земли, которую так повсеместно применяли гитлеровцы на завоеванных территориях.

По нацистскому образцу сионисты стали создавать концентрационные лагеря.

Порт-Саид запомнился Манычкову пленными израильтянами, толпившимися на городской площади, откуда сбегал к Суэцкому каналу проспект Сталинграда. Прос-

пект этот получил это название по инициативе Насера после первой арабо-израильской войны. В конце проспекта, на сизо-синей воде, чернели остова полузатопленных судов и статуя Фердинанда Лессепса[1].

Пленные израильтяне сильно походили на гитлеровцев: обросшие, с непотухшей озлобленностью в глазах. Снаряжаясь в поход, не в таком жалком качестве мечтали они прийти сюда! Головы некоторых из них были покрыты стальными касками; боялись, побьют камнями. Конвой усадил пленных на асфальт. Большинство прохожих шли по своим делам, не останавливаясь. Только поодаль собравшиеся женщины и дети пугливо, с опаской, рассматривали пленных тель-авивских вояк, словно это был клубок змей.

Таким оказался урок. Незавидна участь агрессора!

«Шестидневная война» закончилась для Израиля провалом всех его планов. Далекий, исторический для арабов июнь 1967 года!

Но злейшие враги свободы, США и побитый Израиль, не оставили в покое египтян. И не только их.

Американские снаряды и бомбы, напалм и ракеты и сейчас в разных точках планеты десятками и сотнями тысяч уносят человеческие жизни. Моря и реки Ливана, Анголы, Гренады, Никарагуа несут в себе скорбные человеческие слезы, всюду просят пищу осиротелые голодные дети. Конца американским злодеяниям пока не видно. Но агрессор неизменно получает отпор.

...Подошел катер, покачиваясь, пришвартовался к причалу.

— Кто на «Вегу»? Посадка!— объявил диспетчер через металл громкоговорителя.— Внимание! Внимание! Кто на катер? Посадка!

Маленькая группа из пяти пассажиров стала по трапу спускаться цепочкой на палубу, а затем размещаться в каюте.

Загремел двигатель «Веги». Белоснежный катер затрясся мелкой непрерывной дрожью, отчалил и двинулся на стрежень реки. В кильватере в волнах причудливой вязью плыла опавшая осенняя листва. «А ведь с недавней поры, с чьей-то легкой руки, распространилось искусство составлять букеты из осенних листьев,— подумал Манычков, опускаясь в свое кресло.— Из них, наверное, делала

---

[1] *Ф. Лессепс* — французский делец и дипломат, причастный к сооружению Суэцкого канала (*1854 г.)*

бы багрово-желтые букеты и Аннушка. И она читала бы Эдгара По в переводе Бальмонта. Его книги издают, и волнуют сердце строки, наполненные до краев людским горем:

«Оттого и случилось (как ведомо всем
В королевстве приморской земли):
Ветер ночью повеял холодной из туч —
И убил мою Аннабель-Ли!»

Перед глазами Манычкова возникли черты ее бледного лица! «Я буду тебя ждать. Ищи меня повсюду»,— говорила она с лучистой улыбкой, отбрасывая со лба прядь каштановых волос. Он ее и искал...

Искал место захоронения.

От незаживающих болей к горлу Вениамина Петровича подступил комок. Хотя спазм скоро прошел, но близорукие его глаза сдавило. Он пошарил в кармане, и, не обнаружив платка, вытер влажную щеку тыльной стороной ладони.

Бывает, что плачут и полковники. Немыми солдатскими слезами плачут они у обвалившихся окопов, у обелисков над братскими могилами при воспоминании о павших при защите родной земли товарищах по оружию. Их образы и имена временами воскресают и долго не исчезают в тумане памяти.

Азильхан Нуршаихов

ПЕСНЬ ДРУЖБЫ

Дмитрий Снегин и Бауржан Момыш-Улы. Они были неразлучными друзьями последние двадцать пять лет. Я всегда восхищался, глядя на этих, уже немолодых людей, как прекрасно дополняют они друг друга, как трепетно берегут свою, прошедшую испытаниями и войной, и временем, дружбу.

Однажды, когда старшему из них исполнилось семьдесят лет, я пригласил обоих к себе в гости. И с огромным волнением слушал рассказы двух незаурядных людей, в судьбах которых отразилась великая дружба русского и казахского народов. Об этом мне и хочется поведать читателям.

I

Тридцатые годы... Мите исполнилось восемнадцать лет, только что он закончил рабфак. Столько дорог зовут его в большую жизнь. Но какую из этих дорог выбрать? В республике открываются все новые и новые институты. Какой из них самый лучший? В какое дело Митя сможет вложить всю душу и стать необходимым человеком своему народу?

Именно так стоял вопрос в большой и дружной семье Поцелуевых. Старшие братья были убеждены: раз Митя сочиняет стихи, значит, ему надо идти на филологический факультет. Сестры настаивали на своем: Митя должен стать учителем, все соседские ребятишки ходят за ним гурьбой, и он умеет увлекательно рассказывать им всякие поучительные истории. Мать Федосья Сергеевна остановила и тех и других: «Пусть уж решит отец». Тогда Федор Давыдович, старый большевик, кадровый рабочий завода, все свободное время проводивший на огороде и до самозабвения любящий землю, постановил: быть сыну агрономом.

— Эта профессия — вечная. Нужная людям профессия! А в таком благодатном краю, как наш Казахстан, агроном чудеса может делать!

Так Митя поступил в сельскохозяйственный институт.

Прошел год, и студент Дмитрий Поцелуев оказался на распутье: бросать или нет учебу? Если бросит, то что он скажет дома? Как будет глядеть в глаза старику отцу? Нельзя оборвать ниточку его надежды, его мечту видеть сына образованным человеком, агрономом. Но не поступить так, значит, погубить свою душу, которую словно распирает горячим паром. Этот пар — поэзия, и нет сил сдержать ее могучий натиск. По ночам он пишет стихи, и днем думает не о том, что говорят на лекциях, а все о своих строчках и рифмах. Иной раз он слышит, когда к нему обращаются преподаватели, а на переменах, к общему удивлению товарищей вдруг может молча отойти в сторонку от веселой компании, чтобы скорее записать промелькнувшую строчку.

Его друг и однокашник Виктор Черкесов был тоже болен литературой. Мите казалось: нет книги, которую бы Виктор не читал, и поэта, стихи которого он бы не знал наизусть. Он мог декламировать часами, днем и ночью, запас его знаний был поистине неисчерпаем. А сам он писал прозу. Рассказы и рецензии Виктора Черкесова на

поэтические книги печатались в газетах. И авторитет его в глазах Мити, да и всех студентов, был, конечно, очень велик. Ведь известно, что студент, у которого есть уже газетные публикации, представляется однокурсникам чуть ли не классиком.

Стихи Поцелуева тоже все время публиковались, правда, пока только на страницах стенной печати. Но для Мити было крайне важно, что Черкесов высоко ценит его творчество. Все написанное Митя старался увидеть как бы со стороны, глазами своего взыскательного друга.

— Мы зря проводим драгоценное время в этом институте,— частенько поговаривал Виктор.— Нам обоим нужно уходить отсюда.

— А куда же мы подадимся?— вздыхал Митя и всякий раз с тоской представлял изумленно вскинутые брови отца.

— Как «куда подадимся»? В большую литературу,— уверенно говорил Виктор то, о чем Митя боялся даже мечтать...— Станем писателями. А без надежды лишь черт живет.

Не закончив второго курса, Виктор Черкесов не выдержал и все-таки бросил институт. Устроившись на работу в редакцию журнала, он несколько раз приходил к Мите уговаривать его:

— Бросай и ты. Твой путь — в поэзию. Пойми это, Митя! А с работой я тебе помогу.

Митя начал колебаться. В один из таких нелегких дней его вдруг пригласил к себе на прием ректор института Ораз Джандосов.

— Поцелуев, до меня дошли слухи, будто бы вы собираетесь уходить от нас. Я не буду спрашивать: правда ли это? Не затем я вас вызвал. Я просто хочу дать вам один совет, как старший по возрасту и более опытный человек. Выслушаете меня?

Митя прямо-таки опешил. Как же это он да не выслушает своего ректора? Весь покраснев, он по-казахски почтительно сложил руки на груди и согласно кивнул головой.

— Совет мой таков: не бросайте институт. Если у вас в груди клокочет настоящий талант, он никуда не убежит от вас. А вот образование получить необходимо. Получить сейчас, в молодом возрасте. Поэт без знаний, что лампа без фитиля. И ни в каком другом институте вы не обретете таких глубоких и обширных знаний об окружающем мире, о природе, как у нас. Вы читали «Листья травы» Уолта Уитмена, американского поэта? Это рассказ о знании.

Малообразованный человек, человек, не знающий тайн природы, не смог бы его написать. Почитайте, подумайте, взвесьте все. И не спешите сделать ложный шаг, Дмитрий Поцелуев.

Митя вышел от Джандосова взволнованным. Во-первых, с ним впервые разговаривали, как со взрослым. Во-вторых, в словах ректора чувствовалась огромная внутренняя сила, убежденность в правоте своих слов. И потом, ведь он считал, что прекрасно знает поэзию, а вот об Уитмене услышал из уст человека, казалось бы, далекого от литературы.

В тот же вечер Митя сидел в читальном зале над «Листьями травы». Прочитав книгу, он до закрытия библиотеки не вставал с места, глубоко погруженный в свои думы. Потом прошептал себе самому:

— Спасибо, профессор! Спасибо, агатай мой! Что-то я, кажется, понял. Как же много надо знать человеку, решившему сказать свое слово в литературе!

И студент Поцелуев начал частенько захаживать в тот отдел библиотеки, где хранились подшивки старых газет. Раньше он увлекался чтением только поэтических книг, теперь стал серьезно интересоваться историей. Этот мир захватил его полностью. Бывало, работал сутками. Днем сходит на лекции, а потом торопится домой и почти всю ночь, не разгибаясь, сидит над рукописью.

— Сжигаешь понапрасну керосин,— бурчала на сына Федосья Сергеевна.— Сколько ж можно? Надо дать себе и отдых.

— А как ты думала знания даются?— вступался за него отец.— Пусть сидит себе, пока силы и желание есть. Мне бы его молодость, я тоже грыз бы этот гранит... К счастью ключи — в труде.

И вот, наконец, аккуратно переписав все в школьную тетрадку, Митя отправился к Виктору.

— Я тут кое-что написал,— постарался сказать он, как можно небрежнее.

— О чем? Какая тема?— деловито спросил Виктор, раздувая примус под чайником.

— О Черкасской обороне. Поэма.

— А-а, гражданская война! Очень хорошо,— Виктор достал из буфета чашки, сахарницу.— Так ты, братец, гляжу, со стенной газеты шагнул прямо на социальные темы? Поздравляю, друг мой. Ну, давай, прочтем!

И Митя, волнуясь и сбиваясь без конца, прочитал написанное.

— Все правильно по части истории. Молодец!— похвалил Виктор и протянул руку к тетради.— Ну, а по части поэзии... Слушай, Митя, оставь-ка это у меня, я тут погляжу своими глазами.— И, прищурившись с хитринкой, спросил:— А ты знаешь, что такое псевдоним?

— Ну, знаю. Слышал.

— Слышал — это хорошо. И какой же ты себе выберешь?

Митя захохотал:

— У казахов есть замечательная пословица: «Зачем собаке железо?» Вот так и мне — зачем нужен псевдоним?

— Ну, братец, ты мой!— протянул изумленно Черкесов.—Ты только вспомни: Аврора Дюдеван — Жорж Санд, Анри Бейль — Стендаль, Шеншин — Фет, Алексей Пешков — Максим Горький, Придворов — Демьян Бедный. Да знаешь их сколько? Прекрасная литературная традиция. Зачем же нам с тобой ее нарушать? Тебе необходим псевдоним.

— Мы ведь не великие люди,— снова засмеялся Митя, скептически покачав головой.

— Нет, так будем!— хлопнул ладонью по столу Черкесов.— Мечта — крылья человека. Я верю и в тебя, и в себя. Написать на студенческой скамье такую поэму. Да у тебя обязательно должен быть псевдоним. Помнишь есенинскую Анну Снегину. Какая прекрасная фамилия! Сразу представляешь падающий крупными хлопьями снег, деревья, опушенные инеем, и девушку, идущую сквозь этот снег с улыбкой на лице! По-моему, это прекрасно! А фамилия Поцелуев, ты меня прости, не для поэзии, не для литературы. Невольно перед глазами какой-то тайный поцелуй, и даже чувствуешь себя как-то неловко. Оставайся гражданином Поцелуевым, в жизни это не имеет никакого значения. Но поэтом должен быть только Дм. Снегин! И пусть народ узнает тебя под этим псевдонимом!

Вскоре началась летняя сессия — зачеты, консультации, экзамены — и Мите стало некогда думать о стихах. Он долго не виделся с Черкесовым, не искал ни его, ни свою поэму — было не до этого. А потом увлекла новая работа. Так прошло все лето и начало осени.

В один прекрасный день, уже после октябрьских праздников, в дом Поцелуевых влетел сияющий Черкесов. Давно не встречавшиеся друзья обнялись, радуясь долгожданной встрече.

— Вчера был твой день рождения, Митя. Прости, что я не смог зайти. Но зато я пришел поздравить тебя со вторым твоим днем рождения.

— Как это со вторым!— не понял Митя.

— А вот как!— Черкесов выхватил из-за пазухи новенький журнал и протянул его Поцелуеву.

Это был номер «Казахстана», литературно-художественного журнала казахстанских писателей на русском языке.

— Спасибо, Витя. Я разделяю твою радость,— неопределенно сказал Митя, думая, что Черкесов принес свою очередную публикацию.

— Нет, ты не радость мою, а зависть разделяешь,— засмеялся Виктор.— Лучше открой-ка семьдесят четвертую страницу.

Раскрыв журнал, Митя увидел крупно набранные жирным шрифтом слова «Дм. Снегин. Куски из поэмы». Недоуменно пожал плечами. Он давно уже успел забыть о подаренном ему Виктором псевдониме. И, кроме того, он не предполагал, что написанное им будет когда-то напечатано, да еще в таком солидном издании. Виктор, почувствовав это, нетерпеливо ткнул пальцем в фамилию автора:

— Да гляди же! Этот Дм. Снегин — ты! Это же твоя поэма! Ты что, не узнаешь? Читай!

Сердце Митино вдруг рванулось и запрыгало в груди, как строптивый конь. Он так и впился в первые строки поэмы.

Май,
Год девятнадцатый,
Хмуры, клочкаты,
Ползут облака по крутому ущелью.
И месяц безбокий
Над облачной ватой
Бежит и качается, будто подстрелен...

Эти строки тогда казались ему солдатами, идущими сквозь густой туман. Узнав свои слова, он чуть не задохнулся от волнения.

— Как же... Как же ты сумел опубликовать, Витя?..— еле вымолвил он.

— Это не я, это ты сумел,— ласково потрепал Черкесов Митины вихры.— Поэма понравилась всем членам редколлегии. Правда, номер был уже сверстан, хотели ставить в следующий. Но я тогда предложил снять рассказ Бориса Верного, этот писатель уже не раз печатался, и вместо него включить твою поэму. Вот и вся моя роль,

Митя. Теперь ты понял, почему я сказал, что сегодняшний день — это день второго твоего рождения? Я тебя от души поздравляю, дружище!

На Митины глаза навернулись слезы. Борис Верный — это был псевдоним самого Черкесова. Друзья, ни слова не говоря, крепко обнялись.

Всю ночь Митя не мог заснуть. Он несколько раз вставал, зажигал керосиновую лампу и перечитывал отрывки из своей поэмы. Он не верил этому нежданному-негаданному счастью. Нежная благодарность к Виктору волнами захлестывала его душу. Хотелось сделать другу что-то очень хорошее.

Он прочитал весь журнал от корки до корки: Ильяс Джансугуров, Габит Мусрепов, Сакен Сейфуллин, Беимбет Майлин, Таир Жароков, Зоя Кедрина. Такие известные имена, настоящие профессионалы. И его первое произведение — рядом с ними!

Утром Черкесов повел Митю в бухгалтерию издательства, ему выплатили двести семьдесят рублей гонорара.

— Ну, Митя, иди домой,— подтолкнул совершенно ошеломленного Поцелуева Виктор.— Я очень рад, что ты такой серьезной вещью вошел в литературу. И я желаю, чтобы ты навек остался в ней. Здесь работает большое литературное объединение, завтра его очередное заседание. Ты приходи. Будут известные прозаики и поэты.

Дома все двести семьдесят рублей Митя до копейки отдал матери. Федосья Сергеевна растерялась, увидев в руках своего сына такую крупную сумму, которая бывает не у всякого взрослого. Прикрыв рот рукой, она глядела на него испуганными глазами.

— Мама, это мой гонорар, заработок. Берите,— еще раз повторил Митя, очень довольный произведенным эффектом.

Слово «гонорар» Федосья Сергеевна, конечно, слышала впервые. Бедной любящей матери оно показалось равнозначным воровству. Трясущимися руками завернув деньги в платок, она с нетерпением стала ждать мужа с работы.

— Отец, Митя, кажется, стал на плохой путь. Принес мне очень много денег,— без всякой подготовки выпалила она, едва Федор Давыдович переступил порог дома, и бросила перед ним узелок с деньгами.

Старый Поцелуев не спеша развязал платок, пересчитал деньги.

— Двести семьдесят рублей — не так уж и много,— спокойно сказал он жене.— Не волнуйся, мать. Придет Митя, все расскажет. От меня он таиться не будет.

Вечером, вернувшись с лекций, Митя показал отцу журнал с поэмой и объяснил, что такое гонорар и за что он его получил. Объяснил, что Дм. Снегин — его псевдоним, так же, как у Придворова — Демьян Бедный. Федор Давыдович был человеком грамотным, много раз приходилось ему читать на страницах газет стихи Демьяна Бедного. Узнав, что его настоящая фамилия совсем другая, был поражен.

— Так, значит, что же выходит? Твоя фамилия Поцелуев совсем исчезнет?

— Нет, отец, не исчезнет, а будет звучать рядом. Ну, как у Мамина-Сибиряка.

— Это хорошо, что не исчезнет,— успокоился отец и, довольный объяснением сына, повернулся к жене:— Ну, мать, видишь, все в порядке. Посылай детей к соседям, приглашай их в гости. Всех зовите — и Сидора, и Петра, и Амана, и уйгура Матая. Отметим с людьми первый заработок нашего сына. Писательский гонорар!— И он с гордостью посмотрел на своего необыкновенного Митю.

На заседание литературного объединения и в самом деле собралось много известных писателей Алма-Аты. Черкесов издали показывал их Поцелуеву: Сейфуллин, Ауэзов, Майлин, Жароков... Хотел познакомить с ними Митю, но тот застеснялся:

— Нет-нет, мне и этого вполне достаточно!

Тогда Черкесов за руку подвел своего друга к молодой миловидной блондинке:

— Зоя Сергеевна, это Дмитрий Снегин, который хочет вступить в наше объединение.

Блондинка внимательно оглядела Митю и, приветливо улыбнувшись, протянула ему руку:

— Я думала, человек, написавший о Черкасской обороне, должен быть пожилым, а он, оказывается, вон еще какой молодой джигит. Очень приятно познакомиться. Моя фамилия Кедрина, я — заведующая русской секцией литобъединения. А вас мы, безусловно, примем к себе.— И на глазах Мити тут же внесла его в список членов объединения.

Вначале Митя никак не мог привыкнуть к своей новой фамилии. В тот же день в перерыве молодой, очень под-

вижный джигит, его одногодок, подбежав, нетерпеливо спросил:

— А кто тут Снегин?

Не сразу вспомнив, что это он и есть, отрицательно мотнул головой:

— Не знаю.

— Почему не знаешь? Себя самого не знаешь?— шутливо возмутился джигит.— Мне ведь показали на тебя, сказали, что ты — Снегин.

Поцелуев хлопнул ладонью по бедру, смущенно засмеялся и обнял джигита за плечи:

— Прости, друг! Снегин, действительно, я.

— А я — Абдильда Тажибаев. Прочитал твою поэму. Замечательно ты пишешь. Так хочется с тобой подружиться.

И с этого дня началась их дружба на долгие-долгие годы. Первые казахские стихи, которые Снегин перевел на русский язык, были стихами Абдильды Тажибаева.

Участие в работе литобъединения сразу же и заметно пошло на пользу Мите. Его стали активно привлекать к переводам казахских поэтов, к профессиональной работе. Митя чувствовал, как от одного стихотворения к другому все более оттачивается, шлифуется его мастерство, как ближе и понятнее становится ему казахская поэзия. В переводы он вкладывает столько же души и столько же времени, как и в свои собственные стихи. Именно Снегин заставил впервые в истории заговорить на русском языке поэтов братского уйгурского народа.

Казалось бы, переводы, должны были оторвать Митю от своего творчества. Но он теперь успевал все, ни минуты не сидел без дела, работал, как одержимый. В тридцать четвертом году отдельной книгой вышел сборник его стихов «Ветер с Востока».

В один из таких счастливых дней у Поцелуева-Снегина зародилась еще одна замечательная, запомнившаяся на всю жизнь, дружба — с Ильясом Джансугуровым, человеком удивительной душевной щедрости. С первого дня знакомства притянул Ильяс его близко к сердцу своему, ласково прозвав Димой-Димашем. Взяв молодого поэта под руку, как любимого младшего брата, Ильяс, не слушая возражений, привел его к себе домой. Тепло и уютно было в этом доме, душист и крепок чай, заваренный приветливой Фатимой, сердечны и искренни долгие беседы обо всем на свете.

Их творческое, очень тесное содружество началось с

перевода стихотворения «Гималаи». Ильяс поступил не так, как это обычно бывает. Он не стал ждать, пока кто-то посторонний сделает подстрочный перевод его стихотворения, а сам устно перевел, пересказал его Мите. И отец, и мать Поцелуева свободно владели казахским языком. Говорил по-казахски и Митя, выросший в играх с казахскими ребятишками. Но, несмотря на это, он тщательно записал для себя все, что говорил старший по возрасту поэт. Потом попросил его прочесть стихотворение на родном языке.

Мите приходилось слышать, как декламируют свои стихи Сакен Сейфуллин и Таир Жароков. Они читали громко, с вдохновением жестикулируя обеими руками, как артисты. А Ильяс читал по-другому: громовым голосом, но ни разу не взмахнув рукой, не шевельнув и пальцем. Он стоял недвижим, как скала. Мите казалось, что бурный разлив реки Или во время весеннего паводка ударяется об нее. Бурлящая вода грохочет так, словно затаила в себе всю мощь мира.

Стихотворение Ильяса поразило Митю. Уже через несколько месяцев «Гималаи», переведенные им, были опубликованы в «Литературной газете» и имели большой успех.

На следующий год в Казахском краевом издательстве вышел первый сборник стихотворений Ильяса Джансугурова на русском языке под названием «Кенес» («Советы») в переводе Дмитрия Снегина.

В тридцать пятом году Поцелуев закончил институт и, после защиты диплома, был направлен на работу в недавно созданный Союз писателей Казахстана. Здесь он работал литературным консультантом в русской секции. Все складывалось хорошо: он мог наконец-то, вплотную заняться поэзией и переводами. А тридцать шестой год уже нес целых три знаменательных события: выход в свет нового сборника его стихов «Семиречье», женитьбу и призыв на действительную воинскую службу.

Служил он в Ашхабаде, а в конце тридцать седьмого года командир батареи младший лейтенант Дмитрий Поцелуев уволился в запас и вернулся в Алма-Ату. И хотя Дмитрий был безмерно рад, что он снова в родном городе, что он вновь обнимает свою любимую, но душа его не только ликовала: скольких бесценных, почитаемых друзей, с которыми он связывал все свои мечты и дальнейшие жизненные планы, не оказалось на месте. Нет Сакена

Сейфуллина, нет Беимбета Майлина, нет Ильяса Джансугурова... Разлетелись, как листья, вихрь судьбы раскидал их неизвестно куда.

Листья... «Листья травы»... Ему вспомнился один эпизод студенческой жизни. Сидя под кроной развесистого дерева, он писал стихи. Неожиданно поднялась буря, сорвала все листья с тополя, под которым он сидел, завихрила их в воздухе. После того, как буря стихла, Митя отыскал между тополями всего лишь один, чудом уцелевший лист и, аккуратно разгладив, бережно вложил его между страницами книги. Этому эпизоду, так напоминавшему мотивы Уитмена, он посвятил грустное стихотворение «Одинокий лист».

Но то была природная буря. А теперь разыгралась буря судьбы и, как те тополиные листья, унесла в неведомое его друзей. И ректор института Ораз Джандосов, который помог ему добрым советом не бросать учебу, тоже сметен этим вихрем. Весной на ветвях тополей появляются новые молодые листочки. Но могут ли обновляться ежегодно ветви народной культуры? Для того, чтобы почки их вызрели, нужны многие годы. Да и смогут ли новые листья в полной мере восполнить потерю?

Грудь Снегина распирали горькие думы, рвались в строки. Но он заглушал их: «Не время, брат, не время! Все равно нельзя сейчас излить свою душу полностью».

Среди домашних книг он отыскал «Кенес» Ильяса Джансугурова, переведенные им два года назад, и ласково подозвал к себе жену:

— Давай, дорогая Сашенька, будем вместе очень-очень беречь этот единственный листочек с дерева моего друга.

Александра Яковлевна молча положила руки на плечи любимого: она все поняла. В тяжелые годы войны она сумела сберечь книгу вместе с книгами своего мужа. И до сегодняшнего дня «Кенес» стоит на самом почетном месте в библиотеке Дмитрия Снегина.

II

Накануне Великой Отечественной войны у Снегина вышел третий сборник стихов «Мой город». Его поэтическое имя становилось все более и более популярным среди республиканских читателей. В это время он работал заместителем редактора журнала «Литература и искусство Казахстана». Редактором был Павел Кузнецов.

Как только началась война, и редактор и его заместитель одновременно ушли на фронт: Кузнецов — редактором дивизионной газеты «За Родину», Поцелуев — командиром дивизиона.

Позже Снегин написал свое первое прозаическое произведение «На дальних подступах» о сражениях 316-ой стрелковой дивизии под Москвой. В этой повести все гвардейцы названы настоящими собственными именами: командарм Рокоссовский, генерал Панфилов, полковник Серебряков, подполковник Курганов, комбат Момыш-улы, комиссар Логвиненко, хирург Желваков, разведчик Амре Сырбаев, связной Нуркенов, командир взвода Макатаев, поэт Абдолла Жумагалиев. Изменена лишь одна фамилия. Это фамилия самого Поцелуева. Командир артдивизиона назван в повести Береговым.

Заканчивается повесть изгнанием фашистов из подмосковного села Крюково. И мне хочется добавить к ней несколько эпизодов, касающихся отношений Снегина и Бауржана Момыш-улы.

Имя Бауржана Дмитрий впервые услышал в середине тридцатых годов. В то время он переводил на русский язык стихи Абдильды Тажибаева. Абдильда показал как-то Дмитрию фотографию, где он запечатлен вместе с Бауржаном, и рассказал, что в детстве они вместе учились в интернате и что сейчас Момыш-улы — красный командир на Дальнем Востоке. Дмитрию тогда очень понравилось необычайное лицо друга Абдильды — красивое, волевое, одухотворенное. Он долго всматривался в снимок, словно запоминал эту орлиную посадку головы, этот пламенный взор.

А встретился Дмитрий с Бауржаном под Москвой вечером пятого декабря сорок первого года, когда наутро должно было начаться знаменитое наступление Красной Армии. 19-й гвардейский полк, которым командовал Момыш-улы, должен был атаковать деревню Крюково. А дивизион Поцелуева получил приказ поддерживать его.

Когда командир артдивизиона Поцелуев вошел в разбитый снарядами дом, где находился наблюдательный пункт Момыш-улы, навстречу ему поднялся с места смуглый, худолицый — хоть бритву правь — командир. В жгуче-черных глазах его, казалось, светились искорки радости:

— Ты Снегин?

— Да, Бауржан,— совсем забыв про официальный рапорт, по-граждански ответил пораженный Дмитрий. Ведь в армии он был Поцелуевым.

— Вот каков ты, оказывается, Снегин!— глаза Момыш-улы засияли.— Я запомнил твое имя по стихотворению в дивизионной газете на гибель Панфилова. А потом узнал, что Снегин и Поцелуев — один человек. Очень рад познакомиться с тобой! Но откуда ты-то знаешь мое имя?

— А я еще лет пять назад видел твою фотографию в Алма-Ате у Абдильды Тажибаева. И тоже накрепко запомнил и облик твой, и имя твое. Вот какая встреча!

Они крепко обнялись. Эти объятия, скрестившиеся на самых подступах к Москве, у деревни Крюково, на всю жизнь остались сомкнутыми.

И вот через много-много лет два друга сидят в моем доме и поочередно вспоминают страницы своей замечательной, проверенной временем дружбы. А я с любовью смотрю на этих двух прекрасных людей и вслушиваюсь в каждое их слово.

— Митя, ты помнишь...

— А ты, дорогой Бауржан, не забыл?..

И вот перед глазами снова возникает незабываемый Валдайский поход. После наступления на Крюково дивизион Поцелуева был придан постоянно для поддержания полку Момыш-улы. Теперь Дмитрий и Бауржан всегда были рядом: и в походах, и во время обороны размещались в одном блиндаже.

В то время Генштаб Вооруженных сил 2-му гвардейскому корпусу 16-армии поставил особое задание. Корпус должен был с боями прорвать укрепление врага у Валдая, освободить Старую Руссу, находившуюся в ста километрах, а затем предстоял еще стокилометровый бросок по вражескому тылу, чтобы очистить от фашистов город Холм.

Таким образом, корпус сознательно шел во вражеский «мешок». В голове корпуса была 8-я гвардейская дивизия. И самым первым впивался в тело противника своим острием полк Момыш-улы. От полка, совершавшего поход в сорокаградусный февральский мороз по глубокому снегу, ни на шаг не должна была отставать артиллерия. Но кони, тащившие за собой тяжелые орудия, без конца проваливались в снег, падали на колени, жалобно ржали. Заледеневший острый наст резал им брюхо, причинял мучительную боль. Ездовые прикладывали все усилия, беспрестанно стегали выдохшихся животных, кричали до хрипоты свое традиционное «Раз, два — взяли!» Увы, силам измученных

лошадей наступил предел: пушки и гаубицы не двигались с места.

Положение становилось отчаянным. Поцелуев, далеко отставший от полка Бауржана, был в крайне удрученном состоянии. То и дело на ледяном ветру его прошибало горячим потом. Буквально вчера комдив генерал Чистяков чуть не растрелял командира второго дивизиона за то, что тот отстал от пехоты.

И вдруг Дмитрий увидел большую группу людей, идущих сквозь снежный буран со стороны пехотного полка. Впереди всех, утопая по пояс в снегу и поторапливая задних, уверенно шел Бауржан, Поцелуев сразу узнал его высокую, плечистую фигуру, и слезы неожиданно подступили к глазам.

— Что случилось, Митя?— услышал он взволнованный голос своего друга.

— Застряли, Бауржан,— ответил Дмитрий с предательской дрожью в голосе.— Лошади не идут.

— Ничего! Через четыреста метров шоссейная дорога. Мы протопчем тебе тропу до нее. Двигайся со своей артиллерией вслед за нами,— ободряюще подмигнул ему Бауржан и тут же громко скомандовал своим: —Батальон, в колонну по пяти, и за мной!

Джигиты Бауржана были все на подбор крупные и сильные, как верблюды-нары. Когда колонна прошла по снегу, то вслед за ней осталась не тропа, а настоящая дорога, по которой артиллерийский караван уже не унылой вереницей, а обгоняя друг друга, стал двигаться к шоссе.

С честью выполнив ответственное задание, дивизия гнала противника до Холма, где он закрепился в обороне.

Александр Бек, собирая материал для своей будущей книги «Волоколамское шоссе», в сорок втором году пять раз приезжал в 8-ю гвардейскую дивизию для встреч с приглянувшимся ему командиром, великолепным рассказчиком Момыш-улы. И каждый раз рядом с ними находился и Дмитрий Снегин.

Первая встреча молодого литератора с Бауржаном окончилась неудачей. Суровый командир полка просто-напросто не принял Бека.

— Не знаю такого писателя!— отрезал он.

Во второй приезд Беку удалось-таки найти общий язык с неприступным Бауржаном. Яркие, образные и точные рассказы командира полка увлекли и заинтересовали пи-

сателя. И он очень сожалел, что не все рассказанное успел запечатлеть на бумаге. Но переспрашивать строгого командира, перед которым все буквально трепетали, у него не хватало смелости.

В третий раз Бек приехал не один, рядом с ним была какая-то женщина.

— Димочка, ты ли это?!— воскликнула она, узнав Снегина, и тут же бросилась обниматься.

Это была работница Союза писателей СССР Елена Исааковна Уфлянд. Смелая женщина не побоялась поехать на фронт в качестве стенографистки. В эти дни Бек с помощью Уфлянд до единого слова записал все, что рассказывал Бауржан. И по возвращении в Москву на основе этой стенограммы он подготовил большой очерк «Тридцать три снаряда», в котором с точностью до десяти минут отразил ход боя батальона, подчиненного полку Момыш-улы. Главным героем очерка был командир артдивизиона старший лейтенант Поцелуев.

У дивизии, острым клином врезавшейся в гущу врага, оставалось мало снарядов. Для того, чтобы батальон смог выбить фашистов из укрепления, нужна была серьезная поддержка артиллерии. А дивизион располагал всего-навсего сорока снарядами, то есть одной десятой частью того, что требуется при наступлении. Значит, каждый выстрел должен бить в цель! Для этого Поцелуев заранее посылает на передний край своего корректировщика. Тридцатью тремя снарядами он оказывает самую действенную помощь батальону, помогает выбить врага с передних рубежей, укрепиться на его месте. В последней книге «Волоколамское шоссе», выпущенной в 1961 году под названием «Несколько дней», сюжетом рассказа «Начинайте!» взято событие, описанное в этом очерке. Создан образ вдумчивого, находчивого и хваткого артиллериста Поцелуева.

Осенью сорок третьего года друзья потеряли друг друга. Полковник Момыш-улы был ранен и попал в госпиталь. А гвардии майора Поцелуева отозвали с передового рубежа в Москву. И по специальному заданию Главного Политического управления Красной Армии командировали в Казахстан.

Выписавшись из госпиталя, Момыш-улы тоже на несколько дней приехал на родину в отпуск: немного отдохнуть, поднабраться после ранения сил. И тут совершенно неожиданно друзья встретились. Радость их встречи была

очень бурной. На фронте эти два, казалось бы, совсем не похожие человека сблизились настолько, что в разлуке им мучительно не хватало друг друга. Здесь в Алма-Ате они хоть немного отвели душу. Вместе выступали перед рабочими завода, вместе были в гостях у Сабита Муканова и Мухтара Ауэзова. А по ночам говорили, говорили, говорили...

Дальше их фронтовые дороги снова разошлись. Дмитрий, погрузив целый эшелон оружия и подарков от казахского народа для бойцов дивизии, отправился обратно на фронт. Бауржан, получив вызов на курсы при Генштабе, готовящие высший командирский состав, вылетел в Москву.

К лету сорок четвертого года Поцелуев был уже командиром артполка. А осенью, освобождая Латвию, он получил тяжелейшее ранение и на самолете был отправлен в Москву. В полете ему стало плохо: поднялась температура, начался горячечный бред. Без сознания его сняли с борта в Резекне, на носилках перенесли в санитарный поезд.

Пришел Поцелуев в себя от мерного перестука вагонных колес. Огляделся. Вокруг были раненые. Тускло светила лампочка под потолком. Болела нога. Туго забинтованная, она почему-то была подтянута на ремнях к верхней полке. На стыках рельсов нога беспокойно покачивалась, причиняя мучительную боль. Он подозвал молоденькую санитарку, спросил, куда едут.

— В сторону Великих Лук,— девушка поправила ему одеяло.— Хорошо, что вы очнулись, а то кричали, бредили.

— Но ведь был самолет. Я летел на самолете,— вспомнил Дмитрий.— Как я очутился в поезде?

— Не знаю,— покачала головой санитарка.— Вы ни о чем не думайте сейчас. Главное, скорей добраться до госпиталя.

В это время послышался грохот разорвавшейся бомбы, и поезд с надсадным скрежетом остановился. Паровоз загудел тревожно и протяжно. Ходячие раненые бросились к выходной двери. Санитарка подставила свое худенькое, почти детское, плечико грузному пожилому капитану с перевязкой на голове и на ноге.

— А вы лежите, миленький, вам нельзя отвязывать ногу,— с отчаянием в глазах оглянулась она на Поцелуева.— Авось, пронесет!

В опустевшем вагоне остался один лишь Дмитрий. Близко-близко над крышей раздался душераздирающий рев немецкого самолета и вслед за ним — тяжелые разрывы бомб. Горячие осколки пробивали тонкие стенки вагона, с визгом

и шипением впивались в пол, разбивали вдребезги оконные стекла.

От беспомощности, от унизительности своего положения Дмитрий глухо застонал и прикусил губу.

Когда налет кончился, раненые стали возвращаться в вагон. Оставшиеся живыми и невридимыми, они возбужденно хохотали, подшучивали друг над другом, вспоминая, кто как испугался, кто о чем подумал в этот момент.

Дмитрий отвернулся к стене. Он очень остро переживал свою беспомощность. Нет сил, чтобы защититься от осколков вражеских бомб. А ведь совсем недавно он посылал во вражеский стан снаряды сорока восьми гаубиц и пушек, не давал гадам-фашистам даже поднять головы. Недаром артиллерию называют богом войны. Сколько раз его охватывал буйный восторг, когда наши пушки в упор расстреливали в самый, казалось бы, последний момент подступившие почти уже вплотную фашистские танки и зажигали их, как ведро с мазутом! Он вспомнил поговорку: «Сам не испугаешься — враг испугается». А сколько фрицев уложил он вчера со своим дивизионом! Теперь не жаль и умереть. Жаль только одно: кто же расскажет о героизме и мужестве его погибших ребят? Нет, он не должен умирать. Он обязан жить и обязан написать о них.

В Великих Луках хирурги были суровы: ногу надо ампутировать.

— Нет! Не будете ампутировать!— властно приказал раненый командир.— Будете лечить!

— Но это не в наших силах, товарищ гвардии подполковник. Если мы не ампутируем ногу, начнется гангрена. Вы понимаете, что это такое?

— Нет, друзья,— уже тихо, но по-прежнему твердо произнес Дмитрий.— Я не могу лишиться ноги. Выручайте!

Его осмотрел сам начальник госпиталя. Приговор был такой же: ампутация.

— Вы же не рядовой солдат, товарищ подполковник,— уговаривал Поцелуева начальник госпиталя.— Будьте сознательны. Поймите свое положение.

— А кто это вам сказал, что у рядового солдата не хватает сознательности?— вспылил раздосадованный Поцелуев.— Неужели вы думаете, что по несознательности советский солдат воюет с врагом? Отнюдь не так, товарищ... Простите, я не вижу, сколько звезд на ваших погонах под халатом...

— Звание мое подполковник,— мягко ответил начальник госпиталя.— Я вовсе не утверждаю, что солдаты мало-

сознательны. Однако среди них встречаются такие же упрямцы, как вы, которые не прислушиваются к добрым советам.

— Если такие встречаются, то надо выполнять их просьбы, товарищ подполковник!— уже не в силах сдерживать гнев, закричал Дмитрий.— А что касается меня, то выход только один: моя нога останется со мною!

В этот момент приоткрылась дверь и послышался знакомый голос:

— Здесь находится гвардии подполковник Поцелуев?

И к величайшему изумлению Дмитрий увидел доктора своего полка майора Самарина, который два дня назад отправлял его на самолете в Москву.

— Дмитрий Федорович! Дорогой мой!— сиял от радости, что нашел командира, воскликнул Самарин.— С таким трудом отыскал вас.

Лицо майора показалось Дмитрию самым родным и близким. На душе стало так радостно, будто сюда пришли все его артиллеристы, вся 8-я гвардейская дивизия.

— Роман Иванович, милый, как ты попал сюда? Как ты нашел меня, дорогой?—голос его совсем не по-командирски дрожал.

Самарин, искоса поглядывал на великолукских врачей, торопливо рассказал, что когда самолет с Прибалтийского фронта приземлился в Москве, в санитарную службу фронта срочно была направлена телеграмма: «В Резекне с самолета снят гвардии подполковник Поцелуев. Какова его судьба? Если он жив, немедленно доставьте в Москву». Эту телеграмму фронт передал в армию, армия доставила в дивизию. А дивизия послала его, майора Самарина, разыскивать Поцелуева с тем, чтобы доставить его в столицу. Есть приказ Сталина о лечении всех гвардейских офицеров в московских госпиталях.

В Москву майор Самарин привез Поцелуева в тяжелом состоянии. Оба волновались: что скажут столичные врачи? Заявлять и им так же категорично об отказе от ампутации? А если в самом деле начнется гангрена? Никто не может предсказать. Поэтому без всякой уже надежды Дмитрий обратился к хирургам московского госпиталя:

— Ну, друзья, и вы, конечно, тоже будете настаивать на ампутации ноги?

Ему, улыбаясь, ответил главный врач:

— Что же вы думаете, мы не сможем отстоять одну ногу гвардейца, тогда как гвардейцы отстояли Москву?

У Дмитрия перехватило горло. Слова доктора показа-

лись ему самыми добрыми и ласковыми, какие он когда-либо слышал.

— Есть все-таки судьба!— прошептал он про себя.

Началось долгое, тщательное и упорное лечение. «Ногу сохраним!— заверили его врачи.— Но к воинской службе вы больше не годны».

Снегину не нужно было ломать голову, каким мирным трудом ему заняться. Он — поэт. И на войне он продолжал писать стихи. В прошлом году в Алма-Ате выпущен его четвертый сборник стихов. Начнет набухать и новая тетрадь. Но это пока всего лишь размышления, монологи лирического героя. Разве можно теперь довольствоваться такой малостью? Разве может поэт, который видел ужасную, суровую войну, оставаться лириком? Ему нужны эпические герои, он должен показать народную трагедию и народный подвиг. Только хватит ли поэтической силы, не слишком ли тяжела будет ноша?

И вот во время таких дум дверь палаты стремительно распахнулась и на пороге появился высокий, стройный, как пружина подобранный, уверенный в своей силе Бауржан с небрежно наброшенным на широкие плечи куцым белым халатиком. По всему телу Дмитрия будто пробежал электрический ток.

— Я здесь, Бауржан!— рванулся он с постели.— Как же ты отыскал меня, Бауржан, милый?

— Какое это имеет значение, Митя?— ласково отмахнулся Бауржан, целуя друга.— Главное — нашел! Ну, как здоровье? Как твои дела?

— Дела, сам видишь...— горько вздохнул Дмитрий.

Бауржан, несколько отступив, критическим взглядом осмотрел его:

— Ну что ж! Вид очень воинственный. Твоя подвешенная нога напоминает ствол гаубицы, направленный на дальнюю цель!— и он расмеялся легко и непринужденно, как редко смеются в больницах.

А вслед за ним впервые за последние недели засмеялся и Дмитрий:

— Бауржан, милый ты мой, так, может, все не так уж плохо?

— Еще бы: прицел дальний, траектория высокая, заряда достаточно, конечно, не плохо, Митя! Главное — ты жив! Жив, дружище! А все остальное не страшно!

И обнявшись, они снова засмеялись.

— Доктора говорят, что я больше не пригоден к воинской службе. С этой мыслью я уже смирился. Лежу теперь,

Бауржан, и думаю, как мне жить после госпиталя? Что писать? Ведь я теперь совсем не тот, что был до войны. Взрослей, мудрее стал, что ли? Столько мыслей серьезных в голове, столько воспоминаний...

— Знаешь, Митя, я как раз думал об этом,— ответил Бауржан.— Вчера вечером узнал, что ты ранен и лежишь в московском госпитале. И почему-то подумалось мне: не останешься ты теперь поэтом. Ты сполна испытал на себе войну. Лицом к лицу видел смерть. Схоронил стольких своих товарищей. И ты не сможешь не рассказать об этом. А война не вместится в шелковую нежную рубашку поэзии. Хотя эта рубаха может прийтись впору, но шелк не выдержит, лопнет от железных мускулов. Ты не подумай, что я хочу принизить значение поэзии. Я ведь высказываю только свое мнение. Мне кажется, жизнь сама заставит тебя перейти к прозе. Не в один, конечно, день, может быть, не в один даже и год. А сам ты что думаешь об этом?

— Да и я думал примерно так,— легко вздохнул Снегин.— Как хорошо, что наши думы совпадают!

Бауржан, склонив голову, развел ладони:

— В таком случае, выходит, не зря мы с тобой рука об руку прошли тернистый путь от Крюкова до Холма. Поправляйся, Митя, и поезжай на родину. Впрягайся в мирную лямку, работай, жди нас и помни — ты сделал на фронте все, что мог. Я — еще не все. Завтра еду на передовую. Я ведь был здесь на курсах.

Друзья распрощались.

— Ты только береги себя, Бауржан,— дрогнувшим голосом попросил Дмитрий.— Будь осторожен!

— Безрассудная осторожность относится к категории трусости, Митя,— с шутливой назидательностью изрек Бауржан их любимую фразу, с которой они оба каждый раз выходили на фронте из блиндажа.

III

Время шло медленно, нога заживала трудно. Шесть месяцев пролежал Дмитрий в госпитале. И вот, после двух операций, в марте сорок пятого года он на костылях вернулся в Алма-Ату. Родные сразу же отправили его в Яныкурган, на чудодейственную лечебную грязь. И вправду, словно чудо свершилось: вернулся Митя оттуда уже без костылей, с одной только легкой тростью. Но самое для него было радостное, что он привез из Яныкургана новые стихи, венок сонетов, посвященных Абаю.

— Значит, не испепелила мое сердце война,— делился он с Александрой Яковлевной.— А я так боялся, что больше не смогу писать ни о чем, кроме войны.

Со свежей рукописью Дмитрий пошел к Ауэзову.

— Митя, дорогой, ты доставил мне большое удовольствие «венком» сонетов,— внимательно все прочитав, сказал ему Ауэзов.— Некоторые места просто сами собой запоминаются наизусть. Спасибо тебе от казахского народа. Да и для русской поэзии это и новое, и ценное слово. Я тебя поздравляю от всего сердца!— Он крепко пожал руку Снегина.— И хочу пригласить тебя выступить перед учеными Академии наук. У нас уже сложилась хорошая традиция встречаться с боевыми писателями. Вот в прошлом году была встреча с Бауржаном. Очень интересно прошла. Ты как, не возражаешь?

— Да я не больно-то умею выступать,— смутился Дмитрий.— Тем более перед учеными.

— Ничего-ничего,— подбодрил Ауэзов.— Вот и начинай учиться. Теперь тебе придется это делать чаще. Крылья сокола в полете крепнут. Ну а ученые — такие же люди. Приходи!

На выступление Ауэзов самолично под руку привел Снегина, и сам открыл встречу вступительным словом.

— Как вам известно, Дмитрий Снегин — один из самых видных переводчиков казахской и уйгурской поэзии на русский язык. Он хорошо и добросовестно делает свое дело. Устами Снегина казахские поэты впервые во весь голос заговорили на русском языке. Трудно переоценить этот благодарный и плодотворный труд нашего честного и преданного друга. Перед ним, как и перед всеми добросовестными и талантливыми переводчиками, в большом долгу наша культура, наша литература. Как раз вчера мы с Зоей Сергеевной Кедриной, великолепным переводчиком и великой нашей труженицей, ломали головы, кому бы дать переводы казахских поэтов. Ведь не может же буквально все переводить она да она. Даже я попробовал себя в этом деле, но довольно неудачно. Очень это непростое и специфическое дело. И как же мы обрадовались с Зоей Сергеевной, когда зазвонил телефон, и мы услышали голос Снегина. Дмитрий Снегин — офицер советской артеллерии, защитник Москвы, вернулся домой после тяжелого ранения.

Зал бурно зааплодировал. Ауэзов продолжал:

— Мы дважды обязаны этому человеку, который пришел сегодня к нам, опираясь на трость. Говорят, что золото, имеющееся в руках, не очень ценится. Давайте мы с поч-

тением и уважением будем относиться к своему бесценному добру. Весь смысл сегодняшней встречи и заключается в этом.

Истосковавшись на фронте по перу и бумаге, по обыкновенному, пусть даже не письменному столу, Дмитрий с упоением ушел в работу.

В сорок шестом году вышли в свет сразу две его поэтические книги «Верность» и «Голубой меридиан». К сорок восьмому году он завершил свою первую прозаическую повесть «На дальних подступах». А вслед за ней опубликовал книгу «В наступлении». И та, и другая были посвящены истории родной Панфиловской дивизии. Наконец-то вылилось на бумагу все то, что не давало уснуть по ночам, что раскаленным углем жгло сердце — память о пережитом. Всеволод Иванов, перерезавший путы начинающему прозаику, дал высокую оценку его книгам на страницах «Литературной газеты». Это очень подбодрило Дмитрия, он чувствовал, как крепнут его крылья, как копятся силы на большую работу. Уже имея за плечами хорошую подготовку, Снегин приступил к роману «В городе Верном».

Крупные вещи, конечно же, пишутся долго, годами и годами. И попутно с ними могут появиться, порой даже против воли самого писателя, неожиданные, «незаконнорожденные» произведения.

В то время Снегин жил по соседству с Героем Советского Союза Ильей Съяновым. Иногда в День Советской Армии или в День Победы они вместе ходили на встречи со школьниками. Съянов рассказал, как наши войска брали Берлин, Снегин — о героической защите Москвы. Но написать о Съянове ему как-то никогда не приходило в голову.

Однажды он встретил на улице очень оживленного, слегка навеселе, Съянова.

— Поздравь меня, Митя,— тряхнул тот кудрями.— Я парламентер.

— Какой парламентер? Где?— ничего не понял Снегин.

— Парламентер из Рейхстага.

— Ты? Когда?!

— Второго мая сорок пятого года. Только раньше об этом нельзя было говорить. А вчера я приехал из Москвы, там сняли вето. Теперь можно! Вот я тебе и рассказываю. Первому во всей Алма-Ате.

Снегин задумался. Это же так интересно: сержант Съянов, простой русский парень, от имени советского народа

идет парламентером в ставку самого Гитлера. О чем он думает? Что чувствует? Что увидит там? И моментально заработала творческая мысль. Он с пристрастием расспрашивал Сьянова о подробностях, а в голове уже выстраивался план будущей вещи. Вот так, «незаконным образом», появилась на свет книга «Парламентер выходит из Рейхстага».

К «незаконнорожденным» относится и повесть «Осеннее равноденствие». Во время освоения целины Дмитрий побывал в Акмолинской области, познакомился со многими интересными ребятами. Материалы этой поездки не смогли уместиться в рамках очерка, просились в художественную повесть. В отличие от прежних книг, главный герой «Осеннего равноденствия»— казах. И вот тут-то Снегина начали одолевать сомнения: сумел ли он достоверно передать национальные особенности характера героя, его психологию? Не сфальшивил ли он? Нужно было посоветоваться с кем-то из больших писателей. Подумал-подумал: один просто-напросто не станет читать, другой обязательно найдет какой-нибудь повод для отказа, у третьего — зрение плохое, четвертый — не лучше его знает жизнь казахов. И в конечном итоге Дмитрий опять позвонил Мухтару Ауэзову.

— Ау, Митя, что ли?— сразу же узнал его Ауэзов.— Очень рад тебя слышать. Новое произведение написал, говоришь? Ну как же! Для тебя и не найду времени? Найду! Обязательно прочту, неси прямо сейчас же.

Вечером Снегин отнес рукопись Ауэзову. А на следующий вечер, вернее, уже ночью, во втором часу в квартире Снегина зазвонил телефон.

— Митя, я не нарушил ваш покой?— послышался в трубке мягкий тенор Ауэзова.— Только что закончил читать твою повесть. Если выкроишь время, завтра в час дня приходи ко мне домой. Поговорим.

С замиранием сердца ждал Снегин этой встречи: боялся, что не сумел справиться с работой. Но Ауэзов похвалил его:

— Раньше я знал поэта Снегина. А вот теперь, совершенно неожиданно для себя, открыл нового хорошего прозаика. Должен тебе сказать, Митя, что образ Саймасая у тебя получился. Молодец! Понимаешь казахскую душу. Ведь, к огорчению, как бывает: пишет русский человек о казахах, не зная ни их быта, ни их характеров, ни национальных особенностей. Ограничится описанием лисьего малахая да теплых зимних сапог с войлочными чулками — и считает, что национальный колорит у него уже есть. А ты,

Митя, родился в Казахстане, сызмальства рос с казахскими детьми, воевал в одном окопе с казахами, жил и умирал вместе с ними за Родину. Вот поэтому-то у тебя такая творческая удача. Ты наш родной, доморощенный писатель. Ведь русская литература в Казахстане — это наша родная литература. В ней нет обособленного русского героя, он живет на одной земле с казахом, дышит одним с ним воздухом, идет с ним рука об руку. Сама наша жизнь развивается на основе интернационального единства. Да, конечно, к большому сожалению, отдельные наши писатели-земляки — и казахи, и русские — до сегодняшнего дня не могут подняться на эту интернациональную вершину. Русские показывают казахов на их дореволюционном уровне. У казахов не уловишь никаких особенностей русского характера, и часто единственной отличительной чертой бывает только фамилия. Обидно, почему это так? В чем причина этого? Да в том, что такие писатели не выстрадали свою тему, не переболели ею, не попытались вникнуть поглубже во внутренний мир героев другой национальности. Не захотели, не смогли, не сумели. В литературе не должно быть места такому понятию, как лень. Ты в своей повести не поленясь исследовал психологию казахов. Так что, Митя, мой дорогой, произведение у тебя удачное, вещь надежная, достойная. И самое главное — имеет крепкую интернациональную основу.

А время шло. И вот опять судьба свела Дмитрия и Бауржана. Произошло это в пятьдесят шестом году в Алма-Ате. И с этого времени друзья уже никогда не расставались, были рядом и в радости, и в беде, без конца помогали друг другу и делом, и добрым советом.

Многолетний труд Дмитрия Снегина увенчался успехом: роман «В городе Верном» в трех книгах заслужил признание читателей. Снегин стал секретарем Союза писателей Казахстана. Несколько раз избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР, делегатом съездов Компартии Казахстана. Он — народный писатель республики.

Бауржан за это время опубликовал книгу «За нами Москва», «Панфилов», «Наша семья», стал лауреатом Государственной премии имени Абая. Получил ордена Трудового Красного Знамени и Дружбы народов.

Меня, да и не только меня, всегда поражало полное взаимопонимание и взаимосогласие этих друзей. Для дру-

гих строптивый, резкий, неуравновешенный, своенравный Бауржан перед Снегиным всегда был мягким, послушным и предупредительным. Видимо, природная мягкость характера Дмитрия благотворно действовала на Бауржана. Если в чем-то требовался совет или наступала трудная минута, он всегда говорил: «Спросите Митю! Поставьте в известность Митю!» Получив от Бауржана весточку, Митя мог, бросив самую неотложную работу, немедленно бежать к другу.

Я считал для себя особым счастьем, когда мне приходилось бывать рядом с ними, яркими, незаурядными людьми. Мне все время хотелось о чем-то их спрашивать, и я, видимо, изрядно поднадоел им своими бесконечными вопросами. Особенно много расспрашивал я их у себя дома, воспользовавшись правом хозяина. К концу вечера Бауржан уже свирепо нахмурил брови и посмотрел на часы:

— Митя, у этого Азильхана вопросы никогда не кончатся. Я его хорошо знаю, он замучает кого хочешь. Теперь, давай поблагодарим его за прекрасный вечер, за все теплые слова. Пора дать покой нахлопотавшейся хозяйке дома, добрейшей Халиме, так радушно, гостеприимно и щедро угостившей нас. И, как самый старший среди вас, я попрошу хозяев разрешить последний тост сегодня произнести мне.

Все налили себе в бокалы шампанского и приготовились слушать, что скажет юбиляр.

— Мне уже семьдесят,— подумав, тихо начал Бауржан.— И самое большое счастье в моей жизни, Митя, это дружба с тобой, с человеком, который олицетворил для нас дружбу казахского и русского народов, казахского и русского языков. Невозможно назвать всех казахов, в судьбах которых ты принял живейшее участие. И имя твое наш народ сохранит в своей памяти навсегда.

Не ожидавший этого Снегин всплеснул руками и засмеялся. Но Бауржан, строго глянув на него, продолжил:

— Ты не смейся, Митя, я знаю, что говорю. У тебя широкая, щедрая душа. Ты умеешь дружить. К тебе тянутся люди. А у того, кто на друзей богат — душа добреет. Все твои произведения — это песнь дружбы. И вся твоя жизнь — тоже песнь дружбы. И не простой, а интернациональной. А это — дружба священная! Я поднимаю бокал за дружбу наших народов, за новый твой роман, за его успешное завершение. И пусть он будет не последней твоей кни-

гой. И за то, чтоб верные друзья находились рядом с тобой, когда и тебе будет семьдесят!

Мы выпили и поднялись с мест. Проводив гостей до машины, я в последний момент задал еще один вопрос:

— Дмитрий Федорович, а какова судьба Бориса Верного? Виктора Черкесова, вашего первого друга?

Лицо Снегина сразу осунулось, посерело, постарело:

— Нет его. Давно уже нет. Умер от чахотки в пятидесятых годах. Он был очень, очень талантливым журналистом. Его уже нет, а псевдоним, данный им мне, как видишь, жив до сих пор.

— А в вашем новом романе Черкесов не будет выведен?

— Будет! Обязательно будет!— уже веселее ответил Снегин.

— Ну ладно, Митя, давай, садись в машину!— обнял его за плечи Бауржан.— Я ведь предупреждал тебя, что у Азильхана вопросы никогда не кончатся. Не уедем — придется ночевать здесь.

Я долго махал им вслед, даже когда машина скрылась уже из вида, не зная еще, что это будет их последним совместным гостеванием в моем доме.

И о том, что всколыхнулось в моей душе в этот вечер, я и постарался рассказать.

Руфь Тамарина

УХОДИТ ПОКОЛЕНИЕ МОЕ...

Уходит поколение мое —
аварии, инфаркты, некрологи...
Крутые доставались нам дороги,
и сложным было наше бытие.

Но все-таки нам не о чем жалеть!
Такие выпадали нам удачи,
что блеск медалей и оркестров медь
в сравненье с ними — ничего не значат.

Вступая с боем в рухнувший Берлин,
детей Германии от голода спасая,
мы стали милосердием сильны
и оттого добрее стали сами.

Мы все сполна делили со страной —
беду и радость, торжества и боли.
Опалены великою войной,
узнали цену воле и неволе.

Вражде и дружбе мы узнали цену.
Доверием людей не обделив,
сквозь жизнь мы пронесли тот неизменный,
как в юности — доверия мотив.

Да, нам бывало трудно или плохо,
но ведь и гибель — на миру красна.
И наша многотрудная эпоха
собою одарила нас сполна.

Быть может, мы сегодня не мудрее
своих детей.
Но, подводя итог,
я утверждаю — стали мы добрее,
пройдя витками всех своих дорог.

И к нашим детям подойдет пора
свои деянья и свой век итожить —
пусть не о чем жалеть им будет тоже,
пусть не сдают позиции Добра!

Владимир Шестериков

ВМЕСТЕ С ДЖАЛИЛЕМ

Впервые стихи Мусы Джалиля я услышал, когда учился в десятом классе. Помню: долго ходил под впечатлением стихотворных строк:

Не преклоню колен, палач, перед тобой,
Хотя я узник твой, я раб в тюрьме твоей,
Придет мой час — умру. Но знай: умру я стоя,
Хотя ты голову отрубишь мне, злодей...

Потом на глаза попалась маленькая книжка с красным грифом библиотеки «Огонька», на обложке которой значилось: «Моабитская тетрадь». И мужественные строки поэта-воина засверкали для меня новыми гранями.

Пел я, весеннюю свежесть почуя,
Пел я, вступая за Родину в бой,
Вот и последнюю песню пишу я,
Видя топор палача над собой.

Тогда же я прочитал о подвиге узника моабитской тюрмы, той самой, в которой томился пламенный вождь немецкого народа Эрнст Тельман, узнал, какой ценой написаны эти, полные огня строки, вырвавшиеся, подобно птицам, из фашистского застенка, чтобы найти путь к сердцам людей. Вновь и вновь перечитывал надпись-завещание на одном из его найденных блокнотов: «Другу, который умеет читать по-татарски и прочтет эту тетрадку». Это написал известный татарскому народу поэт Муса Джалиль. Испытав все ужасы фашистского концлагеря, не покорившись страху «сорока смертей», он был привезен в Берлин. Обвинен в участии в подпольной организации, в распространении советской пропоганды и заключен в тюрьму. Его присудят к смертной казни. Он умрет. Но у него останется 115 стихов, написанных в заточении. Он беспокоится за них... «Если эта книжка попадет в твои руки, аккуратно и внимательно перепиши их набело, сбереги их и после войны сообщи в Казань, выпусти в свет как стихи погибшего поэта татарского народа. Это мое завещание. Муса Джалиль. 1943. Декабрь».

Шаг за шагом, крупица за крупицей собирали материал, раскрывающий величие подвига поэта, советские писатели Константин Симонов, Юрий Корольков, Гази Кашшаф, Рафаэль Мустафин, немецкий публицист Леон Небенцаль и многие другие.

Плененный под Волховым и брошенный в фашистские лагеря, Муса Джалиль не покорился своей участи, а стал одним из руководителей подпольной организации советских военнопленных.

В марте 1942 года Гитлер подписал приказ о создании из военнопленных кавказских национальностей грузинского, армянского, азербайджанского легионов, а несколько месяцев спустя, в августе, о формировании Волго-Татарского или, как его называли, легиона «Идель-Урал». Вначале подпольная организация Демблинского лагеря решила его бойкотировать и вести усиленную агитацию среди военнопленных против него. «Надеть вражеский мундир,— говорил Муса Джалиль в перевязочной лагерного госпиталя врачу Аркадию Львовичу Льву,— никогда!».

Нельзя без волнения и чувства гордости за советского патриота читать приведенный в книге Рафаэля Мустафи-

на «По следам поэта — героя» рассказ очевидца этой сцены, фельдшера Толкачева.

Аркадий Львович, по его свидетельству, возразил поэту:

«Чем бессмысленная гибель от голода и тифа, лучше перейти к своим, а если не удастся,— погибнуть с оружием в руках за свою Родину!». Аркадий Львович предложил поэту пойти в легион: «Командир не должен бросать своих солдат на произвол судьбы».

Но ведомство Розенберга приготовило другую участь для поэта, стараясь использовать его талант, творческие способности и образованность в своих целях. И в начале 1943 года поэта привезли в лагерь Вустрау под Берлином, в который отбирали военнопленных исключительно с высшим образованием: учителей, врачей, инженеров. А тем временем первый (по немецким документам — 825-ый) батальон Волго-Татарского легиона, отправленный на Восточный фронт, перебил немецких офицеров и предателей и перешел к белорусским партизанам.

Восстание в первом батальоне подтвердило правильность тактики подпольщиков.

Шаг за шагом, находясь в самом логове врага, Муса Джалиль, официально отвечающий за культурно-просветительную работу среди военнопленных татар, усиливает борьбу против фашистов — разыскивает нужных ему людей, устанавливает связи, инструктирует членов подпольной группы.

Рафаэль Мустафин приводит рассказ Фарита Султанбекова о встрече Мусы Джалиля со своим другом, одним из руководителей демблинской подпольной группы Гайнаном Курмашем:

«С Гайнаном Курмашем я встретился впервые в лагере для военнопленных в Демблине, в Польше. Вначале Курмаш работал в так называемой «капут-команде». Вооружившись длинными веревками с крюками на конце, она подбирала трупы и затем свозила их в глубокий ров, расположенный за лагерем. Потом один из старых знакомых Гайнана Зиннат Хасанов помог ему устроиться на кухне. Работа на кухне была тогда пределом мечтаний, но мало кому удавалось туда попасть. Всех работающих на кухне немцы подвергали тщательному обыску. За припрятанный для товарища кусочек мерзлой брюквы или пожухлый лист свекольной ботвы пристреливали на месте или били до полусмерти.

Несмотря на это, Гайнан каждый раз ухитрялся при-

нести для меня что-нибудь из съестного. Позднее, когда он познокомил меня с Джалилем, Батталовым и другими подпольщиками, я узнал, что он и им также помогал.

Лагерь Демблин был поделен колючей проволокой на секции, в каждой из которых собирали людей определенной национальности. Здесь же велась вербовка в так называемые национальные легионы. Мы с самого начала были против вступления в них, считая, что лучше умереть, чем идти на службу к врагу. Но потом, когда гитлеровцам удалось насильно сколотить несколько батальонов легиона «Идель-Урал», подпольная организация лагеря приняла решение идти туда, чтобы сорвать планы фашистов, разрушить легионы изнутри, не дать возможности использовать наших земляков против своей Родины. Я не знал всех подробностей этого решения, так как весной 1943 года чувствовал себя очень плохо и скоро оказался в лагерном лазарете.

Когда я вышел из лазарета, многих членов подпольного комитета — Хасанова, Батталова, Хисамутдинова, Фахрутдинова и других — в лагере уже не было. Мусу Джалиля увезли еще раньше. Но Курмаш оставался в Демблине и по-прежнему работал на кухне. Он и объяснил мне, что наши общие друзья вступили в легион и рассказал, с какой целью это было сделано.

Примерно в начале или середине мая 1943 года в Демблин приехал Муса Джалиль. Конвоя у него не было, но его, кажется, сопровождал какой-то немецкий офицер. В это время Джалиль уже работал в берлинском комитете «Идель-Урал» и приехал в лагерь, чтобы отобрать людей для создаваемой им музыкально-хоровой капеллы.

Вместе с Курмашем Джалиль отобрал и взял с собою в Едлино меня и еще несколько военнопленных татар. Наша легальная деятельность тесно переплеталась с нелегальными формами борьбы. Вскоре после приезда в Едлино было официально оформлено мое вступление в подпольную организацию. Клятву принял от меня и Гайнана Курмаша Муса Джалиль, когда мы ездили в Берлин. Он тихо говорил слова, а мы шепотом повторяли за ним. Текст клятвы, я, конечно, дословно не помню, но содержание ее было примерно следующим: «Вступая в подпольную организацию, я обязуюсь бороться с ненавистным врагом до последнего дыхания, беспрекословно выполнять все задания старшего группы, всемерно помогать родной Отчизне. Даю слово, что если потребуется, я без колебаний отдам жизнь для блага Родины. Клянусь, что если

я буду схвачен врагом, то, несмотря ни на какие муки и страдания, не скажу о подпольной организации и о друзьях ни слова. Если я же нарушу эту торжественную клятву, считайте меня врагом Родины, лакеем фашистов».

Я стал связным в группе Курмаша (в целях конспирации подпольная организация формировалась небольшими группами, по пять-шесть человек в каждой). Поддерживал связь с группами Рушата Хисамутдинова и Фуата Сайфельмулюкова, позднее — с Берлинской группой через Абдуллу Алиша. Всего размаха деятельности подпольной организации я не знал, да и не мог знать. Получал и передавал по назначению листовки, сводки Совинформбюро, устные указания старшим групп, смысл которых не всегда был ясен мне самому. Все указания получал от Гайнана Курмаша. В Едлине он играл главную роль. Если Алиш — старший Берлинской группы был правым крылом Мусы Джалиля, то Курмаш — его левым крылом...»

Невероятно дерзкий план привез в один из своих приездов в Едлино Муса Джалиль: Татарскому легиону надлежало поднять восстание, соединиться с Армянским, и, установив связь с польскими партизанами, пробиться навстречу наступающим частям Красной Армии. Были распределены обязанности между подпольщиками. Однако нашелся предатель, выдавший их, и за три дня до начала восстания гестаповцы схватили Курмаша, Хисамутдинова, Сайфельмулюкова и других. Их отправили под усиленным конвоем в Варшавскую тюрьму. Джалиля взяли отдельно. Затем обвиняемых привезли в берлинскую тюрьму Моабит.

VII

СЛЕДЫ ВЕДУТ В СТЕПНЯК

29 мая 1968 года в редакции областной газеты, как всегда, торопливой скороговоркой трещали машинки. По отделам разносили почту. Письма были разные.

И вдруг — письмо от татарского писателя Рафаэля Мустафина. Да такое, что даже у самого бывалого журналиста не могло бы не забиться тревожно сердце. Он просил помочь ему в поиске одного из одиннадцати татарских патриотов, казненных вместе с Мусой Джалилем.

«Дорогая редакция,— писал Рафаэль Мустафин.— Посылаю Вам материал о последних днях татарского поэта Мусы Джалиля. Может быть, с помощью вашей газеты

удается найти еще одного неизвестного героя — вашего земляка Ахата Аднашева? Его имя до сих пор было нам неизвестно».

Данные, которые приводились в карточке о казни Ахата Аднашева, присланной в редакцию Рафаэлем Мустафиным, были предельно лаконичными. Из нее явствовало, что родился Ахат в Петропавловске 12 декабря 1918 года. До войны жил в каком-то Штецпайке. Там же проживают его родители. По профессии повар. Не женат. Умер 25 августа 1944 года в 12 часов 33 минуты. Причина смерти — отсечение головы.

Буквально на следующий день были начаты поиски в загсе Петропавловска, чтобы узнать о регистрации рождения Ахата Аднашева, но они ничего не принесли.

А потом — что это за непонятный Штецпайк? Даже на самой подробной географической карте страны не встречается такой населенный пункт. Пытаемся отбросить букву «ц», а сочетание «шт» заменить на «ст» (ведь в немецком языке «ст» произносится как «шт»). Получается нечто похожее на Степняк. Но версия должна быть хотя бы относительно точной. Как затянутся поиски, если неверно будет разгадан этот ребус. Ведь в этом случае иголку в стогу отыскать будет легче. Вскоре однако наша догадка подтвердилась. Сначала Рафаэль Мустафин получил письмо от Мулюкова из Нижнекамска, который высказал предположение, что Штецпайк — это скорее всего бывший рудник. А после публикации статьи Р. Мустафина в выходящей в Петропавловске областной газете «Ленинское знамя» в редакции появился мастер цеха завода малолитражных двигателей Наиль Сайфульмулюкович Муратов. Он и сообщил, что знает какую-то семью Аднашевых и даже назвал город и улицу, где проживает она. Какой же была наша радость, когда он назвал Степняк. Версия подтвердилась. В бывшем здании облисполкома — там, где находилась в то время редакция, долгое время работал парикмахер Бакеев. Был он мастером своего дела, стриг тщательно и к нему частенько заходили «навести парад» и журналисты.

Общительный и словоохотливый, знающий многих не за глаза, а лично, он тоже принял участие в наших поисках. После многочисленных расспросов, бесед, предложений, мы пришли к выводу — следы ведут в город Степняк соседней с нами области — Кокчетавской.

Но почему поиски были начаты лишь в 1968 году, а не раньше?

Тут, пожалуй, лучшего всего сослаться на выступление немецкого публициста Леона Небенцаля в «Литературной газете», который 15 февраля 1968 года в день шестидесятидвухлетия Мусы Джалиля в Берлине на пресс-конференции для советских и иностранных журналистов ознакомил присутствующих с новыми важными документами о Мусе Джалиле.

После одиннадцатилетних поисков в Берлине обнаружены документы о гибели и казни джалильцев. Впервые установлен полный состав группы узников, казненных вместе с Джалилем.

Фашистские палачи регистрировали казни в Плетцензее в штандесамте (учреждении типа загса в районе Берлина — Шарлоттенбурге). 26 августа, на другой день после казни, в штандесамт явился помощник надзирателя тюрьмы Плетцензее Пауль Дюррхауэр и заявил о смерти одиннадцати заключенных. Чиновник Глюк тщательно записал все это в штербебух (книгу о фактах смерти), не избежав при таких непривычных для него именах целого ряда ошибок. Вся процедура продолжалась наверняка дольше, чем сама казнь.

...Фашистские палачи казнили группу из одиннадцати человек с помощью гильотины за 30 минут от 12 часов 6 минут до 12 часов 36 минут. Джалиль был казнен в 12 часов 18 минут.

Каждые три минуты — убийство! Священник тюрьмы Плетцензее в своих воспоминаниях уточнял, что ловкому палачу и его натренированным помощникам требовалось не три минуты, а всего одиннадцать-тринадцать секунд. Таким образом, казнили, как на «конвейере».

Документы рассказывают, что казнили (вместе с Джалилем) на двенадцать, как предполагалось раньше, а одиннадцать борцов с фашизмом.

Имена писателя Алишева, журналиста Симаева, инженера Булатова, учителя Курмаша, подполковника Батталова, экономистов Хасанова и Шабаева, бухгалтера Сайфельмулюкова уже были известны. Теперь мы впервые узнали имена рабочего Салима Бухарова и повара Ахата Аднашева, разделивших участь Джалиля.

Всех этих людей глубоко чтят не только в Советском Союзе, но и в той части Германии, где, как и мечтал Муса Джалиль в одном из последних стихотворений, «Маркса и Гейне вернули Отчизне!».

После сообщения Леона Небенцаля на пресс-конференции журналисты газет «Комсомольская правда» и «Извес-

тия» предприняли отчаянные попытки найти какие-либо документы об этих двух неизвестных в Западном Берлине. Но эти поиски ничего не принесли. Оставалась надежда на то, что удастся что-либо найти на родине патриотов, в Советском Союзе.

Улицы Степняка, небольшого, затерявшегося в бескрайних просторах Кокчетавщины городка, дышали июньским зноем. В толстой седой пыли копошились куры. Дома, в основном, были старые, не блистающие архитектурными изюминками, и нередко чередовались с дувалами.

Шофер остановил машину на улице Красноармейской.

— Где живет Аднашев?— спрашиваем мы у первого встречного, а сами боимся получить в ответ равнодушное: «Не знаю».

Но прохожий охотно рассказывает, как проехать к его дому, и все облегченно вздыхают.

— Вон видите палисадник? Там находится дом Аднашевых.

Вот и дом этот, старый, приземистый, несколько покосившийся. Шумит на солнечном ветру разросшийся старый клен.

Дом был на замке. Прождав час, другой, мы заглянули в окно. И увидели — лежит в постели, положив руки поверх одеяла, старый человек. В этот момент подоспела хозяйка, которая, уходя, закрыла дом на замок. Не сразу поняла она, в чем дело... Но при упоминании Ахата, старик, которому было уже около восьмидесяти, приподнялся на локте.

Да, он отец Ахата. Зовут Махмудом Ахметовичем. Родился в 1888 году, в Казани. Работал в этом городе много лет, переехал в Петропавловск, а потом был направлен в Степняк, стал работать главным кассиром в «Продснабе». Ушел на пенсию в 1958 году.

Жили Аднашевы раньше в подгорной части города Петропавловска. Ахат учился в татарской школе в Петропавловске, закончил семь классов. Уже после того, как семья Аднашевых переехала в Петропавловск, Махмуд Ахметович отправил сына на бухгалтерские курсы в Щучинский учкомбинат. А в 1938 году Ахата призвали в армию. Старший сын Хамит в декабре 1941 года пал смертью храбрых на Ленинградском фронте.

III

О СЕБЕ РАССКАЗАЛ В ПИСЬМАХ

Данные, приведенные в карточке смерти Ахата Аднашева, совпадали только отчасти. Это и понятно. В тюрьме Плетцензее учет вели сами палачи. Для них было важно число казней, а не данные о казненных. От этого зависела «зарплата» заплечных дел мастеров — триста марок за каждую казнь. У отдельных из них только за август 1944 года было зарегистрировано шестьсот казней. Кроме того, фашистские власти отдали распоряжение регистрировать любую казнь, как обычный факт смерти.

И помощник надзирателей тюрьмы Плетцензее Пауль Дюррхауер, согласно этому приказу, диктовавший чиновнику Глюку данные о смерти одиннадцати легионеров, и, сам записывавший, не утруждали себя точностью и достоверностью. Как сообщил Махмуд Ахметович, было перепутано имя второй матери Ахата, первая мать его — Магитап умерла, когда ему шел третий год. Вторую звали не Умминимал, как было указано в карточке, а Умикамал. Неверно указана и дата рождения. Она расходится на год. Ахат родился 14 декабря 1917 года, а не в 1918 году. Вот, оказывается, почему оказались безуспешными наши поиски в архивах загса города Петропавловска за 1918 год! Постепенно все факты становились на свои места.

«Был ли когда-нибудь Ахат поваром?!»— спрашиваем мы Махмуда Ахметовича. Губы заметно оживившегося старика трогает усмешка. Нет, такой профессией в их роду никто не увлекался. Он хотел, чтобы сын пошел по стопам отца, потому и направил его в Щучинск, на курсы бухгалтеров. Но Ахату эта профессия по душе не пришлась. Он стал кадровым военным. Политруком.

Стало ясно, почему Ахат себя назвал поваром, да и другие джалильцы оказались в карточках людьми более чем мирных профессий — бухгалтерами, счетоводами. Не могли же они навлечь на себя подозрение гестаповцев, которые, как известно, истребляли командиров и особенно политработников Красной Армии почти поголовно.

— Не сохранились ли у вас письма, фотографии Ахата?

— Сохранились,— засветилось лицо старика.— Надо поискать вон в том сундуке.

И вот на свет извлечена солидная пожелтевшая от времени связка писем Ахата. Здесь и фотография его. Строгое волевое лицо. Тонкий разлет бровей. На голове — фу-

ражка со звездочкой. Гимнастерку перечеркивают строгие линии портупеи. Строка за строкой из писем вырисовывается личность Ахата Аднашева, настоящего советского патриота, командира, комсомольца.

После призыва в Армию Ахат служил во Львове, в кавалерийской части. Письма свидетельствуют о том, что он постоянно работает над собой, повышает свою боевую и политическую подготовку.

«...Служу в эскадроне вместе с казахстанцами. Направлен командованием в школу младших командиров. Участововал в киносъемках «Богдана Хмельницкого». Этот фильм выйдет в 1941 году. Посмотрите, как воевали поляки, татары, украинцы в районе Львова. Нас, в наших костюмах, наверное, не узнаете».

«...Кто несмелый, тому служится тяжеловато. А мы, как ни говори, закаленные люди, не признаем ничего — ни холода, ни жары, ни дождя. Тактические занятия кончились успешно. Маршал Тимошенко доволен, объявил благодарность всему коллективу».

Десятого декабря 1940 года Ахат Аднашев навсегда распрощался со Львовом. Его часть взяла курс на город Староконстантинов Каменец-Подольской области: семнадцать дней находилась она в дороге.

«Когда освобождал Западную Украину и Бессарабию, там хоть тепло было,— вспоминает Ахат.— В походе участвовало много молодых бойцов, еще не привыкших к армейской жизни. Но в конце концов с боем взяли Староконстантинов».

Это письмо Ахата датировано 4 января 1941 года и было последним присланным им из довоенной, но уже далеко мирной жизни.

Каждая строка Ахата, присланная «из пылающего адреса войны», дышит ненавистью к фашистам. И несмотря на жгучую горечь первых отступлений, от присланных весточек с фронта веет оптимизмом, уверенностью в правоте святого дела.

«...Начиная войну против СССР, Гитлер рассчитывал быстро покорить нашу страну, поднять против нее крестовый поход, молниеносно закончить войну. Ни одной из этих целей Гитлер не достиг. Наши силы растут, силы врага начинают иссякать.

Вы, наверное, газеты читаете, там описан подробно ход войны.

Мне присвоено звание заместителя политрука. Это го-

ворит о том, что я справился с поставленной командованием задачей.

Да, мне выпала великая честь — громить гитлеровскую банду. Били и еще с новой силой будем бить. Теперь всем ясно, насколько крепко увязли когти фашистских стервятников, не вытащить им своих когтей. Погибнут они на просторах нашей страны.

Действующая Красная Армия, военно-почтовая станция № 264, 12 сентября, 1941 года».

Последующие письма написаны торопливо, наспех. Чувствовалось: нет времени у Ахата. Да и обстановка на фронте становилась все более жаркой. В письме от 8 февраля 1942 года он пишет: «Работаю ответственным секретарем комсомольского бюро полка. На этом конец — нет времени. Идем вперед и вперед». И еще — два письма за этот год. В марте он пишет:

«Можете поздравить меня с повышением, получил звание младшего политрука. По-прежнему являюсь комсоргом 3-его гвардейского полка».

Последнее письмо послано Ахатом 27 мая 1942 года.

А затем родители Ахата получили весточку, написанную незнакомым почерком.

«Здравствуйте, семья моего товарища Ахата Махмудовича!— писал один из боевых друзей Аднашева.— Вы просите сообщить о его судьбе. Он убит в Смоленске во время соединения с регулярными войсками в июле 1942 года. Это подтверждает политрук нашего полка. Он знает о его судьбе. Так что вашего сына уже нет. Он погиб героически. Дрался до последнего дыхания с проклятым гадом. Мы, его земляки, остались живы и все находимся в одном полку. Будем мстить!»

Несколько по-иному о судьбе Ахата свидетельствовало извещение, подписанное подполковником А. Чупровым:

«Ваш сын, Аднашев Ахат Махмудович, в боях за Советскую Родину, верный воинской присяге, проявил мужество и геройство и пропал без вести в августе 1942 года...»

Другой документ, присланный подполковником Горбачевым, пробудил кое-какие надежды у родителей:

«№ 00888, от 11 августа 1942 года. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте в борьбе с немецкими захватчиками Ахат Аднашев награжден орденом Красной Звезды».

В последнем сообщении, присланном семье Ахата из Министерства обороны СССР, извещалось: «В списках

убитых, умерших от ран и пропавших без вести Ахат Аднашев не значится».

В течение 25 лет не знали Аднашевы ничего о судьбе своего сына. Лишь в день нашего приезда в город Степняк они узнали о том, что подвиг их сына причастен к подвигу известного татарского поэта Мусы Джалиля.

И сколько было слез, добрых воспоминаний в тот день!

Настала минута прощания. Махмуд Ахметович, несмотря на болезнь, встал с постели, оделся в свой праздничный костюм, поднялся из-за стола, на котором кипел самовар, отодвинул цветастую пиалу с душистым чаем, и... ничего сказать не мог. Только махнул рукой и в глазах блеснули скупые слезы.

В «Ленинском знамени» появился мой очерк «Жизнь моя песней звенела в народе», где впервые были опубликованы письма и фотографии, принадлежащие Ахату Аднашеву.

После этой публикации в редакцию пришли интересные письма, пожелания, просьбы со всех концов страны. Пришло благодарственное письмо от Рафаэля Мустафина. Немецкий публицист и редактор Леон Небенцаль прислал письмо и страницы журнала, где опубликована его статья о сподвижниках Джалиля, в которой большое место занимал пересказ о материале об Ахате Аднашеве со ссылкой на поиск североказахстанской областной газеты.

VI

ВСЕМ СЕРДЦЕМ СОКОЛИНЫМ

Итак, удалось установить личность Ахата Аднашева, довести до читателей образ его мыслей, высокое горение, жажду героического, которые отчетливо звучат в полувыцветших строчках его бессмертных писем. Но оставалось еще одно белое пятно на карте биографии нашего земляка. Ничего не было известно о его подпольной работе. Почему его казнили вместе с руководителями антифашистского подполья.

Писатель Рафаэль Мустафин прислал нам по этому поводу письмо следующего содержания:

«В журнале «Казан утлары» я напечатал краткую заметку об Аднашеве, где высказал предположение, что он участвовал в подпольной организации в Крушино (Польша), членов которой мы до сих пор не знали, и что одно из стихотворений Мусы Джалиля, может быть, относится

к Ахату, там совпадают возраст героя и некоторые черты характера».

Накапливался материал о довоенном прошлом Ахата, но его подпольная деятельность оставалась пока загадкой.

А затем в изданной в Москве книге «По следам поэта-героя» в строках, посвященных нашему земляку, Рафаэль Мустафин продолжает свою мысль: «К сожалению, мы еще не располагаем сведениями о подпольной деятельности Аднашева. Ни оставшиеся в живых подпольщики едлинской группы, ни деятели Берлинского подполья ничего не знают о нем. Остается только предполагать, что Аднашев занимал особое место в подпольной группе. Он был вполне подготовлен для серьезной самостоятельной работы».

Свою версию по поводу Ахата предложил в письме в редакцию и подмосковный журналист Сергей Кристи:

«Дорогие друзья-коллеги!

Сердечный привет Вам из Подмосковья. Пишет Вам ответственный секретарь газеты «Коммунист» г. Воскресенска Сергей Кристи. Вы наверное, знаете обо мне по публикации в журнале «Журналист» об одном из руководителей Берлинской группы подпольной организации Мусы Джалиля — Ахмете Симаеве (№ 9).

Естественно, что опубликованный материал еще об одном подпольщике-патриоте Ахате Аднашеве в вашей газете не мог пройти мимо моего внимания. Я получил письмо от Леона Небенцаля, которому сразу же сообщил о вашей публикации. Он написал мне, что адресовался к вам, в Петропавловск. На этот адрес и пишу.

Я же, в свою очередь, могу быть полезен Вам, поскольку знаю теперь очень много побочных деталей, важных для того, чтобы воссоздать обстановку, в которой действовал Ахат Аднашев.

Ахат Аднашев — самый молодой в группе казненных, поэтому к нему было особое внимание товарищей. Они больше всего сочувствовали его молодости. Но на суде, который состоялся дважды, Ахат держал себя удивительно достойно. Я пока не могу Вам сообщить точно о сюжетных линиях, связывающих моего героя, берлинскую группу, которой я занимаюсь — Алишев, Шабаев, Булатов, Симаев, Джалиль, с вашим Аднашевым. Но Ахат Аднашев был с ними связан наитеснейшим образом.

Я еще не установил фактами, пока это только моя версия, но поваром он стал по заданию берлинской группы, руководителя всего подполья, всего движения Сопротив-

ления, поскольку это давало возможность ему находиться в некотором привилегированном в тех условиях положении, «контактировать» с врагами, то есть вращаться среди «высших» кругов, собирать необходимые сведения, ставить подпольщиков в курс всех вражеских дел. Но поскольку об Ахате Аднашеве пока почти никто ничего не знает, это все наметки, но они станут реальным фактом, надо только приложить усилия. Всяческих вам успехов в этом. Коллективный подвиг совершили эти герои, коллективным журналистским поиском мы должны об этом рассказать.

Есть еще одно дело, которое, на мой взгляд, связано с Ахатом. Среди гильотированных вместе с ним был Гайнан Курмаш, 1919 года рождения. Мать Курмаша — Газа Курмаш жила в Актюбинске, его отец — Нури Курмаш. Может кто из них в живых остался, потому что Гайнан (Григорий) Курмаш тоже среди казненных был самым молодым. Они были по подполью связаны с Аднашевым. Будет возможность: поинтересуйтесь ими в Актюбинске. Может быть, что-либо нащупаете.

Я выше говорил, что занимаюсь Симаевым, который легионером не был, отношение к ним имел особое: ведь берлинская группа насаждала своих людей, «резидентов» в разных местах. Круг ее деятельности не ограничивался чисто татарскими, национальными признаками. Это была интернационалистическая организация. Фашистами она была рассечена — русских не судили, их просто уничтожали в лагере Заксенхаузен. Татар судил имперский суд, поскольку они находились как бы под опекой комитета «Идель-Урал», руководителями которого были турецкие подданые, с которыми гитлеровская Германия заигрывала, поскольку Турция в этой войне была «нейтральной».

Сложная в общем ситуация. Это побочно я говорю, чтобы у вас не возникло предположение, будто я все с неба беру. Так вот, Ахат, повторяю, выполнял задание Берлинского комитета Сопротивления. Во всяком случае в лагере Радом его не было. Я предполагаю, что он работал поваром в комитете «Идель-Урал», в логове наших врагов, у Шафи Алмаза. Но только пока предполагаю. И еще: в вашем поиске вы должны учесть — в подполье герои принимали другое имя. Под каким работал Аднашев? Может быть, под своей фамилией, а может, и под другой. Джалиль был Гумеровым, например, Симаев был под своей фамилией. Он имел кличку «Москвич» или «Андрей». Абдулла Алишев — «Гриша» и т. д. Даже у Джалиля было

две клички «Борис» и «Орел». Так что нелегко до всего докопаться».

В другом своем письме Сергей Кристи, как и ранее Рафаэль Мустафин, высказал предположение, что стихотворение Мусы Джалиля «Сила джигита», возможно, посвящено Ахату Аднашеву — кавалеристу.

«Муса подбадривал своих людей,— писал он в своем письме,— в тюрьме он общался с ними и стихами».

В «Избранном» Мусы Джалиля я немедленно разыскал это стихотворение и внимательно прочитал:

Всем сердцем соколиным, всей душой,
Дав клятву верности народу,
Он на плечо повесил автомат,
Сел на коня, готов к походу.
И там, где он прошел, был ворог смят,
Валились пушки, танки тлели,
Откуда эта сила и огонь
В его как будто слабом теле?
Как знамя, верность Родине подняв,
Джигит прошел огонь и воду,
Не автоматом, не конем силен,
А клятвою своей народу.

Под стихотворением стоит дата: 19 ноября 1943 года, время, когда Муса Джалиль томился в фашистском застенке. То же самое можно сказать и о другом произведении Мусы Джалиля «Путь джигита», где он призывает его «отомстить, отплатить, не остаться в долгу».

V

«ЖИЗНЬ МОЯ ПЕСНЕЙ БОРЬБЫ ПРОЗВУЧИТ»

Я строил и собирал различные версии о дальнейшем пути своего героя. Долгое время ничего нового установить не удавалось. Выручило неожиданно письмо от Рафаэля Мустафина, в котором он писал: «Этим летом я был в Уфе у Н. И. Лешкина и он познакомил меня с материалами об Ахате Аднашеве. Ахат Аднашев и Салим Бухаров были руководителями подпольной организации в третьем (827-ом) батальоне легиона «Идель-Урал». Николаю Ивановичу удалось найти живых очевидцев. Но мне неудобно пересказывать сведения, добытые другим. Думается, лучше всего это сделает сам Н. И. Лешкин. Он человек открытой души, всегда готов пойти навстречу, думаю, сразу откликнется на вашу просьбу».

И вслед за этим еще одно сообщение Рафаэля Мустафина:

«О подпольной деятельности появились публикации в газете «Вечерняя Уфа». Н. И. Лешкину удалось прояснить очень многое».

Николай Иванович быстро откликнулся на мой запрос прислав свои публикации в «Вечерней Уфе» и письмо, где он пишет: «Я не занимался специально Аднашевым, но несколько раз и пока безуспешно пытался узнать, кто такой и откуда родом Салим Бухаров.

История 3-го батальона легиона «Идель-Урал» мне давно была известна. В «Вечерней Уфе» я дополнил ее небольшой главкой (о боях в вяземском окружении, где 22 июня 1942 года, судя по бумагам, попал в плен Ахат Аднашев)».

Присланный материал свидетельствовал, сколько потребовалось приложить усилий и стараний Н. Лешкину — исследователю из Уфы, занимающемуся поисками уроженца Башкирии Салима Бухарова, чтобы установить, что гитлеровцы произвели аресты не только в Едлинском (Радомском) военном лагере в Польше, где размещался штаб Волго-Татарского батальона. И не только в Берлине, но и на Западной Украине, по месту дислокации третьего батальона.

Об этом батальоне ходило немало легенд. Писалось, например, об обширном многотысячном легионе, восставшем в Карпатах, который сражался с целой дивизией «СС». Сейчас уже доказано, сообщал Н. И. Лешкин, что не было в Карпатах ни многотысячного батальона, ни дивизии «СС».

Как же оказался в Карпатах батальон, составленный из татарских легионеров? Он был сформирован фашистами в Едлинском военном лагере в Польше для того, чтобы выступить против своего Отечества. Не от легкой жизни, вопреки всем международным законам, пытались гитлеровцы бросить военнопленных, одетых в немецкую форму, в бой против своих. В Карпатах активно действовала партизанская армия Ковпака и рейхсфюрер Гиммлер, на которого была возложена задача уничтожить партизан, стягивал сюда карателей.

Третий батальон Волго-Татарского легиона был высажен в начале июня на станции Сколе вблизи Дрогобыча и в Бориславе, насчитывал больше тысячи человек, был поротно и повзводно распределен между немецкими подразделениями и поставлен на охрану железнодорожных мостов.

Вполне понятно, почему немцы усиливали надзор за легионами. Еще живо было воспоминание немцев о первом батальоне «волжских татар», который почти целиком перешел в Белоруссии — на участке 4-й ударной армии Калининского фронта — на сторону партизанской бригады Бирулина.

В батальоне готовилось восстание. Его возглавил подпольный комитет «За Родину». Н. Лешкин (в соавторстве с В. Фридманом) приводит в газете «Вечерняя Уфа» рассказы двух очевидцев и участников событий тех дней — бывших легионеров Кадермаева и Демакова. Приведем только то, что непосредственно относится к Ахату Аднашеву.

Кадермаев:

«Цель комитета «За Родину» заключалась в том, чтобы организовать массовый переход легионеров к партизанам... В работе этого комитета участвуют Ахат Аднашев и Бурханов (Салим Бухаров — прим. автора) — на них в первую очередь и возлагалась организация перехода к партизанам.

В сентябре 1943 года, когда батальон находился на Западной Украине, были арестованы большинство командиров рот и взводов (А. Аднашев, Бурханов и др.), которые обвинялись в подготовке общего побега. Побег уже был подготовлен тайным образом, были назначены надежные командиры рот и взводов, которые должны были взять на себя командование со дня побега. Ожидался лишь удобный момент. Неудобство заключалось лишь в том, что батальон распределен по мелким городишкам. Совершать побег мелкими группами категорически запрещалось подпольной организацией.

Но, видимо, нашлись предатели...

12 сентября 1943 года я был арестован гестапо за распространение антифашистских листовок. К вечеру, 17 сентября 1943 года, я был неожиданно освобожден из-под стражи до особого вызова — командир роты Мифтахов взял меня на поруки. Прибыв в свое подразделение, я немедленно рассказал товарищам об аресте легионеров, принимавших участие в работе подпольной организации. Ночью, 18 сентября, мы ушли в Карпатские горы».

Муса Демаков:

«В марте 1943 года я познакомился с Аднашевым Ахатом, командиром взвода одной из рот легионеров, возглавлявшим антифашистскую организацию, которая вела

агитацию среди легионеров, подготавливая их к переходу на сторону Красной Армии. В конце августа 1943 года, находясь уже в Станиславской области, мы должны были собраться на совещание, но так как наша штабная рота ушла в другое место дислокации, совещание не состоялось.

В начале сентября в батальоне начались аресты. И из нашей штабной роты были арестованы два человека, один из которых Кадермаев был впоследствии освобожден... От него мы узнали, что гестаповцы арестовали много наших людей, в том числе и руководителя подпольной организации Аднашева. После этого с Кадермаевым и еще несколькими товарищами мы ушли в горы...»

Судьба третьего батальона сложилась трагически. Около ста человек бежали в Черный лес и думали подождать здесь до прихода Советской Армии, но были казнены бандеровцами. Демакову удалось перейти линию фронта и он погиб, сражаясь за освобождение Польши. Осталась вышеприведенная запись, его рассказ об Ахате Аднашеве...

Предатели помешали осуществлению планов моего земляка-североказахстанца: не удалось ему и другим подпольщикам поднять весь батальон по боевой тревоге и выступить сомкнутыми рядами против ненавистного врага.

Гестаповцы схватили Ахата Аднашева и его товарищей-антифашистов 3-го батальона легиона «Идель-Урал» и бросили в Львовскую тюрьму. Отсюда он был увезен в Берлин и казнен вместе со всеми, кто причастен к делу поэта-героя Мусы Джалиля, на гильотине в тюрьме Плетцензее. По описанию Рафаэля Мустафина, который побывал здесь, во дворе тюрьмы находится приземистое кирпичное строение с плоской крышей. С несколькими узенькими зарешеченными окнами, закрываемыми изнутри железными ставнями. Оно получило название лобного места Европы. Здесь совершалось большинство казней над политическими противниками гитлеровского рейха.

Когда знакомишься с судьбой нашего героя-земляка Ахата Аднашева, особым смыслом наполняются пламенные, будто писанные кровью, строки замечательного сына Родины Мусы Джалиля:

«Прости меня, твоего рядового,
Самую малую часть твою,
Прости за то, что я не умер
Смертью солдата в жарком бою».

Они всегда на устах людей — звучат с эстрады, врываются в аудитории. Их декламируют на молодежных вечерах

и утренниках, в семейном кругу, за застольем друзей и на школьных уроках.

Есть в них несгибаемое мужество, воля, но нет трагической обреченности.

И каждый поиск, находка, относящиеся к подвигу моабитского узника — новый штрих, пусть скромный и маленький в биографии поэта-героя.

Что же делается в родном городе Ахата Аднашева в честь его подвига?

В Северо-Казахстанский областной музей мной переданы письма и фотографии нашего земляка-подпольщика. Здесь создан специальный стенд «Ахат Аднашев — патриот Родины». Думается, следует подумать о присвоении пионерской дружине, школе, улице города его имени.

Нельзя не выразить признательность казахстанцев татарскому писателю Рафаэлю Мустафину, который был одним из самых одержимых зачинателей коллективного поиска, в котором приняли участие писатели и журналисты Москвы, Берлина, Казани, Ташкента, Уфы, Петропавловска. И именно благодаря его коллективности, шаг за шагом, крупица за крупицей удалось пройти по следам судеб татарских патриотов, каждый из которых, хотя и не дожил до тех дней, когда немецкому народу вернули Маркса и Гейне, смело мог бы сказать о себе чеканной, зовущей на подвиги, строкой великого сына татарского народа, поэта Мусы Джалиля: «Жизнь моя песней борьбы прозвучит».

Зейнел-Габи Иманбаев

ГУЛЬСУМ НАХОДИТ ОТЦА

Встреча наша произошла в тесном вокзале маленького городка, где мы более суток ждали поезд. Я от усталости растянулся на длинной и широкой скамье, положив под голову свой дорожный чемоданчик, а напротив сидел усатый старик, как я узнал потом, его звали Жолкен. Рядом с ним села полная смуглая женщина — его жена. Она недовольно морщила свой маленький носик, как будто зажатый когда-то бельевой прищепкой. Я попытался с ними заговорить, но они молчали.

Приближался вечер и в вокзале становилось все более сумеречно. Лучи неяркого заходящего солнца, пробива-

ясь через запыленные окна, оставляли смутный отблеск на лицах полусонных пассажиров. В это время мимо вокзала с грохотом пролетали скорые и товарные поезда, груженные лесом, углем, машинами.

Усатый старик, как и прежде, сидел молча, в неподвижности, словно каменная статуя. Только однажды, заложив за отвисшую губу насвай, он тихо буркнул жене:

— Ей, Зибира, хоть бы раз позаботилась. Посмотри-ка, не разбились ли в желтом мешке наши куклы.

Зибира, как я заметил, нехотя склонилась, потрогала пальцами большой мешок с куклами. Солнце уже опустилось за край леса. Началась посадка в поезд. В вагоне я вошел в свое купе и устроился на жесткой прохладной скамье. Снаружи послышались беспокойные голоса и в дверь купе протиснулся знакомый желтый мешок с куклами.

— Эй, Зибира, не зевай. О муже не заботишься, так хоть себя устрой: займи нижнюю полку!— раздался мужской голос и тут же в дверях показался усатый старик — Жолкен.

— Э-э, джигит, выходит, мы с тобой попутчики,— сразу весело заговорил он, увидев меня.— Вот хорошо! Теперь и поговорим,— вспомнив, видимо, мои расспросы на вокзале, заметил он.

Присев на нижнюю полку, Жолкен показал рукой из окна на перрон и продолжал:

— Ты посмотри, посмотри-ка, джигит, как милы бывают дети, а! Вот здорово-то! Я ведь на перроне еще увидел вон ту девочку, как она догнала толстенького хмурого старичка, обхватила его шею и все целовала, целовала его. Сейчас он, наверное, в тамбуре, а она все бежит по перрону и все машет и машет ему рукой на прощание и счастливо улыбается... Это меня так растрогало, что слезы брызнули из глаз, и я поспешил в вагон.

Зибира недовольно посмотрела на мужа, вспоминающего о какой-то незнакомой девочке, и лицо ее помрачнело. Затем она презрительно сморщила свой крохотный носик и с упреком заметила:

— Опять в слезах! Ну что за мужик, хуже дитя малого. У нас в семье своих ребятишек целая куча, а он все на чужих заглядывается. В табуне только глупый мерин бежит за жеребенком... Так вот и он...

За окном сгущались сумерки и на темно-синем небе появилась луна в бегущем окружении ярко вспыхивающих звезд.

Зибира, тем временем, за спиной мужа улеглась на жест-

кую без матраца полку и сразу заснула. Жолкен, глядя через окно в степь, освещенную луной, начал было что-то напевать. Пел он тихо, вроде сам себе, потом резко обернулся ко мне и с хитринкой в глазах спросил:

— Ты, джигит, наверняка считаешь меня чудаком? Так ведь? А?

— Что вы, ага, ничего дурного я не думал о вас...

— Ну и хорошо, если так.— Жолкен нахмурил брови, медленно и тихо стал рассказывать о себе:

— В нашей семье, джигит, я ведь был единственным сыном. Вспоминаю: когда отцу исполнилось тридцать восемь лет, мне пошел семнадцатый. Парни моего возраста испытали в ту пору первый удар судьбы: фашисты начали войну и отцы ушли на фронт. Моя мать Жакыш — женщина еще молодая, энергичная, вдруг в какие-то три-четыре дня увяла, ее розовые щеки поблекли, лицо стало желтоватым и сама она как-то сразу похудела. Я, правда, не видел и не слышал, чтобы она плакала, но глаза у нее были красные от слез.

Однажды я рубил хворост за домом и услышал, как соседки по аулу упрекали мою мать: «Зачем ты изводишь себя, Жакыш?! Не одну тебя в ауле постигло тяжкое горе! Надо лучше работать в колхозе и ждать наших мужей!» И тогда лицо матери немного просветлело, она сказала мне:

— Тут вот какое дело, сынок: теперь я и по вечерам на ферме буду работать. В колхозе дел много. А ты уж по дому за всем досмотри, где надо что прибери, может, и еду придется тебе самому сготовить. Привыкай.

Конечно, привыкали. После уроков шли на колхозное поле. Сами косили траву, жали рожь и пшеницу, работали погонщиками волов. А некоторые из нас, побойчее и поопытнее, даже строили загоны и хлевы для колхозного скота... Все, от самых малых ребят до дряхлых стариков, были заняты колхозными делами, всюду надо было успеть, время летней и предосенней поры не ждет, поспевай...

А тем временем с фронтов, одна за другой, стали приходить похоронки. И каждый со дня на день ждал страшной вести о сыне, об отце, о старшем брате... Нас, уже повзрослевших ребятишек, тревожные вести настраивали воинственно: хотелось скорее отправиться на фронт.

Вот так-то джигит, и жили мы тогда в постоянной тревоге — и ребятишки, и взрослые. А вскоре, через год с небольшим, в ответ на наши заявления, пришли из военкомата повестки мне и моим сверстникам. Мы ходили по ау-

лу веселыми, пели военные песни, радовались и подпрыгивали, словно жеребята на зеленом лугу, будто собирались не на фронт, а на праздник. Совсем иными, опечаленными и расстроенными выглядели взрослые. Моя мать за три-четыре дня опять, как и после проводов отца, неузнаваемо изменилась: она похудела, стала рассеянной, путалась в мыслях и часто говорила невпопад. Я опасался, что она вместе с другими женщинами аула станет плакать и причитать на наших проводах. Но этого не случилось. В день отъезда мать рано утром растормошила меня:

— Жолкен, милый ты мой сынок, вставай! Пора уже. Пора в путь-дорогу отправляться. Я тут собрала все, что тебе нужно...

Возле койки мать стояла спокойной, только печальная улыбка светилась на ее лице, и эта ее выдержка придала мне энергии, бодрости. Я быстро вскочил, умылся в сенях холодной водой и, едва успел съесть приготовленный матерью завтрак, как к дому подкатили сани-розвальни. В них с вещами сидели мои сверстники — Алкен и Жумаш.

Почти все жители провожали нас до окраины аула, среди них и мать Жумаша. Черная и худая, она громче всех причитала, распустила и клочьями рвала на непокрытой голове волосы. Моя же мать подошла ко мне, тихо, без плача, обняла за шею и ее горячие губы мягко коснулись моей щеки. От ее поцелуя я почувствовал родной запах степной травы и парного молока.

— До свидания! Не горюй и не волнуйся, мама, я вернусь, с победой вернусь,— уже кричал я, когда наши сани быстро катились по холмистому взгорью, оставляя за собой струйки вихрящегося снега.

— Жолкен, родненький мой, душа моя, если повстречаешь там на фронте отца, передай ему самый горячий привет с низким поклоном!— только эти слова матери я и успел услышать. Она что-то еще говорила, размахивая руками, но ее голос потонул в общем шуме... Я только видел, как она съежилась, еще раз обернулась в нашу сторону и горестно помахала рукой. У меня заныло сердце от нехороших предчувствий. Сквозь слезы я пытался найти взглядом свой дом в ауле, но, поднятая ветром, снежная коловерть закрыла горизонт.

Прибыли к фронту не скоро... Потом еще в пешем порядке нас вели все дальше и дальше на север к передовой линии...

Остановились мы, как помню, в заранее подготовленных окопах, соединенных глубокими траншеями. Начали стро-

ить новую линию обороны, кирками и лопатами долбили мерзлую землю, рыли окопы, траншеи. Иногда, надев белые масхалаты, группами упражнялись в хождении на лыжах с полной боевой выкладкой, с оружием и неприкосновенным запасом продуктов. Издалека доносились выстрелы орудий, глухие взрывы снарядов, пулеметная стрельба. Мы постепенно привыкали к фронтовой обстановке.

Не знаю почему, но каждый из нас стремился попасть в разведку. Вот и выпал такой случай нашему отделению. Сдали мы старшине все свои документы, надели белые маскировочные халаты с капюшонами. Под халатами у нас — ножи, гранаты, автоматы с полными дисками. Встали на лыжи и пошли за ведущим. Задача у нас несложная: разведать оборонительные сооружения противника и его огневые точки на передовой и, при возможности захватить «языка». Задание мы выполнили. Прихватили и фашиста-пулеметчика. Только в ту ночную операцию мне не повезло: при возвращении столкнулись мы с вражеской разведкой и в перестрелке фашистская пуля по касательной прошлась по моему плечу. Я и в санроту не пошел, на месте повязку наложили и опять в строй...

Вскоре, в одну из ночей, наша рота по заданию командования ползком добралась до окопов первой линии, залегла, приготовилась к бою. На утро мы услышали грохот вражеских танков, идущих в нашу сторону, а за танками лавиной шли в атаку пехотинцы в серо-зеленых шинелях. Танки мы подбивали и поджигали гранатами и бутылками с горючим, а по наступающей фашистской пехоте открыли дружный огонь из винтовок, автоматов и пулеметов.

Ту первую вражескую атаку мы успешно отбили, и я подробно написал матери о том, как смело и умело деремся с фашистами мы — земляки из нашего аула. Только об отце я маме ничего не смог написать, не встретил его. Да и где встретишь? На фронте миллионы солдат, разве того, кого надо, найдешь среди них?— Жолкен, прервав рассказ, тяжело вздохнул и молча смотрел через темное стекло на мелькавшие за окном огни. Зибира по-прежнему лежала без матраца на нижней полке и крепко спала. Жолкен, покрутив седые усы, тихо продолжил свой рассказ:

— На фронте прошло много времени. Меня уже называли не солдатом, а сержантом. С севера нас перебросили на западное направление. Наше и некоторые другие подразделения однажды оказались в окружении, и пришлось вести ожесточенные бои, чтобы прорваться к своим. Ар-

тиллерия и непрерывные атаки наших разомкнули вражеское кольцо, и мы, захватив с боем небольшой белорусский городок, остановились на отдых в зацветающем саду какого-то совхоза. Солдаты роты, утомленные изнурительными боями, уснули прямо на сырой земле. Мимо нас шли артиллеристы. Я в ту пору сидел возле ствола расцветающей яблони и всматривался в лица проходивших мимо меня. И вдруг, приглядевшись, я громко вскрикнул:

— Отец! Это — ты!

Я вскочил, выбежал на пыльную дорогу, обеими руками обхватил рослого и сухощавого солдата в серой длинной шинели с артиллерийскими петлицами.

— Отец, родной мой отец! Как я рад встрече с тобой! От матери тебе горячий привет, низкий поклон... Напишу ей. Вот рада-то будет!— Не отстраняясь от моих объятий, отец плакал и тоже торопливо говорил:

— Сынок! Соколенок ты мой! Как встретились-то: на марше. А мы ведь снарядов не жалели, чтобы вызволить вас. Сыночек, жеребеночек ты мой единственный. А как вырос, как вырос! Сержант уже. Молодец!

Вся группа проходивших артиллеристов остановилась на дороге, бойцы были растроганы этой неожиданной встречей на фронте сына с отцом, а некоторые из них даже прослезились. Рассматривая отца, волнуясь, я едва услышал капитана Смирнова — командира нашей роты:

— Старший сержант Жолкен Бейсенбин, разрешаю вам побыть с отцом. С привала в саду мы выйдем на марш часа через два. В случае чего догоните...

Разрешение обрадовало и взволновало меня. В те счастливые минуты, обнявшись с отцом, я забыл о жестокой кровопролитной войне, мне казалось, что мы с ним в родном ауле Жекенди. Я приник к пропахшему махоркой лицу отца, заросшему щетинистой бородой, а он молча ласкал меня, слегка похлопывая ладонью по моей спине. Потом он отстранился, пытаясь получше рассмотреть меня и стал расспрашивать о жизни в ауле, о матери, о ее работе. Его волновало и радовало все, о чем я расказывал, даже самая малость, вроде той, что у нашей коровы появился теленок.

Я смотрел на отца, слушал его расуждения об ауле, о семье и, если бы не солдатская шинель, то, казалось, выглядит он обычным озабоченным аульным жителем. Разве только обоженные солнцем и ветрами лицо отца выглядело более суровым, да на лбу залегли глубокие морщины,

кончики его густых усов поседели, резче выступали угловатые скулы...

Артиллеристы привалом расположились на краю сада, где дымилась походная кухня и вереницей стояли пушки-сорокопятки, а мы присели в тени цветущей яблони. Я достал из своего вещевого мешка солдатский паек: хлеб, консервы, сбереженный мной жесткий коричневый кусок баранины домашнего копчения. Все выложил из вещмешка, но продолжал поиски самого дорогого, чем я мог порадовать отца. И вот, на расстеленной газете горкой лежали белые шарики сухого курта.

— Этот курт сварен мамой из молока нашей коровы,— пояснил я отцу и добавил:— Я берег его, все надеялся встретить тебя.

Молча глядел он на курт и кровь прилила к его лицу. Он бережно взял несколько шариков и прижал их к щеке. «Говоришь, мама варила этот курт? Выходит, вмятины на нем от ее пальцев! Как же ты порадовал меня, сынок!» Он стал грызть кислый курт, обнажая из-под усов свои белые зубы, и на лице его светилась блаженная улыбка. Он жевал и смотрел на меня глазами, полными слез, а я все рассказывал ему о новостях из жизни нашего аула. Он слушал, молча и только вздыхал.

Вдруг, взглянув на часы, отец поднялся, вскинул за плечи вещмешок, поправил на голове пилотку, сказал:

— Спасибо, сынок, за материн подарок, за ее поклон. Не хочу я расставаться с тобой, буду просить начальство перевести сына из пехоты в артиллерию, на нашу батарею. У меня в орудийном расчете двух человек не хватает, потеряли их, когда вас из окружения вызволяли.

— Я согласен, отец. Только ты возьми в свой орудийный расчет и моего одноклассника Жумаша,— настоятельно попросил я.

— Добро, сынок,— ответил отец и зашагал через сад к своей батарее, а я поспешил в свою роту, никак не надеясь, что мне вновь доведется встретиться с отцом.

Но отец все-таки добился своего и меня с Жумашем перевели в его орудийный расчет. Мы с Жумашем стали подносчиками снарядов. Из рассказов боевых товарищей отца я узнал, что во всех боях он проявил себя опытным наводчиком орудия. Теперь по фронтовым дорогам я шел всегда рядом с отцом. Даже в студеную пору мне было тепло, так как мы спали всегда вместе, укрывшись одной шинелью. Отец в свободное время учил меня стрельбе из орудия, делился своим опытом. Ему было чем поделиться с моло-

дежью: он оборонял Москву, воевал на Северо-Западном и Калининском фронтах, четыре раза побывал в госпиталях, дважды с тяжелыми ранениями. В последний раз, не закончив лечения, отпросился опять на фронт...

Однажды рано утром фашисты открыли ураганный огонь из артиллерии по нашим огневым позициям и по окопам пехоты. Стало ясно, враг намерен перейти в наступление. Так оно и случилось. Едва утих артогонь, как на нашу оборону двинулись вражеские танки.

Отец не растерялся, спокойно предупредил нас с Жумашем: «В случае какой беды, если вы останетесь живы, снаряды зря не тратить, бить по вражеским танкам только после тщательного прицеливания».

В этой схватке каждый из нас старательно и спокойно делал свое дело: отец наводил орудие, мы подносили снаряды. Вражеский танк после наших выстрелов охватило пламя. Но из-за первого подбитого выскочили другие, вытянув длинные хоботы орудийных стволов и стреляя на ходу. Они шли прямо на нас. За танками бежали автоматчики. Теперь не только наша, но и соседние батареи вступили в схватку с врагом.

— Жолкен, Жумаш, снаряды!— выкрикивал отец, и мы спешили выполнять его команды.

В этом бою случилось самое страшное: возле нашего орудия разорвался тяжелый снаряд. Казалось, весь свет заполнило взорванной землей и вонючим дымом. Я оглох, ничего не слышал, но в какое-то мгновение, сквозь дымовую завесу увидел надвигающийся на нас, грохочущий гусеницами вражеский танк. Я бросил в него одну за другой две противотанковых гранаты. Танк будто споткнулся, притих. Откуда-то издалека прилетевший фашистский снаряд разорвался возле наших снарядных ящиков. С трудом выбрался я из-под кучи земли, не все различая в дыму и пламени. Стал искать отца, кричал, звал его. Мне никто не ответил.

Слева опять появился фашистский танк. Я быстро зарядил свою «сорокопятку», развернул орудие влево и взял его на прицел. Фашист тоже меня заметил. Но я выстрелил первым и от радости при виде остановившегося танка захохотал, будто лишился рассудка. Вновь зарядил орудие, но в этот момент близкий взрыв оторвал меня от земли и отбросил в сторону...

Не знаю, на какой день, но очнулся я только в эвакогоспитале, далеко от своих боевых друзей по батарее. Медсестра сразу улыбнулась мне и говорит:

— Дорогой артиллерист (это она по моим петличкам со скрещенными на них стволами орудий определила), как я рада, что вы живы. Вы же у нас в госпитале двое суток не могли прийти в себя, все говорили в бреду.

В этот момент я и услышал голос раненого с соседней койки:

— Жолкен! Это ты, Жолкен? По голосу я узнал тебя. Откликнись!

Я даже чуть приподнялся на подушке, взглянул на соседнюю койку, но ничего не понял: там лежал раненый. Глаза у него были перевязаны. Теперь уже я спросил:

— Кто ты?— и услышал в ответ:— Это я, Жолкен, твой боевой друг Жумаш. Гады-фашисты глаза мне выжгли. У меня к тебе, Жолкен, просьба: если тебя выпишут из госпиталя раньше и ты приедешь домой, пожалуйста, никому не говори, что я жив. Я ослеп и никогда не приеду в родной совхоз «Алга»! Я не хочу, чтобы люди, а особенно мать терзались моей слепотой...

Эта просьба друга прозвучала как его последнее завещание, и я всегда помнил о ней. Меня выписали из госпиталя раньше Жумаша, но на фронт не отправили, так как раны еще давали о себе знать. Попал я в стройбат. Мы шли по следам прошедших боев, и я с горечью наблюдал, какие тяжелые следы разрушений на нашей земле оставила война. Стройбатовцы разминировали шоссе, ремонтировали мосты, восстанавливали железные дороги. Все это время я часто вспоминал об отце, исчезнувшем навсегда. Отрастив усы, я и сам становился похожим на него. Что ни говори, а усы делают человека внушительнее, солиднее, взрослее...

После Победы меня демобилизовали и, возвращаясь домой, я не раз ловил себя на мысли, что меня усатого даже мать может принять за отца.

Да ведь так оно и вышло, джигит. Ты слушаешь меня?

— Слушаю, слушаю,— быстро откликнулся я.

Беседа наша продолжалась, сопровождаемая тихим и спокойным похрапыванием Зибиры.

— Так вот, джигит, когда я вышел из вагона на разъезде, встречающих здесь из нашего аула Жекенди было много, и как я жалел, что не было среди них отца, не приехала и мать. Она болела тогда. Но едва я ступил на перрон, как мои ноги худенькими ручонками обхватила маленькая девочка и закричала: «Папочка, дорогой мой папочка, вернулся все-таки! Как я ждала тебя!» Я невольно наклонил-

ся к ней, и девочка обхватила меня за шею. Я шепотом спросил у нее: «Как же зовут-то тебя?» «А ты забыл, забыл мое, имя, папочка? Ах, как долго тебя не было!— улыбаясь, шепотом поясняла она.— Гульсум я, Гульсум!»

Истосковавшуюся по отцу девочку я ласково поцеловал в щечку, и сердце мое затрепетало от неожиданной радости. Я был растроган до слез. Вокруг собрались любопытствующие.

— Счастливая девочка, наконец-то дождалась она своего отца,— сказала пожилая женщина, утирая платком повлажневшие глаза.

— Я всегда вижу ее: как время прийти поезду, она стоит на перроне и ждет. Прямо сердце мое разрывалось, глядя на нее. А теперь-то как хорошо: встретила отца, рада,— вслух сказала другая женщина.

— Отец-то совсем еще молоденький. Усатый только,— удивилась третья.

И тут я пришел в себя и спросил у женщин: «Есть ли у этой девочки родные?» «Нет, что вы! Никого у девочки нет, а живет она в детдоме. Но всегда к поезду приходит на разъезд, ждет возвращения отца с фронта»,— пояснила одна из женщин.

С разъезда я пошел, держа девочку на руках, старательно укутывая ее в шинель от осеннего холодного ветра. Гульсум прижималась ко мне, ее радости не было конца, она все шептала: «Папочка, дорогой мой папочка, как мне хорошо с тобой! Я все-таки дождалась тебя, ты вернулся с фронта!»

Мы с Гульсум сели на попутную арбу, запряженную двумя волами, и только к вечеру добрались до моего аула. Я сразу заметил в вечерних сумерках, как ласково светилось окно моего дома. Мать сидела перед окном, глядела на запад, куда отец и я уходили на фронт, и что-то шептала. Ее губы слегка шевелились. Как она изменилась, постарела. Не в силах смотреть на болезненное бледное лицо матери, я рванулся к двери, но не сразу вошел в дом, а постучал.

— Кто там?— спросила приглушенным голосом мать.

— Это я, мама...

— Вроде голос моего Жолкена? О, господи! Жолкен, это ты?— спросила она, видимо, все еще сомневаясь в моем появлении.

Я распахнул дверь и вместе с Гульсум вошел в дом. Мать, увидев меня, заплакала навзрыд. Я опустил Гульсум на пол, обнял мать, жадно вдыхая знакомый с детства материнский запах, и слезы брызнули у меня из глаз...

— Дорогой мой сынок, кто это с тобой?!— удивленно спросила мать, глядя с любопытством на маленькую девочку, которая стояла рядом со мной, крепко обхватив мои ноги.

— Мама, ты сама спроси у нее.

— Чья ты, девочка?— спросила моя мать ласково.

— Я папина дочка. Вот мой папа,— пояснила Гульсум, прижимаясь ко мне.

— О, сынок, спасибо тебе. Мне так недоставало такой маленькой внучки,— сказала мать и, взяв Гульсум на руки, стала ласкать ее.

— Что поделаешь, не хотела она на разъезде расставаться со мной, вот я и взял ее. Отец ее так и не вернулся с фронта, а мать, говорят, умерла. Детдомовская она,— шепотом сказал я матери.

— Ну и хорошо, воспитаем как свою,— шепнула мне мать.

С тех пор, джигит, прошло много лет. Наверное, и ты-то к нам едешь о целинниках писать?

Усатый Жолкен показал мне широкие крепкие ладони.— Я сначала трактористом работал, а потом и комбайнером стал. Обо всем рассказывать, как мы превратили дикую степь в просторные хлебные поля, много времени понадобится. Это же в жизни казахов целая история.

Что еще рассказать тебе, джигит? Мать, моя покойная мать, до самой смерти любила Гульсум, как свою первую внучку.

Не поверишь, с какой радостью я еду сейчас к моей родной Гульсум. Четверо ребятишек у нее. Вот и везу я игрушки для моих внуков. Они живут в совхозе «Алга», на родине Жумаша,— со вздохом сказал Жолкен, показав рукой вперед.

— Так ведь и я еду в этот же совхоз,— пояснил я усатому Жолкену.

— А знаешь, что с Жумашем стало?— опять со вздохом сказал Жолкен.— Он же, я говорил тебе, родом из этого совхоза, но так и не вернулся домой, боялся стать обузой для родных. Мать его с тоски умерла раньше времени, считая сына погибшим. А он жив, в учебно-производственном предприятии казахского общества слепых в Петропавловске работает. Бывает и так в жизни.

К месту назначения наш поезд прибыл на рассвете. Мы разбудили Зибиру, забрали вещи, вышли на перрон и на первой попутной машине помчались в совхоз «Алга».

У просторного двора, огороженного штакетником, рас-

пахнув голубую калитку, нас встретила молодая женщина с гурьбой ребятишек. Обнимая усатого Жолкена, она с восторгом повторяла:

— Папочка, дорогой мой папочка! Спасибо тебе за все и за то, что приехал навестить нас.

Это была Гульсум.

Дмитрий Жданкин

КАЗАХСТАНСКИЕ БОГАТЫРИ

Каждый раз, когда мне доводится приезжать в город-герой Тулу, я неизменно прихожу на площадь Победы к монументу. Смотрю на скульптурные изображения героев, грудью заслонивших столицу нашей Родины, вспоминаю многих воинов Северного Казахстана 413-й срелковой дивизии. Они, как и их земляки-панфиловцы на Волоколамском шоссе, стояли насмерть, преграждая фашистам дорогу на Москву... О них и пойдет мой рассказ...

День в Петроповловске наступает на три часа раньше, чем в Москве. Жаркое июньское утро сорок первого года, благо было воскресенье, горожане провели на берегах Ишима, в тенистых березовых колках, купались в прохладной реке, загорали, собирали цветы... А когда вернулись домой, услышали страшное слово: война!

На центральной площади собрались на митинг десятки тысяч людей. Первый секретарь Северо-Казахстанского обкома В. Ф. Николаев сказал:

— Сегодня фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Казахстан, все трудящиеся области под руководством Коммунистической партии поднимутся на защиту Родины, отдадут все силы разгрому ненавистного врага.

Суровое молчание нарушилось возгласами:

— Пойдем на фронт добровольцами!..

— Смерть фашистским захватчикам!..

Вечером я передал по телеграфу отчет о митинге в газету «Казахстанская правда», корреспондентом которой состоял.

В Петропавловске я дружил с Жумагали Мусиным, за-

местителем председателя облисполкома. Он был душевным, скромным человеком.

В те июньские дни мы часто встречались, и каждый раз Жумагали спрашивал:

— Вот ты — корреспондент, скажи, когда наши войска перестанут отступать? Когда начнем громить фашистов?

Конечно, трудно было отвечать на вопросы, но все же мы вместе приходили к выводу, что дело поправится, когда Красная Армия развернет все свои силы.

В Петропавловске и районах началась массовая мобилизация. Вечером мне в гостиницу позвонил Жумагали и предложил встретиться. Медленно шагали мы по берегу Ишима. Жумагали рассказывал, что в армию призвано много казахских парней. Среди них отличные стрелки, мастера рукопашного боя. Он поделился своим желанием уехать на фронт вместе с земляками. «Не отпускают»,— вздохнул.

— А я повестку уже получил.

Проводить меня на фронт из Пресновки приехал писатель Иван Петрович Шухов. Вечером на квартире редактора областной газеты Федора Самарина собрались журналисты. Миловидная его жена приготовила сибирские пельмени. На них подоспел ответственный дежурный по выпуску номера газеты Андрей Петрович Кияница.

— Плохие сообщения идут с фронта, наши отступают,— сообщил он, садясь за стол.

— Все до поры, до времени. Наполеон тоже быстро двигался к Москве, но еще быстрее удирал со своей армией по старой смоленской дороге восвояси. Такая же участь ждет и Гитлера,— заметил Шухов.

— Ну, язви его, силен за пельменями,— сказал Кияница, взглянув на Ивана Петровича.

Шухов как-то нахмурился, встал, посмотрел на присутствующих и звонким своим голосом сказал:

— Силу свою покажет на фронте наша Красная Армия, русский солдат. Сейчас мы провожаем на фронт нашего друга-журналиста Диму Жданкина. Пожелаем ему вернуться домой с победой.

...Эшелоны с призывниками отправились не на запад, где шла война, а на Дальний Восток. С ними в товарном вагоне ехал и я.

Доехали до станции назначения, выгрузились и в пешем строю направились в лес. Здесь из казахстанцев были созданы два стрелковых полка и минометный дивизион, а затем сформирована 413-я стрелковая дивизия. В ее сос-

тав влились сибиряки из Омской, Новосибирской, Курганской областей и Алтайского края. Через несколько дней новобранцы были зачислены в подразделения по родам войск. Молодые бойцы изучали оружие, овладевали военными знаниями. Мне, наводчику 120-миллиметрового миномета, тоже пришлось проходить курс боевой подготовки.

Вскоре меня пригласили в политотдел и предложили перейти на работу в редакцию дивизионной газеты, в качестве ответственного секретаря.

...Во второй половине октября, когда гитлеровские полчища приближались к Москве, полки дивизии погрузились в эшелоны и со станции Спасск-Дальний отправились на фронт.

На рассвете в ноябре 1941 года мы прибыли на станцию Узловая. В домике рабочего-железнодорожника собралось комндование дивизии: командиры, комиссары, начальники штабов стрелковых и артиллерийских полков. Представители штаба 50-й армии рассказывали о трудной обстановке под Тулой, которую называли южными воротами Москвы. Они говорили, что фашисты, стремясь овладеть Тулой и намереваясь совершить от нее бросок на столицу, вводят в действие много танков, самолетов, пехотных частей. Нашей дивизии предстояло оборонять самый ответственный —веневский — участок, где сосредоточились танковая армия генерала Гудериана и отборные пехотные полки.

Командир дивизии А. Д. Терешков сидел за столом и внимательно изучал карту Тульско-Веневского участка, делая пометки на карте и в своем блокноте.

Со станции Узловая, строго соблюдая маскировку, наши части двинулись на левый фланг Тульского боевого участка — в район разъезда Дедилова и поселка Белоховки. Здесь и заняли линию обороны. Штаб дивизии разместился на разъезде Дедилово. Поблизости расположилась и редакция.

Четвертого ноября вышел первый номер дивизионки, призывавший стойко и храбро оборонять наши рубежи. Редактор, корреспонденты отправились со свежими номерами газеты на передовую. Одновременно они организовывали материалы для очередных номеров. Я в то время занимался секретарской работой — составлял план следующего номера. В полдень у железнодорожного полотна появились три фашистских танка и двинулись к разъезду. Услышав тяжелый гул моторов, я выскочил из дома и увидел бегущих офицеров и солдат-связистов. За ними с пистоле-

том и гранатой в руках — командир дивизии Терешков.

— Что случилось, товарищ генерал.— спросил я.

— Танки!

Скрежет гусениц нарастал. Не выпуская из рук пистолета и гранату, Терешков внимательно наблюдал за ними.

Танки остановились метрах в шестидесяти от редакционной избы, один из углов которой скрывал нас от врагов. Генерал старался подбодрить меня:

— Не волнуйся, мы еще постоим за себя, живыми нас не возьмут.

И тут же раздался орудийный выстрел.

Грохот, треск — и мы оказались заваленными обломками.

— Живой?— негромко спросил генерал спустя несколько минут.

— Живой,— ответил я.

Фашистские танки между тем прорвались вдоль железной дороги в наши тылы. В дом, где располагался командный пункт, спешно собирались штабные офицеры. Пришел и генерал, немедленно приказавший расчетам противотанковых орудий и батарее гаубиц занять на разъезде оборону. Перед Тулой танки повернули обратно и шли по шоссе, по которому двигались наши грузовые автомашины, конные повозки, доставлявшие в полки боеприпасы и продовольствие.

Позже мне рассказали, что во время перегруппировки войск 50-й армии, в которую входила и наша 413-я стрелковая дивизия, на дедиловском участке вообще не оказалось линии обороны.

Суровые ноябрьские морозы сковали землю так, что зарыться в нее можно было только при помощи взрывчатки. Под окопы приспосабливали воронки от авиабомб и снарядов.

Дивизия вступила в бой.

Так уж совпало, что первыми приняли на себя удар близ деревни Трещево подразделения 1324-го полка. Вражеские бомбардировщики фугасками перепахали весь передний край обороны. Но разрушенные бомбами окопы и блиндажы бойцы восстанавливали вновь.

В разгар ожесточенного боя погиб командир 1324-го полка, и командование принял комиссар К. В. Соловцов.

— Держаться до конца!— таким был первый его приказ.

Таяли ряды защитников. А танки все шли и шли. Три из них ринулись на позиции роты, где в тот момент нахо-

дился комиссар Соловцов. Атаку отбили. Но в окоп попал снаряд. Осколки ранили глаз, перебили кисть руки. Истекая кровью, комиссар нашел в себе силы выбраться из траншеи и, уже теряя сознание, метнул бутылку с горючей смесью в бронированную машину. Она вспыхнула... На помощь роте подоспели два стрелковых батальона и батарея полковой артиллерии. Завязался жестокий бой. В тот день фашисты недосчитались семнадцати танков, многих солдат и офицеров.

Жарко было и на подступах к шахтерскому поселку Болоховка, который оборонял 1322-й стрелковый полк под командованием подполковника Д. М. Корнеева, комиссара Ф. Д. Кузнецова, начальника штаба майора П. Е. Жаркова. Потерпев неудачу под деревней Трещево, Гудериан решил взять реванш здесь. Он бросил на поселок полсотни танков, два полка мотопехоты, поддержанных артиллерийско-минометным огнем и авиацией. И опять не по зубам оказался гитлеровцам русский орешек. За каждый дом, за каждую улицу бойцы сражались геройски, истребляя танки и пехоту врага.

В разгар боя положение осложнилось. Штаб полка, находившийся в одном из подвальных помещений, оказался в окружении. Потеряна связь с батальонами, ротами и командованием дивизии. Фашисты наседали, пытаясь взять окруженных в плен. Они бросали в подвал гранаты, применяли дымовые шашки, но — безрезультатно. Бойцы, командиры, политработники полка много часов мужественно отбивались, стояли насмерть. Никто не сдался живым. Уцелевшие герои — П. Е. Жарков, помощник начальника штаба полка В. М. Ноздрюхин, младший политрук А. В. Андрейко с наступлением темноты вышли из окружения.

Отвагу и героизм в боях за Болоховку проявили все воины полка. Партийным словом, личным примером увлекал бойцов в атаку парторг, младший политрук А. К. Моисейкин. Бутылкой с горючей смесью он поджег вражеский танк и уничтожил из автомата до двух десятков гитлеровских солдат и офицеров. Отважный политрук был награжден орденом Красной Звезды.

Ожесточенные бои не стихали ни днем ни ночью. На помощь 1322-му стрелковому полку пришли другие подразделения 413-й дивизии. О ее стойкости и мужестве Совинформбюро сообщало:

«17 ноября 1941 года части товарища Терешкова обороняли район рабочего поселка Болохово. Их атаковали семьдесят танков и два полка мотопехоты. Бойцы Те-

решкова отбили атаку, уничтожив девятнадцать танков, истребив до пятисот фашистов. В течение этого дня враги еще несколько раз пытались атаковать части Терешкова, но успеха не добились. И в последующие два дня немцы подвергали нашу оборону беспрерывным атакам, вводя в бой все новые силы. На третий день ночью противник ворвался в поселок. Произошел ночной уличный бой. Части Терешкова истребляли немцев гранатами, штыками, огнем из автоматов и пулеметов... Перед утром воины Терешкова контратакой выбили немцев из поселка... В районе поселка осталось две тысячи вражеских трупов, дымились сорок шесть сгоревших немецких танков.»

Не считаясь с потерями, враг рвался к Туле. Генерал Гудериан и фельдмаршал фон Бок подтянули новые силы и продолжали бросать на сибирскую дивизию до сотни танков в день, большое число самолетов, отборные пехотные батальоны, полки и целые дивизии. Наши пехотинцы и артиллеристы вместе с 112-й танковой дивизией полковника А. Д. Гетмана и Тульским рабочим полком сдерживали все усиливающийся натиск фашистов. Но вокруг города оружейников все крепче сжималось вражеское кольцо. Железная и шоссейная дороги, ведущие в столицу, были перехвачены противником.

В районе Венева гитлеровцам удалось потеснить полки нашей дивизии. Одновременно десятки танков и сотни автоматчиков на мотоциклах атаковали позиции Тульского рабочего полка. Фашисты, хотя и медленно, приближались к окраинам Тулы, вели из пушек и минометов обстрел ее улиц. Положение складывалось критическое.

Ночью на окраине города, в школьном здании, собрались командиры полков, батальонов, рот, батарей, политработники и парторги. Прибыл сюда и первый секретарь обкома партии, председатель городского комитета обороны В. Г. Жаворонков. Комдив Терешков снял папаху, расстегнул шинель и сказал:

— Наступили критические часы и дни. Над Москвой нависла серьезная опасность. Наш священный долг — выполнить приказ Родины: «Ни шагу назад!» Через Тулу на Москву врага не пропустим. Будем стоять насмерть!

Днем и ночью рыли окопы, траншеи, возводили дзоты и другие оборонительные сооружения. В батальонах и полках создавались истребительные подразделения, артиллеристам был дан приказ вести огонь по танкам прямой наводкой. Ни часа не давала она гитлеровцам покоя. Изматывая силы противника, переходила в контратаки.

... В лесной деревушке Колодезная располагались тыловые подразделения дивизии. В конце ноября сюда устремился батальон эсэсовцев, наступление которого поддержали танки. Мужественно отбивались писаря, повара, связисты... Но силы оказались слишком неравными. Всех захваченных фашисты расстреляли.

На второй день после занятия фашистами Колодезной генерал Терешков приказал командиру 1322-го стрелкового полка Ивану Лукьяновичу Петухову окружить деревню и уничтожить врага.

Медленно опускались сумерки. Мела метель. Крепчал мороз. В пяти километрах от Колодезной, на лесной поляне Октябрьского кордона, у одного из домов, где жил лесоруб Иван Андреевич Шаренков, бойцы расположились на привал. Ожидали разведчиков, но они задерживались.

Петухов попросил Шаренкова скрытно провести полк до Колодезной.

— Проведу. И ветка не хрустнет,— ответил лесоруб.

Под покровом ночи по мало известном лесным тропам и дорогам цепочкой двинулись бойцы к Колодезной. В тулупчике, в валенках и шапке-ушанке впереди шел Шаренков. Наступление на Колодезную повели с трех сторон: с юга — батальон Н. Буркатовского, с востока — батальон К. Фомина, а с севера — батальон Р. Медведева. Рота В. Логвинова обошла деревню с запада и отрезала врагу путь к отступлению.

На рассвете, когда замкнулось кольцо, с опушки леса ударили пушки и минометы. Гитлеровцы в панике выскакивали из домов, бежали в поле, другого пути отступления не оставалось. На снежном поле их косил меткий пулеметный огонь. Бойцы Петухова ворвались на улицу и забрасывали врагов гранатами, вели огонь из автоматов и винтовок. Гитлеровцы попытались прорваться через западную окраину, но дружные залпы подразделения Логвинова встретили их и здесь.

Как подтверждают документы, был полностью истреблен 5-й батальон полка СС «Великая Германия». В числе трофеев два исправных танка, две пушки, более ста пулеметов, два склада боеприпасов, радиостанция, около ста мотоциклов, десятки грузовых и легковых автомобилей.

В полдень в Колодезную приехал А. Д. Терешков. Осмотрев трофеи, бросив взгляд на пленных офицеров батальона СС «Великая Германия», он вышел на опушку леса, где расположились бойцы. Генерал тепло их приветствовал:

— Молодцы! Из каких мест будете, мои герои?

— Из Северного Казахстана, товарищ генерал.

— Постойте, у вас и командир полка казастанец,— заметил Терешков.

— Земляк, воевать умеет, немцам жару поддаем,— пробасил минометчик Абдыкадыров.

Да, в летопись обороны Москвы славную страницу вписал 1322-й стрелковый полк под командованием капитана Ивана Лукьяновича Петухова. Родина высоко оценила его умелое руководство боевыми действиями, личную храбрость, наградив орденом Ленина. Слава о героях — воинах Северного Казахстана, награждение И. Л. Петухова орденом Ленина быстро докатилась до его родного поселка Макинка Кокчетавской области, до аулов и сел всего Казахстана. Наград удостоилась также большая группа бойцов и командиров.

Позже, взбешенные потерей своего 5-го батальона, танков и задержкой в продвижении к Москве, гитлеровцы, вступив снова в Колодезную, жестоко расправлялись с ранеными воинами и мирными гражданами, расстреляв много колхозников и пленных красноармейцев. В селе Дубово Октябрьского района фашистские мерзавцы изнасиловали и убили колхозницу Калошину, а ее дочь изрубили на куски. На шахте № 18 Болоховского района зверски замучили лучших горняков-стахановцев Шиткова и Айнутдинова.

После потери материальной части редакции — она была захвачена немцами в Колодезной — генерал назначил меня и алмаатинца Сакена Аспандиярова командирами групп по истреблению танков.

Командный пункт дивизии располагался в пятнадцати километрах от Тулы в деревне Новоселки. Ночью на ее окраину проникли вражеские танки с автоматчиками. Комдив Терешков приказал нашим группам истребителей выйти навстречу танкам. Группа Сакена в маскировочных халатах отправилась по лощине с правой стороны поселка, я со своей группой — дворами по левой. Группа Аспандиярова незаметно подползла на близкое расстояние к немецкому танку и забросала его гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Танк загорелся. В небо полетели осветительные ракеты, началась стрельба из автоматов, пулеметов и минометов. Перед выходом из лощины группу Сакена встретили гитлеровские автоматчики. Завязался бой. Автоматная очередь перебила Сакену обе ноги. Под огнем врага солдаты сумели вынести тяжело раненого ко-

мандира на КП дивизии. Сакен Аспандияров потерял сознание и вскоре скончался.

Моя группа при подходе к танкам была обнаружена и обстреляна фашистами из пулемета. Коммунист Афанасьев метким выстрелом из винтовки уничтожил гитлеровского пулеметчика. Наши истребительные группы выполнили боевое задание, сдержали продвижение вражеских танков и автоматчиков к центру поселка, обеспечили переход КП на новое место.

Несколько дней не выходила тогда наша дивизионная газета. Это сразу же заметили бойцы и командиры. Комдив и начальник политотдела отправили меня в обком партии за помощью. Принял меня первый секретарь обкома В. Г. Жаворонков. Выслушав просьбу, сказал:

— Печатайте пока свою дивизионку в типографии газеты «Коммунар», а там подберем вам шрифты, выделим печатную машину и другое оборудование.

Я поблагодарил.

Назавтра вместе со своим другом журналистом Мишей Пеньковым я отправился на передовые позиции полка. Собрали много интересного материала. Об опыте, воинском мастерстве бойцов, о командире полка И. Л. Петухове в газете была вскоре напечатана страница.

Генерал Терешков гордился храбростью и боеспособностью этого полка. Он часто повторял, что здесь каждый боец равен целому отделению, отделение способно заменить взвод, а рота не уступит батальону. В часы редкого затишья капитан Петухов всегда находился в траншеях, землянках, блиндажах среди бойцов. Побеседовав, неизменно предлагал:

— Споем, чтобы дома не журились.

И тут же тихим баском начинал сказ о Ермаке. Солдаты подхватывали родную сибирскую песню. В их памяти вставали многоводный и быстрый Иртыш и тихий Ишим. Песня! Она ободряла воинов, поднимала их настроение, звала на подвиги.

Под Тулой продолжались жаркие сражения. В те дни центральные газеты, Совинформбюро не раз сообщали о боевых действиях, героических подвигах солдат и офицеров 413-й стрелковой дивизии. 18 ноября «Известия» информировали читателей:

«Вчера ранним утром, после короткого затишья, немцы возобновили свои атаки. Наиболее ожесточенные бои развернулись к юго-востоку от Тулы. Здесь они сосредоточили танковую и пехотную дивизии. Атаке предшествовали ар-

тиллерийская подготовка и налеты вражеской авиации. Вслед за тем немцы бросили против наших частей танки... Немецкие офицеры напоили своих солдат водкой. Бойцы частей командира Терешкова подпустили фашистскую пехоту на близкое расстояние и открыли убийственный огонь, в результате которого было уничтожено до батальона немецкой пехоты».

На другой день в «Известиях» сообщалось:

«Особенно жестокие бои развернулись в районе Дедилово и Болоховки. Положение на этом участке фронта остается напряженным и серьезным. Несмотря на большие потери, немцы продолжают рваться вперед. Части командиров тов. Терешкова и тов. Серегина сдерживают врага, наносят ему серьезные удары. Бои продолжаются с раннего утра до позднего вечера.

Ожесточенные схватки не стихают на участке обороны, который занимают части командира Терешкова и комиссара Карпенкова. Немцам удалось подтянуть сюда значительные силы. Несмотря на численное превосходство, они не смогли заставить наших бойцов отступить».

22 ноября «Правда» писала:

«Трое суток часть командира Корнеева (413-й стрелковой дивизии — Д.М.) героически отстаивала селение Болоховку. Вначале фашисты безуспешно пытались взять село лобовым ударом. На третьи сутки противник пошел на Болоховку с трех сторон; впереди пехоты было пущено сорок танков. Фашистской пехоте и танкам удалось ворваться в селение. Завязался кровопролитный уличный бой, который закончился за полночь. Фашисты были выбиты, оставив на улицах сотни трупов своих солдат и офицеров».

Стойкость и смелость казахстанцев и сибиряков слились воедино с находчивостью, сметливостью туляков. Местные оружейники, колхозники, лесоводы и лесорубы вместе с воинами создали такую боевую силу, которая в короткий срок спутала и сорвала гитлеровские планы похода на Москву через Тулу.

Ночью 21 ноября во время жестоких оборонительных боев на имя командира и комисара 413-й стрелковой дивизии пришла телеграмма от Военного Совета 50-й армии: «Бойцы, командиры и политработники дивизии в боях за Тулу проявили исключительную храбрость, мужество и упорство, чем заслуженно можете гордиться. Вы крепко и жестоко били врага, нанося ему огромные потери. Военный Совет объявляет благодарность всему личному составу дивизии и выражает твердую увереность, что вы и впредь

будете героически и бесстрашно сражаться до полного уничтожения фашистских варваров».[1]

После многочисленных неудач гитлеровцы развернули яростные атаки на Венев, пытаясь обойти Тулу с юго-востока. Но и здесь наши бойцы и командиры оказали врагу ожесточенное сопротивление. За три дня было уничтожено две с половиной тысячи гитлеровцев, пятнадцать танков.

... В первых числах декабря дивизия Терешкова, как и все части 50-й армии, и Тульский рабочий полк, перешла в решительное контрнаступление. Разбитое и обескровленное фашистское воинство генерала Гудериана и командующего группой армии «Центр» фельдмаршала фон Бока откатывались на запад.

20 декабря Совинформбюро в специальном вечернем выпуске извещало: «Части товарища Терешкова, действующие на одном из участков Западного фронта, выбили немцев из двенадцати населенных пунктов и захватили пятнадцать вражеских танков, десять автомашин и много другого вооружения».

Доблесть воинов 413-й стрелковой дивизии высоко оценил маршал Советского Союза Г. К. Жуков.

Войска перешли в контрнаступление по всему фронту. Тула становилась уже нашим глубоким тылом.

Гудериан на одном из последних своих танков удирал из-под Тулы на запад. Вслед за ним по дорогам, полям и лесам брела разбитая пехота. Обочины дорог были завалены трупами. Из сугробов торчали искореженные танки с пробоинами в бортах и свернутыми башнями. По всему фронту виднелись брошенные гитлеровцами пушки, минометы и автомашины.

В боях и сражениях под Москвой Советская Армия своей стойкостью и героизмом не только остановила отборные танковые и мотострелковые фашистские дивизии, но и наголову разбила их. Так у стен столицы нашей Родины солдаты закладывали Победу над гитлеровской Германией. Среди героев много было казахстанцев, сражавшихся в 316-й стрелковой дивизии на Волоколамском шоссе и 413-й — на Варшавском.

...Русская зима вступала в свои права. Бушевали снежные метели, трещали декабрьские морозы. Теперь гитлеровцы намеревались закрепиться на зиму в Калуге. Вокруг города они создавали мощные оборонительные реду-

---

[1]ЦАМО СССР, Ф.-413, Сд., оп. 132310, Д. 2, ЛЛ. 8-9.

ты, подтягивали подкрепления. В Калуге гитлеровцы готовились и к встрече Нового, 1942 года.

Наша армия, наша дивизия сделали все, чтобы сорвать вражеские планы. «Даешь Калугу!»— такой была в те дни задача. Освобождение старинного русского города было бы хорошим новогодним подарком Родине.

Командир дивизии А. Д. Терешков обладал широким тактическим и оперативным кругозором. Он часто преподносил гитлеровцам неожиданные сюрпризы. Как и под Колодезной, дивизия окружила 25 декабря гитлеровцев в Лихвине. Фашисты всеми силами пытались выбраться из кольца, оказывали яростное сопротивление, но — тщетно. 26 декабря, сломив упорство вражеских войск, полки нашей дивизии ворвались в Лихвин. С поднятыми руками тысячи гитлеровцев сдавались в плен.

Героически дрались на подступах к Калуге бойцы 1322-го стрелкового полка под командованием прославленного капитана Петухова. В ночь на 28 декабря посланная им рота автоматчиков ворвалась в село Воротынск. Завязались тяжелые уличные бои. Гитлеровцы упорно сопротивлялись, даже пытались окружить воинов. В это время батальоны К. Фомина, Р. Медведева и И. Милехина ударили с северной стороны, отрезав противнику отход к железнодорожной станции Воротынск. Гитлеровцы в панике бежали.

В этом бою воины капитана Петухова истребили более сотни фашистов, захватили на станции Воротынск два эшелона с оружием, боеприпасами, продовольствием, новогодними подарками и елочными игрушками, присланными из Германии.

Разнообразные тактические приемы применялись и при наступлении на Калугу. Командование 50-й армии сформировало подвижные группы из лыжников, кавалеристов, танкистов, и они с боями ворвались на окраины города. Противник подтянул свежие силы и окружил наш авангард. Шли упорные уличные бои. В критический момент на помощь передовым отрядам на штурм Калуги были направлены 413-я, 217-я и 340-я стрелковые дивизии. На подступах к городу они нанесли противнику мощные удары и разбили кольцо окружения. Утром 30 декабря наши войска овладели Калугой. Противник потерял до пяти тысяч солдат и офицеров, были захвачены сотни вагонов, грузовых автомашин, десятки паровозов, танков, орудий, мотоциклов и много другой техники.

Фашистам не пришлось зимовать в теплых калужских

квартирах. Не пришлось им справить рождественскую елку и Новый год. Под ураганным огнем они откатывались на запад — к Зайцевой горе.

Новый год! Ярко, ослепляюще светило январское солнце. Калужане радостно встречали воинов-освободителей. Ко мне подошла пожилая женщина и сказала, что работала библиотекарем и сохранила на чердаке и в подвале все книги. Преподаватели школы со своими учениками преподнесли нашим солдатам цветы, шерстяные перчатки, носки и написанные от руки пригласительные билеты на новогоднюю елку.

А накануне наших воинов поздравил с успехами и Новым годом всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин.

Успешное завершение тульской операции, переход от оборонительных боев к наступательным, освобождение Калуги и многих сел и деревень области — все это свидетельствовало о высокой боеспособности воинов 413-й стрелковой дивизии и всей 50-й армии. Боевые успехи вдохновляли воинов на новые подвиги.

В лютые январские морозы и снежные метели воины 413-й дивизии вместе с другими частями 50-й армии вышли после освобождения Калуги на подступы к Юхнову, где фашисты создали мощный узел сопротивления. Завязались упорные бои. Не выдержав ударов наших войск, гитлеровцы отступили на Зайцеву гору, что вблизи Варшавского шоссе. На взгорьях и вершине фашисты построили мощную линию обороны — дзоты, артиллерийские, минометные и пулеметные огневые точки. Замаскировали танки. Чтобы оборудовать оборонительную линию, гитлеровцы разобрали все дома и надворные постройки ближних поселков.

Во второй половине марта 1942 года 413-я дивизия вместе с другими частями 50-й армии при участии авиации, танков овладела Зайцевой горой. На самом трудном участке оказался, как всегда, полк И. Л. Петухова. Иван Лукьянович Петухов был тяжело ранен осколком снаряда. Проводить командира полка в госпиталь приехал генерал Терешков.

Раненый лежал на соломе, терпеливо превозмогая боль. Генерал по-отцовски поцеловал Ивана Лукьяновича, пожелал быстрого выздоровления. Петухов обещал после госпиталя обязательно вернуться, но на фронтовых дорогах нам встретиться не пришлось.

Позже я узнал, что он долго лечился, выздоровел. Пос-

ле Победы приехал из далекого Северного Казахстана в деревню Колодезную. Встретился с хозяйкой дома — Марией Акимовной Якушиной, которая после освобождения их лесного поселка угощала его в своей хате блинами и чаем из тульского самовара. Вместе обошли они поселок, возложили цветы на братские могилы, где покоятся павшие в боях солдаты, офицеры и колхозники, расстрелянные фашистами. Иван Лукьянович побывал в Туле, Калуге, на Зайцевой горе. В боях за эту гору погиб весь расчет минометчиков, в котором я начинал воинскую службу на Дальнем Востоке наводчиком...

Теперь на Зайцевой горе воздвигнут памятник. На высоком пьедестале стоит солдат с суровым лицом, в плащ-палатке, охраняя вечный сон героев, а рядом — молодые березки напевают на ветру свои песни.

...В боях под Тулой, Калугой, на Зайцевой горе, на берегах Жиздры солдаты и офицеры 413-й дивизии проявляли массовый героизм. Страницы газеты сохранили имена многих. Среди них — Степан Игнатьевич Хирков — парторг 3-й стрелковой роты 1322-го полка. Он часто первым поднимал солдат в атаку, уничтожил в боях более двадцати гитлеровских солдат, трижды был ранен.

Листая подшивку дивизионной газеты, я как бы прослеживаю путь наших полков. Не беда, что в тех условиях нельзя было называть в статьях города и села — описания боевых эпизодов помогают припомнить, где и когда случилось то или иное событие.

Неизгладимы впечатления лета 1943 года. Орловская наступательная операция, в которой участвовала дивизия, стала составной частью Курской битвы. Перед нами стояла задача — вместе с другими частями 50-й армии овладеть Жиздрой и железнодорожной станцией Зикеево. На пути к цели находилась деревня Палики и высота 200,8, которые прикрывали правый фланг обороны противника. Весь этот район гитлеровцы превратили в мощный узел обороны, имевший большое количество траншей, ходов сообщения, блиндажей и дзотов, а перед ними — проволочные заграждения и участки минных полей.

17 июля наступление на Палики повели 1322-й и 1320-й стрелковые полки. За день они трижды пытались атаковать деревню, однако сильный минометный, орудийный и пулеметный огонь не давал подойти к линии обороны противника. Неудача огорчала, но командующий 50-й армией настаивал, требовал — занять Палики.

18 июля командир дивизии с командирами полков ре-

шили испытать новый тактический прием: внезапно атаковать противника одной стрелковой ротой с северо-запада Паликов, в то время как подразделения 1320-го стрелкового полка будут сковывать огнем противника на северо-востоке деревни.

Бойцы хорошо поужинали и отдыхали, а командиры полков разрабатывали план действий, ставили задачи перед командиром батальонов, рот и взводов. Перед рассветом боевая задача была доведена до каждого солдата.

Светало. Тишину утра нарушила канонада. На оборону врага обрушились сотни снарядов и мин. За огневым валом дружно и смело пошла в атаку 3-я стрелковая рота того же 1322-го полка, воины которого свято хранили и приумножали боевые традиции. С помощью саперов она преодолела минное поле и проволочное заграждение и ворвалась во вражеские траншеи на окраине Паликов, откуда стала преследовать гитлеровцев, убегающих на юго-восток деревни. Следом за ротой и по флангам шли и развивали наступление подразделения всего полка. Фашисты, захваченные врасплох, не смогли оказать действенного сопротивления. Через несколько часов Палики были очищены от противника.

На следующий день, 19 июля, противник подтянул свежие силы и при поддержке четырех танков и двух самоходных орудий бросился в контратаку. Артиллерийским, пулеметным и автоматным огнем она была отбита. Через несколько часов фашисты вновь предприняли яростный натиск. На наших солдат двигались шесть танков, четыре самоходных орудия и две роты автоматчиков. Завязался кровопролитный бой. Наши бронебойщики подбили два танка, но им на смену выползли еще три боевых машины. Противнику удалось прорваться на южную окраину Паликов, ценой больших потерь потеснить стрелковый полк на окраину деревни.

В этот день противник совершил десять атак. Десятая атака, случившаяся вечером, была самой страшной: четыре танка, самоходные пушки с пехотой подошли к нашим боевым порядкам. Опасность угрожала каждому бойцу. Из траншеи выбрался с гранатами в руках парторг С. И. Хирков, за ним поднялась вся рота. В танки полетели гранаты, два танка загорелись. Автоматчик К. Бородилин, окруженный семью фашистами, сумел уничтожить пятерых из них. Двое остальных бросились бежать.

Яростная атака врага была отбита. Палики — в наших руках. В этой последней схватке с врагом С. И. Хирков пал

смертью храбрых. Его подвигу мы посвятили специальную листовку. Славному сыну Родины пулеметчику-коммунисту было присвоено звание Героя Советского Союза.

Листовка и фотография С. И. Хиркова опубликованы в третьем томе «Истории Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945 гг.»

В тяжелых походах и суровых боях большим авторитетом среди солдат пользовался парторг полка Жумагали Мусин, мой друг по Северному Казахстану. На фронт он приехал добровольцем. Все-таки отпустили. Горячим партийным словом, личным примером воспитывал, вдохновлял и увлекал бойцов на ратные подвиги. Его любили, ему подражали, с него брали пример. Воинов полка отличали дисциплина, мужество, стойкость и мастерство. В третью атаку поднял под пулеметным и минометным огнем свой полк Жумагали Мусин. Не выдержав удара, враг отступил. Важная высота и населенный пункт были заняты. Эта победа нам обошлась дорого: бесстрашный коммунист-вожак Жумагали погиб. На его родине в ауле Жалтыр земляки установили Мусину памятник.

В нашей дивизии смертью героя пал алмаатинец Н. Петрашко, родной брат артиллериста панфиловской дивизии Арсения Петрашко.

Оборона Тулы — яркая страница в истории Великой Отечественной войны. Прошли десятилетия, но не померкнет слава доблестных бойцов Тульского рабочего полка, воинов 413-й стрелковой дивизии, всей 50-й армии. Вместе с туляками мы гордимся тем, что их городу присвоено почетное звание «Город-герой».

413-я стрелковая дивизия прошла большой и славный путь, ей присвоено почетное наименование Брестской. За прорыв обороны противника на Нарве она награждена орденом Красного Знамени, удостоена ордена Суворова за форсирование реки Одер и за овладение городом Штеттин. Тысячи солдат и офицеров — героев дивизии — отмечены высокими наградами Родины.

Вслед за Тулой на боевой карте дивизии обозначена Калуга. Накануне 40-летия Победы мне довелось побывать в этом городе — на родине основоположника космонавтики К. Э. Циолковского.

Иду по улицам и не узнаю Калугу. Она за послевоенные годы расстроилась вширь и ввысь.

...На улице Московской возвышаются два пьедестала, на одном установлены пушки времен Кутузова, на другом — наши, советские пушки с длинными стволами, из кото-

рых подбивали и сжигали гудериановские танки и самоходки. На гранях одного из пьедесталов начертано золотыми буквами:

«Здесь проходили русские войска, разгромившие французскую армию в Отечественную войну 1812 года».

На другом пьедестале читаем:

«Здесь в 1942 году проходили советские войска, разгромившие под Москвой немецко-фашистские орды». И стихотворные строки:

«Мы шли вперед от Тулы до Калуги,
Тесня врагов на запад вновь и вновь.
К винтовкам примерзали наши руки,
Мороз свирепый леденил нам кровь.
Врагов мы гнали по полям и склонам.
Мы били их в глубоком снежном рву.
И защищали мы стальным заслоном
Родную нашу матушку Москву».

Эти слова относятся и к солдатам нашей 413-й стрелковой дивизии, принимавшим участие в освобождении Калуги.

На тульской и калужской земле солдаты оставили неизгладимый след, обильно политый кровью. Я видел, чувствовал, что память о героизме воинов, об их доблести живет в сердцах молодежи, всех тружеников. В городах и селах воздвигнуты монументы, мемориальные комплексы, созданы зеленые рощи, сады и скверы. На воинском кладбище в Калуге на мраморных плитах высечены имена более чем трех тысяч бойцов, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины. Их именами названы улицы, площади, скверы. В сквере ветеранов застыл на постаменте стремительный танк Т-34.

На калужской площади Победы мемориальный комплекс. Передо мной величественный обелиск с бронзовой скульптурой, Вечный огонь, почетный караул школьников в юнармейской форме, с автоматами в руках...

Возглавляет штаб поста ветеран нашей 413-й дивизии, участник боев за освобождение Калуги полковник И. Ф. Милехин. В 1941—1942 годах во время боевых действий в Тульской и Калужской областях он командовал лыжным батальоном, стрелковой ротой, а после окончания Военной академии стал командиром 1320-го стрелкового полка, был трижды ранен. После войны И. Ф. Милехин длительное время был областным военным комиссаром в Северном Казахстане, а когда в Калуге воздвигнули мемориальный комплекс, он был назначен его начальником.

По его инициативе, с помощью местных партийных, советских, комсомольских организаций и органов народного образования штаб караула у Вечного огня и могилы Неизвестного солдата стал центром военно-патриотического воспитания молодежи.

Присутствовал я на смене караула. Раздалась команда начальника штаба:

— Очередной смене на пост заступить!

Подростки в военной форме, чеканя шаг, направляются к святыне города — Вечному огню. Впереди строя идет завтрашний солдат Советской Армии, держа в руке каску погибшего воина, которая устанавливается у Вечного огня. Вечером ее отнесут в штаб. Так каждый день. Наряд караула сопровождает полковник Милехин в парадной форме.

Видели смену караула летчики-космонавты П. Р. Попович, Ю. Н. Глазков, В. А. Джанибеков, Г. С. Титов, трижды Герой Советского Союза И. Н. Кожедуб, кузнец машиностроительного завода, Герой Социалистического Труда И. И. Евстигнеев. Каждый из них провел со школьниками беседы, оставил запись в книге посетителей штаба. Летчик-космонавт П. Р. Попович написал: «Очень хорошо, что вы чтите память тех, кто завоевал нам право жить, учиться, работать, летать в космосе».

Из Калуги я выехал в Барятинский район на встречу ветеранов 413-й стрелковой дивизии.

После митинга с группой однополчан и работниками райкома партии побывал на вершине Зайцевой горы, отыскал два, теперь уже обвалившихся, блиндажа, где печаталась дивизионная газета «Вперед за Родину». Вокруг выросли и шумят на ветру листвой березы.

На Зайцевой горе я встретился с подполковником в отставке Антоном Ивановичем Первухиным, проживающим ныне в Курске. Боевой офицер прошел с 413-й стрелковой дивизией всю войну. Батареи и дивизионы, которыми он командовал под Тулой и в Калужской области, умело вели борьбу с вражескими танками. Антон Иванович ведет большую военно-патриотическую работу, собрал материалы, отражающие боевой путь соединения, и вручил их райкому партии для музея Зайцевой горы. В документах отражены мужество и героизм солдат и офицеров и их боевого генерала, Героя Советского Союза Алексея Дмитриевича Терешкова.

В зимние месяцы 41-го в жестоких схватках с врагом у стен Москвы воины Семиречья и Северного Казахстана

под командованием генерала И. В. Панфилова — на Волоколамском шоссе и генерала А. Д. Терешкова — на Варшавском отличались стойкостью, храбростью, проявляли массовый героизм. Честь и слава героям!

Нысанбек Турекулов

ПАМЯТНИК В БРЕЗНО

Просторный двор детского дома в городе Туркестане весь день звенел ребячьими голосами. В долгие летние вечера подростки гоняли мяч по импровизированному футбольному полю, играли в волейбол. Красные и голубые майки заметно оживляли пустынный, без единого деревца, дворовый пейзаж. Кто-то из ребят пробовал свои силы на турнике, другие с заметной натугой пытались выжать «взрослый вес» на штанге. Так мы отдыхали после занятий в местной школе имени Ленина.

Был среди нас смуглый полнощекий тихоня. Он держался особняком, в стороне от шумных ребячьих игр. Смастерит, бывало, бумажный самолет, прикрепит его к длинной камышовой палке и бегает с ним по двору. Воображая себя летчиком, он «парил», по его представлению, в воздухе. И стоило загудеть в высоте настоящему аэроплану, как он застывал на месте, не отрывая восхищенных глаз от стальной птицы. И провожал ее взглядом до тех пор, пока она не скроется за горизонтом.

Звали паренька Курал Рустемов. Нам он сообщил, что родом из Сузакского района Чимкентской области, из местечка Козмалдак. Худощавый Сатан Жакупов приходился ему земляком. Потому, возможно, и дружили они. Их часто видели вместе, словно братьев. Хотя не только внешне, но и по характеру они были очень не схожи. Курал, как я говорил, был тих и молчалив. Сатан, напротив, подвижен и остер на язык. Как и многие мальчишки их возраста, они нередко ссорились, но так же быстро мирились. Посредниками в их спорах выступали обычно Мырзахмет Кыздарбеков и Сатылган Шарипов. Первый был шустрым курносым пацаном, второй мог неумолчно болтать на любую тему из сферы наших ребячьих интересов.

Те из ребят, что пристрастились к чтению, проводили много времени в читальном зале детдомовской библио-

теки, где «глотали» одну книжку за другой Был среди них и Сатан Жакупов — редактор стенной газеты «Мектеп Айнасы» («Зеркало школы»). Другие увлеченно занимались пионерскими делами. Те же, кто подобно Куралу, увлекались техникой, все свободное время отдавали авиамодельному кружку. Занимались в нем многие, но один лишь Курал, помнится, говорил о том, что твердо решил стать летчиком. И, как показала жизнь, достиг поставленной цели.

Все началось с мечты. Курал не расстался с ней и когда мы, воспитанники туркестанского детского дома, вступили в самостоятельную жизнь. Я оказался в той группе самых младших ребят, которых направили в интернат в Мерке. Туда же поехал и Курал, учившийся со мной в одном классе. Нам исполнилось пятнадцать и мы одновременно стали комсомольцами — важное и памятное событие. Закончив десятый класс сельской школы имени Рыскулова, мы вместе поступили на подготовительные курсы при КазГУ. Затем вступительные экзамены... И вот мы — студенты университета.

Памятная осень 1941 года. К этому времени нам исполнилось уже по девятнадцать. Курал еще допризывником закончил аэроклуб и стал летчиком. Нас всех призвали на фронт. До меня дошли сведения, что Курал Рустемов сражается с фашистами над Сталинградом, а Мырзахмет Кыздарбеков — где-то под Харьковом. Я служил сначала под Москвой, затем воевал на Калининском фронте, в боевом артиллеристском расчете. Где в это время были другие мои товарищи по школьным играм: Сатан Жакупов, Сатылган Шарипов, Сапарбек Момбаев, Абиш Такенов — я не имел никакого представления. Знал только, что всех их призвали в первые дни войны.

Позднее, вернувшись после ранения в родной аул, я пытался разыскать своих друзей. Но безуспешно. И вот совсем недавно мне довелось побывать в совхозе «Байкадам» Джамбулской области. Здесь совершенно неожиданно я встретил Мырзахмета Кыздарбекова. Он работал бухгалтером этого совхоза. Я с трудом узнал в нем того бойкого паренька, который в свое время мирил закадычных друзей Курала и Сатана. Мы долгое время провели вместе, вспоминая далекое детство. Сам Мырзахмет, оказывается, был на фронте пулеметчиком. Два раза был ранен. Второй раз — тяжело.

Так я нашел одного своего друга. Но где же остальные? О некоторых я знал, что они числились без вести

пропавшими. Прошло еще немного времени и мне случайно попала в руки областная газета «Южный Казахстан». С ее полосы на меня в упор смотрело до боли знакомое лицо. Неужели Курал? Из короткой текстовки к снимку я узнал, что на фотографии — гвардии лейтенант Курал Рустемов со своим отцом, проживающим в совхозе «Сызган» Сузакского района.

Я торопливо прочел заметку, подписанную неизвестной для меня фамилией. Ее автор оренбуржец Александр Черешнев служил, оказывается, штурманом в авиации и сражался вместе с Куралом. Черешнев коротко рассказывал о героическом боевом пути своих товарищей. В конце сообщалось, что Курал Рустемов погиб почти в самом конце войны в небе Чехословакии. Он был среди тех, кто нес избавление народам этой страны от фашистского порабощения.

Вот и все, что я прочитал о своем друге. И вновь нахлынули воспоминания. Мне захотелось узнать побольше о судьбе Курала. Сотрудники «Южного Казахстана» любезно дали мне адрес автора заметки и я тут же, в редакции, написал ему письмо. Расказал, что воспитывались мы с Куралом в одном детском доме, что учились в одном классе, вместе призывались в армию и уезжали на фронт. И о том, что с начала войны я не имел о нем никаких известий. Я попросил Черешнева рассказать подробней о Курале.

Ответ не заставил себя долго ждать.

«Нас было четверо фронтовых товарищей в одном авиаотделении,— говорилось в письме.— Наши самолеты совершали дальние рейсы с тяжелыми бомбами на борту. С Куралом я познакомился осенью 1942 года и не расставался вплоть до самой его геройской смерти. Русский Вася Кошелев погиб в воздушном бою с истребителями в мае сорок четвертого, казах Курал Рустемов — в октябре того же года. Его самолет врезался в землю вблизи чехословацкого города Брезно. Мордвин Миша Сысуев вышел живым из войны. Но сейчас и его нет в живых. Так что я остался один из нашей славной боевой четверки»,—писал в заключение Черешнев.

Бывший фдонтовой друг Курала помог мне восстановить некоторые эпизоды из жизни отважного летчика. Он рассказал о том, как однажды Курал Рустемов летел в экипаже Ивана Островского в Словакии. Через Тренчин они прошли с включенными бортовыми сигналами. Тому,

кто в тот момент смотрел вверх, казалось, что все небо сияет красными, зелеными и желтыми огоньками. Можно было подумать, что с ближайшего аэродрома поднялась, вероятно, вся бомбардировочная авиация для нанесения массированного удара по противнику. Но затем бортовые огни выключили, и самолеты снова нырнули в темноту.

Пробив толщу облаков, самолет оказался под темно-синим куполом звездного неба. Минут через сорок показалось озеро. Они подлетали к цели. Вблизи рвались снаряды вражеских зениток. Островский решительно бросил машину вниз, оставив за собой стену заградительного огня противника. По обшивке вновь застучали осколки, но самолет лег уже на боевой курс.

Они успешно сбросили бомбы на цель. И командир резким движением рулей развернул самолет в обратном направлении. Вот и стрелки всех приборов заняли нужное положение, остались позади и зона многослойного огня, и фашистские истребители. Эскадрилья возвращалась с победой, разбомбив несколько вражеских эшелонов, взорвав склады с горючим и боеприпасами.

Вернувшись в часть, Курал Рустемов вместе с товарищами принял участие в переброске самолетами чехословацкой парашютно-десантной бригады на помощь восставшим словакам. Десантники были специально обучены для ведения боев в тылу врага. Задача по переброске их была возложена на авиабригаду, которой командовал генерал-лейтенант Г. С. Счетчиков. В предстоящей операции должны были принять участие и летчики знаменитой 54-й Орловской дивизии.

Все, кто когда-либо воевал в авиабригаде Счетчикова, восхищались этим замечательным командиром. Это он водил четырехмоторные гиганты в глубокий тыл противника и наносил грозные удары по военно-промышленным, административным и политическим центрам фашистов. Под командованием Георгия Семеновича сражался и Курал Рустемов. У него Курал учился мужеству, тактике воздушного боя, умению уходить от истребителей гитлеровцев, искусству поражать цель.

В конце сентября 1944 года с аэродрома Кросно, где была сосредоточена десантная бригада, поднялась большая группа самолетов. За штурвалом Ли-2 был один из самых опытных летчиков бригады Курал Рустемов, на втором сиденье — лейтенант Александр Беляев, энергичный и решительный офицер. В состав экипажа входили также бортмеханик Николай Палладий и радист Гурбат

Рзаев. А в фюзеляже самолета расположились словацкие десантники, отлично вооруженные, готовые в любой момент вступить в бой с врагом.

За линией фронта облачность стала сгущаться. Рустемов, увеличив обороты моторов, поднял машину над облаками. Высота четыре тысячи метров, сверху чистое, словно омытое, небо. Луна осветила одну из горных вершин, которая осталась не закрытой облаками. В самолете стало прохладно. Десантники, прижимаясь друг к другу, молча глядели в окна.

Рустемов настраивает полукомпас на цель. Стрелка прибора вяло показывает направление.

— Слабый привод,— говорит Беляев.

— Еще далеко,— успокаивает его командир.

Радист Рзаев получает радиограмму с земли: облачность в районе цели десять баллов, нижняя ее кромка на уровне шестисот метров. Практически десант невозможен. Но о возвращении не может быть и речи. В окна самолета смотрят люди, истосковавшиеся по родным местам и жаждущие их освобождения. Мыслимо ли в эти напряженные минуты ожидания и надежды сказать «Возвращаемся!».

Больше всего экипажу в тот момент хотелось увидеть хоть какой-нибудь просвет в серой мути облаков.

Но вот расчетное время вышло, и командир, сбавив обороты мотора, ввел машину в спираль. Самолет начал снижаться. Он делал круг за кругом. Стрелка высотомера быстро ползла вниз: 4100, 3700, 2900, 1000...

А земли все еще не видно...

Командир поправил шлем и сказал:

— Штурман, проверь расчет!

— Единица, единица...— услышали все в наушниках.— Мы над целью. Продолжайте снижение!

Рустемов снова повел Ли-2 вниз: 900, 800, 600 метров...

— Земли никто не видит?— спросил командир.

Наконец внизу показалась земля. Она казалась необыкновенно черной. Все облегченно вздохнули. Десантники, как по команде, снова прильнули к иллюминаторам. Внизу был словацкий город Эволен, а чуть левее — линия огня. Фонари «летучая мышь» высвечивали аэродром.

Лейтенант Рустемов отлично сажает самолет... Но что это? К машине бегут офицеры в фуражках с незнакомыми кокардами! Бортмеханик Палладий, захлопнув дверь, бросается в пилотскую кабину:

— Запускай мотор. Немцы!

Командир хохочет.

— Эх ты, друг, штурману не веришь.

— Да ведь сразу не разберешь,— оправдывается Палладий. Он бежит к двери, но к ней не подступиться. Десантники столпились у выхода и на родном языке отвечают на вопросы, которые задают им земляки, находящиеся на аэродроме. Бортмеханик все же открыл дверь и побратски обнялся со словаками.

Экипаж попрощался с десантниками, самолет взлетел и лег на обратный курс.

В последующем на подобные боевые задания Рустемов летал с капитаном Герасимом Ивановичем Селиверстовым. Он всегда верил штурманским расчетам. И только стоило сказать: «Под нами аэродром «Три дуба», как самолет начинал снижаться. Курал не любил возвращаться, не выполнив задания, он водил самолет на аэродром повстанцев в любых метеоусловиях.

Полеты в Словакию Рустемова и его товарищей по оружию приносили много хлопот гитлеровцам. И они решили уничтожить повстанческий аэродром. В направлении Эволена фашисты бросили несколько дивизий, вооруженных танками и артиллерией. Отражая атаки врага, повстанцы проявили исключительную самоотверженность. Они теряли своих товарищей, но продолжали удерживать базу. Наконец, сконцентрировав все силы в единый кулак, десантники контратаковали гитлеровцев и отбросили их за Ялну.

Родной для Рустемова аэродром «Три дуба» походил на крупный аэропорт, где беспрерывно производились взлет и посадка самолетов. Советские летчики перевозили не только людей и грузы. По данным чехословацкой печати, в Словакию из Советского Союза были доставлены около трех тысяч автоматов, сотни винтовок, около пятисот ручных, девяносто станковых и двадцать три зенитных пулеметов, более двухсотпятидесяти противотанковых ружей и пять минометов. На аэродром Эволена был переброшен и чехословацкий авиационный истребительный полк, который вел упорную борьбу с врагом, поддерживая повстанцев с воздуха.

Гитлеровцы бросили в бой ночную авиацию, поэтому полеты тяжелых кораблей в глубокий тыл противника без сопровождения стали сложнее. И все-таки советские летчики продолжали оказывать помощь своим словацким друзьям. Продолжал совершать далекие полеты в тыл врага и гвардии лейтенант Курал Рустемов. Однажды, в конце

сентября 1944 года, с аэродрома в Кросно в Польше поднялась группа советских летчиков. Среди них был экипаж, возглавляемый Рустемовым. Самолеты набирали скорость и скоро дома Кросно превратились в крохотные спичечные коробки, а автобусы и легковые машины — в игрушечные, железные дороги — в линии на карте.

Спустя некоторое время летчики миновали седые Карпаты и были уже в небе Чехословакии. У городов Эволен, Ялна, Брезно были высажены десанты парашютистов. На позиции врага посыпались бомбы. Так наши красные соколы по просьбе народов Чехословакии пришли им на помощь. Освободительное движение словаков получило могучую поддержку. Попытки гитлеровцев подавить освободительное движение были пресечены самым решительным образом.

Туманной ночью лейтенант Рустемов, высадив на аэродроме «Три дуба» очередную группу десантников, возвращался в свой полк. Откуда ни возьмись вынырнул из непроглядной мглы фашистский «мессершмитт». Завязался ночной бой, далеко не первый в послужном списке Курала. Советский экипаж открыл огонь по немецкому истребителю, пытавшемуся подобраться поближе. Рустемов набрал высоту, но «мессершмитт», как назойливая оса, ринулся за ним.

Только развернув самолет на прежний курс, Курал почувствовал, как пострадала машина. Весь корпус ее был прошит нулями. Некоторые части снесены, словно срезаны бритвой. Как смертельно раненный сокол, из последних сил добирался Рустемов до своего аэродрома. Самолет бросало из стороны в сторону. Машина то и дело теряла управление. Курал успокаивал товарищей, ждавших его на земле. В своей последней телеграмме он сообщал: «Не беспокойтесь. Сядем на ближайшую ровную площадку...»

Но самолет не смог с заглохшим мотором добраться до посадки. Недалеко от города Брезно он врезался в сопку и сгорел. На утро партизаны-повстанцы нашли обломки советского самолета и извлекли из-под них шесть обгоревших трупов. Трое сгорели почти до тла. Всех похоронили с почестями. Многие жители Брезно торжественно проводили советских летчиков в последний путь.

Так геройски погибли в небе Чехословакии славные сыны нашего народа, бесстрашные соколы Страны Советов. В Брезно им установлен памятник. На постаменте горят слова: «Пусть живет в веках слава о героях СССР, по-

гибших в октябре 1944 года под городом Брезно! Здесь похоронены гвардии лейтенант Курал Рустем-улы Рустемов, старший сержант Дмитрий Иванович Беседа, гвардии старшина Василий Дмитриевич Шкуркин».

На могиле героев всегда свежие цветы.

Юлдаш Азаматов

ТРИ ТОЧКИ НА КАРТЕ

Село наше небольшое, и поэтому любую новость невозможно утаить от моих односельчан. Если же появится посторонний человек, то весть о том распространится моментально, и разговоры только о нем.

И на этот раз было так. «К тетушке Патиме в гости приехал какой-то русский»,— эта новость разнеслась по селу с быстротой молнии. К тому же нашлись и такие, кто уже точно знал, зачем приехал этот человек.

Одни говорили:

— Когда он зашел к ней, то сказал: «Я ваш сын».

— Нет, не так. Он сказал: «Я приехал к вам от вашего сына»,— возражали другие.

— А у тетушки Патимы разве есть сын?— спрашивали те, кто недавно живет в нашем селе.

— Да, был у нее сын — Таиржан. Погиб на фронте. А по словам этого гостя, он, якобы, живой.

Мои односельчане такие, дай им только услышать что-нибудь, остальное сами присочинят.

А вообще-то, зачем приехал в наше село Виктор Иванович — так звали гостя,— первым узнал я, поэтому только я и могу расказать, как все было на самом деле.

Когда он зашел к нам во двор, я ремонтировал курятник. Его сильная, огромная фигура на костылях сразу бросилась в глаза. Одной ноги у него не было.

— Как дела, джигит?— спросил он. Голос у него был густой, басовитый, под стать фигуре.

— Хорошо...— Я ломал голову, стараясь угадать, кто он такой.

Гость протянул мне руку:

— Будем знакомы. Меня зовут Виктор Иванович.

— Туглук,— промямлил я.

— Чей будешь?

— Сын тетушки Патимы...

— А не врешь? Разве твою маму зовут не Рукиям?

Я удивился пуще прежнего. Откуда он знает? Мою маму на самом деле зовут Рукиям. Но мама с папой живут в Алма-Ате. А так как с детства я живу у бабушки, то ее называю апа — мама, а свою маму — тетей.

Я не успел ответить, как в дверях показалась бабушка:

— Туглукжан, ты с кем это разговариваешь?— У бабушки плохое зрение, издалека она никого не узнает.

Я не знал, что ответить, ведь этот человек был совсем не знаком мне...

А гость, уверенно переставляя костыли, уже шагал к бабушке.

— Здравствуйте, тетя Патима, я... я воевал вместе с вашим сыном — Таиром. Мы были друзьями. Вот приехал...

— Туглукжан, сынок, что говорит этот человек?— Бабушка не понимает русского языка, и поэтому она снова обратилась ко мне.

— Он говорит, что воевал вместе с дядей Таиром,— поневоле стал я переводчиком.

— Говоришь, с Таиржаном... Таиржан... Сын мой...— Ее лицо странно как-то изменилось, она вся сникла и села прямо на порог.

...На низком столе разная снедь, здесь же кипящий самовар. Гость сидит на топчане, вытянув ногу. Прихлебывая горячий чай, он глухим голосом рассказывает о событиях многолетней давности.

Я понемногу начинаю свыкаться с неожиданной ролью переводчика. На глазах у бабушки слезы. Виктор Иванович молча слушает, пока я перевожу его слова бабушке.

— На войне всегда есть смерть, но мы почему-то не думали об этом,— Виктор Иванович, закурив сигарету, глубоко затянулся, затем продолжил:— Иногда чувствовали себя словно в аду, но все-таки всегда заботились друг о друге... Вот и на этот раз, хотя я и говорил Таиру: «Оставь меня, к чему еще и тебе со мной, раненым, гибнуть», он продолжал тащить меня. Немцы долго держали нас на прицеле. Мы не могли поднять головы. Наконец свалились в воронку. Таир перебинтовал мою раненую ногу. К этому времени и фашисты перестали стрелять. Стало тихо, только стрекот кузнечиков четко доносился в этой тишине. Я лежал задумавшись. Таир неожиданно тронул меня за плечо: «Ты только послушай, какая музыка! Мне иногда кажется, что это не кузнечики стрекочут, а степ-

ные цветы переговариваются между собой. Правда, интересно? У нас в селе так же стрекочут кузнечики. Иногда специально ходил к речке послушать их. Выкупаешься, разляжешься на траве и слушаешь стрекот. Какое удовольствие!..» Представляете, рядом смерть, а он о кузнечиках. Таким он был всегда.

Бабушка не выдержала, заплакала... Некоторое время мы сидели молча.

— Он любил купаться в речке, любил фантазировать,— сказала она наконец.— Ты не смотри, что я плачу, сынок, продолжай. Я словно вижу своего Таиржана. Продолжай.

Виктор Иванович, тяжело вздохнув, продолжал:

— К счастью, к утру наступил густой туман, чем мы и воспользовались. Таир все-таки меня дотащил до своих. Если бы его не было... Короче, два месяца провалялся в госпитале, только к осени вернулся в свою часть. Встретил его, крепко обнял. «Ты спас мне жизнь»,— говорю, а он смеется: «Разве ты меня бросил бы?»

Он рассказывал мне о вас, о сестренке Рукие и о девушке, которую звали Гулистан.

— Гулистан...— прошептала бабушка.— Я догадывалась об этом... Бедная, даже после похоронки долгое время ждала его. Сейчас живет в городе, трое детей — Голос бабушки снова задрожал.— Продолжай, сынок, продолжай, я не буду мешать тебе.

Я ждал, когда Виктор Иванович снова заговорит, но после долгой паузы он, не торопясь, вытащил из кармана вчетверо сложенный листок и протянул его мне.

— Здесть написано о том, как погиб Таир. Прочитай и переведи бабушке,— немного охрипшим голосом сказал он.

Я взял в руки листок. Это была газета «Вперед, за Родину», за 1943 год. Видно было, что она долго хранилась: страницы были сильно истрепаны, буквы еле видны.

Я начал медленно читать и переводить статью, на которую указал мне Виктор Иванович.

«Части угрожало окружение. Прервалась связь. Снежный буран обволакивал мир белым дымом — ни кустика, ни деревца. Командир приказал связисту Таиру восстановить связь во что бы то ни стало. Таир пошел — сейчас от него зависела судьба части, судьба сотен товарищей. Он шел, ощупывая провод, проверяя, где он порвался. Наконец нашел, но тут раздалась автоматная очередь и Таир был ранен в плечо. Превозмогая боль, связист стал сращивать провод. Автомат застрочил снова. Пули ложились рядом, две пробили каску. Таир замер. Но линия ожила».

Я прочитал и сразу посмотрел на бабушку. Я почувствовал, что каждое мое слово остро отзывалось в ее сердце, однако глаза у бабушки были сухие. Морщины на ее лице стали глубже, и она сама будто бы постарела еще лет на десять.

— Все было так,— сказал Виктор Иванович,— мы всем батальоном похоронили Таира. Мы торопились в бой.

— Что было потом?— спросил я.

— Что было? Со своим батальоном я дошел до Румынии. Для меня война кончилась там, и вот с этими спутниками,— Виктор Иванович указал на костыли,— вернулся домой. Я — сибиряк. До войны был рыбаком. А после войны переквалифицировался в бухгалтеры... Женился. И живу вроде бы неплохо. Но, знаете, фронтовик, человек, испытавший все ужасы войны, никогда не сможет забыть своих однополчан — и живых, и тех, кого уже нет. С теми, кто остался в живых, хоть изредка, но встречаюсь. Проходят годы, смотрю, скоро и старость подойдет... Не выдержал, решил найти родину близкого мне человека, который дважды спас мне жизнь, поклониться его землякам.

Взволнованный воспоминаниями, он взял еще одну сигарету и закурил.

* * *

Передо мной лежит карта. Тысячи больших и маленьких точек — столицы, областные, районные центры. И каждая точка — это миллионы людских судеб.

Каждый ищет свою точку на карте. Я тоже нашел нужные для себя три точки и каждую отметил. Раньше я почти не обращал на них внимания, а теперь они навсегда войдут в мою жизнь. Я соединил все три точки на карте. Получился треугольник Винница-Иркутск-Алма-Ата. В этом треугольнике судьба трех людей: бабушки, дяди Таира и Виктора Ивановича. Один из них погиб. А для двоих война никогда не будет историей. У каждого она в нескончаемых мыслях и думах. А если соединить судьбы всех людей, у кого война оставила в сердце неизгладимый след, живущих в разных концах земли? На карте появились бы миллионы соединенных линий. Но на карте эту связь показать невозможно, она только в душе человека.

В тот день я в первый раз в жизни представил себе войну не опереточной картинкой, как ее нередко показывают в плохих фильмах, а как смерть и трагические судьбы многих людей.

Как только начнутся каникулы, я с бабушкой поеду в гости к Виктору Ивановичу в Иркутск. А затем дорога в Виницу — на могилу дяди Таиржана...

Адриан Розанов

ХОЧУ И ТВОРЮ

«ЭТОТ НУРГАЛИЕВ»

Поначалу я невзлюбил Нургалиева, хотя ни разу с ним не встречался.

Из алма-атинской редакции, где я работал корреспондентом по Восточному Казахстану, мне переслали жалобу двух молоденьких учительниц. Их направили после института в село Буран, но директор школы оказался своевольным и грубым. Не дав девушкам освоиться, он их выгнал.

Жалоба, конечно, была изложена более возвышенным слогом. Но попадались ошибки правописания, для педагога непростительные. На эти ошибки я постарался не обращать внимания. Я представил себе директора — деспота, не допускающего молодежь в свое отдаленное село «сеять разумное» (от областного центра Усть-Каменогорска до Бурана — добрых четыреста километров).

Директор в моем представлении целые дни проводил у толстого медного самовара, за дастарханом, обильно уставленным яствами.

«Этот Нургалиев что хочет, то и творит»,— писали девушки. И, отталкиваясь от этой фразы, я мысленно сочинял сокрушительный фельетон. Но вылететь на «край света» было все недосуг, держало начатое раньше. Словом, прошло месяца четыре, пока я собрался. Я отправился в аэропорт сразу, отбросив здравую мысль, что сперва следовало бы зайти в областной отдел народного образования, узнать, какое там мнение о Нургалиеве и как вообще мог появиться такой злодей.

Чувствовал я себя виноватым оттого, что не потолковал с областными руководителями, но боялся разрушить сложившийся в сознании «фельетонный ход», остановить свой

порыв, и преступил незыблемые правила журналистской этики: их смыли рассуждения о том, мол, те, кто директора школы утверждали, немедленно примутся его выгораживать и правдивой характеристики все равно не дадут. Так стоит ли время терять?

В дрожащей кабине рейсового Ан-2 я еще раза три перечитывал письмо комсомолок, «подзарядился» их праведным гневом, и полтора часа полета прошли незаметно. В иллюминаторе стала приближаться серо-красно-желтая, выжженная солнцем земля, по которой извивалась синяя лента Черного Иртыша, окаймленого прибрежными рощами-тугаями.

Название села Буран оказалось справедливым. Откуда-то с юга, из горячих пустынь, на улицы вырвался плотный ветер, прижимал к земле саманные мазанки, раскачивал высокие пирамидальные тополя, выметал из листвы сентябрьскую желтизну, закручивал пылевые столбы, слепил глаза, скрипел на зубах мелкими песчинками. Прежде всего я разыскал дом, где остановились пострадавшие учительницы, дабы пополнить запас «неопровержимых фактов», однако хозяйка, пожилая женщина с недоверчивым взглядом из-под низко повязанного платка и тонкими поджатыми губами сообщила с крыльца, что ее жилички отъехали еще ранним летом.

— А где они теперь, не скажете?

— Где ж им быть? Верно, в Алма-Атах, они ж оттуда.

— А что это за девчата были?

— Какие оне могут быть? Молодые — оне молодые и есть. Ни сварить, ни прибраться. Да и дело не наше. Мы с их много не брали, сколько положено, столько и брали. Ежели разобраться хотите, вы в школу ступайте. А мы без понятия.

— Ну а что о директоре школы говорят — не унимался я.— Мужик крутой? Обижает людей?

— Что говорят, мы того не слушаем. Нам без надобности. Директор он директор и есть. У него права, вы с ним и разбирайтесь.

Трудно же бывает идти к тому, кого предстоит осудить в печати. Куда милее взять в комитете народного контроля документ, где официально сказано, что герой будущего фельетона совершил такие-то неблаговидные поступки, за которые привлекается к ответственности. И — разойдись плечо, размахнись, рука!— расписывай поступки нехороше-

го дяди, вяжи остроумные словесные вензеля, бей лежачего!

Признаюсь, смолоду и я жил по этим канонам, идя проторенной дорожкой старших коллег, но после нелегких случаев понял, как просто превратиться в соучастника несправедливости или удесятерить пусть даже и заслуженное наказание цветастым выступлением в печати.

К тому времени, когда я приехал в Буран, я уже знал: одно из условий написания фельетона — очная и частная встреча с человеком, о котором придется писать обидные слова тиражом в полмиллиона экземпляров. Фельетон прочитают обязательно. Стало быть, надо поглядеть прямо в глаза тому, кого наметил бить, выслушать доводы в его защиту. Только так!

Но до чего же мне все-таки не хотелось идти к Нургалиеву! Я дождался, пока откроют столовую и солидно пообедал, полюбовался в культмаге куклами и рыболовными блеснами, разрыл годовалые залежи в книжном магазине...

Одноэтажные длинные глинобитные здания школы-интерната окаймляли глинистый пустырь, где шеренгами торчали высохшие прутики саженцев (ага!— я сделал пометку в блокноте), бегала и галдела ребятня. Посреди пустыря зиял глубокий и грязный котлован — очевидно, под фундамент здания. Вода на дне котлована была плотно схвачена ряской (опять — ага!).

В низенькой директорской сидел человек с красивым лицом: темные волнистые волосы над широким выпуклым лбом, правильный изящный нос, живые проницательные глаза под большими очками, ослепительная белозубая улыбка.

— Вы ко мне? Наверное, корреспондент? В окошко вижу: ходит, записывает — сколько саженцев, сколько лягушек в котловане водится. По моим подсчетам — семь. А ваши данные? Учтите, лишнее буду опровергать!

Школа у нас плохая,— доверительно и серьезно продолжал директор.— Была — хуже некуда. Посторонний взгляд пока не может уловить перемен к лучшему. Поэтому пишите — плохая школа. Таких школ не должно быть нигде. Котлован под фундамент новой школы выкопали сами ученики. Может быть, это поторопит проектировщиков. Но типовой школы нет даже в райцентре. Занимаемся в три смены.

— Учителей, конечно, не хватает?— осторожно повернул я к интересовавшей меня теме.

— Эй, эй, и вы туда же!— расхохотался директор.— По жалобе двух выпускниц?

— Допустим.

— Немножко опоздали. Тут уже до вас были комиссии министерства, обкома, районных организаций. Всех Нургалиев вокруг пальца обвел. У него — коньяк, бесбармак и другие «культурные мероприятия». Как вы относитесь к бесбармаку?

Он широко улыбнулся, задорно глядя мне в глаза своими карими озорными глазами.

— Кумаш Нургалиевич,— раздался голос из соседней учительской.— У вас в шестом «А» классный час.

— У меня тут товарищ кореспондент из республиканской газеты. Если согласится, проведем классный час вместе с ним.

Мне вдруг очень понравился директор. Но, может быть, за его располагающей внешностью кроется коварство? Поэтому я решил прямо задать ему вопрос, ради которого прилетел в Буран.

— Кумаш Нургалиевич, но как же быть с письмом молодых учительниц, которых вы отстранили от преподавания? Задержимся на пять минут. Скажите мне коротко всю правду.

— Ответ простой: есть «педагоги», которых на пушечный выстрел нельзя допускать к детям. Мы этих учительниц хотели пристроить в совхозной конторе. Пусть присматриваются к селу, к людям. Они стали жаловаться!.. Если вы мне верите, пойдем на классный час, вы расскажете детям о том, как делают газету. Если не верите, вот вам три тома объяснительных записок, знакомьтесь, готовьте четвертый том. Вы можете сказать: этих молодых девочек следовало бы воспитать в здоровом педагогическом коллективе. Но пока у нас здорового коллектива нет. И сколько детей испортят такие невежды, пока их воспитаешь! Мы больны. И первый симптом этой болезни — обман. Двойка у нас сходит за четверку, а настоящей пятерки вообще-то не бывает, потому что лучшие учителя учат в лучшем случае на троечку. С минусом. Не оттого, что они плохие люди. В педагогические, особенно в учительские институты, нередко идут те, кому вообще податься некуда. Я не буду говорить обо всей стране, но Буран я знаю. Так, товарищ корреспондент?

Смуглый выпуклый лоб его покрылся капельками пота от напряжения.

— Я пойду в класс.

— Ну и ладно,— он зашарил под столом, что-то делая с ногами правой рукой. Левая неподвижно лежала на столе, и я понял, что вместо нее — протез с коричневой кожаной перчаткой. Тогда я наклонился под стол, чтобы помочь директору, и успел заметить две искусственные ноги, сделанные из кожи и металла. Не сообразив, что лучше не вмешиваться, я попробовал пододвинуть одну из искусственных ног поближе к нему, но он жестко остановил меня:

— Я сам, привык,— и, как бы желая смягчить тон, добавил:— Целый день сидеть в протезах немножко больно, а к ученикам надо приходить по всей форме.

Он шел по коридору школы степенно, ничуть не прихрамывая, улыбаясь своей ослепительной белозубой улыбкой счастливого человека. Позже я узнал, как дорого стоила ему эта улыбка.

МОЙ «ЗЕМЛЯК» НУРГАЛИЕВ

— Великие Луки,— сказал он.
— Ржев,— сказал я.
— Локня...
— Идрица...
— Резекне...

Мы сидели у него дома в ожидании (не скрою) бесбармака и словно бы играли «в города». За каждым названием населенного пункта виделись темные еловые леса Калининской области, деревни, от которых остались почерневшие печные трубы, снежные поля, покрытые заледенелыми трупами.

С 44-го мы где-то двигались рядом: он в 10-й, а я в 22-й армии Второго Прибалтийского фронта. Но я-то был связистом артиллерии, а Кумашу пришлось труднее. Он был зачислен в стрелковый полк, тот самый, в котором служил Александр Матросов и в котором за год до этого совершил свой подвиг.

Пожилой политрук, который рассказывал о подвиге молодым бойцам, выразился высоким слогом, сказал, что погиб Саша «смертию смерть поправ». В те годы посреди грязных окровавленных полей и пепелищ, как ни странно, возвышенные слова приходились к месту

Замелькали города и хутора Латвии. Тянулся туманный прибалтийский сентябрь, когда полк вышел с боями на под-

ступы к Риге. По дороге к латвийской столице, у хутора Слямпе, лежало неубранное картофельное поле, поросшее ржавой ботвой. На его противоположном краю, у кромки темного сосняка тянулись проволочные заграждения в шесть колов и высился бурый холмик.

Стоило кому-то из наших приподняться над полем, как «холмик» оборачивался головой чудовища с двумя мигающими пламенем глазами-пулеметами, их огонь простреливал сектор наступления нашей роты.

— Младший сержант Нургалиев!

— Я!

— Взять четырех солдат, подавить огневую точку к 18.00.

— Есть падавить к 18.00.

Он пополз, грудью и животом втискиваясь в вязкую почву и приказывая себе не трусить. И еще он соображал, что сейчас, наверное, надо будет смертию смерть «поправить», или как будет правильно по-русски?

Фашисты не услышали, как шуршит сухая ботва, как тихонько позвякивает разрезаемая колючая проволока. Перед дотом вдруг поднялись легкие тени, грохнули в проемах амбразур противотанковые гранаты, по выскочившим фашистам хлестнули автоматные очереди. Позади раскатывалось «ура», наши поднялись в атаку. Кумаш дожидался в выбоине своих, чтобы вместе со всеми идти вперед. И тут ударила немецкая артиллерия. Первый разрыв сверкнул перед Нугалиевым. Он кинулся к свежей воронке, зная, что попадания в одно и то же место почти не бывает. Ослепительная вспышка погасила все на свете.

ПИСЬМО ИЗ ПРОШЛОГО

Из письма медсестры В. А. Шевелевой (Изотовой) хирургу А. М. Молоденкову. 1978 год: «Как я его впервые увидела? В палатку медсанбата внесли еще одни носилки, но они были почему-то пустые, только посередине лежит под шинелью какой-то сверток. Приподняла шинель, испугалась, вскрикнула. Там лежал мальчик без обеих ног и руки — ее оторвало выше локтя, бледный, безжизненный. Мне так жалко его стало, что я взяла его на руки и стала баюкать».

Сначала Кумашу почудилось, что он маленький ребенок и мама укачивает его на руках, чтобы уснул. Но почему-то мама пела по-русски: «Баюшки-баю». Кумаш удивил-

ся, открыл глаза и увидел белую косынку и грустный взгляд девушки, которая носила его на руках. Еще не зная того, что он стал вдвое короче и легче, он хотел спросить, как она его, такого большого таскает? Губы не слушались. Кумаш сообразил, что ранен, должно быть, тяжело, но никак не мог сообразить, почему от картофельной ботвы и железобетонной стенки попал на эти мягкие и ласковые руки. И сразу ему представились маленькие братики, сидящие рядком на лавке перед избушкой в родной деревне. Они хотели есть, и он жалел, что сжевал последнюю галету, пока полз к доту. Не то, чтобы очень есть хотелось, а чтобы меньше бояться. И Кумаш спросил медсестру уже внятно: «Как ты думаешь, смогу я работать в колхозе счетоводом?» Валя закусила губу, сдавленным шепотом ответила: «Сможешь, родненький, сможешь».

И совсем так же она закусила губу тридцать лет спустя, когда, пролетев тысячи километров в самолете, очутилась в селе Буран, в гостях у Нургалиевых, и на первой странице их семейного альбома увидела свою пожелтевшую фотографию — большеглазую робкую девочку в пилотке со звездой. Когда-то на обороте снимка она написала чернильным карандашом: «Кумаш! Помни меня такой, какая я здесь». А теперь под ее фотографией дочь директора школы Гуль написала: «Ей было 17 лет, когда она подарила папе жизнь, это наша вторая мама».

... Гремя промокшей плащ-палаткой, в медсанбат вошел командир полка. Отрывисто спросил: «Где тот младший сержант?» Валя протянула ему безжизненный сверток. Подполковник прикрепил на грудь Нургалиева орден Красного Знамени. Сказал: «Спасибо, солдат, выручил»,— и стремительно покинул палатку. Командир полка был убит наповал метрах в двухстах от медсанбата разрывом шальной мины.

У Кумаша ничего не болело. Боль вернулась потом, много дней спустя. А в те часы он видел цветные картинки — удивительно глубокие и яркие. Он не раз удивлялся этой способности угасающего мозга так полно восстанавливать былое, добавляя фантастические подробности. Ему представлялась голубизна Маркаколя и колючие плети ежевики на мшистых прибрежных валунах, а выше стояли гряды пушистых лиственниц, среди них петляла тропа, и он знал, что сейчас к нему подойдет Канипа, спокойная и ясная, как озаренная даль, как зеленоватое холодное небо над горами. Они с Канипой родились в один и тот же день октября, в

соседних домах аула Сарыонек, что значит Золотой Стригунок, но русские переиначили казахские слова в Сорвенок, и это имя было под стать шумливой озорной речке, пересекавшей село.

По казахскому обычаю, если у соседей одновременно рождаются сын и дочь — быть им мужем и женой. Повзрослев, Канипа с Кумашем решили, что так тому и быть.

Шумел по камням светлый Сарыонек, и Кумаш с длинными удилищем в руке старался забросить искусственную мушку в дальний омуток за лиловым камнем, где наверняка сидел хороший хариус. Рыба, похожая на красно-серебристую бабочку, цапнула мушку почти с лета, Кумаш слегка подсек хариуса, и тут же острая боль пронизала его, и он со стоном открыл глаза и увидел намокший потолок медсанбата и серые от бессоницы лица медиков, которые перебрасывались непонятными словами.

САМАЯ БОЛЬШАЯ НАГРАДА

«Дорогой Кумаш! Самая большая награда хурургу от больного, это та, что он жив. Немного таких случаев сохранила память. Даже не медику понятно: такая, как у тебя, травма, длительное пребывание на поле боя поставили перед нами редкую задачу. Давать наркоз? Но сердце остановится,.. Начали под футлярной анастезией, чтобы сократить время наркоза и найти сосуды для повторной трансфузии крови.

Один хирург Молоденков ничего не сделал бы. Преданные своему делу хирурги Зайцев и Каверина, помогавшие мне, способствовали проведению операции в кратчайший срок.

Медсестра М. В. Ракова в даче наркоза была «виртуоз». Наташу Солодкину мы звали «шоковой», потому что она была закреплена за тяжелоранеными в шоке. Медсестры, у которых мы для тебя брали кровь, по очереди сидели около тебя, ты приходил в сознание, может быть, помнишь Лизу Великанову. А ведь шли бои, раненых не успевали выносить. Тебя решили обязательно вытащить с того света. Я уж не говорю, сколько души отдала тебе медсестра Валя Шевелева.

Но все зависело прежде от тебя. Мужество, редкая сила воли дали свои результаты. Я от души горжусь тобой.

Мы все обнимаем тебя и крепко целуем. Благодарю твою супругу за удивительную помощь тебе в послевоенные годы. Низкий поклон ей.

С искренним уважением, хирург Александр Михайлович Молоденков.

Москва, 28 апреля 1977 г.».

МОСКОВСКИЙ МАРШРУТ НУРГАЛИЕВА

Всякий раз, приезжая в Москву, директор школы Нургалиев поднимается по широкой лестнице областного педагогического института. Здесь сорок лет назад размещался госпиталь, куда Нургалиева доставили из медсанбата. В одной из палат он пролежал полтора года. Сюда Кумаш Нургалиевич потом приводил и Канипу, и всех своих пятерых детей — по мере того, как они подрастали и становились способными понимать не вполне обычную историю второго рождения своего отца, историю, где беспросветный мрак и отчаяние граничат с надеждой и верой.

После бывшего госпиталя Кумаш ведет жену и ребятишек в гости к Сергею Николаевичу Леванову или Константину Павловичу Глебову, или все они встречаются в условленом месте. Сережа и Костя были его соседями по койке. Леванов потерял ногу и руку. Глебову ампутировали ногу. Им все же было легче, чем Кумашу. И они, как могли, старались не подпустить к другу приступов отчаяния — они были для младшего сержанта рассказчиками, чтецами, поильцами-кормильцами, няньками-санитарками, словом, друзьями.

Отчаяние наваливалось на Кумаша глухими ночами, когда палата посапывала и похрапывала во сне. Ему делали операцию за операцией, укорачивали то, что осталось от конечностей. Он мучился от диких болей, но еще сильней от бессмысленности своего бытия. Что он может? Кому он нужен? Матери, у которой и без него куча малышей? Канипе? Но теперь он может станет для нее лишь страшной обузой. Он успел до войны окончить семь классов русско-казахской школы (была такая в селе Чингиставе), он был комсомольским вожаком, а когда старшие ушли на войну, его назначили секретарем сельсовета. Но на этой должности сидеть не приходится, бегать надо... Нет, нет, нет ему места на этой земле!

А потом он забывался на минуты или часы и снова пред-

ставлял себе колхозный ток и грохочущую молотилку в облаке тонкой золотистой пыли. Парни вилами подают снопы пшеницы, а наверху стоит крепенькая, ладная Канипа и заталкивает колосья в жадную пасть машины, покрикивая на нерасторопных джигитов: «Эй, шевелитесь, ленивцы!» И закатные лучи солнца пронизывают пыль.

Уходя в армию, он улыбаясь, сказал Канипе: «Жди, скоро Гитлеру капут». Она отвечала серьезно: «Буду ждать всегда». И все же из госпиталя Кумаш не писал, какая беда с ним стряслась. Это было страшнее смерти. Канипа сама нашла его, в Москву прилетело письмо: «Сердцем чувствую, что тебе очень, очень тяжело! Знай, я всегда рядом с тобой, что бы ни случилось». Она писала о деревенских новостях. А потом она приехала в госпиталь сама и привезла несколько копченых ускучей, которых ели все.

Она была неулыбчивая, суровая, сильная,— Канипа, учительница казахского языка и литературы. Когда-то она вместе с Кумашем училась в Чингиставской русско-казахской школе, где до революции преподавал учитель Султанмахмут Торайгыров. Рано он умер от чахотки и уже после смерти был признан одним из замечательных поэтов Казахстана. И для Канипы, и для Кумаша жизненным девизом стали строчки Султанмахмута:

Трудный русский язык
я клянусь оседлать,
Чтобы землю большую
получше узнать,
Чтобы смело скакать
по любой из дорог...
Ради знания пот я хочу
проливать.

...Днем к соседу Кумаша по койке Сергею приходил брат его, подполковник Леванов, преподаватель военной академии.

Подполковник Леванов положил к изголовью Кумаша новенькую «Повесть о настоящем человеке», подержанный учебник русского языка. Как выяснилось потом, ходил в органы народного образования, что-то доказывал, и вскоре палату стали навещать учительницы: Зинаида Алексеевна Толстикова занималась с Нургалиевым русским языком и литературой, Наталья Васильевна Балдина преподавала историю, географию. Физику и математику Кумаш осваивал сам. «Справочник колхозного счетовода» он знал почти наизусть.

Наверное, учительницам, которые ходили в госпиталь, было совсем не легко: одиннадцать учеников лежали в разных отделениях, плохо владели русским. И в школе — двойная нагрузка, и очереди за продуктами, и искореженные судьбы. Но учительницы никогда не опаздывали на уроки в госпиталь и спрашивали с Кумаша, как с нормального, здорового человека. А Кумаш, если казалось, что ему делают поблажку, бледнел и шепотом ругался, и требовал справедливости.

В госпитале он сдал экстерном за восьмой, девятый классы русской школы, окончил Всесоюзные курсы бухгалтеров. Он и сегодня с гордостью показывает свидетельство курсов, где лишь по одному предмету «четверка», остальные — «пятерки». Шутит: «Когда, наконец, прогонят из учителей, я без куска хлеба не останусь, я эти сальдо-бульдо не забыл».

В начале сорок шестого Кумаш впервые стал на протезы. Минуту постоял и от боли рухнул без сознания. А через два месяца с новым другом Толеу, из Актюбинской области, начал узнавать Москву. Два сержанта на четырех протезах обходили вокруг Кремля, медленно двигались по музею Ленина, по Историческому музею, по Третьяковке.., У школьников, которые сегодня приезжают из Бурана знакомиться с Москвой, это называется «маршрут Нургалиева».

ЦЕНА УЛЫБКИ

— Как же все-таки вышло, что я не только живу, но приношу пользу!— спрашивает Кумаш.— Повезло, а?

Я лежу в комнате Нургалиева на диванчике. Давно погас телевизор. Кумаш сидит на постели, высоко опершись на подушку, так ему, видимо, легче.

— Вы хотите написать, что у меня железная воля? Это будет не совсем точно. Сегодня я за ужином сказал, что выпью только рюмку водки. Я даже торжественно сообщил об этом Канипе. Но я выпил и съел гораздо больше, чем намечал.

— Взяли новые повышенные обязательства!

— Да, но завтра это скажется на работе школы. Зальет водой какой-нибудь химический кабинет или что-нибудь такое.

— Вы суеверны?

— Никакого суеверия. Школа такой организм. Он тес-

но связан с организмом директора. Я мог бы привести много примеров, но я возвращаюсь к главному. Почему я живу?— он вдруг приподнимается на локте правой руки и говорит так, словно мысль впервые пришла ему в голову.— Я живу, потому что я хочу жить. Про меня говорят с упреком: Нургалиев что хочет, то и творит. А я считаю, что это самое главное для человека: творить то, что хочешь. А? Хотеть и творить!

— Но это было бы невозможно,— продолжает Кумаш своим хрипловатым голосом,— если бы рядом со мной не было хороших людей. Вот нам часто кажется: то плохо, это плохо. А ведь сколько хороших людей рядом! Заставь их хотеть того, что хочешь сам!

Я хочу, чтобы вы помянули, когда будете писать обо мне, всех, всех, всех хороших людей, которые мне помогли. Я перед ними в долгу и не успокоюсь, пока не возмещу долга..,

Меня выписали из госпиталя. Мне было двадцать. Я был калекой — инвалидом первой группы. Я ничего не умел. Я слагал стихи о Канипе, об удивительной женщине, самой верной, самой любящей, самой правильной. Хотите, я прочитаю вам эти стихи? Впрочем, нет! Придется читать до утра, а нам надо выспаться перед уроками. Это очень плохие стихи о великом чувстве.

Представляете, меня отправили в Алма-Ату самолетом, и об этом позаботилось московское Казпредство. Даже Героям Советского Союза тогда отказывали в полете, а меня отправили. Рядом со мной главный контролер-ревизор Министерства финансов СССР по Казахской ССР товарищ Писарев.

Наш «Дуглас» ночевал в Кзыл-Орде, и я осмелился достать из вещмешка свиную тушенку и хлеб, но Писарев сердито сказал, что это я обязан доставить матери и братишкам. И накормил нас всех обедом, и сказал, что десять дней, пока решится дальнейшая моя судьба, я буду жить в его алма-атинской квартире. В первый же день я привел себя в торжественный вид и отправился на прием к секретарю ЦК ЛКСМ Казахстана Николаю Васильевичу Дыхнову. Меня пропустили сразу, Я вытянулся и доложил:

— Бывший секретарь комитета комсомола колхоза «Пограничник», бывший член Маркакольского райкома комсомола, гвардии младший сержант гвардейского полка имени Матросова, кавалер ордена Боевого Красного Знамени Нургалиев Кумаш после прохождения воинской

службы для получения дальнейших распоряжений явился.

Надо сказать, что фразу эту я зубрил всю ночь и выпалил ее единым духом. Секретарь выслушал ее очень серьезно, попросил мои документы.

— Так у тебя еще и обеих ног нету! Н-да! Что же дальше-то делать?

— В нашем селе Сорвенок, я знаю, нет преподавателя русского языка. Я мог бы попробовать.

— А если тебя в Высшую комсомольскую школу? У нас с кадрами — завал.

— У меня в Сорвенке мама и восемь маленьких.

Дыхнов куда-то позвонил по телефону.

— Так. До Усть-Каменогорска тоже полетишь самолетом. Встретит тебя секретарь обкома комсомола.

Вы знаете, это было какое-то особое чувство: я был живой, и я был на родной земле Восточного Казахстана. Заведующий отделом обкома Оралбек Касымов тотчас связался с Катон-Карагаем, и там, в аэропорту, меня встречали старые школьные товарищи: секретарь райкома Кабдеш Бакенов и одноклассник Бозшай Китапбаев. Я отправился к себе в Сорвенок на «ходке», в тележке...

Эй, вы знаете, что такое Мраморная стена? Вы знаете сегодняшнюю Мраморную стену, а какой она была после войны, вы знать не можете!

Здесь к описаниям Нургалиева я должен добавить свои. Дело в том, что Маркакольский район Восточного Казахстана природой делится на две совершенно несхожие части. Сухая полынная степь, прорезанная Черным Иртышом с его тугаями, внезапно встает на дыбы. Скалы громоздятся на скалы, там и здесь выходы красивых мраморов — розоватых и желтоватых с синими прожилками. И почти прямо в небо, петляя над невероятными пропастями, тянется дорога, узкая проселочная дорога, на которой в некоторых местах не разъехаться двум телегам. А наверху холмы, тайга. В годы первой мировой войны кому-то пришло в голову использовать для улучшения дороги на Мраморную гору, через Кабинское нагорье к селу Чингистай военнопленных — чехов, австрийцев, немцев. Работали они, видимо, старательно (пользуясь, кстати сказать, полной свободой передвижения по трассе и благосклонностью местных жителей). Потому получила дорога название «австрийской». И от районного центра Алексеевки до Сарыонека, то бишь Сорвенка, было более сотни километров.

Не стоит описывать нищету, в которой жила казахско-русская деревня Сорвенок.

В октябре 1946 года в единственную классную комнату местной школы вошел молодой учитель в линялой гимнастерке с орденом Красного Знамени. Все, конечно, знали о постигшем его горе, но он медленно и твердо ходил из конца в конец класса и улыбался.

Вскоре он и Канипа стали заочниками Алма-Атинского педагогического института. Кумаш выбрал историю. Он бы побоялся сказать красиво: история выбрала меня, хотя так оно, в сущности, и было. Его наставником стал ректор института — Герой Советского Союза Малик Габдуллин.

— Эй, эй, товарищ корреспондент, не забудьте написать, что еще в армии я стал коммунистом и мне сразу дали ответственные партийные поручения — на инвалидность в ту пору скидки не делали, да и я бы сам не делал. А значит, надо хотя бы упомянуть партийных руководителей нашего Маркакольского района Таныбека Махмутова и Уралбека Касымова, Ортыбая Сатыбалдина и Саликова Петра Васильевича... Тогда, в послевоенные годы они жили, пожалуй, труднее, чем на фронте. Мы не будем сейчас обсуждать, какие промахи у нас были в сельском хозяйстве, мы скажем, что это хозяйство давало вам, горожанам, все, что было нужно,

Когда я был уже директором Сорвенковской школы — пожаловал ко мне первый секретарь райкома Уралбек Касымов, я подумал, что он пришел для решительного разговора: все мое директорствование было длинной цепью ошибок, отступлений от учебного плана и преступлений против собственной совести. Вы скажете, что это чересчур, но, честное слово, на фронте было куда легче: я должен был «выводить» процент такой успеваемости, чтобы Сорвенковская школа не значилась в сводке последней, я должен был допускать к детям хмельного и малограмотного учителя, чтобы не отчитываться за пропущенные занятия. «Тебя переучили в Москве, Кумаш, ты хочешь, чтобы в Сорвенке был порядок, как в столице!»— шутили односельчане. Но, слава аллаху, мне всю жизнь выпадает счастье наводить порядок.

Ночами Кумаш писал письма своим московским учительницам: «Многоуважаемая и милая Зинаида Алексеевна! Я очень счастлив, я преподаю детям НАШ русский

язык. Вместе с Канипой, о которой я вам уже писал, мы подали заявление на заочное отделение Алма-Атинского педагогического института. Меня выбрали без отрыва от учительских дел заместителем секретаря партийной организации колхоза «Третья пятилетка». И еще у меня много обязанностей, но ведь это хорошо, когда ты всем нужен, правда? Я уже и не думал, что окажусь нужен, а выходит, нужен»...

И вот в моей избушке (у нас в Алтайских горах — тайга, строим из лиственницы) появился первый секретарь райкома, оглядел мою пеструю ребятню, меня и спросил:

— Слушай, почему же ты не скажешь, что тебе нужен приличный костюм? Все-таки у нас в районе есть возможность лучше одеть директора школы.

— Это домашняя одежда,— соврал я.— У меня есть одежда получше.

— Может быть, у тебя, солдат,— улыбнулся он,— есть новенький мундир?

Он выпил традиционную пиалку чая, попрощался и ушел, а через час из сельпо мне принесли синий хлопчатобумажный костюм, который мне показался сказочным нарядом. Я надел этот парадный х/б и отправился на августовское совещание учителей. Мы ехали в кузове полуторки, пели песни, борт грузовика то и дело зависал над глубокими пропастями Мраморной стены, и учительницы весело взвизгивали. Но на каком-то повороте колесо грузовика попало на неожиданный валун, машина вывернулась вбок и покатилась прямо в пропасть. Первые метры она шла медленно, и водитель, крикнув: «Спасайтесь!»— выскочил из кабины. И учителя начали быстро выскакивать из кузова и катиться «своим ходом» под уклон, хватаясь за камни и колючие кустарники, и я запомнил, что лечу как птица, а внизу, глубоко-глубоко подо мной, играет тоненький, как ниточка, белопенный ручеек. Я успел сообразить, что грузовик перевернулся, и потерял сознание.

Мое везение было в том, что мне уже почти ничего не оставалось ломать. Когда меня привезли в кабинет первого секретаря райкома, он сказал:

— Тебе же опять надо костюм. Ты так все наши районные лимиты прикончишь.

Я сказал:

— Мне надо костюм и слесаря — сломались все три протеза — и, кажется, хирурга — ребро сломано,

Тут зазвонил телефон. Я понял, что это Канипа. Она спросила:

— Это ты!

Я сказал:

— Это я.

...Я проснулся от металлического стука. За окном светлело. Директор стоял у зеркала и улыбался сам себе. Он улыбался вполулыбки, он слегка усмехнулся... Потом лицо его кривилось от боли... Но он снова смеялся улыбкой счастливого человека. Он должен был быть образцом бодрости среди учителей, среди учеников, среди строителей, среди родителей. Его улыбка дорого стоила.

Директор готовился к рабочему дню.

ПОДУМАЕШЬ, СИНХРОФАЗОТРОН!

Теперь кирпичная трехэтажная школа села Буран ничем не отличается от множества точно таких же школ. И все же на фоне кривых плетней и низких мазанок она выглядит подтянуто и горделиво. «Добро пожаловать!» над входом начертано на русском, казахском, немецком и английском языках. Не только потому, что эти языки здесь изучаются — школа как бы заявляет, что готова всегда принять любых гостей на любом уровне.

В коридоре портреты. И подписи напоминают, как много можно успеть в любом возрасте: «Леся Украинка в тринадцать лет опубликовала в журнале первые стихи... Аркадий Гайдар в семнадцать лет командовал полком... Софье Ковалевской в двадцать четыре года присудили степень доктора философии». И рядом, на видном месте — изречение Л. Н. Толстого: «Не бойся незнания, бойся ложного знания, от него зло всего мира».

Почти каждый год я бываю в этой школе и всякий раз вижу интересные новшества.

В кабинете физики ведет занятия молодой учитель Талант Кумашевич Нургалиев — высокий, симпатичный, с живыми черными глазами и чудесной белозубой улыбкой (кстати, все пятеро детей Нургалиева — педагоги). Талант начинает урок не совсем обычно — с пульта управления. Нажимает клавишу, и окна автоматически задергиваются светонепроницаемыми шторами. Трогает другую клавишу — перед классом опускается киноэкран. Третья клавиша включает кинопроектор, находящийся в особом помещении, в другом конце класса, и на экране вспыхивает учебный фильм о полупроводниках.

— Школа должна удивлять,— любит повторять директор.— Школа — это чудо! Учеба — постижение чуда!

Выходит к доске застенчивая Жаныл Тушкенева. Доска не черная, а оптическая. И указка в руке десятиклассницы не деревянная, а пластмассовая, с кнопками дистанционного управления. Одной из кнопок девочка привычно включает кодоскоп — на доску проецируется схема, которую ученица сама предварительно набросала на целлофановой ленте. Это куда практичнее, чем писать мелом. На конце палочки-указки загорается маленькая электрическая лампочка — так учителю и ученикам удобнее следить за ответом.

После урока Талант Кумашевич ведет меня в технический центр школы — комнату, где стоят магнитофоны, проигрыватели, смонтирован радиоузел, сосредоточены в хранилищах магнитные записи и грампластинки — около трех тысяч. Из «центра» проложена радиотелефонная связь во все сорок учебных кабинетов и производственные мастерские. Управляет хозяйством лаборантка, вчерашняя десятиклассница. Она докладывает Таланту Кумашевичу, что на сегодня у нее немного заказов: преподавательница литературы Людмила Георгиевна Пузанкова просила зарядить ей «Одиссея у циклопов». На другой урок литературы — Анне Ивановне Голосовой — будет передан отрывок из «Василия Теркина»; учительница Бижимал Садыкова просила поставить ей для классного часа революционные песни «Слезами залит мир безбрежный» и «Кузнецы».

— Из нашего «технического центра»,— поясняет мне Талант Нургалиев,— можно передать записанный на пленку диктант. Если надо — сразу в шесть кабинетов, учителю очень удобно, ему останется следить за тем, чтобы ребята добросовестно писали.

На пульте у лаборантки замигала зеленая лампочка, зазвенел звоночек. Девушка подняла телефонную трубку, закивала курдяшками: «Хорошо, даю». Нажимом клавиши включила нужный проигрыватель, здесь он работает бесшумно, а на втором этаже, в 8 «б» звучит сочный баритон Сурена Кочаряна, читающего стихи Гомера. А за окном скачет рыжий ветрище по серым степям с серо-зеленым чертополохом, совсем таким, какие росли где-то на пути Одиссея. Я жадно расспрашиваю Таланта Нургалиева — какие же люди устроили «на краю света» этакие технические чудеса.

— Чего тут восхищаться!— говорит Талант Кумаше-

вич.— Элементарно, обычный комбайн устроен сложней, чем все наши штучки. Ну, повозились парни из физического кружка, зато надежно познакомились с простейшими средствами связи и управления. В основном же тут заслуга папы. Вы себе не представляете, как сложно добыть не только для сельской школы — для какого-нибудь НИИ — двадцатижильный кабель или внутреннюю телевизионную систему. А мы ее уже монтируем. Достает! Он, я считаю, самый великий доставала. Надевает протезы (а ходить ему все больней), надевает ордена, боевые и трудовые, и ходит по Москве. Пробивается к министрам. Доказывает, что дети в далеком казахском ауле обязаны учиться на таком же техническом уровне, как столичные школьники. Но ведь добыть всякие дефицитные вещи — полдела. Он сам следит за погрузкой наших ящиков в вагоны и заботится, чтобы они «случайно» не осели в каком-нибудь областном центре. Конечно, ему часто идут навстречу.

Папа Нургалиев очень удачно назвал сына Талантом. Светлая голова и редкий умелец. Работает на всех станках, паяет, знает малярное и штукатурное дело. Легко подчиняет себе металл, дерево, пластмассы. Это — наследие доктора физико-математических наук Лукьяна Николаевича Ли, который много лет работал в Усть-Каменогорском институте и о котором Талант говорит всегда с восторгом.

Мы проходим в Зал боевой славы: здесь — вечный огонь, замерли в почетном карауле мальчики и девочки в голубой форме, синих пилотках, с настоящими автоматами. Золотыми буквами на расписанной под мрамор доске значится, что до войны в селе Буран было восемьдесят два двора, с фронта не вернулись сорок четыре буранца. Имена всех погибших установили «красные следопыты» во главе с Кумашем Нургалиевым.

Особый стенд отведен боевому пути полка имени Александра Матросова. Фотографии о том, как матросовцы служат сегодня. Примечательный снимок, сделанный в одном из городов Прибалтики: торжественным маршем проходит полк, вместе с генералами и старшими офицерами парад принимает учитель Нургалиев.

«ОЙ, КАК ДОСТАВАЛОСЬ!»

Нургалиева назначили директором средней школы в Буране в августе 1957 года.

На его попечении была мать и одиннадцать детей (и младшие братья и сестры, и племянники, и свои уже по-

явились). Жилье — мазанка с глиняным полом, одна комната.

— Мы знаем, что нашу самую отсталую Урановскую школу можешь поднять только ты, Кумаш,—сказали в районе.

Педагогический коллектив принял Нургалиева — хуже некуда. Он же еще ничего не успел доказать. Он только в другом месте «снижал процент успеваемости». Кроме того, известно было, что спокойствие и веселость его подчас переходят в бешенство.

Я не хочу поминать многих тогдашних конфликтов, но важно то, что с большинством своих прежних противников Нургалиев нашел общий язык и они стали его ревностными помощниками.

Сейчас даже трудно представить себе, как выглядела в то время школа. В учительской — самодельный кособокий стол, две-три табуретки. Наглядные пособия кучей свалены в углу. Да ими мало кто пользовался. Ученики сидели на уроках в шапках, в валенках — а где взять дрова? И — ни одного дерева на огромном глинистом пустыре, где стояли школьные здания.

Кумаш Нургалиевич начал переговоры с руководителями совхоза, нефтебазы, строительного управления и других сельских организаций (а их в Буране немало) о квартирах для учителей. И учителя один за другим стали получать ведомственные квартиры и бесплатное топливо, как оно и полагается по закону.

И еще была забота, чтобы учителями становились местные мальчишки и девчонки. Профессия педагога в Буране — стала одной из самых уважаемых профессий. Забегая вперед, скажу, что в Урановской средней школе имени В. И. Ленина сейчас четыре пятых учителей — уроженцы Бурана.

Они убеждены, что учить и учиться — самые интересные дела на свете. Несколько раз школа была участницей ВДНХ в Москве, отмечена ее наградами. В Урановской школе прошло уже несколько областных учительских семинаров.

За восемь лет учителя и ученики построили несколько школьных зданий. Деревья на территории поначалу не хотели расти. Потом появилась молодая роща. В районной газете ее даже окрестили титулом «прекрасный парк».

Но Буран—село большое. Тысяча двести учеников. Нургалиев сумел в самых высоких инстанциях доказать, что школе нужно нормальное типовое здание. Оно было заложено к 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Сейчас школа занимается в одну смену.

ВАЛЯ ШЕВЕЛЕВА

... В сентябре 1974 года Валентина Алексеевна Шевелева, старшая сестра одного из московских госпиталей, приехала в Ригу на торжества в честь 30-летия освобождения города от фашистов. Были объятия фронтовых друзей, слезы, речи, цветы. Настала пора уезжать. Шевелева вышла в коридор гостиницы, чтобы оформить пропуск. Дежурная смотрела телевизор. С экрана говорил мужчина с красивыми азиатскими чертами лица, что-то в нем показалось странно знакомым. Валентина Алексеевна вгляделась, прислушалась, и ее словно током ударило:

— В жизни каждого человека,— говорил человек на экране,— бывает, наверное, самая горькая, самая отчаянная минута и самая счастливая, самая радостная. Ко мне самая горькая минута пришла тридцать лет назад, когда я не сумел дойти до Риги по той причине, что был сильно ранен. Лежал на сырой земле в темноте, и казалось, что уже никто не может помочь. И вот позавчера я все-таки вступил в Ригу, и это была моя самая счастливая минута.

Шевелева бросилась к телефону. С телевидения сообщили, что выступивший на студии товарищ уже уехал в район города Ауце, где когда-то воевал, а в Риге проживает в той самой гостинице, где Шевелева. Ей надо было мчаться на московский вокзал, но она все же успела оставить у дежурной записку:

«Дор. тов! Я из 119 стрелк. батальона. У меня был боец в санроте без обеих ног и левой руки. Он собирался стать счетоводом в колхозе. Я вас искала повсюду. Случайно сегодня узнала, что вы здесь. Нам надо увидеться...»

Валентина Алексеевна Шевелева — человек не молодой. Ушла добровольцем в армию. Старшая операционная сестра. Я слышал от многих опытных врачей, хирургов, что жизнь человека зависит не столько от удачно сделанной операции, сколько от среднего, от младшего медицинского персонала. Если бы не было Шевелевой, не было бы и Нургалиева. Это сказал покойный Александр Михайлович Молоденков, хирург, мастер, чело-

век великой души, погибший от инфаркта после трудной операции.

Они все же встретились в Москве, потом в Риге — Кумаш и Валя, встретились так, будто всегда были рядом.

У меня звонит телефон.

— Здравствуйте, это Нургалиев. Я в Москве. Пробиваю проекты для второго спортазала. И типовой мастерской. Будем учить наших школьников производственным специальностям. С выдачей свидетельств. Преподаватели уже есть. Не хотите сходить со мной к Шевелевым, нас там ждут!

Я поздравляю Кумаша Нургалиевича с новым, только что учрежденным и присвоенным ему званием Народного учителя СССР.

Меня могут упрекнуть в том, что я мало сказал о Кумаше Нургалиевиче как о педагоге. Как он объясняет новый материал, как строит опрос, как ведет педсовет?
телей, которые прекрасно владеют методикой, но дети относятся к ним безразлично.

Да, я не написал об этом, я знаю многих преподава-

Я не написал об отце Кумаша — чабане Нургали. Он первым из казахов Кабинского нагорья вступил в партию большевиков. Он сражался с басмачами...

Если бы он мог теперь обнять своего сына!

Николай Колточник

ПОЖИЗНЕННАЯ ПРОФЕССИЯ САТЫМБЕКА ТУЛЕШЕВА

Все было ясно для Сатымбека Тулешева и его товарищей по военному училищу. Пройдут считанные недели, и на плацу состоится последнее построение выпускного курса. Не курсантами станут они в строй, а лейтенантами. В новеньком комсоставском обмундировании и хрустящем ременном снаряжении с пустой пока пистолетной кобурой. Прощай, училище, прощай, Алма-Ата! Разъедутся лейтенанты по разным гарнизонам и начнется для них желанная и долгая армейская жизнь. Сами избрали они эту профессию. И полюбили. На всю жизнь...

А приказано было собраться на плацу в неурочный

день и час. Воскресенье, а увольнения в городской отпуск отменены. Все здесь: курсанты, преподаватели, штабные командиры. Связисты развесили по деревьям радиодинамики, и послышались позывные Москвы.

— ...говорят все радиостанци Советского Союза...— известил диктор, которому предстояло в течение последующих тысячи четырехсот семнадцати дней сообщать о городах, оставленных нашими войсками после продолжительных боев, а потом — об их освобождении от врага, зачитывать то угнетающе-безрадостные, то обнадеживающие сводки Совинформбюро, малословные, исполненные силы приказы Верховного Главнокомандующего. Вплоть до последнего, победного. До которого доживут не все.

А сегодня ошеломили курсантов слова о вероломном нападении врага. И вот эти, заключительные, призывающие к отваге и исполнению долга: «Наше дело правое, победа будет за нами».

Удивились курсанты? Только поначалу. Ведь они давно посвятили себя военной службе, готовились к решительному часу. Не знали только, когда наступит этот час. Одно думалось теперь: может, уже сегодня распорядится Генеральный штаб, и отправятся они в действующую армию, чтобы повести взводы и роты в решительный победный бой... Об этом и говорили на сразу же начавшемся митинге.

Раздалась команда «смирно!», и начальник училища — седой и грузный полковник — объявил:

— Служба, товарищи командиры и курсанты, продолжается. С поступлением соответствующих указаний в учебные программы будут внесены изменения, диктуемые условиями военного времени.— Рубанул рукой воздух и добавил:— Подачу рапортов об отпусках, переводах, а также отправке на фронт...да, и об отправке на фронт, категорически запрещаю...

Уже на следующий день надели лейтенантские знаки различия первые десять выпускников и отбыли в Семипалатинск, где заканчивалось формирование стрелковой дивизии—будущей 30-й гвардейской. В эту группу Сатымбек Тулёшев не попал. Как и в следующую, более многочисленную предназначенную для нового формирования — будущей гвардейской имени генерала Панфилова. Только в сентябре пришел его черед: в Алма-Ате началось формирование еще одной дивизии —391-й.

Не будь войны, пришлось бы лейтенанту Тулешеву начать службу с должности взводного. Теперь же, явившись

в распоряжение командира 1024-го стрелкового полка подполковника Анатолия Ивановича Морозова и военкома части батальонного комиссара Михаила Андреевича Михайлова, он узнал, что будет командовать ротой.

В два дня управился полк с обустройством в невзрачных корпусах железнодорожного техникума. Сноровисто управляясь топорами и пилами, солдаты сколотили в учебных аудиториях двухярусные нары, соорудили во дворе обеденные столы, оборудовали строевой плац, полосу препятствий, за городом — стрельбище. И начались занятия — от подъема до отбоя. А среди ночи — сигнал тревоги и выходы в поле. Спустя месяц прошли дивизионные учения. Представители штаба округа дали им хорошую оценку.

Участвуя в разборе учений, Сатымбек узнал, как много у него друзей и знакомых в частях 391-й. Взводами и ротами командовали почти сплошь однокашники. 1280-м полком командует любимый в училище наставник курсантов полковник Петр Митрофанович Парамонов—участник гражданской войны, награжденный орденом Красного Знамени. Удостоенный ордена Ленина капитан Гордиевский получил 1278-й стрелковый полк, признанный на контрольных учениях лучшим в дивизии. Уже по пути на фронт стало известно, что Ивану Тимофеевичу присвоено звание майора.

Появились у Тулешева новые знакомые — командиры и политработники, призванные из запаса. Их нетрудно узнать: и в военной форме сохраняют штатский вид... Взять хотя бы старшего политрука Килибаева. Мешковато сидит на нем гимнастерка. Оказалось же, что Рахимжан в неполных пятнадцать лет был бойцом горно-артиллерийского дивизиона, с которым прошел всю гражданскую войну, что с большим трудом добился секретарь районного комитета партии разрешения сдать дела и отправиться на фронт. Заслуживает уважения этот человек, даром что штатский.

Не отличался воинской выправкой и комбат Михаил Рыбак: щуплый, сутулый, да еще в очках. И надо же, именно его батальон признан лучшим в 1024-м полку. И вообще оказалось, что вчерашний директор горпищеторга в ратных делах отнюдь не новичок. Бывалый чекист, он в двадцатых годах участвовал в ликвидации кулацких банд в Прииртышье, за что не раз отмечался наградами правительства республики и центральных органов ОГПУ. Еще не успели призванные из запаса командиры получить личное оружие, а у старшего лейтенанта Рыбака есть писто-

лет — именной, с дарственной надписью, выгравированной на серебряной пластинке...

А война, знай себе, идет!.. Скорее бы на фронт.

Зимнее Подмосковье. На ближних подступах к столице 391-я вступила, наконец, «в боевое соприкосновение с противником», как помечено в ее историческом формуляре... Вот она, война! И такая, какой представлялась она курсанту Тулешеву, и, пожалуй, совсем не такая.

Конечно, знали будущие командиры (слова «офицер» не было еще тогда в обиходе), что война — это пожары, разрушения, смерть. Но представлялось, что, когда нападут на нас гитлеровцы (а что нападут именно они, в этом никто не сомневался), мы их немедленно отбросим и станем добивать их там, откуда они пришли; победа наша неминуема и придет она скоро... А враг до самой Москвы дошел. Мы гоним его, а до Берлина ой как далеко. Не так уж он слаб, может собраться к весне новыми силами... Не поколебалась в Тулешеве вера в неминуемую победу нашу, но понял, что скорой она не будет.

Пока находилась 391-я на отдыхе, фронт стремительно ушел вперед. Выгрузились на железнодорожной станции Осташково, а до передовой больше двухсот километров изнурительного марша. Но не было в роте лейтенанта Тулешева отстающих. И обмороженных не было, хотя морозы в начале сорок второго стояли лютые. А обогреться негде: все попутные села сожжены отступающим врагом, а костры разводить запрещено — демаскировка!

Энергичен и крепок здоровьем лейтенант Тулешев. Только что видели его в голове колонны, а вот уже с замыкающим беседует. И снова обгоняет слегка растянувшуюся роту. Поравнялся с рядовым Рябининым, бывшим колхозным бухгалтером. Человеку за сорок, старше всех в роте. Гражданскую отвоевал, до этого в окопах германской два года маялся. С сидячей работы в роту пришел, трудновато ему приходится.

— Как самочувствие, отец?

— Спасибо, сынок,— ответил Рябинин. И тут же поправился:— Хорошо чувствую себя, товарищ лейтенант... Погоняли вы нас в Алма-Ате немилосердно, поругивали вас тайком солдаты, даже матушку, извините, поминали. А теперь говорю спасибо. Втянулись мы, не хуже молодых повоюем...

С рассветом полки 391-й дивизии предприняли штурм городка на Ловати-реке. Враг завладел Холмом еще в августе сорок первого и теперь оборонял свои рубежи цепко

и упорно... Взять бы с ходу этот рубеж, выйти бы к железной дороге Псков — Ленинград и перерезать ее, и плакали бы гитлеровские надежды на падение твердыни на Неве... Понимали это и фашисты, потому не жалели сил, обороняя рубеж Ловати.

Большой урон нанесла врагу в зимних боях 391-я, но и сама понесла большие потери убитыми и ранеными. В одном из уличных боев, когда роте Тулешева удалось уничтожить несколько опорных пунктов врага, командир роты был ранен. В первый раз.

Оказавшись в медсанбате, лейтенант Тулешев полагал, что отлежится недельку-другую и вернется в роту. Но не тут то было. Ранение оказалось серьезным и старший хирург Александра Константиновна Сухорукова приказала эвакуировать лейтенанта в тыл. С майором медслужбы Сухоруковой не поспоришь. О ее решениях говорили: «Приговор окончательный, обжалованию не подлежит».

Два месяца лечился, еще три учился в знаменитом «Выстреле»— высшей стрелково-тактической школе Советской Армии. Аттестованный на должность командира батальона, прибыл в 252-ю танковую бригаду.

Быстр темп жизни на войне. И года нет, как присвоили Тулешеву первое комсоставское звание, а уже батальон ему доверили. И не ошиблись. Успешно сражался батальон, комбат награжден первым боевым орденом. Но и на этот раз службу прервала вражеская пуля. Госпиталь. Новое назначение. На этот раз — в 1-ю гвардейскую воздушно-десантную бригаду. Комбатом.

...Транспортные самолеты, благополучно миновав под покровом ночи заградительный огонь зенитных батарей, высадили воздушную пехоту в районе Невеля. Конечно, в училище очень подробно отрабатывали с курсантами тему «Боевые действия в окружении». В классе — на топографической карте и у ящика с песком. В поле — «в условиях, максимально приближенных к боевым». Но только теперь, в доподлинных боевых условиях, усвоил лейтенант, каково воевать, когда нет тыла, откуда доставляются боеприпасы и продовольствие и приходят маршевые роты пополнения. И локтевой связи с соседями нет: кругом враг. Но именно в этих условиях Тулешев почувствовал, что никогда, с самого начала войны, не был настолько «на месте», как теперь. «Старший лейтенант Тулешев рожден для войны в тылу врага»,— говорили в бригаде. Вот и третья боевая награда к нему пришла. А вскоре — новое ранение. Доложили комбригу, тот махнул огорченно

рукой и приказал эвакуировать комбата на Большую землю с первым же самолетом.

Снова поправился Тулешев, и не желал теперь иного назначения: только в десант. Или к партизанам. И добился своего: ему поручили высадиться во главе группы десантников в глубоком вражеском тылу и влиться в партизанскую бригаду Героя Советского Союза Карасева.

Виктор Алексеевич поначалу принял пополнение довольно прохладно, но заметно потеплел, узнав, что пришли к нему профессиональные десантники.

— Видишь ли, Сатымбек,— сказал он доверительно Тулешеву,— партизанская война, сам знаешь, на обычную мало похожа. Наше дело — наносить врагу максимальный урон, избегая потерь. Поезда-то к нам не идут, самолетам пробиться трудно, да и много ли привезешь на самолете. Шлют нам, конечно, пополнение. Хороших ребят, смелых, с боевым опытом — добротным, армейским. Но партизанскому делу не обучены. А на вас я железно надеюсь.

Не ошибся комбриг. Все умели тулешевцы: и железнодорожные пути минировать, и склады взрывать, и часовых снимать точным ударом «бесшумки» — солдатского ножа. И ловко перехватывать штабные «оппели» с важными гитлеровскими офицерами. Обязательно живыми, с туго набитыми портфелями, где и карты, и штабные документы. С такими «авиапассажирами» (называли их так потому, что за ними по первому же вызову Москва присылала Ли-2) обходились особенно бережно. Давно известно, что пленные, взятые на переднем крае, мало что знают. Другое дело офицеры крупных штабов, размещенных в глубоком тылу. Таким многое известно, как «языкам» им цены нет...

Так уж повелось у партизан: подолгу на одном месте не засиживаться. Перемещаясь, они дезориентируют противника, путают карты карателям. А главное — множатся ряды народных мстителей. Так было и на временно оккупированной советской земле, так было и позднее, когда карасевцы предприняли дальний рейд в район Банской Быстрицы, на соединение с словацкими партизанами. После первых успешных совместных операций Сатымбек получил особое задание: во главе небольшой группы прибывших вместе с ним десантников пробраться в Польшу и поступить в распоряжение сражавшегося здесь известного партизанского командира Алексея Николаевича Батьяна.

— Людей я тебе не дам,— твердо заявил Батьян, проверив «верительные грамоты» Тулешева.— Человек ты бы-

валый, ядро для будущего отряда у тебя крепкое. В общем, обрастай людьми на месте.— Ткнул пальцем в карту-десятикилометровку:— Вот оно, место твоих боевых действий.

Знал и понимал людей Алексей Николаевич, угадал в Сатымбеке Тулешеве незаурядного партизанского вожака. Отряд начал действовать. Он быстро обрастал людьми. Приходили сюда бежавшие из лагерей советские воины, десятками просились в отряд поляки, а также чехи, сербы. И были это решительные и смелые люди. Вскоре прославился на всю округу отряд, получивший гордое и звучное название — «Заря».

Неразговорчив был командир «Зари». Только о деле — и ничего кроме. Зато много лет спустя ветеран войны Сатымбек Омарович Тулешев, выступая перед молодежью, подолгу и с любовью рассказывал о славных товарищах своих — живых и мертвых, об их делах. Повторяться почти не приходилось. Лишь один эпизод вспоминал он часто. Захватили однажды партизаны «Зари» фашистского полковника. Надменный был человек, с моноклем в глазу. Точно с экрана послевоенных фильмов сошел. Разговаривать с пленившими отказался наотрез, требовал, чтобы доставили его к высшему начальнику. Увидев капитана Тулешева, гитлеровец растерялся: откуда, мол, здесь «монгол», да еще в высоком командирском чине?.. Невдомек было ему, что могут дружно жить в одной стране люди разных народов и рас, что могут они в единомыслии своем яростно бить общего врага. А о существовании Казахской Советской Социалистической Республики полковник и слыхом не слыхал... Может, научился он чему-нибудь за годы пребывания в плену, а может, остался тем, чем был до плена. Мечтающих о реванше недобитков, которые ничего не забыли и ничему не научились, не так уж мало в ФРГ наших дней...

Действовавшие на юге Польши партизанские бригады, отряды и группы объединились. Укрупненное соединение возглавил И. Ф. Золотарь, его заместителями были назначены П. Р. Перминов и А. Н. Батьян. И никого не удивило, что начальником штаба соединения стал командир молодого партизанского интернационального отряда «Заря».

Своевременность объединения партизанских сил получила подтверждение уж в самом начале последней военной зимы. Удары по вражеским тылам становились все ощутимее, что облегчало наступление регулярных совет-

ских войск и польских воинских частей, освобождавших многострадальную польскую землю.

Все уже становился коридор между партизанами и регулярными войсками. Соединились! Надобность в продолжении партизанской войны миновала. Местные товарищи влились в боевые порядки польских воинских формирований, а советские воины, в том числе и капитан Тулешев, вернулись в ряды Советской Армии, продолжавшей свое мощное наступление. Последнее. Победное.

Когда кончилась война, армейская служба продолжалась. Но становилась все более беспокойной. Вчерашние союзники повели себя странно, будто их подменили, затеяли по отношению к Советскому Союзу новую политику — «с позиции силы». Повеяло в мире ледяным ветром «холодной войны», грозившей порою вылиться в настоящую, горячую. Забыть, видимо, надо о ранах, беспокоящих все чаще и настырнее. Хорошо бы в военную академию поступить, а потом продолжать службу так, как мечталось в курсантские годы.

Но об академии не могло быть и речи. Куда там! Врачи признали капитана Тулешева инвалидом, его демобилизовали.

Как это ни горько, а надо менять профессию и служить Родине на гражданском поприще. Долг коммуниста остается, а он неоплатен.

И еще остается долг перед любимой, терпеливо, как положено солдатке, ожидавшей его все эти годы в Тейково, небольшом районном центре Ивановской области. Именно здесь находился военный госпиталь, в котором лечился тяжело раненный Тулешев. И выходила его сандружинница Люда Малкова, ученица выпускного класса средней школы.

Тогда, в самом зените войны, им недолго довелось быть вместе. Выписался лейтенант из госпиталя, получил направление в часть и вскоре выступил с нею на фронт. Как и было договорено, Сатымбек писал Люде чуть ли не каждый день. И получала она письма регулярно, хотя иногда они обгоняли друг друга. И сама она отвечала ему на каждое письмо.

И вдруг писем с фронта не стало. Месяц за месяцем — ни весточки! Но девушка знала, что Сатымбек обязательно даст знать о себе. Если только жив. А если погиб?.. Но этого, рассудила Люда, просто не может быть. Не может — и все!.. А какая солдатка придерживалась тогда иной логики!

Пришло письмо. Из Москвы. Напечатанное на машинке. Незнакомый человек сообщал, что Сатымбек Омарович Тулешев жив, здоров, просит передать Людмиле Иосифовне Малковой, что любит ее пуще прежнего, что при первой возможности сам ей напишет.

И стали приходить письма. Редко, но целыми пачками, ибо писал Сатымбек каждый день, но не каждый день случалась попутная оказия. А в Москве, кто-то заботливо укладывал эти написанные на клочках записки в конверты и отправлял ей, Люде. И не было в записках даже намека, где находится Сатымбек Тулешев, на каком фронте воюет, в каком роде войск. Только слова надежды, любви и заботы. И обязательно перед подписью слово: жди!

И вот они встретились. Людмила Иосифовна училась на последнем курсе Ивановского педагогического института и жила там в общежитии, а демобилизованный по инвалидности капитан Тулешев поселился в Тейково у родителей жены.

Прежде всего, пришел в райком и стал на партийный учет. Здесь спросили, как у него с работой и предложили пост директора местной типографии.

— Но ведь я не полиграфист.

— Можем предложить и другую работу. По специальности.

— Нет у меня гражданской специальности,— вздохнул Тулешев.

— Вот и договорились. Принимайте типографию. Нет у нас готовых специалистов — война взяла. Вникайте добросовестно в дело и станете специалистом.

И еще сказали ему, что не надо стесняться своего незнания — со временем оно пройдет. Если постоянно советоваться с людьми, прислушиваться к мнению коммунистов, всех работников, независимо от их должности... Так и поступал новоиспеченный директор. И действительно, поначалу все к нему относились несколько покровительственно, откровенно его поучали, а постепенно убедились люди, что с директором нужно разговаривать на равных, когда речь идет о технологии, а в делах административных и хозяйственных он достаточно силен.

В сорок девятом Тулешевы переехали в Алма-Ату. Сатымбека Омаровича пригласили на пост директора типографии, а Людмила Иосифовна стала учительницей русского языка и литературы, спустя несколько лет перешла на издательскую работу.

Слов нет, типография в Алма-Ате оказалась более

мощным сложным предприятием, чем Тейковская, но Тулешев управлялся с ней не плохо. Тем не менее, понял директор, что, хотя практический опыт великое дело, а учиться надо. Как мечтал когда-то офицер Тулешев о военной академии, так рвался он теперь в вуз. И поступил сорокалетний директор на заочное отделение Московского полиграфического института.

За годы учебы студент-заочник, которому дважды в год приходилось выезжать в Москву на сессии, а того чаще — в служебные командировки, усвоил, что нет лучшего рейса для возвращения в Алма-Ату, чем ночной. Покончил с делами, простился с московскими друзьями, рассчитался с гостиницей, в полночь занял свое место в самолете, а в четыре с чем-то ты дома. Это по московскому времени, а здесь уже восьмой час утра. Люда ванну приготовила, завтрак на столе. И дети уже на ногах: с вечера знают, что папа возвращается. Можно сразу отправиться на работу, в типографию, где ждут своего директора. Люда с порога, надо полагать, скажет, что ждут. Как всегда, после недолгой отлучки.

И в самом деле. За завтраком жена сказала, что именно сегодня ему надлежит быть в министерстве иностранных дел.

— Ну да, конечно,— рассеянно ответил Сатымбек Омарович.— Спросят, как диплом защитил, поздравят, и сразу — как, мол, у тебя с планом...— А опомнившись:— Куда, говоришь, приглашают?..

По давно приобретенной привычке Сатымбек явился по вызову точно в назначенное время. В приемной оказались давние знакомые — ветераны боев за освобождение Польши. Так вот оно в чем дело!

В кабине министра поднялся навстречу ветеранам генерал Войска Польского, тепло поздоровался с каждым и от имени Государственного совета Польской Народной Республики вручил боевые награды, к которым они представлены были давно, в последние месяцы войны, да разбрелись кто куда солдаты после Победы, не так-то просто оказалось их найти.

Сатымбеку Тулешеву генерал вручил высшую награду ПНР за воинскую доблесть — знак ордена Виртути Милитари. Он обнял Тулешева и, прикрепляя орден к лацкану пиджака, назвал его бесстрашным витязем.

— Польша гордится вами,— добавил генерал.— И вы вправе гордиться тем, что вы первый представитель наро-

дов Востока, удостоенный высшей награды моей родины... Рад, что остаетесь в строю.

А в апреле шестьдесят пятого, едва приехал Сатымбек Тулешев из Москвы с новеньким дипломом инженера-экономиста полиграфической промышленности, ожидала его весть из ПНР. Вместе с наградой, о которой мы уже упоминали, вручили ему приглашение польских друзей. На празднование двадцатилетия Победы.

Вот они, города и веси Краковского воеводства. Неузнаваемые, ибо все они были испепелены войной и отстроены трудолюбивыми руками заново и по-новому. Незабываемые, как не забываема военная молодость.

Вот они, постаревшие, но такие же родные и близкие товарищи по оружию.

— Здравствуй, Бертач!

— Пшепрашам, Сашок,— улыбается сквозь слезы польский побратим.— Эдвард — вот мое имя...

Да, партизанская кличка Эдварда Трояновского была Бертач, а Сатымбека Тулешева — Сашок. Как это хорошо, что надобность в псевдонимах давно отпала.

И Ян Токарчик здесь. Изрядно поседел, но жив, здоров, крепок.

Многие пришли на эту встречу вместе с женами, детьми, внуками. То и дело звучат взволнованные возгласы: як то добже... як то мило... як се маш?.. цо поробеш?..» Долго и горячо беседовали. Здесь, на городской площади, в домах друзей. Вспоминали былое, рассказывали о днях текущих: кто где работает, кто на пенсию вышел, кем стали повзрослевшие сыновья и дочери, как растут и учатся внуки... Оставила дедову руку шустрая сероглазая девочка и принялась считать ордена на груди Сатымбека-Сашка, спрашивая глазами, что это и за что. С трудом подбирая полузабытые польские слова, он терпеливо отвечает ей. Это, мол, доченька, орден Красного Знамени, а это — Отечественной войны, обеих степеней. Это — тоже боевая награда, первая — орден Красной Звезды. Медали советские, чешские, польские. А вот мирный орден — Трудового Красного Знамени...

Глаза девочки задержались на массивном знаке Виртути Милитари. И Янек, всегда отличавшийся завидной памятью на документальные тексты, процитировал наизусть представление к награде на Сатымбека Тулешева, составленное еще в начале сорок пятого: «...находясь в партизанском соединении, проявил себя мужественным и отважным командиром в борьбе с немецкими захватчика-

ми, лично руководил диверсионной работой на коммуникациях противника...»

Вернулся в Алма-Ату. «Теперь, когда с институтом ты рассчитался,— сказала Людмила Иосифовна,— можно твоим здоровьем заняться. Давно пора». Конечно. Пора... Но дел только прибавилось. Госкомиздат назначил Тулешева директором строящейся книжной фабрики. К повседневным хлопотам прибавились новые. Ежедневные встречи с авторами проекта, с руководителями строительных организаций. Вот уже первая очередь предприятия вступила в эксплуатацию. Подошла вторая. Офсетную печать осваивать надо, фотонаборную технику. А тут произошло объединение всех полиграфических предприятий Алма-Аты в одно. И стал он генеральным директором производственного объединения «Китап»...

И еще есть у ветерана войны святая обязанность коммуниста: военно-патриотическое воспитание молодежи. Встречи с солдатами и студентами, молодыми рабочими и школьниками. Поездки к местам былых боев на своей земле и в странах побратимов военных лет.

Не изменил Сатымбек Тулешев курсантской клятве, остался в строю на всю жизнь.

Только вот жизнь оказалась короткой.

Израненные легкие традиционному лечению не поддавались. Оставалось последнее средство — скальпель хирурга.

— Есть надежда?— допытывалась Людмила Иосифовна, как тысячи раз до нее расспрашивали других врачей другие любящие жены.

И знаменитый хирург отвечал ей теми же словами, которыми отвечали на подобные вопросы тысячи врачей до него:

— Медицина не всесильна. Но надеяться надо всегда. Сделаю все, что в моих силах...

Умер солдат. В далеком от старости возрасте — пятидесяти семи лет. От старых ран.

Давно выросли сын и дочь. Они врачи. Отлично учится в двух школах — общеобразовательной и музыкальной — внучка Оля. Исполнилось три года внуку. Зовут его Сашок. Как звали в партизанскую бытность Сатымбека Омаровича Тулешева.

Капитон Самарин

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Как будто я на танке еду
К тебе, Отчизна, из огня...
Счастливые глаза Победы
Глядят с экрана на меня.
Какая власть у киноленты!
Моею стали вдруг судьбой
Запечатленные моменты
Того, что было не со мной.
А с тем, из хроники, солдатом
Через вершины многих лет
Связал нас мая день девятый,
И крепче уз на свете нет.

СОДЕРЖАНИЕ

ЗНАМЯ НАД РЕЙХСТАГОМ

РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ, СТИХИ

Составитель

Александр Николаевич Сергеев

Редактор *О. Слободчиков*
Художник *Г. Горелов*
Художественный редактор *К. Зульпикаров*
Технический редактор *А. Мулкебаева*
Корректор *Г. Руднева*

ИБ № 3088

Сдано в набор 30.11.84. Подписано к печати 11.04.85. УГ 03158. Формат 84×108[1]/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 19,3. Усл. кр.-отт. 19,5. Уч.-изд. л. 21,2. Тираж 70 000 экз. Заказ № 3497. Цена 1 р. 80 к.

Ордена Дружбы народов издательство «Жазушы» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 480124, г. Алма-Ата, пр. Абая, 143.

Полиграфкомбинат производственного объединения полиграфических предприятий «Кітап» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480002, г. Алма-Ата, ул. Пастера 41.

Знамя над рейхстагом: Рассказы, очерки, стихи
З—72 /Сост. Сергеев А. Н.— Алма-Ата: Жазушы, 1985.—
368 с., ил.

Казахстан внес значительный вклад в победу советского народа над фашистской Германией: сотни тысяч казахстанцев сражались с гитлеровскими полчищами, проявляя мужество и храбрость. Пятьсот воинов-казахстанцев удостоены высокого звания Героя Советского Союза. С честью выдержали суровый экзамен войны труженики тыла республики, давшие стране хлеб, уголь и металл. В рассказах и очерках, включенных в данный сборник, отображается беспримерный подвиг Советской Армии, всего нашего народа в годы Великой Отечественной войны.

$\frac{4702010200—059}{402(05)—85}$ 144—85 **84 Р2**

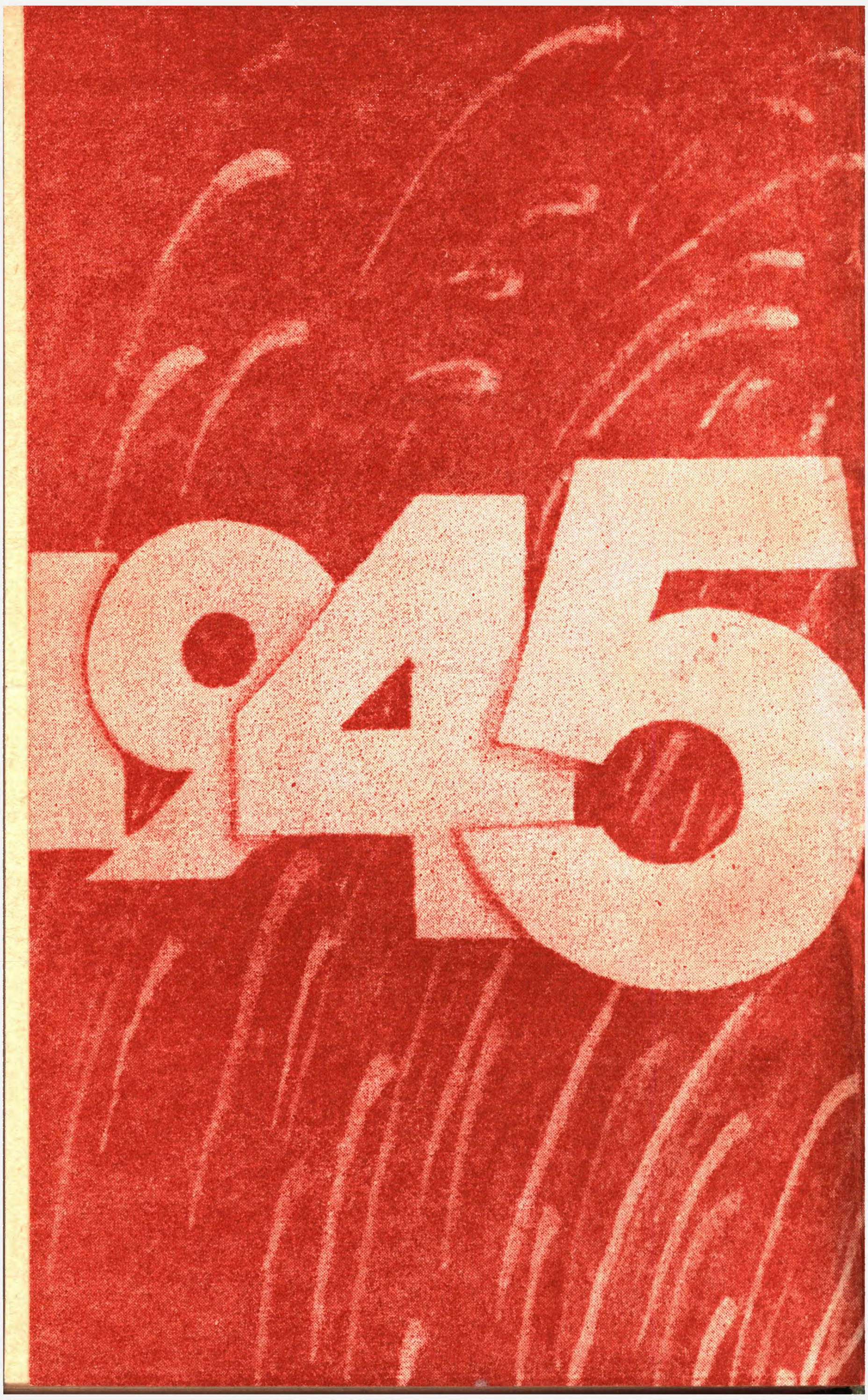
Уважаемые читатели!

В 1985 году в издательстве «Жазушы» выходят в свет следующие книги:

***Н.Поведенок*. «ЖИЛИ-БЫЛИ».** *Повести и рассказы.*

***А.Сергеев*. «СВЯЗНОЙ».** *Повести.*

***Р.Тамарина*. «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ».** *Стихи.*


1945



1 р. 80 к.


ЗНАМЯ НАД РЕЙХСТАГОМ